

НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ВЫПУСК XVIII

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Составление, общая редакция
и вступительная статья
доктора философских наук
В. В. ПЕТРОВА

1061342

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»

1986

Логика и лингвистика — две области знаний, имеющие общие корни и тесные взаимопереплетения в истории своего развития. Логика всегда ставила своей основной задачей обозреть и классифицировать разнообразные способы рассуждений, формы выводов, которыми человек пользуется в науке и в жизни. Хотя традиционная логика, как это провозглашается, имела дело с законами мысли и правилами их связи, выражались они средствами языка, поскольку непосредственной действительностью мысли является язык¹. И в этом отношении логика и лингвистика всегда шли рядом.

Если для логики важны общие логические закономерности мышления, реализуемые в тех или иных языковых конструкциях, то лингвистика стремится выявить более частные законы, которые формируют высказывания и обеспечивают их связность. С точки зрения лингвистики логические компоненты — важный фактор образования высказываний и организации текста. С позиций логики нельзя сейчас говорить о существенных результатах и прогрессе в этой области, игнорируя особенности функционирования естественных языков. В итоге логический анализ естественного языка как научное направление предполагает у исследователей наличие специальных знаний как в области логики, так и в области лингвистики. Поэтому основной «адресат» предлагаемого сборника — лингвисты, знакомые с основаниями логики, и специалисты по логике, изучающие естественный язык через призму своих задач и установок.

При подготовке сборника ставилась цель подобрать наиболее яркие классические работы в этой области, а также свежие обобщающие публикации. К несомненно базисным исследованиям можно прежде всего отнести работы У. Куайна и Д. Дэвидсона, которые открывают настоящий сборник. Именно книга У. Куайна «Слово и объект» (из этой книги в сборнике публикуются две

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 448.

главы) и статья Д. Дэвидсона «Истина и значение», собственно, и породили или по крайней мере существенно способствовали оформлению логического анализа естественного языка как самостоятельного научного направления. Достигнутые в дальнейшем результаты во многом получены либо как непосредственное развитие и конкретизация идей, заложенных в этих работах, либо в ходе их критического обсуждения.

Что же логика конкретно предложила и что она может обещать лингвистике? Прежде всего — свой достаточно развитый концептуальный аппарат и методы анализа. В логике с конца XIX — начала XX в. интенсивно ведутся исследования, результаты которых уже давно были заимствованы лингвистикой. Среди них — проблемы референции и предикации, смысла и значения, природы собственных имен и дейктических выражений, вопросы различения событий, процессов и фактов, специфики бытийных предложений, предложений тождества, различение пропозиций и пропозициональных отношений¹. Полезными для лингвистов оказались исследования по логическому анализу отдельных типов глаголов, частиц, предлогов. Наконец, следует отметить, что ряд новых направлений, и в первую очередь теория речевых актов, возникли благодаря усилиям логиков и философов языка (Остин, Сёрль), воззрения которых позднее стали квалифицироваться как сугубо лингвистические.

Не менее, а может быть, и более важно влияние лингвистики на логику. Благодаря ориентации на естественный язык, а не на математику, как это было в начале века, логическая теория непрерывно расширяет свои выразительные возможности. Только за последние десятилетия логика обогатилась такими новыми разделами, как динамическая и ситуационная логика, логики действий и событий. Значительно расширились и выразительные возможности традиционной модальной логики. Одна из последних и интереснейших попыток в этом направлении — построение так называемой иллокутивной логики, учитывающей иллокутивную силу высказывания и тем самым дифференцирующей объективированные высказывания и высказывания, релятивизированные к говорящему.

Но при всем этом нельзя упрощенно толковать связь между формальной логикой (и, в частности, логическим анализом естественного языка) и собственно лингвистическими исследованиями. Логика способна лишь „поставлять“ формальные модели,

¹ См. последние работы: Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции. — В кн.: „Новое в зарубежной лингвистике“. М., вып. 13, 1982; Павленис Р. И. Проблема смысла. М., 1983; Дегутис А. Язык, мышление и действительность. Вильнюс, 1984; Падучева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985; Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985; Смирнова Е. Д. Логическая семантика и философские основания логики. М., 1986.

ориентированные на естественнoязыковые контексты; лингвисты выступают в этом процессе как своего рода „потребители“, которые должны четко сознавать, что перед ними не конечный продукт исследования, а, так сказать, «полуфабрикат», который еще нужно суметь плодотворно использовать. В таком сотрудничестве, как и во всяком другом, каждая сторона должна пройти свою часть пути навстречу друг другу. В этой связи, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость встречного движения и избежать поспешного разочарования, уместно вспомнить французскую поговорку, к которой прибегал Карл Маркс: «Даже самая красивая девушка Франции может дать только то, что она имеет»¹.

В последнее время разработка ряда новых проблем как в лингвистике, так и в логике происходит под непосредственным воздействием практики. В роли основного заказчика выступает программа создания интеллектуальных вычислительных систем, способных к восприятию любого естественного языка и автоматического перевода с одного языка на другой. Принципиальная новизна этой программы состоит в более широком представлении интеллекта, нежели только как системы, способной к строгим нормативным выводам, то есть в наделении ЭВМ элементами специфически человеческого видения мира. Отсюда вполне понятен и тот интерес к нетрадиционным подходам изучения языка, который наблюдается со стороны психологии и логики, вычислительной математики и компьютерной технологии и т. д. Объединяясь для решения новых практических задач, эти науки ставят своей целью создание и новых инструментов познания в исследовании мыслительных процессов.

Действительно, чтобы понять, как человек, обладая элементной базой мозга с очень невысоким быстродействием, способен оперативно усваивать многочисленные нюансы языка, необходимо представлять естественный язык в более широком контексте. Ведь природа языка и характер его функционирования целиком ориентированы на человеческое взаимодействие. Его влияние обнаруживается и в фоновых знаниях о мире, без которых невозможно успешное общение, и в возможности редукции в тексте некоторых смысловых компонентов, и в определяющем влиянии адресата, к которому обращена речь, и т. д. Все эти субъективные факторы функционирования языка нельзя игнорировать при разработке ЭВМ с естественным языком общения.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в логике, где в последние годы также активно ощущается влияние „человеческого фактора“. В формирующейся сейчас интенциональной семантике центральное место занимает исследование влияния, оказываемого

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 304.

на языковое значение когнитивными (познавательными) способностями человека, его концептуально-структурирующей деятельностью. Истинность предложения здесь уже не рассматривается в качестве базисной семантической переменной, поведение которой должна объяснить семантическая теория. Соответственно, и сам вывод анализируется не как конечная цель анализа, а как элемент более общей системы, то есть как конкретный мыслительный процесс, связанный, с одной стороны, с намерениями, полаганиями субъекта, а с другой — с его конкретными действиями, осуществляемыми на их основе¹.

Как логика, так и лингвистика стоят сейчас перед качественно новым этапом, когда им совместно с другими научными дисциплинами необходимо достигнуть такого целостного представления о языке, которое создало бы основу для решения актуальных практических задач. Как справедливо пишет Звегинцев В. А., «...язык достигает цели своего употребления только тогда, когда он понимается, а языковое понимание может состояться только постольку, поскольку система, с помощью которой оно осуществляется, воплощает в себе и многое другое, что находится за пределами „явных“ форм естественного языка»². И от того, насколько логика и лингвистика „преуспеют“ в этом, зависят не только практические условия их существования, но и темпы движения к новым перспективным теоретическим результатам.

* *
*

Пожалуй, ни одна из проблем логики и лингвистики не обсуждалась и не обсуждается сегодня столь широко, как проблема значения. Эти дебаты ведутся с конца прошлого века, когда стали различать две семантические функции языка — функцию выражения смысла и функцию обозначения, референции. Активное обсуждение проблематики значения привело не только к ее концептуальному обогащению, но и к известной терминологической путанице. И логики, и лингвисты часто использовали одни и те же понятия, вкладывая в них различный смысл, который обосновывался соответствующими теоретическими построениями. Среди таких фундаментальных понятий — понятие референции и денотации, смысла и значения.

Концепция смысла и референции была, как хорошо известно,

¹ См. специальный выпуск, посвященный проблемам интенциональной семантики — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, vol. 23, N 2, 1982; Johnson-Laird P. Mental Models. Cambridge, 1983; Fauconnier G. Mental Spaces. Cambridge, 1985.

² Звегинцев В. А. Язык как фактор компьютерной революции. — „Научно-техническая информация“, серия 2, 1985, № 9, с. 5.

предложена еще Г. Фреге. В своей статье „Über Sinn und Bedeutung“ он заложил ее основы, но от нее ведет начало и та терминологическая путаница, которая существует и по сей день. Г. Фреге употребил одновременно Sinn и Bedeutung, хотя последнее слово переводится как ‘смысл’ или ‘значение’, и тем самым название его статьи, если следовать строгому переводу, в какой-то степени тавтологично. В то же время для слов „обозначение“, „наименование“ в немецком языке имеется специальный термин „Bezeichnung“. Но Фреге в тот период еще не различал и не чувствовал необходимости в тонких различиях между смыслом, значением и референцией. В современной терминологии Bedeutung стали переводить не как ‘Meaning’ и тем более ‘Sinn’, а как ‘референция’ или ‘денотация’.

С точки зрения современной терминологии, Фреге «неудачно» употребил Bedeutung для обозначения того, что мы сейчас называем денотацией или референцией. Неудачное употребление состоит в том, что и Sinn, и Bedeutung стали ныне употребляться для обозначения различных компонентов первого члена его дихотомии, то есть для обозначения того, что противостоит денотации. Другими словами, там, где у Фреге была дихотомия „Sinn — Bedeutung“, современные теории говорят о трихотомии „смысл — значение — референция“. И если теперь мы будем переводить meaning как ‘смысл’, то нам придется изобретать новый вариант перевода для термина „sense“, хотя естественно было бы переводить sense как ‘смысл’. Именно этой установки мы и стремились придерживаться при переводе статей данного сборника.

С точки зрения лингвистики исходными понятиями для изучения семантики выступают значение, синонимия, осмысленность, бессмысленность и т. д. «Исследователи, — пишет Э. ЛеПор в статье, включенной в настоящий сборник, — работающие в русле этого направления, считают, что семантическая теория языка — это теория значения, а перечисленные выше явления и свойства, — это центральные понятия, связанные со значением. В связи с этим они относятся с недоверием к таким семантическим теориям, которые полностью или частично отвлекаются от названных явлений и свойств»¹.

С точки зрения логики центральное понятие семантики — понятие истинности, которое наиболее полно характеризует обоснованность логического вывода. Необходимость же включения понятия значения в число основных семантических понятий остро ощущается в шестидесятые годы, когда в логике все сильнее стала проявляться ориентация на естественный язык, а не на математику, когда в сферу отношений логического вывода были

¹ См. статью Э. ЛеПора в наст. сборнике, с. 173—193.

включены модальные контексты и контексты с пропозициональными установками. Собственно, в предшествующий, „домодальный“, период развития логики и не было такой необходимости вводить это понятие, в силу ограниченности эмпирической базы интерпретации семантики логического вывода. С расширением этой базы логики были вынуждены как-то определить свое отношение к понятиям семантики, трактуемым лингвистами. И здесь наиболее известная и ставшая поистине классической — попытка Д. Дэвидсона сведения теории значения к теории истины¹.

Основная мысль Д. Дэвидсона заключалась в том, что вопросы, которые мы хотим задать относительно значения и на которые хотим получить правильные ответы, лучшим образом выразимы на языке теории истины. Основываясь на идеях А. Тарского, Д. Дэвидсон разработал программу, согласно которой теорией значения для языка является конечно аксиоматизируемая теория истинности предложений этого языка². Уже сразу интуитивно ясна ограниченность такого подхода. Более конкретные возражения против теории Д. Дэвидсона были выдвинуты в ходе обширных дискуссий. Так, в частности, М. Даммит утверждает, что основные идеи Д. Дэвидсона неприемлемы, поскольку они не приводят к удовлетворительному объяснению феномена понимания языка: знание значения предложения не может сводиться к знанию его условий истинности³.

С другой стороны, можно понять намерения Дэвидсона: его конечная задача состояла в том, чтобы распространить семантику логического вывода, которая базировалась на программе Тарского, на область естественного языка. С этой целью ему было необходимо прояснить отношения между истинностью как центральным понятием семантики логического вывода и значением как фундаментальным понятием лингвистической семантики. Он предложил предельно простое решение — отождествить эти понятия, тем самым получив мощный формальный аппарат для анализа естественного языка. В публикуемой в настоящем сборнике статье Д. Дэвидсона „Истина и значение“ читатель с удовольствием отметит также тонкие замечания этого автора о связи логики, языка и грамматики.

В статье Р. Хилпинена, тематически близко связанной с работой Д. Дэвидсона, рассматриваются интересные вопросы приложимости понятия истинности к выражениям, включающим им-

¹ См. статью Д. Дэвидсона в наст. сборнике, с. 99—120.

² См. подробнее: Целищев В. В., Петров В. В. Философские проблемы логики (семантические аспекты). М., 1984, с. 32—40.

³ Dummett M. What is a theory of meaning? — In: „Truth and Meaning“. Oxford, 1976, p. 69.

перативы. В соответствии с достаточно распространенной точкой зрения, которая была развернута датским философом Й. Йоргенсенем, повелительные предложения не только не могут быть выведены из изъявительных посылок, но вообще не могут входить составной частью в какое-либо логическое рассуждение. То есть императивы, с этой точки зрения, вообще лежат за пределами логики. Истоки этой проблемы, как известно, в более общем виде можно найти еще в работах Д. Юма.

Выход, по Йоргенсену, заключается в том, чтобы в императивном предложении вычленил два фактора — изъявительный и повелительный. Согласно Йоргенсену, повелительный фактор состоит попросту в выражении психологического состояния говорящего и поэтому он лишен какой-либо логической значимости. Йоргенсен называет предложение, выражающее „изъявительный фактор“ данного императива, индикативом, производным от рассматриваемого императива. Отсюда решение дилеммы основано на допущении о том, что то, что мы считаем логическим отношением между императивами, является на самом деле отношением между изъявительными предложениями, связанными с данными императивами. Конкретно, предложение „Петр, открой дверь“ переводится в предложение „Петр открывает дверь“. И тогда нет необходимости в особой логике императивов.

Но, как показывает Р. Хилпинен, семантику императивов можно понять, не сводя их к индикативам и не переводя в изъявительное наклонение. Его подход основывается на теоретико-игровом анализе, с позиций которого особенность императивов — то, что ответственность за истинность произнесенного предложения ложится не на говорящего, а на слушающего, — хорошо эксплицируется в терминах теории игр.

* *
*

Важное влияние на концептуальный базис лингвистики оказывают не только идеи и методы логики, но и философии языка. И здесь следует отметить в первую очередь работы известного американского логика и философа У. Куайна. Его исследования пятидесятых — шестидесятых годов, особенно книга «Слово и объект», сильнее всего повлияли на концептуальные основания зарубежной философии языка. „Долгожительство“ модели языка У. Куайна во многом объясняется ее опорой на формальный аппарат стандартной семантики, используемый и сегодня. С другой стороны, и это интересно для лингвистов, на формирование философии языка У. Куайна оказал большое влияние Л. Блумфилд, к теоретическим построениям которого обратился Куайн в

поисках подходящей парадигмы значения. Несомненно воздействие также и бихевиористской психологии Скиннера¹.

Все это привело Куайна к принятию в конечном счете позитивистской установки — говорить о языке только в терминах наблюдений. Конкретно, Куайн утверждает, что значение есть прежде всего значение языка, которое проясняется из анализа конкретного поведения, а не значение идеи или ментальной сущности. Исходная установка такого эмпирического подхода формулируется Куайном следующим образом: мы можем воспринимать объекты реальности через воздействие на наши нервные окончания; изучение стимулов есть единственный источник фактов относительно значения. При этом стимулам отводится роль причины, а в качестве следствий выступают согласие или несогласие субъекта принимать то или иное предложение.

Рассмотрим классический пример Куайна, из которого будет ясна суть его концепции. Допустим, некий лингвист отправляется в джунгли, чтобы заняться изучением языка туземцев. Он начинает с попытки перевести на английский язык высказывания туземцев при помощи наглядного указания. Так, если лингвист указывает на кролика, а туземец говорит: *gavagai*, то лингвист может перевести это высказывание (которое, как он надеется и предполагает, является назывным предложением из одного слова) как 'кролик' или 'временной кадр кролика'. При этом оба перевода одинаково связаны с присутствием кролика в данной ситуации наглядного указания. Далее лингвист проверяет свое, опытным путем созданное пособие по переводу посредством указания на кролика и спрашивает одновременно: *gavagai*? Если туземец соглашается с этим предложением, теория перевода считается приемлемой, в противном случае — нет.

Согласно Куайну, физический мир и физические объекты в нем не принимаются как таковые в качестве материала, который может выступать в роли данных, поскольку концептуализация и, следовательно, членение физического мира на сущности неотделимы от языка. Мы не можем поэтому принять допущение о том, что туземцы членят мир на те же самые сущности, что и мы. Именно в связи с этим и возникают трудности при создании пособия по переводу с туземного языка: мы не знаем заранее, видит ли туземец исследуемую часть мира как кроликов или как 'временные кадры кроликов'. В реальной ситуации лингвист стремится перевести *gavagai* как 'кролик', исходя из нашей склонности к указанию на нечто целое и устойчивое. В этом случае,

¹ См. подробнее: Katz J. *Logic and Language*. — In: „Minnesota Studies in Philosophy of Science“. Minneapolis, 1975, pp. 36—130.

по мнению Куайна, лингвист просто навязывает туземцам свою концептуальную схему.

В языке, который в модели Куайна является структурой, одни предложения находятся на периферии, другие занимают центральное положение. Эмпирические данные оказывают влияние прежде всего на периферию, но так как предложения, образующие структуру, взаимосвязаны посредством соединений, влияние реальности испытывают и непериферийные предложения. В итоге мы приходим к известному тезису неопределенности перевода Куайна, который заключается в следующем. Существуют критерии правильного перевода, которые выводятся из наблюдений за лингвистическим поведением носителей языка. В границах, очерченных этими критериями, возможны различные схемы перевода и не существует никакого объективного критерия, с помощью которого можно было бы выделить единственно правильный перевод. Иначе говоря, неопределенность перевода означает, что две равным образом приемлемые схемы перевода могут перевести данное предложение языка соответственно в два различных друг от друга предложения, которым единичный носитель языка припишет различные истинностные значения.

Как философ с явно выраженной бихевиористской ориентацией Куайн считал язык средством описания реальности лишь в весьма малой степени. Надо также отметить, что его почти не интересовала и коммуникативная функция языка. Главный интерес для него представляло определение языка как средства кодирования верований, мнений или диспозиций субъекта соглашаться — не соглашаться со стимулами. И не случайно, что Куайн вводит понятие объекта в структуру своей концептуальной схемы только на последней стадии усвоения языка ребенком, когда невозможно сформулировать условия истинности без указания на объекты¹. Введение объекта на этой стадии мотивируется им не особенностями строения реальности, а объектной формой нашего концептуального аппарата. Признание реальности или тем более какой-либо ее структуры для Куайна ограничивается признанием реальности стимулов, воздействующих на наши органы чувств.

Несмотря на то что в современной зарубежной философии языка не предложено какой-либо приемлемой альтернативы холистической модели языка Куайна, отдельные ее „блоки“ существенно пересмотрены. Это касается прежде всего проблемы значения. Появление новых концепций было во многом мотивировано стремлением расширить роль понятия значения в описании механизмов функционирования языка. В частности, сейчас широко распространен взгляд, согласно которому теория значе-

¹ Quine W. The Roots of Reference. La Salle, 1973.

ния должна внести решающий вклад в объяснение способности говорящего использовать язык. Эта точка зрения хорошо выражена М. Даммитом — автором наиболее известной концепции значения в зарубежной философии языка второй половины семидесятых — восьмидесятых годов: «Любая теория значения, которая не является теорией понимания или не дает ее в итоге, не удовлетворяет той философской цели, для которой нам требуется теория значения. Ибо я доказывал, что теория значения нужна для того, чтобы открыть нашему взгляду механизм действия языка. Знать язык — значит уметь применять его. Следовательно, как только мы получаем явное описание того, в чем состоит знание языка, мы тем самым сразу же получаем в свое распоряжение описание механизма действия языка»¹.

В рамках естественных языков, по Даммиту, любое выражение необходимо рассматривать в контексте определенного речевого акта, поскольку связь между условиями истинности предложения и характером речевого акта, совершаемого при его высказывании, является существенной в определении значения. Это позволяет Даммиту утверждать о наличии двух частей у любого выражения — той, которая передает смысл и референцию, и той, которая передает иллокутивную силу его высказывания. Соответственно теория значения также должна состоять из двух блоков — теории референции и теории иллокуции. Следовательно, основная проблема теории значения состоит в выявлении связи между этими блоками, то есть между условиями истинности предложения и действительной практикой его употребления в языке.

В соответствии с современными интерпретациями — и этот тезис полностью поддерживается Даммитом — теория значения считается приемлемой лишь тогда, когда она устанавливает отношение между знанием семантики языка и способностями, предполагающими использование языка. Поэтому семантическое знание не может не проявляться в наблюдаемых свойствах употребления языка. При этом сами наблюдаемые свойства могут служить отправной точкой, от которой можно восходить к семантическому знанию. И в этом смысле цели анализа Даммита вполне обоснованны и понятны. Очевидно также, что до проведения исследований невозможно угадать, какое место займет знание семантики языка в общей картине, отражающей все процессы говорения и понимания языка. Таким образом, если знание семантики, приписываемое говорящему теорией значения, оказалось бы не соотносимым с использованием языка, то такая теория должна была бы рассматриваться как неприемлемая. Именно такой

¹ Dummett M. What is a theory of meaning. — In: „Truth and Meaning“. Oxford, 1976, p. 69.

концепцией, по мысли Даммита, и является истинностная концепция значения Дэвидсона.

Исходя из этого, Даммит предлагает отождествить знание условий истинности с известного рода способностью опознавания, то есть способностью опознавать или узнавать истинностное значение предложений. В силу того, что такой способ принятия решений об истинностном значении является практической способностью, он и образует необходимое связующее звено между знанием и использованием языка. По сути, Даммит предлагает согласиться с тем, что в знание о языке могут входить лишь такие конструкты, которые индуцированы непосредственно чувственно-наличными данными. Соответственно, наше обучение языку сводится к умению делать утверждения в опознаваемых обстоятельствах и при этом содержание предложений не может превосходить то содержание, которое было дано нам обстоятельствами нашего обучения. В этом свете аргументация Даммита очень похожа на позицию Юма. Действительно, подобно Юму, мы задаемся вопросом, каким образом в наших идеях может присутствовать нечто такое, что не может быть извлечено из наших впечатлений¹.

Даже если мы и можем, вопреки Даммиту, приобретать знание, выходящее за пределы наших возможностей опознавания, возникает другая проблема — каким же образом такое знание проявляется в фактическом использовании языка? Ведь, по Даммиту, опознаваемые условия истинности служат единственным средством связи между знанием и использованием языка. Приемлемый подход, на наш взгляд, заключается в том, что использование языка следует отождествлять не со способностью устанавливать истинностные значения предложений — и здесь Даммит не идет дальше Дэвидсона, — а скорее с более широкой способностью интерпретировать речевое поведение других лиц. Принимая такой взгляд, мы отказываемся от ложного представления, в соответствии с которым способность понимать и использовать некоторое выражение обязательно предполагает способность опознавать некоторый данный объект как носителя этого выражения. В действительности же можно обладать способностью интерпретировать предложения и в то же время быть неспособным точно опознать объект, обозначаемый ими.

Для того чтобы понимать язык (говорить на языке), придется производить много разных операций, служащих выявлению единственно верного значения: конструирование из звуков цепочек слов, организация этих цепочек так, чтобы они имели то или

¹ См. Грязнов А. Ф. Теория значения М. Даммита. — „Вопросы философии“, 1982, № 4.

иное значение из тех, которыми они могут обладать; установление правильной референции и многое другое. Но в любом случае осуществляется ряд выборов, правильность которых зависит уже не только от отдельных операций, но и от правильности заранее построенной стратегии, которая уже не является на самом деле частью того, что означают выражения языка. Поэтому если некто будет знать только значения выражений и больше ничего, то он не сможет ни говорить на языке, ни понимать его.

Знание стратегии говорящего есть важный элемент более общей теории действий, теории, в рамках которой только и возможно установить значения выражений, используемых говорящим. И в этом смысле знание значения предполагает знание и понимание нами действий говорящего. Только зная его намерения и то, каким образом они реализуются в его действиях, мы способны дать удовлетворительную интерпретацию речевого поведения. Другими словами, понимание значения предполагает объединение лингвистических и экстралингвистических знаний, явной и неявной информации. Но этот путь далеко уводит нас как за пределы философии логики, так и традиционного лингвистического анализа. Тем не менее он в настоящее время кажется единственно приемлемым.

* *
*

Трудно понять тенденции и оценить возможности современной логики, не обращаясь к ее развитию. Ее зарождение в конце XIX века, — а точнее, качественное перерождение — первоначально произошло как внедрение математических методов в традиционную логику, без радикального преобразования последней. Об этом явно свидетельствуют названия классических работ того периода: „Исследование законов мысли“, „Об алгебре логики“ и др. Это была по существу не математическая логика, а еще обычная традиционная логика в символическом изображении, где символика носила чисто вспомогательный характер. В дальнейшем, в связи с привлечением логики к решению задач обоснования математики совершенствовался и ее аппарат, изменилось содержание и объект исследования.

Г. Фреге первым предложил реконструкцию логического вывода на основе искусственного языка (исчисления), обеспечивающего полное выявление всех элементарных шагов рассуждения, требуемых исчерпывающим доказательством, и полного перечня основных принципов: определений, постулатов, аксиом. Он первым ввел в символику логического языка операцию квантификации — важнейшую в логике предикатов, посредством которой

анализируемые выражения приводятся к исходной канонической форме. Аксиоматические построения логики предикатов в виде исчисления предикатов включают аксиомы и правила вывода, позволяющие преобразовывать кванторные формулы и обосновывающие логический вывод. Тем самым объект исследования логики окончательно переместился от законов мыслей и правил их связи к знакам, искусственным формализованным языкам. Такова оказалась плата за использование точных методов анализа рассуждений, за переход, говоря словами Д. П. Горского, к более высокому уровню конструктивизации действительности.

Со времен Фреге в логике правильным способом рассуждения считается такой, который никогда не приводит от истинных предпосылок к ложным заключениям. Это, безусловно, необходимое требование, и оно вводит в соприкосновение логику как теорию вывода с семантикой, к концептуальному аппарату которой традиционно относится понятие истины, используемое при оценке суждений. Вывод считается корректным тогда, и только тогда, когда условия истинности его предпосылок составляют подмножество условий истинности его заключений. В основе такой стратегии семантического обоснования логического вывода лежит взгляд, согласно которому истинность предложений и, следовательно, корректность логического вывода определяются непосредственно объективной реальностью. Иначе говоря, корректность логического вывода ставится в зависимость от существования определенных объектов и таким образом логика оказывается онтологически нагруженной¹.

Отсюда вполне закономерно, что в семантической программе обоснования логического вывода в качестве важного семантического понятия рассматривается референция (денотация). Семантическая концепция референции используется здесь на уровне анализа, предваряющего формализацию, для определения логической формы исследуемого рассуждения. В том случае, когда предложение приведено к соответствующей логической форме, референция связывает каждое выражение (переменную), которое в данном контексте используется в качестве имени, с одним из объектов предметной области.

Однако стандартный семантический способ обоснования вывода в контекстах, выходящих за рамки языков классических математических теорий, сталкивается с существенными трудностями. В качестве традиционных примеров рассуждений, для которых средств стандартной семантики недостаточно, можно привести контексты, содержащие пропозициональные установки („знает,

¹ См. подробнее: Бессонов А. В. Предметная область в логической семантике. Новосибирск, 1985.

что...“; „полагает, что...“) и логические модальности („необходимо“, „возможно“).

Отсюда заключение: необходима ревизия семантического способа обоснования логического вывода с целью расширения сферы его применения. Но в каком направлении? В принципе можно подвергнуть сомнению исходное фрегевское определение правильного вывода как функции исключительно одной истинности. Тогда определяющую роль могут играть такие характеристики посылок, как достоверность, вероятность, приемлемость, согласие со здравым смыслом, которые, собственно, и дают „право“ на вывод. Однако в этом случае логическая семантика уже не будет обладать уникальным правом на обоснование вывода.

Менее радикальный подход предполагает пересмотр роли и содержания концепции истинности в логической семантике. В наиболее известной стандартной семантике Тарского понятие истины принимается за первичное, а затем вывод классифицируется как правильный или неверный. Ясно, что границы такого подхода к обоснованию вывода сводятся к границам адекватности определения истины как характеристики суждений, инвариантной относительно правильного вывода. Этот подход по сути исходит из недоверия к обычным способам рассуждений и отбрасывает их в пользу строгих правил. Поэтому он и предполагает точное определение истины, образцом которого до настоящего времени считалась семантическая теория Тарского.

Но, как показывает активное обсуждение этой теории в последние годы, подход к обоснованию вывода, исходящий из первичности семантического определения истинности, в целом не является абсолютно удовлетворительным. Все его варианты содержат логический круг — определение истинности оказывается возможным только на основе других семантических понятий, которые сами ничуть не более ясны и не менее «парадоксальны», чем понятие истины. Не случайно в последнее время отмечается возросший интерес к нетрадиционным версиям логической теории истины¹.

В итоге получается, что логическая семантика решает задачу обоснования вывода, сводя ее к обоснованности используемых при этом понятий. Тогда закономерно возникает проблема выбора тех понятий, в которых должен обосновываться логический вывод. Но если в качестве такого фундаментального понятия выступает не „истинное“, то что же? В логике пока нет однозначного ответа на этот вопрос.

В рамках общего подхода к семантическому анализу выраже-

¹ Данной проблематике, например, посвящен весь номер „Journal of Philosophical Logic“, vol. 11, N 1, 1982.

ний естественного языка базисной является теоретико-модельная семантика. Можно обсуждать ее преимущества и недостатки по сравнению с другими видами семантического анализа — процедурной семантикой, семантикой концептуальных ролей, — но если говорить о логическом анализе естественного языка, то подлинных альтернатив теоретико-модельной семантике (по существу логической семантике) просто не видно. Так, все имеющиеся сейчас новые варианты, претендовавшие на принципиальную новизну, оказываются при ближайшем рассмотрении обобщением и расширением все того же теоретико-модельного подхода. Мы имеем в виду прежде всего „грамматику Монтегю“, „теоретико-игровую семантику“¹, „ситуационную семантику“ Барвайса и Перри², не говоря уже о семантике возможных миров, которая есть собственно философско-логический аналог математической теории модели.

Как известно, возникновение математической теории моделей было связано с появлением в современной логике двух равноправных подходов — синтаксического (теоретико-доказательственного) и семантического (теоретико-модельного). Особенность последнего в том, что он задает интерпретацию формального логического языка относительно столь же формальных сущностей, имеющих алгебраическую природу и называемых моделями данного языка. Возникновение и развитие этого второго подхода оказало ни с чем не сравнимое влияние на все дальнейшее развитие логики.

Немалый вклад в развитие логической семантики внес Р. Карнап, ставивший перед собой скорее философские, чем технические задачи. Определив как основную задачу экспликацию понятия „значение языкового выражения“, он детально разработал технику экстенционалов и интенционалов, использование которой позволило непосредственно применить аппарат теории моделей к философскому и лингвистическому анализу. Важно помнить, что его технические результаты есть по существу побочные результаты его позитивистских, антиметафизических устремлений, которые хорошо освещены в марксистской литературе.

Следующим шагом в развитии и приложении развитого Р. Карнапом аппарата явилось создание С. Крипке, С. Кангером и Я. Хинтикой семантики возможных миров для модальной логики. И таким образом, равноправие синтаксического и семантического подхода оказалось реализованным и в модальной логике, которая до конца пятидесятых годов существовала

¹ См. подробнее: Блинов А. Л. Семантика и теория игр. Новосибирск, 1983.

² См. обширную дискуссию по ситуационной семантике в „Linguistics and Philosophy“, 1985, vol. 8, N 1.

лишь в виде многочисленных синтаксических систем. В дальнейшем общий теоретико-модельный подход был применен к семантическому анализу естественного языка (грамматика Монтегю), к логическому анализу пропозициональных установок. Суть этих расширений, как это и показано в представленной статье Э. ЛеПора, состоит по существу в дальнейшем техническом усовершенствовании аппарата теоретико-модельного анализа применительно к тем же старым, традиционным объектам. При этом основным инструментом во всех вариантах теоретико-модельных семантик является рекурсивное определение истинности.

В отличие от семантики А. Тарского, где предметная область рассматривается как множество однородных объектов, в семантике возможных миров используется обращение к различным видам объектов: «объекту реального мира» и «объекту возможного мира». Это позволяет эксплицировать более широкий круг контекстов естественного языка, в частности модальных.

Достаточно очевидно, что логические модальности „необходимо“, „возможно“ используются в рассуждениях для указания на различный характер истинности высказываний. Например, относительно одних предложений может утверждаться, что они при некоторых условиях бывают истинными, в то время как другие предназначены всегда быть истинными и ни при каких условиях не могут оказаться ложными. Далее, если принять точку зрения, согласно которой различия в характере истин обусловлены различиями в природе объектов, о которых идет речь в истинных высказываниях, то предметная область модальной логики должна включать как объекты реального мира, так и объекты возможных миров. Но именно такое различие никак не подразумевается стандартной семантикой.

Таким образом, один из основных принципов стандартной семантики — однородность предметной области — является ограничением, обусловившим ее неадекватность для экспликации модальных контекстов. Именно с целью разрешения трудностей квантификации модальных контекстов была предложена концепция семантики возможных миров, имеющая во многом неформальный характер¹.

Следует в этой связи отметить негативную позицию У. Куайна, который считал, что формальная респектабельность этой семантики не гарантирует от произвольности предлагаемых ею интерпретаций, носящих столь неформальный характер. Модальные сущности, по его мнению, не существуют столь же реально, как физические объекты. Эта оценка Куайна по существу конста-

¹ См. Целищев В. В. *Философские проблемы семантики возможных миров*. Новосибирск, 1977.

тирует важную особенность в развитии логики — расширение ее выразительных возможностей оказалось реальным только с привлечением философских рассуждений. Столь существенный сдвиг от формальных к философским аспектам логики не может не вызвать обоснованного скепсиса даже у менее строгих „формалистов“, чем Куайн.

Если теоретико-модельная семантика достаточно жестко регламентирует естественный язык, то теоретико-игровая семантика в большей степени ориентирована на экспликацию процессов и событий. Как показывает в своей статье Э. Сааринен¹, при таком подходе поддаются трактовке анафорические явления, дискурсивные феномены и вообще проблемы, входящие в компетенцию семантики текста. Не случайно, что в последних работах по лингвистике текста активно используются элементы теории игр, в частности для обоснования стратегий говорящего и слушающего². Представленная здесь глава из книги Карлсона является хорошим примером того, как анализ союза *but* с позиций диалоговых игр проясняет новые аспекты его употреблений.

Теоретико-игровой подход позволяет с помощью определенных технических средств (подыгры, операторы возврата) возвращаться к той семантической информации, которая рассматривалась на предыдущих этапах анализа текста, и использовать эту информацию, например, для распознавания различных видов анафорических выражений и выявления их референтов. В примере „Если человек заболел, его лечат“ референт местоимения „его“ весьма своеобразен — он, как видно из грамматико-семантической структуры предложения, совпадает с референтом слова „человек“, который встречается в первой части предложения. Однако само слово „человек“ в этом контексте не указывает на индивида, поэтому совпадение референтов „его“ и „человек“ оборачивается здесь каким-то загадочным совпадением неопределенности. Использование аппарата составных игр и подыгр позволяет вполне точным и единообразным способом эксплицировать этот тип анафоры.

С теоретико-игровой концепцией семантики связан исключительно разнообразный круг проблем как в области логического анализа естественного языка, так и в других областях (теория доказательств, основания математики). Игра (в смысле математической теории игр) — это формализованная модель конфликтной ситуации, то есть такой ситуации, исход которой зависит от последовательности решений, принимаемых участвующими сторонами. Следует отметить, что в приложениях теорий игр рассмат-

¹ См. наст. сборник, с. 121.

² Kinsh W., T. van Dijk. *Strategies of discourse comprehension*. N. Y., 1983.

риваются не конфликты, а явления, которые могут быть интерпретированы как конфликты. Именно так и следует понимать задание условий истинности предложения с помощью игры, один из участников которой стремится доказать истинность рассматриваемого предложения, а другой — его ложность.

На уровне игроков цель семантической игры — установление значения истинности рассматриваемого предложения. Теоретико-игровые методы позволяют адекватно описать условия истинности некоторых видов предложений, для которых представляется затруднительным применить традиционное рекурсивное определение истинности. Это преимущество объясняется не чисто игровыми особенностями семантической концепции (наличие двух игроков, отдельных игровых правил), а тем обстоятельством, что с помощью такого аппарата удастся описать закономерности процесса вычисления истинностного значения для более широкого круга предложений естественного языка. В конечном счете теоретико-игровая семантическая концепция просто дает расширение традиционного определения истинности Тарского.

Одна из важных проблем логического анализа естественных языков — проблема единой логической структуры предложений. Ее актуальность обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что, с одной стороны, аппарат классической логики предикатов интерпретируется обычно на объективированных высказываниях типа „Снег бел“, „Земля вращается вокруг Солнца“ и т. п. С другой стороны, встречается большое количество релятивизованных к говорящему предложений, логическая структура которых до конца не ясна и, как представляется на первый взгляд, не согласуется со стандартными представлениями о логической структуре. Таковы, например, предложения: „Снег бел!“, „Идет дождь?“, „Увы, Земля вращается вокруг Солнца“, „Я обещаю прийти“ и т. п. Иначе говоря, существует проблема согласования релятивизованных и объективированных предложений в рамках некоторых единых представлений об общей логической структуре предложений естественных языков.

Возникает вопрос, может ли такое согласование быть достигнуто путем частичного уточнения тех или иных аспектов стандартной логики предикатов, или же для этого требуется качественное расширение логики предикатов в целом? Ряд исследователей этой проблемы идут преимущественно по пути существенного расширения логики предикатов. В частности, одна из интересных попыток решить проблемы в данном направлении предпринята в монографии Сёрля и Вандервекена по созданию так называемой „иллокутивной логики“, одна глава которой представлена в настоящем сборнике. Несомненно, что подобная попытка заслуживает самого пристального внимания.

В сборнике представлена и статья известного американского логика С. Крипке, работы которого всегда отличает оригинальность постановки вопросов и нестандартность предлагаемых решений. В представленной статье „Загадка контекстов мнения“ он подвергает основательному сомнению нашу традиционную практику приписывания мнений (*X считает, что...*) и непрямого цитирования. Как показывает С. Крипке, возникает неразрешимый парадокс, когда согласие говорящего относительно *P* мы передаем в виде утверждения: „...считает, что *P*“ (принцип раскрытия кавычек). Парадокс заключается в том, что, следуя такой практике приписывания мнений, мы способны приписать говорящему одновременно два противоречивых мнения.

В конкретном примере „Питер считает, что у Вишневого был музыкальный талант“ и „Питер считает, что у Вишневого не было музыкального таланта“ противоречивость утверждений возникает тогда, когда имя „Вишневский“ обозначает одного и того же человека. Но Питер — и это основа парадокса — может и не знать этой конкретной эмпирической информации, поскольку он может предполагать, что речь идет о совершенно разных людях: в первом случае „Вишневский“, действительно, известный музыкант, в то время как во втором имя „Вишневский“ ассоциируется у Питера с политическим деятелем. То, что это один и тот же человек, Питер не знает. В итоге, в соответствии с нашей практикой приписывания мнений, мы приходим к внутренне противоречивому утверждению: „Питер считает, что у Вишневого был музыкальный талант и не было музыкального таланта“. Тем самым, по мнению Крипке, наше представление природы контекстов мнения оказывается далеко не адекватным.

В сборнике читатель найдет также интересные публикации работ известных лингвистов А. Вежбицкой и З. Вендлера.

Из сделанного краткого обзора видно, что как логика, так и философия языка испытывают в последние пятнадцать — двадцать лет сильное влияние со стороны лингвистики. Не вызывают сомнения и результаты воздействия логики на лингвистические исследования. Вместе с тем существует мощная противоположная тенденция — расхождения в разные стороны этих двух направлений. Скажем, вопросы лингвистической прагматики с этой точки зрения весьма далеки от проблем модальной логики. Утрата установившегося единства, хотя и может считаться неизбежным следствием специализации, все же представляет собой закономерное явление, за которым должен последовать новый этап сближения логики и лингвистики. Это тем более реально, что база для такого сближения — решение важных практических задач — имеется.

В. В. Петров

СЛОВО И ОБЪЕКТ*

Глава первая. ЯЗЫК И ИСТИНА

§ 1. Вначале об обычных вещах

Этот обычный письменный стол обнаруживает свое присутствие, сопротивляясь моему давлению и отражая свет, попадающий в мои глаза. Физические объекты, как бы они ни были удалены от нас, обычно становятся известны только благодаря воздействию, которое они оказывают на наши органы чувств. Все же осмысленный разговор о физических объектах может происходить без привлечения более подробных объяснений в сенсорных терминах. Членение мира на сущности происходит не сразу. Опорными точками в исходной концептуальной схеме являются увиденные предметы, а не впечатления от них. В этом нет ничего удивительного. Каждый из нас учится языку от других людей, наблюдая произнесение слов в условиях межличностного общения. Лингвистически, а следовательно и концептуально, в первую очередь обращают на себя внимание предметы, достаточно общезначимые для того, чтобы о них говорить в обществе, достаточно обычные и заметные для того, чтобы о них говорить часто, и достаточно доступные органам чувств для того, чтобы быстро их идентифицировать и узнавать их названия. Эти предметы в первую очередь и обозначаются словами.

Наименование субъективных ощущений происходит главным образом с помощью производных выражений. При попытке описать специфическое ощущение, как правило, приходится ссылаться на общедоступные предметы: например, описывать тот или иной цвет как цвет апельсина или гелиотропа, а запах — как запах тухлых яиц. Так же, как человек свой нос видит лучше всего в зеркале, отодвинувшись от него на расстояние половины оптимального фокусного расстояния, так и данные своих ощущений он наилучшим образом отождествляет, обнаруживая их подобие во внешних объектах.

* Willard Van Orman Quine. *Word and Object*. Cambridge, Massachusetts: The M. I. T. Press, 1960, p. 1—25, 80—124.

Находясь под впечатлением того факта, что мы знаем объекты внешнего мира лишь опосредованно, через наши ощущения, философы, начиная с Беркли, занимались устранением физикалистских предложений и выделением чувственных данных в чистом виде. Все же, даже если мы попытаемся получить данные, не затронутые интерпретацией, мы поймаем себя на обращении к естественным наукам. Мы можем считать, вместе с Беркли, что мгновенные зрительные данные состоят из цветов, расположенных в пространственном многообразии двух измерений; но мы приходим к этому заключению исходя из двумерности глазной поверхности, или учитывая иллюзии, которые могут быть вызваны двумерными артефактами (такими, как картины и зеркала), или, более абстрактно, просто замечая, что прерывание света в пространстве с необходимостью должно происходить вдоль поверхности. Так же мы можем считать, что мгновенные слуховые данные являются группами компонентов, каждый из которых есть функция ровно двух переменных, — высоты и громкости, — но при этом мы опираемся на знание физических переменных частоты и амплитуды в колеблющейся струне.

Мотивирующее понимание, то есть наша способность познавать объекты внешнего мира только через их воздействие на нервные окончания, само базируется на общем знании особенностей физических объектов — освещенных письменных столов, отраженного света, активированной сетчатки. Неудивительно, что поиски чувственных данных должны направляться тем же типом знания, который их вызвал.

Учитывая вышеизложенное, наш философ может попытаться в духе рациональной перестройки выделить чистый поток чувственного опыта, а затем описать физическое учение как средство систематизации регулярностей, различимых в потоке. Он может вообразить идеальный „протскольный язык“, который несомненно первичен, даже если в действительности выучен после усвоения общепринятых названий вещей или не выучен вообще, — предельно упрощенное средство передачи чистой информации. Называние обычных физических объектов он мог бы рассматривать в принципе как средство упрощения беспорядочной оценки происходящего.

Но это обманчивый способ описания предметов, даже если идея „языка“ чувственных характеристик считается метафорой. Ибо беда в том, что в качестве автономной области непосредственный опыт попросту не будет связным. Его объединяют в значительной степени ссылки на физические объекты. Эти ссылки не являются только лишь несущественными признаками изначально межличностного характера языка, которые можно удалить посредством изобретения искусственно субъективного языка для чувственных

данных. Скорее, они дают нам наш главный продолжительный доступ к самим прошедшим чувственным данным, поскольку прошедшие чувственные данные по большей части уходят навсегда (за исключением тех, которые отмечены в физических постулатах). Все, чем мы располагаем, не считая постулатов и теории, — это наличествующие чувственные данные и память об утраченных чувственных данных; а оставленный чувственными данными в памяти след слишком незначителен для того, чтобы оказаться полезным. Существующие воспоминания чаще всего — это следы не прошлых ощущений, а прошлых концептуализаций или вербализаций¹.

Существуют все основания для исследования чувственных или связанных со стимулом предпосылок общепринятого названия физических объектов. Ошибка заключается лишь в поисках имплицитной подосновы концептуализации или языка. Концептуализация на любом рассматриваемом уровне неотделима от языка, и наш обыденный язык, используемый для наименования физических объектов, оказывается базисным почти настолько, насколько это возможно для языка.

Нейрат уподоблял науку лодке, которую (если мы хотим ее перестроить) мы должны перестраивать доску за доской, оставаясь в ней на плаву. Философ и естествоиспытатель находятся в такой же лодке. Если мы усовершенствуем наше понимание обыденных названий физических объектов, это произойдет не с помощью сведения этих названий к более привычному средству выражения — такого не существует. Это произойдет посредством прояснения связей, причинных или каких-либо других, между обыденными названиями физических объектов и различными дополнительными сущностями, которые в свою очередь осознаются нами с помощью названий физических объектов.

На первый взгляд идея того, что обыденное название привычных физических объектов обычно понимается не само по себе, или что привычные физические объекты не реальны, или, что очевидно их реальность нуждается в раскрытии, включает в себе некоторое словесное искажение. Ибо, несомненно, ключевые слова — „понимается“, „реальны“ и „очевидность“ — здесь также недостаточно определены для того, чтобы выстоять при таком суровом обращении с ними. Нам следовало бы лишить их самой предметной соотнесенности, которой они обязаны своим значениям, свойственным им с нашей точки зрения. Так, лексикограф д-р Джонсон демонстрировал реальность камня, пиная его; и по крайней мере сначала для дальнейшей разработки в нашем распоряжении находилось немногим больше джонсоновского метода.

¹ См. Chisholm, 1957, p. 160.

Привычные материальные объекты не исчерпывают собой всей реальности, но являются ее замечательными образцами.

Существуют, однако, философы, которые утрируют эту мысль, обращаясь с обыденным языком как с чем-то неприкосновенным. Они возвеличивают обыденный язык вообще, за исключением одной его характерной черты: склонности к эволюции. Неологизм в науке есть языковая эволюция, происшедшая осознанно, так же, как наука есть осознавший себя здравый смысл. А философию в свою очередь как попытку лучше разобраться в вещах не следует отличать — с точки зрения цели и метода — от хорошей и плохой науки.

В частности, если мы преуспеем в организации и упорядочении различных отличительных черт выражений, используемых в так называемых утверждениях существования, то обнаружим, что некоторые из них приобретут ключевое значение в структуре, становящейся все более систематизированной; а затем, действуя в русле типичного научного поведения, мы будем считать эти средства выражения утверждениями существования в строгом смысле. Можно было бы (хотя мы так поступать не будем) закончить на обнаружении того факта, что по самой привлекательной и наиболее адекватной общей оценке мира существование (в уточненном смысле слова) в конечном счете не соответствует обычным физическим объектам. Возможные отклонения подобного рода от джонсоновского метода могли бы питаться духом науки и даже эволюционным духом самого обыденного языка.

Наша лодка остается на плаву потому, что при каждой перестройке груз мы сохраняем в целостности — это наша забота. Наши слова продолжают иметь смысл благодаря непрерывности изменения теории: мы искажаем употребление достаточно постепенно для того, чтобы избежать разрыва. И так же вначале обстоит дело и в случае джонсоновского метода, поскольку наше исследование объектов может последовательно начаться только в связи с системной теорией, которая сама опирается на временно принятые нами допущения относительно объектов. Мы ограничены в выборе начала, даже если мы не ограничены в выборе конца. Усложняя образ Нейрата с помощью Витгенштейна, скажем, что мы можем оттолкнуть ногой нашу лестницу лишь после того, как мы на нее взобрались.

Итак, утверждение, что объекты внешнего мира известны нам в конечном счете только через их воздействие на нас, должно быть принято как одна из взаимосогласованных истин (в физике или еще где-либо) об изначально бесспорных физических объектах. Это утверждение определяет эмпирическое значение нашего названия физических объектов без опоры на референцию. Остается веская причина более подробно исследовать эмпириче-

ское значение или мотивы нашего названия физических объектов, так как подобным образом мы познаем пределы творческого воображения в науке; и это исследование ничуть не станет хуже, если будет проводиться в рамках тех же самых физических допущений. Поскольку ни одно исследование невозможно без некоторой концептуальной схемы, мы можем сохранять и пользоваться лучшей из нам известных — вплоть до последней подробности квантовой механики, если она нам известна.

Анализируя строение теории, как нам хочется, мы должны начинать с середины. Нашими концептуальными основами являются объекты среднего размера и средней удаленности, и наше знакомство с ними и со всем остальным оказывается в центре культурной эволюции человека. Усваивая это культурное наследие, мы осознаем разницу между сообщением о действительных событиях и выдумкой, содержанием и формой, впечатлением и концептуализацией не больше, чем между белками и углеводами в процессе потребления. Ретроспективно мы можем различать компоненты строения теории, как мы различаем белки и углеводы, живя за их счет. Мы не можем устранить все концептуальные внешние атрибуты предложение за предложением и оставить голое описание объективной действительности, но мы можем исследовать действительность и человека как ее часть и таким образом выяснить, какие впечатления человек может получить от того, что вокруг него происходит. Вычитая из его представления о мире его впечатление, мы в качестве разности получаем чистый вклад человека. Эта разность характеризует степень человеческого концептуального суверенитета — область, в пределах которой он может пересматривать теорию, сохраняя данные.

Итак, в этой вводной главе я предлагаю рассматривать наше именование физических феноменов как физический феномен, а наше научное творчество как деятельность в пределах представляемого нами мира. В следующих главах рассмотрение будет проводиться более подробно.

§ 2. Тяга к объективному, или *e pluribus unum**

„Ой“ представляет собой однословное предложение, которое человек может время от времени использовать в качестве лаконичного комментария происходящего. Правильным его употребление следует считать тогда, когда оно сопровождается ощущением боли. Такое употребление слова, как и правильное употребление языка вообще, внушается индивидууму обществом. Причем общество добивается этого, несмотря на то что оно не разделяет

* 'Из многих одно' (лат.). — *Прим. перев.*

страданий индивидуума. Метод общества состоит в поощрении высказывания „Ой“ в том случае, если говорящий проявляет дополнительные признаки внезапного неудовольствия, скажем, вздрагивает, или если видно, что он действительно испытывает боль, и осуждает высказывание „Ой“ в том случае, если говорящий не подвергся видимой опасности и его спокойствие ничем не нарушено.

Для человека, выучившего этот языковой урок, стимулом для произнесения „Ой“ будут видимые для окружающих удары и порезы. Общество, реагируя исключительно на внешние проявления, может тем не менее обучить индивидуума говорить надлежащие с точки зрения общества вещи даже в ответ на скрытые от общества стимулы. Хитрость заключается в том, что скрытый стимул сопровождается открытой реакцией, например вздрагиванием.

Мы можем представить себе примитивное употребление „Красный“ в качестве однословного предложения, отчасти аналогичное употреблению „Ой“. Точно так же, как „Ой“ — замечание, уместное при ощущении боли, „Красный“ (в том употреблении, какое я сейчас рассматриваю) уместно при различных фотохимических реакциях, происходящих на сетчатке под влиянием красного света. В этом случае метод общества состоит в поощрении высказывания „Красный“, если очевидно, что индивидуум смотрит на нечто красное, и в осуждении данного высказывания, если очевидно, что индивидуум смотрит на нечто иное.

В действительности, употребление „красный“ сложнее. Большей частью „красный“, в отличие от „ой“, встречается как фрагмент более длинных предложений. Более того, даже когда слово „Красный“ используется само по себе в качестве однословного предложения, восприятие чего-то красного не является обычно единственной причиной этого. Как правило, имеется еще вербальный стимул в форме вопроса. Но давайте представим себе употребление, описанное в предыдущем абзаце. Мы можем найти отличие этого употребления от употребления „Ой“, несмотря на их сходство.

Критик, представитель общества, одобряет „Красный“ в качестве высказывания некоего субъекта, если он видит и субъекта и наблюдаемый субъектом объект и находит, что этот объект действительно красный. Это значит, что реакция критика отчасти объясняется просто иррадиацией возбуждения на его сетчатке. К счастью для критика, в случае с „Ой“ отсутствует существующая в случае с „Красный“ частичная симметрия между впечатлением субъекта, стимулирующим высказывание, и впечатлением критика, стимулирующим одобрение. Частичная симметрия в одном случае и отсутствие таковой в другом внушают некоторое поверхностное представление о большей субъективности „Ой“ по

сравнению с „Красный“; „Красный“, таким образом, более объективно, чем „Ой“.

С другой стороны, возможны исключения. Если критик и субъект вместе тушат пожар и их внезапно обжигает пламя, одобрение критиком высказывания „Ой“ по существу не отличается от рассмотренного случая с „Красный“. И напротив, критик может одобрить высказывание „Красный“ на основании косвенных данных, будучи не в состоянии взглянуть на объект. Если мы утверждаем, что „Ой“ субъективней, чем „Красный“, то следует понимать, что мы имеем в виду лишь наиболее характерные учебные ситуации. В типичном случае с „Красный“ обучающий, он же критик, видит красное, в типичной же ситуации для „Ой“ он не испытывает боли.

„Ой“ не является независимым от социального обучения. Надо только уколоть иностранца, чтобы убедиться, что это* английское слово. Но в его субъективности нет ничего необычного. Слова — социальные инструменты, объективность важна для их выживания. Однако, если слово, несмотря на субъективные особенности, довольно сильно распространено, как, например, местоимения „я“ и „ты“, то можно ожидать, что оно имеет важную социальную функцию, в каком-то смысле — исключительного рода. Важность „ой“, с точки зрения общества, состоит в том, что оно сигнализирует о страдании. И все же это слово имеет только периферийный лингвистический статус, будучи неспособным входить в состав более длинных предложений.

Обычное поощрение за объективность хорошо иллюстрируется на примере слова «квадрат». Каждый из наблюдателей смотрит на кафельную плитку со своего места и называет ее квадратом, но на сетчатку каждого из них проецируется неравносторонний четырехугольник, отличный от всех прочих. Обучаемый слову „квадрат“ должен поставить себя на место других наблюдателей, в результате чего он научится правильно употреблять это слово. Для обучения проще было бы связать слово „квадрат“ только с теми ситуациями, в которых проекция на сетчатку представляет собой квадрат; но более объективным, при всем его межличностном характере, является именно то употребление, с которым мы часто сталкиваемся и которое поощряется.

Вообще, если выучивать слово индуктивно, наблюдая образцы его употребления, то эти образцы должны быть похожи друг на друга в двух отношениях: они должны сохранять сходство с точки зрения обучаемого, от события к событию, чтобы представить ему основание для обобщения, и должны быть достаточно похожи одновременно с разных точек зрения, чтобы обучающий и

* В оригинале: „Ouch“. — Прим. перев.

обучаемый могли согласовывать свои впечатления. Употребление слова, ограниченное случаем квадратной проекции на сетчатке, отвечает только первому требованию, использование же слова для обозначения всех квадратных предметов во всех неравносторонних проекциях отвечает обоим. Оно удовлетворяет обоим требованиям в том смысле, в каком точки зрения, удовлетворяющие обучаемого от события к событию, похожи на точки зрения, удовлетворяющие и обучающего, и обучаемого при одновременно происходящих событиях. Таков способ обращения со словами, обозначающими наблюдаемые объекты вообще. Поэтому эти объекты и находятся в фокусе референции и мышления.

„Красный“ в отличие от „квадрат“ представляет собой счастливый случай, когда наблюдатели одновременно попадают в почти одинаковые стимулирующие обстоятельства. Сетчатки всех участников подвергаются, по существу, воздействию одного и того же красного света, тогда как никакие две из них не получают одинаковых проекций квадрата. Тяга к объективности, таким образом, — это сильное отталкивание от субъективно простейшего правила ассоциации в случае с „квадрат“, и в значительно меньшей степени сильное в случае с „красный“. Этим объясняется наша готовность считать цвет более субъективной сущностью, чем физическая форма. Однако тяга подобного рода существует и для „красный“, поскольку изменение среды приводит к потере различных оттенков. Тяга к объективному систематизирует все реакции на „красный“ посредством упорядочивания множества скорректированных впечатлений. Эти скорректированные впечатления привлекаются бессознательно; такова сила нашей социальности. Художник должен приучать себя отбрасывать эти впечатления, когда он пытается воспроизвести действительное изображение на сетчатке.

Единообразие, которое объединяет нас в общении и убеждениях, представляет собой единообразие полученных в результате социального обучения образцов употребления, лежащих над хаотичным субъективным разнообразием связей между словами и опытом. Единообразие проявляется в вещах, имеющих социальную значимость, скорее, следовательно, в том, что открыто для взгляда общества, чем в том, что от него скрыто. В качестве яркой иллюстрации рассмотрим двух людей, один из которых имеет нормальное зрение, а другой не различает красный и зеленый цвета. Общество обучает обоих по методу, изложенному ранее: поощряет высказывание „красный“, когда говорящий устремил взгляд на нечто красное, и осуждает его в противном случае. Более того, при грубой социальной оценке внешние результаты почти одинаковы; оба человека достаточно точно употребляют „красный“ именно по отношению к красным вещам. Но индиви-

дуальные механизмы, благодаря которым они достигают сходных результатов, совершенно различны. Один человек выучил „красный“, ассоциируя его с фотохимическими реакциями установленного образца. Другой же с трудом научился произносить „красный“ под воздействием света с различной длиной волны (красного и зеленого), принимая во внимание достаточно сложные специальные дополнительные признаки интенсивности, насыщенности, формы и окружающей обстановки с таким расчетом, чтобы в условия употребления попали огонь и закат, но не трава; цветы, но не листья; раки, но только вареные.

Люди, выросшие в условиях одного и того же языка, похожи, как кусты в саду, принявшие по воле садовника форму слона. Анатомические детали прутьев и веточек удовлетворяют этой форме для различных кустов по-разному, но внешние результаты сходны.

§ 3. Взаимооживление предложений¹

„Ой“ рассматривалось как однословное предложение. „Красный“ и „Квадрат“, употребленные изолированно, также удобно считать предложениями. Однако большинство предложений длиннее. Но даже более длинное предложение все же может быть выучено как единое целое, подобно „Ой“, „Красный“ и „Квадрат“, посредством прямого соотнесения всего высказывания с некоторой сенсорной стимуляцией. Типично юмовские проблемы относительно того, как мы приобретаем различные идеи, зачастую можно обойти, представляя рассматриваемые слова в качестве фрагментов предложений, выученных как единое целое.

Не все, но даже и не большинство предложений выучивается как целое. Скорее уж, большинство предложений построено из выученных частей по аналогии с уже знакомым употреблением этих частей в составе других предложений независимо от того, были ли они выучены как целое или нет². Какие предложения получены таким синтезом, а какие целиком — вопрос собственной, причем забытой, истории каждого индивидуума.

Понятно, как новые предложения могут быть построены из старого материала и под воздействием аналогии использованы при соответствующих обстоятельствах. Привыкнув к правильному употреблению термина „нога“ (или „это моя нога“) как предложения, к такому же употреблению термина „рука“, а также к употреблению „У меня болит нога“ как целого, ребенок в подходящей ситуации может произнести: „У меня болит рука“, — не имея никакого опыта употребления этого предложения.

¹ Выражение заимствовано у Ричардса.

² Этот процесс (и первичность предложения) были уже описаны в древней Индии. См. В г о u g h, 1953, p. 164—167.

Но подумайте, как мало мы могли бы сказать, если бы наше обучение предложениям осуществлялось только двумя способами: (1) выучиванием предложений целиком путем прямого соотнесения их с соответствующими невербальными стимуляциями и (2) образованием новых предложений из уже выученных путем подстановки по аналогии, как это описано в предыдущем абзаце. Предложения, полученные первым способом, таковы, что для каждого из них существует ряд ситуаций, стимулирующих их произнесение, независимо от более широкого контекста. Так же обстоит дело и с предложениями, полученными вторым способом; этим способом они выучиваются быстрее, хотя могут быть выучены и первым способом. Ограниченная таким образом речь удивительно напоминала бы сообщение о сенсорных данных в чистом виде.

В § 1 говорилось о том, что существующие воспоминания чаще всего представляют собой следы не прошлых ощущений, а прошлых концептуализаций. Исходя из этого, можно решить, что же нужнее для использования богатств прошлого опыта. Мы не в силах прекратить концептуализацию чистого потока опыта; нам необходимо лишить поток его чистоты. Желательно связывать предложения не только с невербальной стимуляцией, но и с другими предложениями, если мы собираемся пользоваться завершенными концептуализациями, а не только повторять их.

Вышеупомянутый способ (2) уже представляет собой в известном смысле связь между предложениями, но только весьма ограниченную. Помимо этого необходимы связи между словами, которые обеспечивали бы употребление новых предложений, не привязывая их (даже опосредованно) к какому-либо фиксированному набору невербальных стимулов.

Наиболее очевидным случаем вербальной стимуляции вербальной реакции оказывается вопрос. В § 2 уже отмечалось, что, для того чтобы употребить „Красный“ в качестве однословного предложения, требуется задать вопрос. Вопрос может быть самым простым: „Каков цвет этого предмета?“ В этом случае стимул, вызвавший ответ: „Красный“, — является составным: красный свет воздействует на глаз, а вопрос — на ухо. Могут быть и другие вопросы, например: „Какой цвет вы предпочитаете?“ или „Каков обычный цвет этого предмета?“ В этих случаях вербальный стимул, вызывающий ответ „красный“, не сопровождается красным светом, хотя способность этого стимула вызывать ответ „красный“ обусловлена, конечно же, существованием связи „красный“ с красным светом.

Также широко распространена и обратная зависимость: способность невербального стимула вызывать данное предложение обычно обусловлена существованием связи между предложением

ми. И действительно, именно случаи такого рода лучше всего иллюстрируют то, как язык претупает границы, в сущности, феноменалистского „отчета“. Так, некто, смешав содержимое двух тюбиков и обнаружив зеленый оттенок, говорит: «Там была медь». В этом случае предложение вызвано невербальным стимулом, но эффективность стимула вызвана существованием системы связей между словами (этот некто изучает химию). Это хорошая иллюстрация будничной концептуальной схемы как действующей силы. Здесь, как и на неразвитой стадии (1) и (2), предложение вызвано невербальным стимулом, но здесь, в отличие от неразвитой стадии, система вербальных связей хорошо сформулированной теории становится посредником между стимулом и реакцией.

Теория-посредник состоит из предложений, связанных между собой множеством способов, реконструировать которые трудно даже предположительно. Существуют так называемые логические связи и так называемые причинные связи, но все взаимосвязи предложений должны обуславливаться соотношением предложений-реакций с предложениями-стимулами. Если некоторые из этих связей при более подробном рассмотрении считаются логическими или причинными, то таковыми они являются только при соотношении с так называемыми логическими или причинными законами, которые в свою очередь суть предложения в данной теории. Теория как целое (в данном примере — раздел химии плюс соответствующие приложения из логики и откуда-либо еще) представляет собой ткань предложений, различным образом связанных друг с другом и невербальными стимулами с помощью механизма условных реакций.

Теория обуславливает разделение чувственных данных посредством предложений. Например, в арке верхний блок непосредственно поддерживается другими верхними блоками, а в конечном счете — всеми блоками основания вместе и ни одним из них в отдельности; так же обстоит дело и с предложениями, если они удовлетворяют теории. Контакт блоков — это связь предложений, а блоки основания — это предложения, соотношенные с невербальными стимулами по (1) и (2). Возможно, нам следует вспомнить о том, что арка неустойчива во время землетрясения; но тогда лежащий в основании блок поддерживается другими блоками основания посредством всей арки³.

Наш пример „Там медь“ представляет собой верхний блок наряду с „Окись меди зеленая“ и другими. Одним из блоков основания, возможно, является предложение „Вещество стало зеле-

³ Аналогии с тканью и с аркой хорошо дополняются более подробной аналогией с сетью, описанной Гемпелем (H e m p e l, 1952, p. 36).

ным“ — предложение, непосредственно соотносимое с сенсорной стимуляцией в виде тьюбика.

В цепи связей между предложениями, соединяющей в конечном счете предложения „Вещество стало зеленым“ и „Там была медь“, все звенья, кроме последнего, в явном виде не проговариваются. Некоторые из них могут быть произнесены отрывочно или про себя, но большая их часть опускается. Такое ощущение, выходящее за рамки аналогии с аркой, кажется, в сущности, банальной вещью: транзитивностью соотнесения.

Другой проблемой, выходящей за рамки аналогии с аркой, является различие между предложениями, зависящими от обстоятельств (такими, как „Там была медь“), истинности которых надо в различных экспериментальных условиях каждый раз оценивать заново (§ 9), и вневременными предложениями (такими, как „Окись меди зеленая“), истинными всегда (§ 40). Предложения, зависящие от обстоятельств, произносятся химиком-практиком довольно часто; вневременное же предложение может быть произнесено им один раз в юности на экзамене. Именно вневременные предложения чаще всего опускаются из-за транзитивности соотнесения, оставляя лишь косвенный след в моделях соотнесения других предложений.

Из связей между предложениями выводится разветвленная вербальная структура, которая первоначально различными способами была соотнесена с невербальной стимуляцией как единое целое. Эти связи приписаны отдельным предложениям (для различных людей они различны), но те же самые предложения связаны, в свою очередь, друг с другом и с остальными предложениями так, что невербальные соединения сами могут растягиваться и поддаваться давлению⁴.

Очевидным образом эта структура взаимосвязанных предложений есть единственная связная ткань предложений, включаю-

⁴ Олдрич (Aldrich, 1955, p. 18 f.) резюмировал и критиковал мою точку зрения по этим вопросам, в частности, следующим образом: «Развивая и модифицируя свое представление об универсуме дискурса как о поле действия силы, ограниченной „опытом“ внешнего мира, я полагал, учитывая некоторые замечания Куайна, что существуют две силы, которые соединяются, чтобы создать это поле, или интерпретируют его: „эмпирическая“ сила, которая действует на поле извне и таким образом сильнее на периферии, и формальная или логическая сила (ее принципом является простота и симметрия законов), распространяющаяся из центра. Но, противореча себе, Куайн ... кажется, говорит ... что внешняя эмпирическая сила действительна только на краю „снаружи“. Внутрь центральная сила простоты, удобства и красоты одерживает победу сама по себе». Однако Олдрич в этом замечании упускает из виду то, что периферийные предложения, которые могут быть крепко связаны с невербальной стимуляцией, связаны также и с другими предложениями, так что внешняя сила передается вовнутрь. По поводу двойственности сил см., кроме того, двуполюсное представление у Смита (Smith, 1957).

щая в себя все, что мы только говорим о мире; ведь, по крайней мере логические истины и, безусловно, многие общие места уместны при любой теме и тем самым обеспечивают связность⁵. Однако часть теории даже среднего размера несет в себе все связи, которые, вероятно, влияют на нашу оценку данного предложения. Устойчивость связи с невербальными стимулами, способность такой связи противостоять обратному воздействию „ядра“ теории изменяется от предложения к предложению. Однако, даже если соотнесение с невербальной стимуляцией устойчиво, не следует ставить вопрос о том, в какой степени оно оригинально, а в какой является следствием сокращения старых связей между предложениями с помощью транзитивности соотнесения. За единообразием, объединяющим нас в общении, скрывается хаотическое индивидуальное разнообразие связей, и для каждого из нас связи продолжают развиваться. Никто из нас не учит язык одинаково, и до известной степени каждый учит язык, пока живет.

§ 4. Способы изучения слов

В начале § 3 мы отмечали разницу между заучиванием предложения как целого и построением его из частей. Первые выученные предложения выучиваются как целое (как мы видели, некоторые из них однословные). По мере своего развития ребенок все больше обращается к способу построения новых предложений из частей, так что обычно говорят уже об изучении не новых предложений, но новых слов. Впрочем, изучение нового слова — это, как правило, изучение его в контексте, — отсюда изучение (по аналогии и с помощью примеров) употребления тех предложений, в которых может встретиться данное слово. Поэтому вполне уместно было на протяжении всего § 3, а не только в его начале, рассматривать как целое (употребление которого выучивается) не слова, а предложения, хотя мы ни в коем случае не отрицаем, что изучение этого целого в значительной степени происходит посредством абстрагирования и объединения частей. Теперь перейдем к более подробному рассмотрению этих частей.

Вопрос о том, что считать словом, в противоположность цепочке из двух или более слов, менее очевиден, чем вопрос о том, что считать предложением. Принципы использования пробелов печатником достаточно неясны, а релевантность этих принципов для нашего рассмотрения вдвойне неясна. Мы даже можем поддаться искушению и, выбросив опыт печатников на ветер, назы-

⁵ Этот момент остался незамеченным, я полагаю, некоторыми из тех, кто протестовал против чрезмерного холизма, иногда поддерживаемого мною. Но и без этого я считаю их возражения оправданными. См., например, у Хофстадтера (Hofstadter, 1954, p. 408).

вать любое предложение словом (наравне с „Ой“), если оно скорее выучено целиком, чем составлено из частей. Но этот план плох; в этом случае категория слова непредсказуемым образом варьировала бы от человека к человеку и представляла бы для каждого функцию его собственной уже забытой детской истории. В действительности мы здесь не нуждаемся ни в каком улучшении понятия слова. Опыт печатников, как бы он ни был случаен, дает слову „слово“ достаточно хорошее определение для всего, что мне придется сказать.

Изучение слов (в этом грубом смысле слова) включает противоположение, аналогичное тому, которое имеется между изучением предложения как целого и построением его из частей. В случае слов — это противоположение между изучением слова отдельно, то есть, по существу, как однословного предложения, и изучением его в контексте, или путем абстрагирования, как фрагмент предложения, заучиваемого целиком. Предлоги, союзы и многие другие слова могут быть изучены только в контексте; мы продолжаем употреблять их по аналогии с употреблениями, уже отмеченными в прошлых предложениях. Существительные, прилагательные и глаголы большей частью выучиваются в изоляции, но какие из них выучиваются так, а какие в контекстном употреблении, зависит от конкретного человека. Вероятно, некоторые слова, например „sake“*, выучиваются только в контексте.

То же самое кажется вероятным для таких термов, как „молекула“, которые в отличие от „красный“, „квадрат“ и „кафель“ не соотносятся с вещами, на которые можно определенным образом указать. Такие термы, однако, могут быть введены также третьим способом: описанием подразумеваемых объектов. Этот способ может быть приравнен к концептуальному, но он заслуживает быть отмеченным особо.

Именно аналогия дает возможность понятно описать неощутимые вещи, особенно специальная форма аналогии, известная как экстраполяция. Так, рассмотрим молекулы, которые описываются как то, что меньше всего виденного. Этот терм „меньше“ изначально осмыслен для нас по ассоциации с таким наблюдаемым различием, как между пчелой и птицей, мошкой и пчелой, пылинкой и мошкой. Экстраполяция, которая позволяет говорить о полностью невидимых частицах, например микробах, может быть представлена как аналогия относительности: предполагается, что микробы сравниваются по величине с пылинками так же, как те с пчелами. Ничего удивительного, если микробы ускользают от взгляда исследователя, — часто такое бывает и с пылью. Микроскопы подтвердили учение о микробах, но они не требова-

* „for the sake of ...“ ‘ради...’. — Прим. перев.

лись для его понимания; переход к еще более мелким частицам, молекулам и т. п., так же мало утруждает воображение.

Один раз мы уже вообразили молекулы с помощью аналогии по величине, приведем же еще и другие аналогии. Так, обращаясь к динамическим термам, выученным сначала в связи с видимыми объектами, мы определяем молекулы как движущиеся, сталкивающиеся и отталкивающиеся. Такова способность аналогии — дать ощутить неощутимое.

Но аналогия в первоначальном смысле, как мы могли бы это назвать, связывает вещи, которые уже стали известны не по аналогии. Сказать, что молекулы постигаются по аналогии с частицами или другими наблюдаемыми объектами, — значит совершенно определенно отойти от первоначального смысла аналогии. Если мы точнее определим место аналогии в связи с отношением „быть меньше“ (как я сделал, предполагая, что отношение „быть меньше“ между молекулами или микробами и пылинками понимается по аналогии с наблюдаемым отношением „быть меньше“ между пылинками и мошками и т. д.), мы все равно отойдем от аналогии в первоначальном смысле; данная аналогия все-таки не является аналогией между вещами (или отношениями), известными не по аналогии. Мы можем, однако, представить дело так, чтобы сохранить первоначальный смысл понятия „аналогия“. В этой аналогии участвуют, с одной стороны, наблюдаемые твердые тела, наблюдаемые так называемые массы, например пылинки или мошки.

Эта аналогия, конечно, весьма ограничена. Дополнительную помощь для понимания динамики молекул твердого тела можно найти в аналогии с множеством пружинок в кровати. Но факт в том, что того, что выжуживается по аналогии, совсем недостаточно. Чтобы получить действительное представление о молекулах, надо видеть молекулярное учение в действии в рамках физической теории, и это совсем не предмет аналогии, и не предмет описания. Это предмет изучения слова в контексте в качестве фрагмента предложений, которые заучиваются для дальнейшего использования в соответствующих условиях как целое.

В случае некоторых термов, которые соотносятся или претендуют на соотнесение с физическими объектами, знание аналогии более ограничено, чем в примере с молекулами. Так, в физике света, с ее известной смешанной метафорой волны и частицы, понимание физиком того, о чем он говорит, должно почти полностью зависеть от контекста: от знания, когда употреблять различные предложения, которые говорят одновременно о фотонах и наблюдаемых феноменах света. Такие предложения похожи на конструкции на кронштейнах: их значение фиксировано на ближнем конце, когда они говорят о привычных объектах, и это спо-

способствует пониманию малоизвестных объектов на дальнем конце. Объяснение становится, как ни странно, взаимным: фотоны кладутся в основу объяснения феноменов, но именно эти феномены и их теория объясняют, что же физик имеет в виду, говоря о фотонах¹.

Похоже, что, когда кто-либо предлагает теорию, описывающую объекты определенного рода, наше понимание того, что он говорит, состоит из двух фаз: во-первых, мы должны понять, что это за объекты, и во-вторых, мы должны понять, что за теория их описывает. В случае с молекулами эти две фазы вполне отделимы друг от друга благодаря наличию достаточно хороших аналогий, которые осуществляют первую фазу; все же наше понимание этих объектов во многом зависит от второй фазы. В случае с волнами-частицами фактически нет никакого значимого разделения. Мы приходим к пониманию того, что это за объекты, большей частью именно потому, что мы знаем, что за теория их описывает. Ведь не верно, что мы выучиваем сначала то, о чём говорим, и лишь затем то, что мы говорим об этом.

Представьте себе двух физиков, спорящих о том, имеет ли нейтрино массу. Одни и те же ли объекты они обсуждают? Они признают, что физическая теория, которую они изначально разделяют, донейтринная теория, нуждается в изменениях в свете противоречащих ей экспериментальных данных. Один физик настаивает на изменении, при котором постулируется новая категория частиц, имеющих массу. Второй настаивает на альтернативном изменении, при котором постулируется новая категория частиц, не имеющих массы. Тот факт, что оба физика используют слово „нейтрино“, не является важным. Абсурдно различать здесь две фазы: первую — согласие в том, что это за объекты (то есть нейтрино), и вторую — расхождение в том, каковы они (с массой или без массы).

Разделение слов на те, которые следует рассматривать как соотносящиеся с объектами определенного рода, и те, которые так рассматривать не следует, не нужно проводить на основе грамматики. „Sake“ — яркий тому пример. Примером другого рода будет „кентавр“. Пример третьего рода — „атрибут“; среди философов возникают разногласия по поводу того, существуют ли атрибуты. Вопрос о том, каковы они, будет подробно рассматриваться позднее (гл. 7). Но между тем мы видим, что различия в способах изучения слов связаны и с грамматическими, и с референциальными различиями. Слово „кентавр“, хотя и не является

¹ По поводу косвенного характера связи между теоретическими терминами и терминами непосредственного наблюдения см.: Braithwaite, 1953, Ch. 3; Carnap, 1956; Einstein, p. 289; Frank, 1950, Ch. 16; Hempel, 1952 и 1958 (обе работы).

истинным ни для чего, выучивается обычно с помощью дескрипции подразумеваемых объектов. Конечно же, это слово можно выучить и с помощью контекста. „Sake“ может быть выучено только с помощью контекста. Слово „кафель“, соотносящееся с объектами, может быть выучено и в изоляции, как однословное предложение, и в контексте, и с помощью дескрипции. Слово „молекула“, которое также (допустим это) соотносится с объектами, выучивается и контекстуально, и по дескрипции. То же имеет место и для слов „фотон“ и „нейтрино“, правда, дескриптивный фактор в этих случаях слабее, чем в случае со словом „молекула“. Наконец, „класс“ и „атрибут“, независимо от того, допускаем мы для них соотношение с объектами или нет, почти наверняка выучиваются только с помощью контекста.

§ 5. Данные

Слова могут быть выучены как части более длинных предложений, а некоторые слова могут быть выучены как однословные предложения посредством прямого указания на объекты. В обоих случаях слова имеют значения постольку, поскольку их употребление в предложениях обусловлено сенсорными, вербальными или какими-либо иными стимулами, и реалистическая теория данных должна быть неотделима от психологии стимула и реакции в применении к предложениям.

Модель обусловленности сложна и применяется от индивидуума к индивидууму, но существуют точки общей согласованности: сочетания вопросов и невербальных стимулов, которые с большой степенью вероятности влекут положительный ответ любого индивидуума, пригодны для зачисления в соответствующую речевую общность. Джонсон нашел такое сочетание, обратившись к стимулу, который на вопрос, камень ли перед нами, вызвал бы положительный ответ любого из нас.

Называние камня камнем при непосредственном соприкосновении с ним — исключительный случай. Данные упорядочиваются определенным образом обдуманно только при равновесии между сенсорной обусловленностью положительного ответа и противоположной обусловленностью, полученной посредством взаимооживления предложений. Так, обдумываемым вопросом могло бы быть: является ли камнем нечто, увиденное из движущегося автомобиля? Это был камень, и это была смятая бумага — вот два готовых ответа. И предпочтение второму исключает предпочтение первому вследствие взаимосвязей предложений на уровне бытового понимания физической теории. Тогда происходит „проверка“ или поиск дополнительных убедительных данных: человек возвращается к месту, наиболее подходящему для принятия решения, и

ставит себя в условия стимуляции, более точно и непосредственно ассоциируемой с признаком „каменности“ или „бумажности“.

Если же вещь замечена с движущегося поезда, проверочная операция может оказаться неосуществимой. В этом случае вопрос может быть оставлен нерешенным „за отсутствием данных“ или, если кого-то это очень заботит, решенным на уровне рабочей гипотезы в свете имеющихся в распоряжении „косвенных данных“. Так, если местность выглядит каменной, а следов человека мало, мы можем предположить, что вещь была скорее камнем, чем бумагой. То, что мы делаем, когда собираем и используем косвенные данные, фактически значит, что мы побуждаем себя к восприятию, насколько это возможно, цепи стимуляций так, как они отражаются в нашей теории, начиная от настоящих сенсорных стимуляций, через взаимооживление предложений.

Утверждение доктора Джонсона было, помимо всего прочего, достаточно твердо обусловлено данными стимулами для того, чтобы противостоять любой противоположной тяге, возникшей вследствие взаимооживления предложений; но в общем случае данные — это вопрос центра тяжести. Обычно нам следует руководствоваться едва уловимым равновесием различных сил, действующих в ткани предложений и исходящих от соответствующих удаленных стимулов. Иногда это обусловлено тем, что (как в случае с поездом) сильные стимулы, такие, как джонсоновский, недоступны, или тем, что некоторому достаточно сильному стимулу противостоит совместное действие меньших сил в этой ткани. Зачастую же это происходит потому, что рассматриваемое предложение является одним из тех, которые понятны только посредством соотнесения их с другими предложениями.

Предсказание объединяет то, что иллюстрируется примером с машиной, с тем, что иллюстрируется примером с поездом. Так, мы можем прийти к решению о камне косвенным путем, как в примере с поездом, а затем вернуться к месту проверки. Наше предсказание заключается в том, что полученные на близком расстоянии стимуляции вызовут принятие решения о свойстве „каменность“, присущем объекту. Фактически, предсказание — это ожидание лишнего сенсорных данных в пользу уже принятого решения. Когда предсказание оказывается неверным, остается беспокоящая нас сенсорная стимуляция, которая стремится запретить уже принятое решение и, таким образом, уничтожить ту соотнесенность предложений, которая привела к предсказанию. Когда не сбываются предсказания, теории погибают.

В крайнем случае теория может состоять из столь сильно обусловленных связей между предложениями, что она выдерживает одно или два неудачных предсказания. Мы оправдываем неудачное предсказание как ошибку в наблюдениях или как результат

необъясненной помехи. Так, в крайних случаях хвост начинает махать собакой.

Если судить по этим замечаниям, то может показаться, что рассмотрение данных — дело до странности пассивное, не говоря уже о попытке перехвата полезных стимулов: мы как раз стараемся максимально реагировать на происходящее взаимодействие стимуляций. Какой же политике тогда разумно следовать, если не политике пассивности по отношению к взаимооживлению предложений? Казалось бы, разумно искать простейшее решение. Но это предполагаемое свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать. Может быть, наше хваленое чувство простоты, или наиболее вероятного объяснения, во многих случаях — просто осуждение убежденности, основанное на невидимой равнодействующей взаимодействия в цепи стимуляций различной силы.

Во всяком случае, о соображениях простоты в определенном смысле можно сказать, что они предопределяют даже самые случайные действия по индивидуальному узнаванию самого нелюбопытного наблюдателя. Ведь ему постоянно приходится решать, хотя бы только косвенным образом, истолковать ли две отдельные встречи как повторяющиеся встречи с одним и тем же физическим объектом или как встречи с двумя различными физическими объектами. И он решает, таким образом, как довести до минимума, по мере своих подсознательных способностей, такие факторы, как множественность объектов, скорость промежуточных изменений свойств и положений и вообще нерегулярность естественного закона¹.

Осмотрительный ученый продолжает действовать, по существу, тем же образом (правда, более искусно), и среди его ведущих принципов важное место занимает закон минимального действия. Действующие нормы простоты, как бы их ни было трудно сформулировать, играют все более важную роль. В компетенцию ученого входит обобщение и экстраполяция образцовых данных, и, следовательно, постижение законов, покрывающих больше явлений, чем было учтено, и простота в его понимании как раз и есть то, что служит основанием для экстраполяции. Простота относится к сущности статистического вывода. Если данные ученого представлены в виде точек графа, а закон должен быть представлен в виде кривой, проходящей через эти точки, то он чертит самую плавную, самую простую кривую, какую только может. Он даже немного воздействует на точки, чтобы упростить задачу, оправдываясь неточностью измерений. Если он может получить

¹ Блестящий пример см. в Сагнар, 1928, где Карнап в общих чертах описывает то, что он называет „dritte Stufe“ [нем. 'третья ступень'. — *Прим. перев.*].

более простую кривую, вообще опустив некоторые точки, он старается объяснить их особым образом.

Простота не столь желаемая, как соответствие наблюдаемым данным. Наблюдение служит для проверки гипотез после их принятия, простота побуждает к их принятию для проверки. Однако контрольное наблюдение обычно или надолго откладывается или вообще невозможно, и по меньшей мере уже по этой причине простота — окончательный судья.

Чем бы ни была простота, она не просто увлечение. Как руководство к принятию решения, она имплицитно содержится на подсознательной стадии так же, как наполовину эксплицитно выражена на сознательной стадии. Неврологический механизм стремления к простоте, несомненно, существен, хотя и неизвестен, и его значение огромно.

Простота неожиданно оказывается полезной тем (хотя это можно и не заметить), что она раздвигает границы теории — ее богатство в наблюдаемых следствиях. Так, пусть θ — теория, а C — класс проверяемых следствий этой теории. Теория θ получена нами в результате множества K первичных наблюдений (подкласса C). Вообще, чем проще теория θ , тем меньше выборка K из C , достаточная для того, чтобы предложить θ . Сказать это — значит повторить сделанное ранее замечание: простота — это то, что служит основанием для экстраполяции. Однако это отношение может быть описано также в перевернутой форме: при данном K , чем проще теория, тем больше будет в ней содержаться C . Само собой разумеется, последующая проверка C может ликвидировать θ , но все же выигрыш в объеме теории налицо².

Простота также создает хорошие рабочие условия для непрерывной активности творческого воображения; так, чем проще теория, тем легче мы можем удержать в уме соответствующие соображения. Но другое свойство (в этом смысле, может быть, равное по ценности) — это привычность принципа.

Привычность — это то же, чем мы пользуемся, когда мы ухитряемся „объяснять“ новые сущности с помощью старых законов, например, когда мы придумываем молекулярную теорию, чтобы вернуть явления тепла, капиллярного притяжения и поверхностного натяжения в лоно привычных старых законов механики. Привычность имеет значение и тогда, когда „неожиданные наблюдения“ (то есть, в конечном счете, определенный нежелательный конфликт между сенсорными мотивациями, связанными взаиможивлением предложений) побуждают нас пересматривать старую теорию; действие привычности заключается в этом случае в предпочтении минимального изменения.

² О пользе простоты см., кроме того, в Кетепу, 1953.

Польза принципа привычности для непрерывной активности творческого воображения является своего рода парадоксом. Консерватизм, предпочтение унаследованной или выработанной концептуальной схемы своей собственной проделанной работе, является одновременно и защитной реакцией лени, и стратегией открытия. Отметим, однако, важное нормативное различие между простотой и консерватизмом. Всякий раз, когда известно, что простота и консерватизм дают противоположные рекомендации, обдуманное методологическое решение должно быть в пользу простоты. Консерватизм тем не менее является господствующей силой, и в этом нет ничего удивительного: он действует даже там, где не хватает жизненных сил и отказывает воображение.

Еще один принцип, который может быть назван подразумеваемым руководством науки, заключается в достаточности основания. Давний след этого древнего принципа узнаваем, во всяком случае, в том, что ученый избегает неоправданных оригинальностей³. Если он приходит к законам динамики, которые не отдают предпочтения ни одной системе координат перед другими, движущимися относительно друг друга, то он тотчас же решает, что представление об абсолютном покое и, следовательно, об абсолютной позиции непригодно. Такое отбрасывание представлений является, как можно предположить, эмпирически неопределяемым; ведь существуют эмпирически безупречные определения покоя для любой произвольно выбранной из множества установленных систем координат. Это же отбрасывание вполне добровольное.

Последний принцип, вероятно, можно подвести под требование простоты в связи с неопределенностью этого понятия.

§ 6. Постулаты и истина

Мы можем думать, что физик заинтересован в систематизации таких общих истин, которые могут быть высказаны обычными словами об обычных физических объектах. Но самое большее, чего он добивается на этом пути, — это соединение θ слабо связанных теорий реактивных снарядов, изменений температуры, капиллярного притяжения, поверхностного натяжения и т. д. Достаточным основанием для постулирования им необычных физических объектов, то есть молекул или невидимых групп молекул, является то, что для дополненного таким образом универсума он может придумать теорию θ' , которая проще, чем θ , и согласуется с θ в следствиях, касающихся обычных вещей. Следствия же ее для постулируемых необычных вещей независимы.

Оказывается, он поступает не много лучше. Кроме того, что его θ' проще, чем θ , она превосходит θ в отношении привычности

³ См. Birkhoff, 1941, Lecture II.

лежащих в ее основе принципов; ср. § 5. Более того, даже те из ее следствий, которые могут быть пересказаны обычными словами об обычных вещах, превосходят соответствующие следствия из θ , если на то есть определенные причины. Если с помощью какого-либо чуда физик мог бы установить раз и навсегда все истины, которые можно выразить обычными словами об обычных вещах, все же деление утверждений о молекулах на истинные и ложные не было бы окончательно проведено. Мы можем предположить, что он частично проводит это разделение с помощью того, что неопределенно называется научным методом, руководствуясь соображениями простоты объединенной теории обычных вещей и молекул. Однако, возможно, истины о молекулах только частично определены идеальным органом научного метода плюс всеми истинами, которые могут быть выражены обычными словами об обычных вещах; ведь вообще говоря, простейшая из возможных теорий, отвечающих данной цели, не обязательно единственна.

Фактически даже тех истин, которые могут быть выражены обычными словами об обычных вещах, оказывается намного больше, чем требуется для объяснения имеющихся данных. Неполнота описания молекулярного поведения с помощью поведения обычных вещей является только побочным следствием этой более базисной неопределенности: оба типа явлений не полностью определяются стимуляциями наших органов чувств. Это остается истинным, даже если мы добавим все прошлые, настоящие и будущие раздражители всех органов чувств человечества и, вероятно, даже если мы сверх того добавим в действительности недостижимый идеальный орган научного метода.

Молекулы и подобные им необычные физические объекты, рассмотренные соотносительно со стимуляциями наших органов чувств, исчерпывающими наши связи с внешним миром, имеют очень много общего с самыми обычными вещами. Постулирование таких необычных вещей — всего лишь яркий аналог постулирования или признания обычных вещей; его яркость в том, что физик явно постулирует свои объекты на законных основаниях, тогда как гипотеза об обычных вещах скрыта в предыстории. Хотя об основаниях принятия древней и бессознательной гипотезы об обычных физических объектах мы можем говорить не более, чем об основаниях того, что мы — люди или млекопитающие, все же с точки зрения функции и жизненной силы эта гипотеза и гипотеза о молекулах сходны. Конечно же, тем лучше для молекул! Назвать постулат постулатом — не значит относиться к нему снисходительно. Постулат может быть таким, что обойтись без него можно только ценою использования другого, не менее искусственного приема. Все, что мы признаем существующим, — это постулат с точки зрения описания процесса построения теории и

одновременно с точки зрения строящейся теории. И не надо смотреть свысока на точку зрения теории как на выдуманную, так как лучшее, что мы можем сделать, — это принять точку зрения одной или другой теории, лучшей из имеющихся в нашем распоряжении в данное время. Строить догадки о том, на что похожа реальность, — это дело ученого в самом широком смысле слова; и вопрос о том, что существует, что реально, — это часть данной проблемы. Вопрос о том, как мы узнаем, что существует, — это просто часть вопроса, затронутого в § 5 о доказательстве истины о мире. Последний арбитр — это так называемый научный метод, как он ни аморфен.

Научный метод в первом приближении был определен посредством обращения к сенсорным стимулам, к понятию простоты и к понятию привычности. Из рассмотрения значительного количества литературы по научному методу могут быть выведены более точные критерии, хотя принято сомневаться, что научный метод может быть разработан окончательно и определенно. В любом случае научный метод, каков бы он ни был, порождает теорию, чья связь со всеми возможными раздражителями органов чувств заключается лишь в самом научном методе, не подлежащем дальнейшим проверкам. В этом смысле научный метод и является последним арбитром истины.

Пирс пытался определить истину раз и навсегда в терминах научного метода как идеальную теорию, которая достигается как предел, когда (предполагаемые) критерии научного метода непрерывно используются в продолжающемся жизненном опыте¹. Но во взгляде Пирса много неверного, помимо его допущения о конечном органоне научного метода и его обращения к бесконечному процессу. При разговоре о пределе теорий возникает неправильное употребление числовой аналогии, так как понятие предела основывается на понятии „ближе, чем“, которое определено для чисел, а не для теорий. И даже если мы обойдем такие сложности посредством несколько фантастичной идентификации истины с идеальным результатом приложения научного метода сразу ко всей будущей совокупности раздражений органов чувств, все же останется сложность приписывания свойства единственности идеальному результату. Таким образом, как уже отмечалось, у нас нет основания предполагать, что раздражения органов чувств когда-либо допустят какую-либо одну систематизацию, которая с научной точки зрения лучше или проще всех других возможных систематизаций. Кажется более вероятным, что бесчисленные альтернативные теории связаны между собой в первую очередь благодаря симметрии и двойственности. Научный метод — это путь

¹ Peirce, 1932 (или 1934), vol. 5, § 407.

к истине, но он даже в принципе не может дать единственное определение истины. Любое так называемое прагматическое определение истины в равной степени обречено на неудачу.

После этого рассуждения можно найти некоторое утешение в следующем. Если существует (в противоположность нашему выводу) неизвестная, но единственная лучшая и полная систематизация θ знания, подчиненная прошлым, настоящим и будущим раздражениям нервных окончаний человека, так что мы можем определить истину как это неизвестное θ , то мы все же не должны с ее помощью определять истину для фактически существующих отдельных предложений. Мы не можем вывести истинность предложения S , данному вне этой теории. Не будучи обусловленным достаточно сильно и непосредственно сенсорной стимуляцией, предложение S бессмысленно за пределами своей собственной теории; бессмысленно вне теорий². Этот момент, уже достаточно очевидный из § 3 и из аллегории с нейтрино в § 4, более подробно будет рассмотрен во второй главе.

Мы можем говорить и говорим разумно о том или ином предложении как об истинном, скорее тогда, когда мы обращаемся к положениям фактически существующей в данный момент теории, принятой хотя бы в качестве гипотезы. Осмысленно применять понятие „истинный“ к такому предложению, которое сформулировано в терминах данной теории и понимается в рамках постулированной в ней реальности. Здесь нет причин обращаться даже к воображаемой кодификации научного метода. Сказать, что утверждение „Брут убил Цезаря“ истинно или что „Атомный вес натрия — 23“ истинно, в действительности значит просто сказать, что Брут убил Цезаря и что атомный вес натрия — 23³. Тот факт, что это — утверждения о постулированных сущностях, что они значимы лишь относительно данной теории и оправдываются только с помощью дополнительного наблюдения посредством научного метода, уже не играет роли, так как приписывание истинностного значения происходит с позиции той же самой теории и находится в той же самой лодке.

Так что же: мы снизим наши требования настолько, чтобы

² В [Rudin, 1956, p. 390] доказываемся противоположное: «Если составные утверждения сами не имеют истинностного значения, то они не могут сделать никакого вклада в истинностное значение системы как целого... Но если утверждение истинно, тогда оно проверяемо, и если ложно, то также проверяемо, и в обоих случаях осмысленно... Индивидуальное утверждение не просто могло быть осмысленным вне всей науки, но ... оно должно быть таким, если оно может функционировать в пределах научной системы». Наши разногласия возникают на среднем этапе — этапе верификации.

³ Классическое развитие этой темы см. в: „The concept of truth“ — в книге [Tarski, 1956].

довольствоваться релятивистской доктриной истины, то есть оценкой утверждений каждой теории как истинных для этой теории, и не будем делать никаких критических замечаний? Нет! Нас спасает то, что мы продолжаем серьезно относиться к нашей конкретной общей науке, к нашей собственной теории мира или к несвязной ткани квазитеорий, чем бы они ни были. В отличие от Декарта, у нас есть временные мнения, и мы придерживаемся их даже в ходе всего процесса теоретизирования, пока с помощью того, что неопределенно называется научным методом, мы не изменим их там и сям к лучшему.

В рамках нашей собственной общей развивающейся доктрины мы можем определять истину настолько серьезно и абсолютно, насколько это возможно; она подлежит коррекции, но это само собой разумеется.

Глава третья. ОНТОГЕНЕЗ РЕФЕРЕНЦИИ

§ 17. Слова и свойства

Мы видели, что конкретная объектная референция иностранных слов не может быть постигнута с помощью стимульных значений или с помощью других сопутствующих речевых факторов. Когда для английского языка мы решаем, предполагалось ли некоторое слово соотнести с единичным инклюзивным объектом, или же с каждой из его различных частей в отдельности, наше решение базируется на знании специфически английского аппарата артиклей, связок и множественного числа, что непереводимо на иностранные языки, за исключением традиционных или произвольных способов, не predeterminedных речевыми факторами. Самое большее, что мы можем сделать для понимания функционирования этого аппарата, — это рассмотреть составляющие его компоненты относительно друг друга и в перспективе развития частного или общего. В этой главе мы будем рассматривать срастание этих компонентов с речевыми привычками ребенка, принадлежащего нашей культуре. Филогенетическим аспектом мы пренебрегаем, если не считать нескольких умозрительных замечаний в конце главы; и даже говоря об онтогенетическом аспекте, я не рискну описывать психологические подробности действительного порядка приобретения знаний. Как уже отмечалось, мы рассматриваем именно английский язык со всей его спецификой; это ограничение объекта исследования усилится, начиная с § 19.

Странностью нашей болтливой породы является период лепета в позднем младенчестве. Это беспорядочное речевое поведение постоянно предоставляет родителям возможности для закрепления случайных произнесений в тех случаях, когда они кажутся им подходящими к ситуации, и таким образом элементарные речевые знания передаются из поколения в поколение. Лепет представляет собой случай того, что Скиннер¹ называет *рабочим поведением*, скорее необусловленным, нежели вызываемым. Рабочее поведение может быть избирательно закреплено в людях и других живых существах с помощью быстрого поощрения. Живое существо стремится повторить поощренное действие, когда повторяются стимулы, случайно наличествовавшие при первоначальном поступке. То, что было стимуляцией, случайно сопутствовавшей действию, преобразуется посредством поощрения в стимул для действия.

Рабочим действием может быть произвольный лепет или нечто вроде „мама“ в некоторый момент, когда по совпадению появляется лицо матери. Мать, довольная тем, что ее назвали, поощряет это произвольное действие, и, таким образом, в будущем появление лица матери становится стимулом для дальнейших произнесений „мама“. Ребенок выучил случайное предложение.

Это первоначальное произнесение „мама“, несомненно, произошло среди различных стимуляций; материнское лицо не было единственным. Одновременно мы можем предположить, что неожиданно подул ветер. Также присутствовал и сам звук „мама“, слышимый ребенком из своих собственных уст². Следовательно, поощрение приводит к тому, что в будущем он будет стремиться сказать „мама“ не только при виде приближающегося лица, но также и почувствовав ветер или услышав „мама“. Тенденция реагировать таким образом на ветер исчезнет ввиду отсутствия поощрения в следующих случаях; тенденция же реагировать так на услышанное слово „мама“, однако, будет поощряться и впредь, поскольку каждый будет восхищаться кажущейся способностью ребенка к подражанию. Таким образом, реально продолжающимися закрепляться стимулами к произнесению слова „мама“ являются два совершенно различных фактора: увиденное лицо и услышанное слово. Следовательно, истоки подражания находятся в самом начале освоения ребенком слов; и так же обстоит дело с неоднозначностью (или омонимией) между употреблением слов и ссылкой на них.

¹ Skinner, 1953, p. 107f. См. также: Skinner, 1957, p. 20ff. и Langer, 1942, p. 124ff.

² Это обстоятельство, на самом деле, скорее совпадает с произнесением, нежели предшествует ему, но оно все же также допускает закрепление. Ср. Osgood and Sebeok, 1954, p. 21.

При изучении слов нам приходится учиться передавать и принимать. Представим себе ребенка, обучающегося передаче слова „мама“ и также пытающегося повторять слово, услышав его; но мы не принимали во внимание сознательное слушание. Что могло бы считаться сознательным ответом на услышанное слово „мама“ и быть достаточно наглядным для того, чтобы наблюдатель мог оценить и закрепить это? Внушенное согласие (§ 7) — не игра для таких маленьких детей. Возможно, скорее, нечто вроде этого: ребенок слышит слово „мама“ (сказанное отцом), ощущая в то же время мать на периферии своего поля зрения, а затем явно поворачивается к матери. Эта реакция (поворот) могла быть выучена до или после вербальной реакции на лицо. Все это находится в рамках той же старой модели закрепления, только на этот раз первоначальным действием ребенка является скорее поворот, нежели лепет. Повернувшись к матери в то время, когда он случайно слышит слово „мама“, ребенок получает одобрение, и так закрепляется шаблон. Но таким образом от приобретения навыка поворачиваться лицом к названному объекту не следует ждать причуд рабочего поведения, поскольку ребенка можно направлять.

В конце концов, ребенок оказывается подверженным внушению также и при первоначальном произнесении новых слов. Подражание, которое, как мы уже видели, предвещается механизмом закрепленного рабочего поведения, развивается до того уровня, на котором любое новое высказывание, произнесенное кем-либо, становится непосредственным стимулом для воспроизведения. Лишь только ребенок достигает этой стадии, его дальнейшее изучение языка перестает зависеть от рабочего поведения даже в плане говорения; а затем при небольшом или вовсе без намеренного одобрения со стороны старших он продолжает проворно накапливать языковые знания.

У Скиннера, чьим идеям в основных отношениях отвечал, как предполагалось, приведенный набросок, есть и свои критики³. Но на худой конец, мы можем предположить, что описание, помимо того, что оно удобно своей определенностью, по существу, истинно для большей части того, что происходит при первом изучении слов. Остается место и для дальнейшего приращения сил. Таким образом, „мама“ может получаться в результате, как часто говорится, соответствующих предваряющих действий; и Скиннер не возражал бы против этого, поскольку не предполагается, что рабочее поведение ничем не вызвано. Опять же значительную роль и в том, чтобы поощрить правильную речь и в том, чтобы отбить охоту говорить неправильно⁴, может играть

³ Например, Хомский.

⁴ Этой идеей я обязан Дж. А. Миллеру.

скорее некоторая изначальная склонность к подобию, нежели просто будущие оценки, такие, как коммуникация и похвала; но это также близко по духу теории Скиннера, поскольку он не перечисляет поощрений. Такая склонность к подобию может понадобиться для того, чтобы полностью объяснить феномен подражания, несмотря на отмеченную выше помеху.

Так или иначе, ясно, что раннее обучение ребенка вербальной ответной реакции зависит от закрепления окружающими связи между ответной реакцией и стимулами, с точки зрения окружающих, вызывающими эту реакцию; а в противном случае — от устранения этой (неправильной) связи. Это истинно, какова бы ни была причина первой попытки ребенка отреагировать; это истинно, даже если закрепление указанной связи окружающими заключается лишь в подтверждающем употреблении, сходство которого с усилиями ребенка является единственной наградой.

Нет причин предполагать, что стимулы, благодаря которым ребенок в конце концов заучивает единообразную вербальную ответную реакцию, изначально были объединены для него какой-либо одной идеей, какова бы она ни была. Однако если уж ребенку предстоит подвергнуться подобному обучению, т. е. он должен отличаться изначальной склонностью оценивать качественные различия по-разному. Он, так сказать, должен ощущать между одними стимулами большее сходство, чем между другими. В противном случае дюжина подтверждений правильности его ответа „красный“ на предъявление ему красных вещей поощряет аналогичную реакцию в ответ на тринадцатую красную вещь не более, чем на синюю; а дюжина подтверждений правильности его ответа „мама“ в случаях, когда он под разными углами наблюдает лицо матери, была бы так же непоследовательна.

В сущности, таким образом, мы должны приписать ребенку нечто вроде доязыкового качественного пространства. Мы можем оценивать относительные расстояния в его качественном пространстве, наблюдая за тем, как он обучается. Если мы подтверждаем правильность его ответа „красный“ на предъявление малинового и отрицаем правильность такого ответа на предъявление желтого, а затем обнаруживаем, что он отвечает так же на розовый цвет и не отвечает на оранжевый, мы можем сделать вывод, что оттенки малинового и розового находятся в качественном пространстве ребенка ближе друг к другу, чем малиновый и оранжевый. Дополнительные ключи к разгадке системы размещения в этом пространстве можно отыскать, наблюдая за колебаниями ребенка или за скоростью его реакции.

Тончайшие различия, которым ребенка можно научить с помощью подобных тестов на подтверждение и отрицание правильности, называются *порогами разграничения* или минимально

фиксируемыми отличиями. Но с помощью косвенной аргументации мы можем все же добиться уменьшения промежутков между этими минимальными разграничениями. Мы обнаруживаем, что ребенок отличает качества *A* и *C* друг от друга, но не от *B*; таким образом, мы считаем, что *B* отличается от *A* и *C* в качественном пространстве ребенка, даже несмотря на то, что эти отличия меньше, чем необходимо для того, чтобы они были заметны.

На самом деле, при таком тщательно продуманном изучении и построении качественного пространства ребенка мы можем систематически обманывать сами себя. Ведь возможно, что реконструированное таким образом пространство лишь минимально соответствует изначальному расположению и сформировано в основном постепенным воздействием на ребенка самих наших тестов⁵. Эту мысль можно отклонить, если мы обнаружим некоторое значительное единообразие качественных пространств от ребенка к ребенку при различных перестановках в последовательности тестов. Заметим, однако, что подобный критерий никогда не даст никаких других сведений о доязыковых качественных пространствах, кроме того, что они единообразны у всех детей. В психологии, как и в других науках, в основе критериев истинности концепций лежит представление о единообразии природы.

Если мы будем считать установленным, что ребенок имеет достаточно реальное доязыковое качественное пространство, то у нас возникнут интересные вопросы относительно структуры этого пространства. Всегда ли едва заметные отличия при их объединении соответствуют расстояниям в качественном пространстве, полученным при других сравнениях? Например, больше ли едва заметных отличий между малиновым и оранжевым цветами из нашего недавнего примера, чем между малиновым и розовым?

Связность обязательно нарушится: ни одна цепочка подсознательных отличий не связывает звуки и цвета. Нам понадобится отдельное качественное пространство для каждого из чувств⁶. Хуже того, в рамках одного чувства могут различаться второстепенные пространства. Например, нам может показаться установленным при наблюдении за тем, как ребенок учит слово „мяч“, что „красный мяч“, „желтый мяч“ и „зеленый мяч“ менее удалены друг от друга в его качественном пространстве, чем от „красный платок“, но так же нам может показаться установленным при наблюдении за тем, как он учит слово „красный“, что „красный мяч“, „красный платок“ и „красный кубик“ менее от-

⁵ Этим предостережением я обязан Дэвидсону.

⁶ Ср. Сагпар, 1928. Более подробно о строении качественных пространств см. Goodman, 1951. Ранние эксперименты см. Ангер, 1923; Васс и Хилл, 1934; Новланд, 1937.

далены друг от друга, чем от зеленого и желтого кубиков. Простое понятие расстояния даже в рамках такого чувства, как зрение, может, таким образом, разрушиться, уступив место расстояниям „в различных отношениях“. Но довольно; нет причин рассуждать далее на этих страницах о качественных пространствах.

В § 8 вместо того, чтобы говорить о свойствах ощущений, мы говорили о стимуляциях. Почти та же замена приемлема и здесь — это заметно, когда мы касаемся существующих подсознательных отличий. Рассмотрим снова случай, когда ребенок отличает *A* и *C* друг от друга и не отличает их от *B*. Лишь благодаря нашим знаниям о вещественных классификациях мы понимаем, что на самом деле это *B* дважды (а не *A* и *C*) проверялось относительно *A* и *C*. Мы отталкиваемся от существенного сходства стимуляций. Элементы того, что мы называем „качественным пространством ребенка“, с тем же успехом можно назвать стимуляциями; что особенно предполагает „индивидуальность“ ребенка — это организация их с промежутками. Но при этом нам не следует отказываться от понимания непосредственного опыта ребенка, которое достигается изучением того, как он организует стимуляции в своем качественном пространстве. Соотнесение с непосредственным опытом наиболее уместно как раз здесь, в качестве промежуточной теоретической главы в рамках действующей теории физических объектов.

§ 18. Фонетические нормы

Неопределенность присуща первой фазе изучения слов. Стимуляции, вызывающие, к примеру, вербальный ответ „красный“, наилучшим образом описываются как образующие не строго ограниченный класс, а распределение относительно центральной *нормы*. Чем ближе в качественном пространстве стимуляция расположена к тем, для кого ответ „красный“ непосредственно зафиксирован, тем с большей вероятностью или решительностью она вызовет этот ответ. Такая норма не будет просто точкой в качественном пространстве, она будет, скорее, свободно растягиваться в измерениях, не имеющих отношения к красоте. Таким образом, если мы понимаем чье-либо качественное пространство как качественное расположение стимуляций, нормой красного будет класс стимуляций, отличающихся друг от друга как своими зрительными образами, так и яркостью. С точки зрения света, однако, стимуляции, принадлежащие норме, можно рассматривать как придерживающиеся красного в его самой красной точке. Тогда другие стимуляции, отклоняющиеся с точки зрения цвета от этих, характеризуются постепенным уменьшением тенденции вызывать ответ „красный“.

Для большей адекватности ситуации это описание нуждается в усложнении в нескольких аспектах. Во-первых, добровольные вербальные ответные реакции на невербальные стимулы встречаются весьма редко для того, чтобы по ним определять норму; этим было обусловлено то, что в § 7 мы были вынуждены положиться на процедуру вопроса и согласия. Во-вторых, нормы иногда искажаются при сопоставлении; так, стимуляция вызовет ответ „красный“ с большей вероятностью при сопоставлении с зеленым цветом. Таким образом, можно было бы сказать, что сопоставление более или менее красного для обучения важнее, чем норма красного; однако одно определяет другое.

Более того, модель группировки вокруг нормы свойственна не только стимульному аспекту изучения слов. Подобная модель действует и при рассмотрении механизма ответной реакции, поскольку ответ „красный“, обусловленный предъявлением красного цвета, не неизменен. Результатом поощрений и порицаний окружающих является фонетическая группировка вокруг фонетической нормы „красный“ со стороны ответной реакции субъекта на группировку стимуляций вокруг цветовой нормы красноты. Подобно цветовой норме красного, норма произнесения „красный“ свободно распространяется в нескольких измерениях: так, высота и громкость произнесения не связаны с тем, является ли это произнесение произнесением „красный“. Но нормой можно считать произвольное сужение относительно некоторых акустических характеристик, определяемых деталями словесной артикуляции. Другие произнесения, имеющие отклонения относительно указанных характеристик, постепенно перестают считаться произнесениями „красный“. Факторы сопоставления с окружающим миром также играют в этом свою роль, что усложняет картину (как, например, сопоставление красного цвета с зеленым).

Фонетические нормы отличаются чрезвычайно раздражающей особенностью, не свойственной цветовым нормам. Цвет, находящийся на периферии слов, обозначающих цвет, все же остается цветом, который можно попытаться оценить и обозначить, а не соответствующая норме речь является просто плохим исполнением, как фальшивое пение. Важность фонетических норм так велика, что мы правильно поступим, если остановимся на этом вопросе подробно, несмотря на то, что эти рассуждения не пригодятся нам в следующих разделах.

Нормы являются средством согласования непрерывности и дискретности. Когда мы слушаем плохое пение, мы улавливаем подразумеваемую мелодию, соотнося каждую фальшивую ноту с одной из двенадцати норм диатонической шкалы. Все градации высоты, таким образом, в некотором смысле приемлемы, но также в некотором смысле неприемлемы: ведь исполнение воспринимает-

ся лишь как фальшивая передача диатонической мелодии, а не как верная передача чего-нибудь еще. Подобно этому, существуют непрерывные фонетические градации от red к raɪd и от raɪd к gate, и все эти градации некоторым образом принадлежат английскому языку, а некоторым образом не принадлежат. Они принадлежат ему в том смысле, что могут встретиться в английской речи, а не принадлежат потому, что являются заместителями трех норм — red, raɪd и gate. Произнесение, попадающее между нормами, воспринимается как относящееся к ближайшей норме, либо локализуется наугад и по контексту.

Противоположное отношение, при котором каждая малейшая неточность считается полным промахом, наложило бы неудобно жесткие ограничения на пение и на речь. В самом деле, оно было бы неприменимо в принципе, поскольку небольшая неточность всегда возможна; мы никогда не могли бы распознать попадание. Способ же приписывания неточностей ближайшим нормам, наоборот, легок и практичен. Неприятности возникают лишь в тех случаях, когда из-за плохого исполнения или шумового фона воспринятое произнесение попадает точно в середину между двумя нормами и, кроме того, оказывается, что в контексте не содержится подсказки. Количество таких случаев в речи сводится к минимуму тремя способами: систематически — разумным распределением норм, не систематически — акуратным и правильным произношением, и также не систематически — намеренным плеоназмом, рассчитанным на создание контекстуальной поддержки. При наличии контекстуальной поддержки правильность произношения сразу же ослабевает.

Наши лингвистические нормы, вероятно, не создают явных разрывов в континууме лингвистически допустимых звуков, поскольку даже звук, попадающий в центр между двумя нормами, может оказаться неоднозначным в некоторых контекстах, а именно в тех, в которых лишь одна из двух норм будет осмысленна. Но нормы создают почти-разрывы: звуки, попадающие почти в центр между нормами, имеют тенденцию встречаться реже других, потому что здесь, как правило, в меньшей степени соблюдаются предосторожности во избежание двусмысленности.

Мы убедились, что лучше принять непрерывную градацию и интерпретировать ее в терминах дискретных норм, нежели принять лишь эти дискретные величины и пренебречь всеми приближенными значениями. Но что же представляет собой *непрерывная символическая среда* сама по себе, без норм? Например, мы могли бы разработать непрерывный гудящий словарь для описания цветов. Континуум высот в некоторой произвольной октаве мог бы быть использован для представления континуума оттенков в спектре. Громкость можно было бы использовать для представ-

ления яркости. Временная последовательность произнесения звуков может быть использована для представления пространственной последовательности, в пределах которой говорится, скажем, о разноцветной ленте. Здесь, таким образом, предстает символизм, не знающий норм — ни в звуке, который является средством его выражения, ни в цвете, который является предметом выражения этого символизма. Второй пример может быть получен при перевертывании первого, то есть при использовании ленты для обозначения мелодии. Третьим примером является немая мультипликация как средство элементарного повествования. Но всем трем примерам недостает многосторонности настоящего языка. (Мультипликация отличается этим от традиционного пиктографического письма, имеющего нормы.) Их объект ограничен отображенными особенностями — цвет, тон, позиция, — отражающими непрерывность символов.

Предположим, что объект не был бы непрерывен; предположим, к примеру, что высоты только до середины *C* могут представлять оттенки, а выше середины *C* — что-нибудь еще. Тогда в середине *C* была бы очень велика неоднозначность. Неразличимые высоты вблизи середины *C* различались бы по своей соотнесенности редко, а не незаметно, как в каком-либо другом месте. Следовательно, участники процесса коммуникации стремились бы избегать середины *C*, как если бы это была середина промежутка между нормами. Стоит допустить много разрывов непрерывности объекта, и вы создадите множество таких редко используемых точек в континууме высот, и так до тех пор, пока то, что останется, не будет областью, испещренной нормами в качестве точек конденсации.

В том, что мощность модели обуславливается наличием норм, есть нечто парадоксальное, поскольку мы обедняем наш континуум символов, сосредоточивая его вокруг конечного множества норм. Но объяснение этого парадокса заключается в возможностях объединения. Так, рассмотрим снова тоны. Мы можем разделиться не только с систематическим соотношением высоты с оттенком, но также и с систематическим соотношением временной последовательности и пространственной протяженности. С этих пор мы свободны использовать такое символическое употребление не только относительно немногих избранных норм высоты, но и относительно бесконечного количества различных конечных последовательностей, которые могут быть из этих норм составлены. Этот же объясняется и эффективность алфавита.

Преимущество норм заключается еще и в том, что благодаря им становится возможной бесконечно продолжаемая эстафета. Сообщение может передаваться дословно из уст в уста через все лингвистическое сообщество и через поколения, с тем лишь усло-

вием, что каждая передача не будет неузнаваемо искажать звуки по сравнению с существующими в это время нормами. Каждый человек исправляет неточности своего предшественника, прежде чем заменить их своими собственными неточностями, и ошибки, таким образом, не накапливаются¹.

Здесь имеет место еще один парадокс: старательное подражание на каждой стадии передачи ускорит потерю сообщения, вызвав мелкие искажения, которые будут накапливаться. Когда не существует никаких норм, например при попытке человека имитировать пение птиц, продолжительная эстафета обязательно приводит в конце к чему-то неузнаваемому.

Словесная эстафета без письменной поддержки между передачами должна опираться только на память. Тут снова действуют нормы: сообщение, если оно вообще запоминается дословно, запомнится в соответствии с какими-то фонетическими нормами; другие детали если и запоминаются, то факультативно. Память фактически является эстафетой, в которой передача происходит от себя к себе². Письменные записи уменьшают нашу зависимость от эстафеты, позволяя, в свою очередь, осуществить дальнейшую передачу: текст может неограниченно копироваться и всякий раз омолаживаться, поскольку существуют нормы записи, в соответствии с которыми следует его исправлять.

Задача изучения того, что будет считаться произнесением одного или другого слова, была бы действительно неразрешимой, не будь все нормы произнесения различных слов охвачены частичным тождеством. Привыкнув к правильному фонетическому облику слова *тата*, так, что все произнесения им этого слова группируются вокруг ортодоксальной нормы, ребенок приобретает навык для произнесения начальной части слова *tarble* и (в меньшей степени) — слова *milk*. К тому моменту, как он выучится говорить несколько десятков слов, в языке не останется ни одного слова, которого он уже не предвидел бы полностью, хотя бы по частям. Именно так ребенок достигает того уровня, на котором он способен предугадать норму любого нового слова или фразы, услышав лишь одно их удовлетворительное произнесение. Эта огромная экономия труда опирается на следующий закон фонетических норм: *нормы сегментов произнесения являются сегментами норм произнесения*. Этот закон неточен, поскольку звуки в потоке речи обычно смешиваются в некоторой степени

¹ Добавочным подспорьем является многословие, и не только в форме намеренного плеоназма. См. Shanon and Weaver, 1949; также Mandelbrot, 1954 и 1955.

² В § 1 мы отмечали и другой аспект этого „эстафетного“ механизма, проявляющийся в зависимости от воспоминаний о концептуализации.

с предшествующими и последующими звуками³, все же отступления от закона не столь уж значительны, чтобы лишить ребенка его экономящего усилия метода.

Лингвисты обращаются с фонетическими нормами с помощью разработанного ими понятия *фонемы*. Фонемы языка относятся к речи на этом языке так же, как буквы относятся к письму. Фактически изобретение алфавита было первой примитивной ступенью на пути к фонетическому анализу, несмотря на то что традиционная орфография, как правило, не достигает цели в отображении фонем. Фонемы языка можно рассматривать как короткие сегменты норм произнесения на этом языке. Лингвисты выбирают достаточно короткие сегменты для того, чтобы их количество не росло и при этом чтобы любую длинную норму можно было бы представить в виде цепочки. Разговор о фонемах дает лингвистам возможность абстрагироваться от всех фонетических деталей, несущественных для грамматиста и лексикографа языка, так как каждая фонема представляет собой как раз норму, в противоположность бесчисленным, более или менее удовлетворительным отклонениям от нормы.

В законе о фонетических нормах заключена суть фонематического подхода; по этому закону нормой любого произнесения является последовательность тех фонем, из приблизительных реализаций которых состоит это произнесение. Но заметим, что этот закон не дает указаний относительно длины фонем. Рассматривать ли „cheer“ как состоящее просто из двух сегментов — слогов „che“ и „er“ — или как состоящее из согласного „ch“, гласного „ee“ и гласного „er“, или как состоящее из согласного „t“, согласного „sh“, гласного „ee“, глайда „y“ и гласного „er“ безразлично как с точки зрения нашего закона о фонетических нормах, так и с точки зрения изучения языка ребенком. В языке есть произнесения и нормы, лингвист же подвергает нормы чисто техническому сегментированию для осуществления своей цели описания всего их множества.

Иногда фонемы толкуют как классы приближенных значений. Представляя их скорее сегментами норм, я подчеркиваю аспект качественного группирования вокруг статистических норм и преуменьшаю значение аспекта замкнутой границы. Но мы по-прежнему можем рассматривать каждую норму как класс событий являющихся ее реализациями⁴.

³ Ср. Joos, 1948; также Zipf, 1935, p. 85—121.

⁴ Более подробно о природе фонем см. Bloomfield, 1933, Ch. V и Jakobson and Halle, 1956, p. 7—37. О предвосхищении в Древней Индии см. Brough, 1951.

§ 19. Разделенная референция¹

Если терм допускает определенный и неопределенный артикль и окончание множественного числа, то обычно это (в нашем усовершенствованном взрослом словоупотреблении) общий терм. Его формы единственного и множественного числа наиболее удобно рассматривать не как два сходных термина, но как образы, в которых один и тот же терм предстает в различных контекстах. Окончание -s в форме множественного числа apples 'яблоки', таким образом, следует рассматривать как отделяемую частицу, сопоставимую с „an“ в „an apple“. Позднее мы увидим (§ 24, 36), что при некоторой стандартизации выражения контексты, требующие множественного числа, в принципе вообще могут быть устранены посредством перифразирования. Но дихотомия *единичных термов* и *общих термов* (эта терминология весьма неудобна своим сходством с терминологией грамматического противопоставления единственного и множественного числа) менее искусственна². Единичный терм, например, „mama“ 'мама', допускает только грамматическую форму множественного числа и не допускает артикля. С точки зрения семантики различие между единичными и общими терминами заключается примерно в том, что единичный терм указывает или имеет целью указать только один объект, сколь бы он ни был сложен или расплывчат, в то время как общий терм истинен для каждого или для каждой группы из любого количества объектов. Это различие будет сформулировано более определенно в § 20.

Именно в явных общих терминах типа „яблоко“ или „кролик“ проявляются особенности референции, требующие признания раз-

¹ Половина этого раздела заимствована из статьи Quine, 1958, pp. 9—11 с разрешения Американского философского общества. В этой статье я назвал термы с разделенной референцией индивидуирующими, а в предыдущие годы в своих лекциях в Гарварде и Оксфорде я колебался между „индивидуирующей“ и „артикулирующей“ референциями, причем оба термина страдали непредусмотренными ассоциациями. Оба эти обозначения сохранены в книге Стросона [Stinson, 1954, pp. 238, 254n.]. Термин Вуджера [Woodger, 1952, p. 17] — „shared name“ („распределенное имя“). Мартин в Martin, 1958, Ch. IV говорит о разделенной референции как о множественной денотации (multiple denotation). Мне нравится употребление „denote“ ('обозначать'), поскольку я сам употреблял это слово таким же образом до тех пор, пока непонимание читателей не заставило меня отказаться от этого, а добавление Мартином определения „множественный“ дает возможность избежать непонимания. Я надеюсь, моя „разделенная референция“ будет понята как достаточно случайное обозначение, которое не приведет к дальнейшему разрастанию терминологии. Оно подчеркивает разделение в противоположность умножению (multiplication) и кажется мне более подходящим для того, что я хотел бы здесь высказать.

² «Различие ... между *общим* (general) ... и ... *единичным* (singular) ... является фундаментальным, — писал Милль, — и может рассматриваться как первое большое деление имен». [Mill, 1867, Bk. I, Ch. II, § 3].

личий, не подразумеваемых в простых стимулирующих обстоятельствах окказиональных предложений. Для того чтобы выучить слово „яблоко“, недостаточно выучить, что в существующем мире считается яблоком, — мы должны выучить, что считается *одним* яблоком, а что — *другим*. Таким термам присущ собственный (хотя и произвольный) тип разделения референции.

Противоположение заключается в самих терминах, а не в предметах, которые они обозначают. Дело тут не в распределенности. Вода распределена по отдельным водоемам и стаканам, и в отдельных объектах она может быть красной; но лишь „водоем“, „стакан“ и „объект“, а не „вода“ или „красная“ могут разделить свою референцию. Или рассмотрим термины „туфля“, „пара туфель“ и „обувь“: все они охватывают совершенно одни и те же распределенные материальные объекты и отличаются друг от друга лишь тем, что два из них разделяют свою референцию по-разному, а третье не разделяет ее вовсе.

Так называемые *массовые* термины, такие, как „вода“, „обувь“ и „красный“, обладают семантическим свойством совокупной соотнесенности: любая сумма частей, являющихся водой, есть вода³. С точки зрения грамматики они ведут себя как единичные термины, противясь образованию множественного числа и артиклям. С точки зрения семантики они ведут себя как единичные термины в том, что не разделяют свою референцию (или не очень разделяют ее; ср. § 20). Но они семантически не совпадают (или не очевидно совпадают; ср. § 20) с единичными терминами в закреплении за каждым именем единственного объекта. Как читатель уже догадался, более подробно их статус будет рассмотрен в § 20. Между тем отметим, что явные общие термины типа „яблоко“ обычно также выступают в роли массовых термов*. Мы можем сказать: Put *some apple* in the salad ‘Положи *немного яблока* в салат’, не имея в виду *some apple* or other ‘одно яблоко или другое’. Также мы можем сказать: Mary had a little lamb в любом из двух

³ Терм с такой семантической особенностью является, по Гудмэну [Goodman, 1951, p. 49], *собирательным* (collective). Я предпочел бы, в самом деле, термин „собирательный терм“ для слов типа „вода“ и им подобных, не ассоциируясь он с такими непредусмотренными случаями, как „стадо“, „армия“ и т. п. Привлекателен термин „партитивный“ (partitive), но и он вызывает неверные ассоциации, поскольку некоторые части мебели и даже воды не являются мебелью или водой. Употребляя термин „массовый терм“, я следую Есперсену, чей термин „массовое слово“ („mass word“) кажется до известной степени укоренившимся в лингвистике в нужном смысле. В Quine, 1958 я использовал выражение „совокупный терм“ („bulk term“), которое является более точным выражением; но я не буду настаивать на этом, чтобы не умножать таким образом альтернативных вариантов.

* Употребление русского слова „яблоко“ в этом смысле отлично от употребления соответствующего английского слова. Всем последующим рассуждениям удовлетворяет, например, слово „вишня“. — *Прим. перев.*

смыслов*. Наоборот, „вода“, как уже давно заметили придирчивые читатели, в одном из своих употреблений допускает множественное число.

С точки зрения детского обучения, как и с точки зрения первых этапов полного перевода (Гл. II) нам лучше рассматривать „мама“, „красный“, „вода“ и т. д. просто как окказиональные предложения. Все, что лингвист может провозгласить своим первым полным толкованием, — это соответствие стимульных значений, а все, чему учится ребенок, — это сказать слово при наличии соответствующего раздражителя, а не когда-либо еще. Именно в связи с существующим интересом к общим термам с разделенной референцией впервые становится уместным вопрос относительно окказиональных предложений („мама“, „красный“, „вода“, „яблоко“, „яблоки“) — являются ли они единичными термами, употребленными сентенциально, или общими термами, употребленными сентенциально? Если детские окказиональные предложения следует рассматривать как зарождающиеся термы, то соотносить их можно с категорией массовых термов, которая, вероятно, для этого подходит больше всего вследствие своей неопределенности, относительно сложной дихотомии между единичным и общим⁴.

Мы, будучи взрослыми, привыкли смотреть на мать ребенка как на целостный объект, который, двигаясь по непостоянной замкнутой орбите, время от времени навещает ребенка; на „красное“ привыкли смотреть в корне отличным образом, — а именно как на нечто распределенное по чему-либо. „Вода“ для нас скорее как красное, но не совсем; предметы красные, вода же сама по себе вещество. Но „мать“, „красное“ и „вода“ для ребенка относятся к одному типу: каждый из них представляет собой историю единичных встреч, распределенную порцию происходящего. Его первоначальное обучение этим трем словам сводится к обучению тому, что из происходящего вокруг него считается матерью, или красным, или водой. Ребенок не способен сказать в первом случае: „Ага, снова мама“, во втором: „Ага, еще одна красная вещь“, а в третьем: „Ага, еще немного воды“. Они все находятся в одинаковом положении: „Ага, еще мама, еще красное, еще вода“.

Ребенок может достаточно хорошо овладеть словами „мама“, „красный“ и „вода“ еще до того, как он освоит входы и выходы взрослой концептуальной схемы подвижных устойчивых физических объектов, иногда и кое-где тождественных. В принципе он может также подойти и к слову apple ‘яблоко’ как к массовому тер-

* 1) ‘у Мэри есть маленький барашек’; 2) ‘у Мери есть немного мяса молодого барашка’. — *Прим. перев.*

⁴ См. § 12, особенно замечание 1.

му, обозначающему единичное нарезанное яблочное вещество. Но он никогда не освоит в совершенстве слово apple 'яблоко' в его дистинктивном употреблении, если не продвинется в понимании схемы устойчивых и периодически повторяющихся физических объектов. Ребенок может попытаться как-то разрешить проблему дистинктивного употребления слова apple 'яблоко' еще до того, как он приобретет всесторонний материальный взгляд на мир, но его употребление будет искажаться неправильным отождествлением различных яблок или неразличением тождественных.

Заманчиво предположить, что ребенок действительно преуспел в усвоении разделенной референции, раз он при виде кучи яблок выдает форму множественного числа apples 'яблоки'. Но это неверно. Он мог выучить форму множественного числа „яблоки“ как другой массовый терм, применительный в случае именно такого количества яблок, как куча яблок. Терм „яблоки“ для него подчинен терму „яблоко“, как терм „теплая вода“ подчинен терму „вода“, а „ярко-красный“ — терму „красный“.

Ребенок мог бы продолжать так же осваивать block и blocks ('кубик' и 'кубики'), ball и balls ('мяч' и 'мячи') как массовые термы. В силу аналогии таких пар он может даже научиться с кажущейся уместностью прибавлять показатель множественного числа „-s“ к новым словам и отсекал его от слов, первоначально выученных лишь с этим показателем. Мы можем поначалу и не заметить, что у него сложилось неправильное представление о том, что „-s“ лишь преобразует массовые термы в более специализированные массовые термы, ассоциирующиеся со скоплением.

Вероятным вариантом неправильного представления является следующий: форма единственного числа apple 'яблоко' как массовый терм не относится к яблокам вообще, а лишь к единичным экземплярам, тогда как форма множественного числа apples 'яблоки' употребляется, как было указано. Тогда формы „яблоко“ и „яблоки“ будут скорее взаимоисключающими, чем подчиненными одна другой. Этот вариант неправильного представления может таким же образом систематически переноситься на пары „кубик“ — „кубики“, „мяч“ — „мячи“ и долго оставаться незамеченным.

Как можем мы вообще быть тогда уверены, что ребенок действительно понял особенности общих термов? Только путем вовлечения его в сложные рассуждения о „том яблоке“, „не том яблоке“, „некотором яблоке“, „таком же яблоке“, „другом яблоке“, „этих яблоках“. Лишь на этом уровне проявляется явное различие между истинной разделенной референцией общих термов и подделками под нее. (Ср. § 12).

Несомненно, ребенок получает некоторое представление об этих особых прилагательных (same 'тот же самый', another 'другой', an — неопределенный артикль, that 'тот', not that 'не тот') из

контекста: сперва он привыкает к различным длинным фразам или предложениям, содержащим эти прилагательные, а затем постепенно у него развиваются соответствующие навыки касательно составляющих их слов как общих частей и остатков этих длинных форм (ср. § 4). Попытка ребенка применить показатель множественного числа -s, обдуманная позднее, сама по себе является первой примитивной ступенью на пути приобретения необходимых навыков. Мы можем предположить, что обучение этим различным частицам по контексту происходит одновременно, так что они постепенно приспособляются друг к другу, и создается логически последовательная модель употребления, соответствующая общепринятой. Ребенок карабкается вверх по интеллектуальному дымоходу, упираясь в стенки руками и ногами.

Стимульные значения не отражают этих проблем, поэтому-то ребенку и приходится карабкаться посредством метода одновременного обучения и поэтому-то лингвист и вынужден обращаться к аналитическим гипотезам для их истолкования. Замечательной чертой аналитических гипотез является то, что два не связанных друг с другом марсианина могли бы одинаково в совершенстве овладеть английским языком посредством несхожих и даже несравнимых систем англо-марсианских аналитических гипотез. Для английских детей соответствующим моментом является то, что двое из них могут одинаково овладеть английским языком посредством весьма несходных процессов предварительных ассоциаций и согласования различных взаимозависимых прилагательных и частиц, от которых зависит понимание разделенной референции. Тожественные слоновидные контуры (см. § 2) могут скрывать очень непохожие друг на друга конфигурации ветвей и веточек.

Мои замечания относительно того, как ребенок постепенно овладевает различными оборотами речи, для правильного употребления которых необходимо понимание разделенной референции, являются и метафорическими, и недостаточными. Теперь было бы хорошо проиллюстрировать одну возможную фазу этого процесса, хотя это и нереалистично, предложив модель достижения желаемой цели. Предположим, ребенок выучил слова „мама“ и „папа“ в основном наглядным способом, описанным в § 17. Предположим далее — и в этом заключается нереалистичность нашего примера, — что посредством аналогичного процесса наглядного обучения он выучивает выражение „один и тот же человек“. Этот терм сопровождается одновременным и непосредственно следующим за ним представлением пар. Он оказывается употребимым, когда оба члена представленной пары соответствуют терму „мама“ или когда оба члена соответствуют терму „папа“, но не когда один член пары соответствует терму „мама“, а другой — терму „папа“. Поднявшись в своем поведении до умения делать обобщения более вы-

сокого уровня, ребенок может, вероятно, достаточно четко уяснить для себя тот факт, что и мама, и папа — человек, но не один и тот же, хотя для того, чтобы произвести такое отделение „один и тот же“ от „человек“, потребуется абстрагирование третьего порядка от уже рассмотренного обобщения и подобных ему. С точки зрения полного толкования сходная серия обобщений могла бы лежать в основе возможных марсианских аналитических гипотез относительно нашего аппарата разделенной референции.

Овладев разделенной референцией общих термов, ребенок овладевает схемой устойчивых и периодически возникающих физических объектов. Ведь наши наиболее широко распространенные общие термы (такие, как „яблоко“ и „река“) в подавляющем большинстве своем разделяют референцию в соответствии с сохранением или непрерывностью изменения положения в предметном пространстве. Не имея более ясных критериев, трудно сказать, до какой степени ребенок уловил тождество физических объектов (а не только сходство стимуляций) относительно разделенной референции.

Что бы там ни было, ребенок, освоивший общие термы и тождество физических объектов, готов к переоценке ранее выученных термов. „Мама“, в частности, на основе прошлого опыта определяется как имя заметного и периодически возникающего, но, несмотря на это, индивидуального объекта, и, таким образом, как единственный терм *par excellence*. При том, что события, вызывающие употребление „мама“, почти так же разрозненны, как и события, вызывающие употребление „вода“, оба эти терма — „мама“ и „вода“ — имели одинаковый статус; но теперь мать оказывается единым целым в пространственно-временном отношении, тогда как вода остается распределенной в пространстве и во времени. Таким образом, два терма расходятся.

Овладение разделенной референцией, кажется, почти не влияет на отношение людей к терму „вода“. Ибо „вода“, „сахар“ и им подобные, относящиеся к категории массовых термов, плохо соответствуют дихотомии термов на общие и единичные (возможно, как пережиток недифференцированного окказионального употребления). К этой устарелой категории добавляются даже дополнительные термы, после того как разделенная референция освоена, например *furniture* ‘мебель’, *footwear* ‘обувь’. Настоящие общие термы могут сохранять также и массовое употребление, как это было недавно отмечено для термов *lamb* ‘барашек’ и *apple* ‘яблоко’.

§ 20. Предикация

Может показаться, что различие между общими и единичными термами преувеличено. В конце концов, можно вообразить, что единичный терм отличается от общих термов лишь тем, что коли-

чество объектов, для которых он истинен, скорее равно единице, чем какому-либо другому числу. Зачем отбирать число „один“ для отдельного рассмотрения? На самом же деле, не разница между истинностью для множества объектов и истинностью только для одного объекта важна для различения общего и единичного. Это становится очевидным при рассмотрении производных термов, таких, как „Пегас“, которые выучиваются по описанию (§ 23), или таких, как „естественный спутник Земли“, составленных из известных частей. Ведь „Пегас“ считается единичным термом, хотя не существует объекта, для которого он был бы истинен, а „естественный спутник Земли“ считается общим термом, хотя он истинен только для одного объекта. Утверждают достаточно неопределенно, что „Пегас“ является единичным термом в силу того, что он претендует на соотношение только с одним объектом, а „естественный спутник Земли“ является общим термом в силу того, что в нем нет претензии на единичность его референции. Подобный разговор о претензиях — лишь образный способ указать на различные грамматические роли, которые единичные и общие термы играют в предложениях. Общие и единичные термы следует различать по их грамматической роли.

Основной конструкцией, на примере которой обнаруживается противопоставление ролей единичных и общих термов, является *предикация*: „мама — женщина“, или, схематично: „*a* является *F*“, где „*a*“ — единичный терм, а „*F*“ — общий терм. Предикация сохраняет единичный и общий термы, формируя предложение, которое является истинным или ложным в зависимости от истинности или ложности данного общего терма для объекта (если таковой вообще существует), с которым соотносится данный единичный терм.

Поскольку мы рассматриваем в настоящей книге механизм референции, то естественно, что мы придаем очень большое значение предикации и связанному с ней грамматическому противопоставлению общих и единичных термов. Иначе обстоит дело с грамматическим противопоставлением существительных, прилагательных и глаголов. Они также противопоставлены по своей грамматической роли с соответствующими формальными различиями; но оказывается, что разделение ролей на те, что требуют субстантивной формы, те, что требуют адъективной формы, и те, что требуют глагольной формы, имеет очень малое касательство к проблеме референции. Поэтому можно упростить наше исследование, рассматривая существительное, прилагательное и глагол просто как варианты формы общего терма.

Таким образом, нам лучше описывать предикацию в виде нейтральной логической схемы „*Fa*“, которую следует понимать не как означающую лишь „*a* является *F*“ (где *F* — существительное), но так же, как „*a—F*“ (где *F* — прилагательное) и „*aF*“ (где *F* — не-

переходный глагол)¹. Предикация с равным успехом иллюстрируется предложениями „Мама — женщина“, „Мама большая“ и „Мама поет“. *Общий терм* — это то, что утверждается или занимает позицию, которую грамматики называют предикативной; он может иметь форму не только существительного, но также прилагательного и глагола. Для предикации глагол может даже считаться основной формой, поскольку он участвует в предикации без вспомогательного аппарата *is* — связка „есть“ или *is an* — связка „есть“ + неопределенный артикль.

Связка *is* или *is an* может, таким образом, объясняться просто как префикс, служащий для преобразования общего термина в предикативной позиции из адъективной или субстантивной формы в глагольную. Таким образом, *sings* ‘поет’, *is singing* ‘поет в данный момент’ и *is a singer* — связка „есть“ + „певец“ оказываются глаголами и к тому же взаимозаменяемыми, если не принимать во внимание некоторых тонкостей (§ 36) английского языка. Наоборот, *-ing* и *-er* — это суффиксы, служащие для преобразования общего термина из глагольной в адъективную или субстантивную формы, с тем чтобы удовлетворять различным позициям, отличным от предикативной (§§ 21—23); *a thing* и *-ish* — это суффиксы для преобразования прилагательных в существительные, и наоборот².

Прилагательные в английском языке обладают формальным сходством с существительными, обозначающими массу, в том, что мы не можем присоединить к ним ни неопределенный артикль *an*, ни окончание множественного числа. Прилагательные, характеризующиеся совокупной референцией (§ 19), даже замещают массовые термины, например, когда мы говорим: *Red is a color* ‘Красный — это цвет’ или *Add a little more red* ‘Добавь еще немного красного’. В этих случаях английский язык подтверждает наше мнение о незначительности различий между существительными и прилагательными. Но вообще мы должны отметить, к каким именно существительным можно приравнивать прилагательные. Существительные, приравниваемые таким образом к *red* ‘красный’, *wooden* ‘деревянный’ и *spherical* ‘сферический’ — это *red* ‘красный цвет’, *wood* ‘дерево’ и *sphere* ‘сфера’, а не *redness* ‘краснота’, *woodenness* ‘деревянность’, и *sphericity* ‘сферичность’. Эти последние представляют собой совершенно другое, а именно: абстрактные единичные термины (§ 25). В общем случае точное субстантив-

¹ Во многих работах по логике, включая мои собственные, „*Fa*“ используется скорее для представления любого типа предложения, затрагивающего „*a*“, независимо от того, соединены ли в общем терме части, отличные от „*a*“. Но в настоящей книге выражение „*Fa*“ используется иначе, за исключением тех случаев, когда это оговорено особо.

² Эту идею разрабатывал Пеано в своих статьях 1912 г. и 1930 г. См. Реапо, 1958, vol. 2, p. 458ff., 503ff.

ное выражение термина, пусть и не самое краткое, можно получить из прилагательного, добавив thing 'вещь' или stuff 'вещество'.

Теперь вернемся к дихотомии общих и единичных термов, проясненной с помощью ролей в предикации. Противоречивость массовых термов относительно этой дихотомии хорошо видна в случае предикации. Ибо массовый терм встречается в предикативной конструкции иногда после is — как общий терм в адъективной форме, а иногда до is — как единичный терм. Проще всего было бы, кажется, и трактовать его соответственно: как общий терм в случаях, когда он встречается после is, и как единичный терм, когда он встречается до is.

Примеры, иллюстрирующие употребление массовых термов после is, таковы: That puddle is water 'Эта лужа — вода', The white part is sugar 'Белая часть — это сахар', The rest of the cargo is furniture 'Остальной груз — мебель'. Не будем останавливаться на составных единичных терминах that puddle, the white part, the rest of the cargo — это вопрос следующего раздела. Нас интересует скорее предикативное употребление массовых термов. Мы можем рассматривать массовые термины в этих контекстах как общие, считая, что is water 'это вода', is sugar 'это сахар', is furniture 'это мебель' — это на самом деле: is a bit of water 'это немного воды', is a bit of sugar 'это немного сахара', is a batch of furniture 'это партия мебели'. В общем случае массовый терм в предикативной позиции можно рассматривать как общий терм, истинный для каждой порции вещества, о котором идет речь, исключая лишь части, слишком маленькие для того, чтобы принимать их во внимание. Таким образом, „вода“ и „сахар“ в роли общих термов истинны для каждой части всей существующей в мире воды или сахара, вплоть до отдельных молекул, но не до атомов, а „мебель“ в роли общего термина истинна для каждой части всей существующей в мире мебели вплоть до отдельных стульев, но не до ножек и ручек.

С другой стороны, в выражениях Water is a fluid, Water is fluid 'Вода — жидкость' и Water flows 'Вода течет' массовый терм очень похож на единичный терм в Mama is big 'Мама большая' или Agnes is a lamb 'Агнец — это барашек'. Массовый терм, употребленный таким образом в субъектной позиции, ничем не отличается от единичных термов типа „мама“ и „барашек“ до тех пор, пока распределенное вещество, которое они называют, не утратит статус единичного распространяющегося объекта. Несомненно, первый проблеск понимания ребенком механизма распознавания общих и единичных термов опирается на явное единство некоторых объектов, проявляющееся при противопоставлении, но в свое время он овладеет не столь очевидно связанными сущностями. Конечно, для нас, взрослых, ретроспективно описывающих

поведение термов, нет причин сомневаться, является ли вода единичным объектом, водной частью мира, несмотря на свою распределенность. Даже наикompактнейший объект, меньше элементарной частицы, отличается распределенной подструктурой. Для того чтобы наша семантика оказалась верной, достаточно чтобы употребление говорящим термина „вода“ в субъектной позиции было сходно с употреблением термов „мама“ и „барашек“.

Аналогично, массовое сущестительное red 'красный цвет' в субъектной позиции может быть понято лишь как единичный терм, называющий всю распределенную общность красного вещества. Color 'цвет' становится общим термом, истинным для каждой из множества таких различных распределенных общностей.

Не следует думать, что, допуская существование распределенных конкретных объектов, мы поспешно сводим все многообразие к единствам, все общности к частностям. Суть не в этом³. Помимо всей существующей в мире воды как совокупного распределенного объекта, есть еще различные ее части: озера, лужи, капли и молекулы; и при выделении таких частей для специального упоминания нам по-прежнему, как обычно, нужны общие термы: „озеро“, „лужа“, „капля“, „молекула воды“. Слово „вода“ рассматривается как имя единичного распределенного объекта совсем не для того, чтобы дать нам возможность обойтись без общих термов и множественности референции. Распределенность на самом деле несущественна. Общие термы так же нужны для различения частей (рук, ног, пальцев, клеток) нераспределенного объекта (мамы), как и для различения частей распределенного объекта (воды). Распределенность — это одно, а множественность референции — другое. Признание распределенного объекта единичным сводит категорию массовых термов к категории единичных термов, но оставляет нетронутым разделение на единичные и общие термы.

Поскольку массовые термы в позиции перед связкой приравнены к единичным посредством обращения к распределенным объектам, напрашивается идея применения этого искусственного приема и на следующем этапе, то есть идея приравнивания массовых термов к единичным и в позиции после связки. Может показаться, что это возможно при интерпретации „is“ в таких контекстах, как „is a part of“ 'является частью'. Но этот способ не годится, так как существуют части воды, сахара и мебели, слишком маленькие для того, чтобы их можно было считать водой, сахаром и мебелью⁴. Более того, части, слишком малые для того,

³ Об эффективности и недостатках механизма сведения общего к частному см. Goodman, 1951, pp. 155f., 203ff. и мою работу: Quine, 1953, pp. 68—77.

⁴ Ср. Goodman, 1951, p. 48. В его терминологии эти термы не являются *разложимыми* (dissective).

чтобы считаться мебелью, не слишком малы для того, чтобы считаться водой или сахаром; так что необходимое ограничение не может быть наложено путем какой-либо общей модификации связок „is“ или „is a part of“, и его следует рассматривать скорее как индивидуальную способность к разделенной референции нескольких массовых термов, понимаемых как общие. Будет лучше, если мы согласимся с тем, что природа массовых термов изменчива, и поэтому их следует рассматривать как единичные термы в субъектной позиции и как общие термы — в предикативной⁵.

На самом деле, изменчивость заходит еще дальше. Мы уже отмечали (§ 19), что даже обычный общий терм, такой, как „яблоко“ или „барашек“, может в качестве массового терма исполнять две роли. Всего, таким образом, „барашек“ выступает не в двух ролях, а в трех. Во фразе *Lamb is scarce* ‘Барашка не хватает’ он выступает в роли массового терма, употребленного как единичный для называния такого распределенного объекта, как все существующее в мире мясо барашка. Во фразе *Agnes is a lamb* ‘Агнец — это барашек’ он выступает как общий терм, истинный для каждой молодой особи *Ovis aries*. Наконец, во фразе *The brown part is lamb* ‘Коричневая часть — это барашек’ он выступает в роли массового терма, употребленного как общий, истинный для каждой порции или распределенного количества мяса барашка. Неизменность формы *lamb*, сохраняющейся во всех трех функциях, — это напоминание о состоянии ребенка до того, как он освоит разделенную референцию общих термов. Как бы ни было существенно освоение им разделенной референции, язык до и язык после того неразрывны, и именно благодаря этому в расходящихся употреблениях сохраняются прежние слова. Более того, по аналогии с этой моделью даже слово, освоенное позже, будет во всех трех функциях иметь постоянную форму. Но несмотря на плохое отражение в формах слова, различие рассматриваемых функций для нас важно. Не следует колебаться ни при проведении различий там, где они вносят ясность в интересующую нас проблему, даже если они и не отражаются явным образом в английском языке, ни при отказе от незначительных с нашей точки зрения различий, даже если язык их и отражает.

§ 21. Указательные местоимения, определения

Полезность общих терминов заключается еще и в том, что от них образуются указательные единичные термы. Они получают посредством подстановки перед общим термом указательных час-

⁵ В этом я следую Льюису [Lewis, 1944, p. 239], но только частично.

тиц this 'этот' и that 'тот'. При этом достигается огромная экономия усилий. Во-первых, мы избавлены от бремени знания названий. Мы можем обходиться сочетаниями „эта река“, „эта женщина“, не зная, как эти объекты называются на самом деле. Во-вторых, мы имеем возможность говорить об объектах, просто не имеющих собственного имени, например: „это яблоко“. В-третьих, это помогает нам при изучении имен собственных. Скажем, мы хотим выучить название „Нил“. Длительное обучение, подобное обучению словам „мама“ и „вода“, — нелегкий путь. Мы можем показывать нашему ученику участки Нила от Кении до моря, обучая его правильному употреблению слова и отучая от неправильного до тех пор, пока не будем удовлетворены его подготовкой, то есть пока он не научится применять это слово только для обозначения специально предназначенной для этого части мира, а не наоборот. При условии же, что он овладел общим термом и механизмом получения единичных термов из общих, нам нужно лишь встать с ним рядом на набережной в Каире, показать на реку и сказать один раз: „Эта река — Нил“.

Общий терм предписывает разделение референции, которое, будучи однажды освоенным, может использоваться в бесчисленном множестве частных случаев для фиксирования предполагаемой области применения единичных термов. „Это Нил“ с сопровождающим жестом, но без общего термина „река“ может быть неправильно истолковано как обозначение излучины реки; „Это Надежда“ может быть неправильно истолковано как обозначение материала, из которого сшито платье человека; но употребления „Эта река — Нил“, „Эта женщина — Надежда“ разрешают сомнения.

Часто this 'этот' само по себе служит единичным термом. Если указываемый объект противопоставлен своему окружению, то предполагаемые границы референции в пределах данного пространства будут очевидны и без помощи общего термина; и даже предполагаемые границы референции до и после (по времени) обычно достаточно хорошо выводятся. И изолированное употребление this обычно оказывается достаточным для Нила или Надежды, исходя из общего знания человеческих интересов: идентификация рек и женщин предпочтительнее идентификации излучин и видов ткани.

Мы можем использовать this также с массовыми терминами this water 'эта вода', this sugar 'этот сахар'. После this, как и после is, рассматривать массовый терм лучше как терм общий. Терм „вода“, употребленный таким образом, равнозначен общему терму „масса воды“, понимаемому как равноприложимый к реке, луже и содержимому стакана.

Замечательной особенностью термов this 'этот', this river 'эта

река', this water 'эта вода' и им подобных является мимолетность их референции, в противоположность устойчивым единичным термам типа *тата* 'мама', *water* 'вода', *Nile* 'Нил', *Nadejda* 'Надежда'. Таков эффект не только двух указательных частей, но и *индикаторных слов* вообще: *this* 'этот', *that* 'тот', *I* 'я', *you* 'ты', *he* 'он', *now* 'теперь', *here* 'здесь', *then* 'тогда', *there* 'там', *today* 'сегодня', *tomorrow* 'завтра'. Обучение ребенка словам „мама“ и „вода“ обусловлено устойчивостью референции; он научился (с помощью закрепления и пресечения множества случайных произнесений) приспособляться к нормам и границам референции, которая была для него фиксирована. При обучении указательным словам ребенок овладевает техникой более высокого уровня: как поменять референцию термина в соответствии с контекстом и окружающей обстановкой. Указательные единичные термы, полученные таким способом, обладают преимуществом гибкости и недостатком неустойчивости; и как только этот недостаток становится значимым, мы вводим для вечного закрепления имена собственные: „Эта река — Нил“, „Эта женщина — Надежда“¹.

Указательные единичные термы сохраняют механизм *наглядности* — непосредственную эмпирическую ассоциацию с объектом референции, — и в то же время они обходят процесс обучения, уделяющий внимание наглядному преподаванию слов „мама“ и „вода“. Именно общие термы делают возможным такой кратчайший путь. Общие термы в этом употреблении необходимо сперва выучить, и освоение их, как уже было показано (§ 19), более трудоемко, чем освоение слов типа „мама“ и „вода“. Но, будучи однажды освоенными, общие термы служат для быстрого и наглядного введения единичных термов, как временных („эта река“, „эта женщина“), так и постоянных („Нил“, „Надежда“). Кроме того, такие производные единичные термы в свою очередь облегчают наглядное введение других общих термов. Так, освоив общий терм *round* (*thing*) 'круглый (предмет)', а следовательно, и единичный терм *that round thing* 'тот круглый предмет', мы можем так объяснить, что такое „pomegranate“ 'гранат': „That round thing is a pomegranate“ 'Этот круглый предмет — гранат'. Нашему ученику может понадобиться несколько таких уроков, чтобы выучить допустимые границы разновидностей граната. Но другой

¹ Более подробно об индикаторных словах см.: Goodman, 1951, p. 290ff. или его диссертацию (издана в Гарварде в 1940 (p. 594ff.)); Russell, 1940, Ch. VII; Reichenbach, 1947, § 50. Сам термин принадлежит Гудмэну; Есперсен [Jespersen, 1923] называл индикаторные слова шифтерами (*shifters*), Рассел называл их эгоцентрическими выражениями (*egocentric particulars*), а Рейхенбах называл их символическими возвратными местоимениями (*token-reflexive*). Пирс называл их индексами (*indices*), но он использовал этот термин и более широко; см. Peirce, 1932, 1934, vol. 2, §§ 248, 265, 283ff., 305.

важный для освоения общего термина фактор — а именно разделенные референции — в этом случае обеспечен заранее, поскольку о каждом гранате мы говорим „этот круглый предмет“, используя, таким образом, ранее введенный общий термин, разделенной референцией которого наш ученик уже овладел.

Мы убедились, что не только общие термины полезны для получения указательных единичных терминов, но также и указательные единичные термины полезны для дальнейшего освоения общих терминов. Но это последнее не совсем верно. Указательные единичные термины играют роль даже при первом знакомстве ребенка с общими терминами: ему приходится учить, что такое *this apple* 'это яблоко' и *that apple* 'то яблоко', когда их отождествлять, а когда различать (ср. § 19). Таким образом, указательные единичные термины, несмотря на то что они сами образованы от общих терминов, необходимы для успешного освоения тонкостей общих терминов. Общий термин и указательный единичный термин являются взаимозависимыми сущностями, которыми ребенок должен овладеть в результате сумасшедшего рывка.

Часто общего термина, следующего за *this* или *that*, оказывается достаточно (наряду с условиями речевого акта) для того, чтобы направить внимание на предполагаемый объект без жеста. В таких случаях *this* и *that* имеют тенденцию ослабляться до *the*: так, например, сочетание *the river* 'река'. Такие вырожденные указательные единичные термины называются *единичными дескрипциями*.

Часто объект подразумевается так явно, что даже общий термин может быть опущен. Затем, поскольку *the* (в отличие от *this* и *that*) никогда не субстантивируется, для проформы подставляется имя существительное: таковы *the man* 'человек, мужчина', *the woman* 'женщина', *the thing* 'предмет'. Эти минимальные дескрипции сокращаются до *he* 'он', *she* 'она', *it* 'это, оно'. Таким образом, местоимения могут рассматриваться как короткие единичные дескрипции, в то время как их грамматическим antecedentом является другой единичный термин, соотносящийся с тем же самым объектом (если таковой существует) тогда, когда для его отождествления требуется больше информации.

Теперь рассмотрим способ образования сложных терминов. В отличие от способа образования указательных единичных терминов, этот способ не требует в качестве предварительного условия знания тех терминов, для получения которых он используется; ребенок может спокойно освоить его в последнюю очередь. Он заключается в присоединении прилагательных к существительным в позиции, называемой грамматиками *атрибутивной*. *Red* 'красный' занимает атрибутивную позицию в сочетании *red house* 'красный дом', в отличие от предикативной позиции, которую он занимает

в сочетании *Eliot House is red* 'Дом Элиота красный'. Сложный общий терм, образованный таким образом, истинен только для тех объектов, для которых истинны оба его компонента.

Существительные также обычно встречаются в позиции, похожей на атрибутивную, но образованные таким образом сочетания в большинстве своем лучше рассматривать как соединения разнородных идиом, необусловленно сходные с описанными выше сложными термами. Ведь в отличие от *red houses* 'красные дома' и *red wine* 'красное вино', которые действительно являются красными (*red*), ни *water wings* 'плавательные пузыри', ни *water meters* 'водомеры', ни *water rats* 'водяные крысы' не являются водой 'water'. Перечисление типа *water wings, meters and rats* будет даже синтаксически неправильным; компонент *water* 'вода' необходимо повторять, поскольку его значение для каждого из примыкающих термов различно. Лишь в отдельных случаях, таких, как *student prince* 'студенческий лидер', *lady cop* 'женщина-полицейский' и *iron bar* 'железный брусок', мы находим, что существительные действительно выполняют атрибутивную функцию, в то время как для прилагательных такое употребление обычно.

Среди прилагательных также бывают исключения. *Mere child* 'сухой ребенок' не есть нечто, являющееся *mere* 'простым' и *child* 'ребенком'. Также обстоит дело и с выражениями *dubious honor* 'сомнительная честь', *feigned affection* 'фальшивая привязанность', *real money* 'наличные деньги', *expectant mother* 'будущая мать'. Такие прилагательные хочется определить старым философским термином — *синкатегорематические*. Ведь эти прилагательные не являются термами (в моем понимании), выделяющими класс объектов присущим им способом; они имеют смысл лишь при объединении с таким термом, как „mother“ 'мать', в качестве части большего терма, например, такого, как „expectant mother“ 'будущая мать'. Даже когда синкатегорематическое прилагательное само по себе появляется в предикате, как, например, во фразах *The honor is dubious* 'Честь сомнительна', *The money is real* 'Деньги наличные', его зависимость от главного терма остается неизменной; соответствующая настоящая предикация (§ 20) представляет собой скорее *The thing is a dubious honor* 'Это сомнительная честь', *The stuff is real money* 'Это наличные деньги'. Синкатегорематические имитации атрибутивного и предикативного употребления прилагательных присущи более сложной фазе освоения языка, нежели та, которую мы сейчас рассматриваем; поэтому вернемся к дальнейшему изучению истинно атрибутивного употребления прилагательных, являющихся настоящими термами.

Прилагательное в предикативном употреблении следует считать, как мы знаем, общим термом: „F“ из „Fa“. Аналогично, в атрибутивном употреблении при общем терме прилагательное сле-

дует также считать общим термом, поскольку только таким образом мы можем рассматривать их сочетание как общий терм, истинный относительно тех объектов, для которых истинны оба его компонента вместе. Но в атрибутивной позиции при массовом терме прилагательное должно рассматриваться как массовый терм: таково „красный“ в „красное вино“. Два массовых термина объединяются для образования сложного массового термина. Когда мы думаем о двух составляющих массовых терминах как о единичных терминах, называющих две распределенные части мира, сложный терм становится единичным термом, называющим меньшую распределенную часть мира, являющуюся пересечением этих двух частей. Красное вино представляет собой часть всего существующего в мире вина, которая также является и частью всех существующих в мире красных объектов. Когда сложный массовый терм выступает скорее как общий терм, как, например, в „That puddle is red wine“ ‘Эта лужа — красное вино’ (ср. § 20), его части также выступают в роли общих термов; в таких контекстах они равнозначны как „красному веществу“, так и „небольшому количеству (или порции) вина“, и поэтому сложный терм истинен для каждого из тех объектов, для которых истинны оба компонента вместе.

Формальное сходство между прилагательными и существительными, обозначающими массу, отмеченное в § 20, не должно заслонять того факта, что многие прилагательные, такие, как „сферический“, делят свою референцию с той же обязательностью, что и любое существительное. Такие прилагательные не кумулятивны по своей референции и не являются массовыми терминами; причина, в связи с которой они могут обходиться без артиклей и окончаний множественного числа, заключается в том, что мы присоединяем артикли и окончания скорее к существительным, которые (предикативно или атрибутивно) сопровождаются этими прилагательными. Но что еще можно сказать о таких прилагательных после того, как мы ввели правило о том, что прилагательное в атрибутивной позиции рядом с массовым термом следует рассматривать как массовый терм? Утешительно то, что референциально некумулятивные прилагательные просто не встречаются рядом с массовыми терминами (spherical wine ‘сферическое вино’, square water ‘квадратная вода’). Такие прилагательные выступают только в роли общих термов. С другой стороны, прилагательные, которые могут функционировать как массовые термины, будут, как мы уже видели, нормально функционировать и как единичные термины (red ‘красный’ в red wine ‘красное вино’), и, в трех ситуациях, как общие термины (red ‘красный’ в Eliot House is red ‘Дом Элиота красный’, в red house ‘красный дом’ и иногда в red wine ‘красное вино’).

Но „красный“ в качестве общего термина настолько отличается от „красный“ в качестве единичного термина, что является истинным для объектов, даже не принадлежащих всему существующему в мире красному веществу. Красные дома и красные яблоки подходят под понятие всего существующего в мире красного вещества очень поверхностно, поскольку они красны лишь снаружи. Так уж устроено, что различие между словом как единичным термом и тем же самым словом как общим термом — не просто формальное различие типов референции: даже соответствующие сферы мира могут различаться. Все же оба употребления прилагательного „красный“ естественно происходят от единого первичного употребления, единственно доступного ребенку, пока он не освоит разделенную референцию и понятие физического объекта. Ведь на этом раннем этапе не может быть проведено различие между „красный“, сказанном о яблоке, и „красный“, сказанном только о его кожуре. Ребенок может видеть красное неразрезанное яблоко, а затем — белый, отрезанный от него ломтик, но белый ломтик — не есть иначе показанное ему ранее неразрезанное красное яблоко, если только не говорить об этом в терминах сложной физической идентификации во времени.

С атрибутивным соединением термов тесно связано соединение термов посредством союзов *and* ‘и’ и *or* ‘или’. Если употреблен один из этих союзов, то либо оба составляющих термина по форме субстантивны, либо оба адъективны. Сочетание с союзом „и“, употребленным как в выражении „*a* является *F* и *G*“, принимает истинностные значения так же, как и атрибутивное сочетание, а именно: оно истинно только для тех объектов, для которых истинны оба его компонента. Однако при преобразовании в форму множественного числа сочетание с „и“ (употребленном как в выражении „*F_{mn}* и *G_{mn}* являются *H*“) обычно функционирует скорее как терм, истинный для всех объектов, для которых истинен хотя бы один его компонент. Если же множественное число не употребляется, эта схема принятия истинностных значений скорее сохраняется за союзом „или“.

§ 22. Относительные термины

Четыре фазы референции

То, что я до сих пор называл общими терминами, точнее было бы назвать *абсолютными* общими терминами, поскольку, помимо них, существуют еще и *относительные*¹ общие термины, такие, как *part of* ‘часть чего-либо’, *bigger than* ‘больше, чем’, *brother of* ‘брат

¹ Эта терминология взята нами из [Mill, 1867, Вк. I, Ch. II] наряду с терминами „общий“ и „единичный“, „конкретный“ и „абстрактный“ (§ 25, ниже).

кого-либо' и exceeds 'больше'. В то время как абсолютный общий терм просто истинен для объекта x и для объекта y , и т. д., относительный терм истинен для x относительно некоторого объекта z (того же самого или отличного от него) и для y относительно w , и т. д. Так, терм part of истинен для Роксбери относительно Бостона. Bigger than и exceeds истинны для Бостона относительно Роксбери. Brother of истинно для Каина относительно Авеля, и наоборот; истинно также для сэра Осберта Ситуэлла относительно Леди Эдит, но не наоборот.

Как абсолютный общий терм может принимать форму существительного, прилагательного или непереходного глагола, так и относительный терм может принимать форму существительного с предлогом (brother of), прилагательного с предлогом или союзом (part of, bigger than, same as) или переходного глагола. Также относительный терм может принимать форму отдельного предложения: in 'в', under 'под', like 'как'.

Параллельно к предикации вида „ Fa “ для абсолютных термов имеет место предикация вида „ Fab “ для относительных термов: „ a является F по отношению к b “ или „ $a F b$ “.

Мы можем сказать, что относительные термы истинны для объектов, взятых попарно. Но мы должны также признавать и относительные термы в широком смысле — трехместные, — истинные для объектов, упорядоченных по три, четырехместные и т. д. Gives to ('дает кому-либо') в выражении „ a gives b to c “ (' a дает b c ') является трехместным относительным термом, pays to for ('платит кому-то за что-то') — четырехместным. Предикацию таких термов можно представить как „ $Fabc$ “, „ $Fabcd$ “ и т. д. Все же, говоря об относительных термах, я буду подразумевать двухместные, так же как говоря об общих термах, я буду иметь в виду абсолютные термы.

Зачастую мы можем разделить относительные термы на пары взаимных конверсивов: один терм истинен для x относительно какого-либо y тогда и только тогда, когда другой истинен для y относительно x . Таковы bigger than 'больше' и less than 'меньше', parent of 'родитель' и offspring of 'отпрыск'. Часто, как в случае с „брат“, „отец“ и „часть (чего-либо)“, подходящего английского слова для обозначения конверсива не оказывается. Но для случая, когда относительный терм представлен переходным глаголом, в английском языке имеется универсальный способ образования конверсивов: преобразование в страдательный залог с добавлением by .

Обычно ключевое слово относительного терма употребляется также и дерелятивизованно (derelativized), то есть как абсолютный терм: он истинен для какого-либо x тогда и только тогда, когда относительный терм истинен для x относительно по крайней

мере одного объекта. Так, некто является братом тогда и только тогда, когда есть кто-то, кому он — брат. Там, где относительный терм представлен переходным глаголом, соответствующий абсолютный терм представлен тем же глаголом, употребленным непеременно.

Относительные термы также сочетаются с единичными термами посредством *наложения* (application) с целью получения сложных абсолютных общих термов. Так, из относительного терма „брат (кого-либо)“ получается не только абсолютный общий терм „брат“, но также и абсолютный общий терм „брат Авеля“. Аналогично, из относительного терма „любит“ получается не только абсолютный общий терм „любит“ (непереходный), но также и абсолютный общий терм „любит Мейбл“.

Мы рассмотрели два основных метода получения сложных общих термов. Один из них заключается в атрибутивном присоединении одного общего терма к другому (§ 21); таковы „красный дом“, „железный брусok“. Второй, только что проиллюстрированный примерами „брат Авеля“ и „любит Мейбл“, состоит в наложении относительного общего терма на единичный терм. Эти две операции могут быть объединены для получения более сложных общих термов; таков терм *wicked brother of Abel* ‘порочный брат Авеля’, образованный атрибутивным присоединением *wicked* ‘порочный’ к *brother of Abel* ‘брат Авеля’. Сложные общие термы, образованные одним или обоими способами, могут быть в свою очередь полезны для образования новых единичных термов посредством присоединения *this*, *that* и *the*. К сложным единичным термам, наоборот, мы можем присоединять относительные термы для получения новых общих термов, и так далее. Короче говоря, терм типа *his brother* ‘его брат’ может считаться своего рода капсулой, состоящей из трех слов, поскольку мы можем рассматривать его как сокращение для *the brother of him*, где *him* представляет собой сокращение от *the man* (ср. § 21). Единичная дескрипция в результате такого подхода к сложным общим термам делает большой шаг вперед, поскольку сложного общего терма зачастую оказывается достаточно для фиксации единственности объекта референции без помощи каких-либо дополнительных детерминантов в контексте или в сопутствующих произнесению обстоятельствах. Традиционным примером из Рассела является „*author of Waverley*“ (‘автор *Ваверлея*’); добавьте определенный артикль *the*, и вы получите единичный терм, чья референция устойчива и независима от контекста и обстоятельств.

Конечно, единственность большинства единичных дескрипций, например *the president of the United States* ‘президент Соединенных Штатов’, продолжает зависеть от контекста или обстоятельств.

Разобранный выше пример („порочный брат Авеля“) наводит на дальнейшие размышления. „Естественный спутник Земли“ („natural satellite of the earth“) можно было бы разобрать аналогичным образом; а можно рассматривать natural satellite of как относительный терм, где natural синкатегорематично (§ 21). Вторым способом является единственно возможным при разборе natural son of Charles the Bald ‘внебрачный сын Карла Лысого’. Тот факт, что синкатегорематические прилагательные не играют большой роли в нашем описании образования сложных термов, обусловлено только тем, что они не являются термами. О них, а также и о наречиях можно сказать следующее: это слова, присоединяющиеся к термам, как относительным (son of, loves), так и абсолютным (mother, red, talks), для образования таких же термов (natural son of, loves dearly, expectant mother, deep, red, talks fast).

Наложение относительных термов на единичные, как в случаях „брат Авеля“ и „любит Мейбл“, весьма напоминает наложение относительных термов на общие. В этом сочетании подчиненный общий терм приобретает форму множественного числа, и в результате тоже получается общий терм.

Образование сложных общих термов посредством наложения относительных термов на другие единичные или общие термы приводит к появлению нового типа референции. Вспомним фазы, различаемые нами в референционном функционировании языка, для того чтобы увидеть значение этой новой фазы в соответствующем окружении.

В первой фазе осваивались термы типа „мама“ и „вода“, которые ретроспективно могут рассматриваться как имена наблюдаемых пространственно-временных объектов. Каждый такой терм изучался в процессе закрепления и пересечения; благодаря ему постепенно совершенствовались пространственно-временные границы применения этого терма. Называемый объект был, несомненно, наблюдаем, в том смысле, что закрепленные стимулы исходили непосредственно от него. Само собой разумеется, это деление на имя и объект принадлежит более поздней стадии изучения языка.

Вторая фаза характеризуется появлением общих термов и указательных единичных термов, а также появлением вырожденных случаев указательных единичных термов — единичных дескрипций. Общие термы по-прежнему осваиваются методом наглядного обучения, но они отличаются от своих предшественников разделенной референцией. Разделенная референция дает возможность временной непрерывности вещества (§ 19) выйти на первый план. В этой фазе уже можно освоить такой общий терм, как unicorn. ‘единорог’, наблюдая его изображение; при этом можно быть вполне подготовленным к осознанию того факта, что этот терм ни с чем не соотносится; ведь довольно скоро становится ясно, что

термы чаще объясняются изображенными на картинках предметами, чем самими картинками². И так или иначе становится возможной неудача референции при употреблении указательных единичных термов и единичных дескрипций, например тогда, когда мы говорим „this apple“ или „the apple“ о некотором объекте, у которого либо нет задней половинки, либо это вообще помидор. Но несмотря на простор для возможных ошибок, объекты, чья референция определяется, по существу, остаются прежними. Это объекты, от которых исходили закрепляемые стимулы при наглядном обучении общим термам, или же объекты, достаточно сходные с ними для того, чтобы было возможно применение к ним тех же термов.

В третьей фазе появляются сложные общие термы, образованные атрибутивным соединением общих термов. Здесь нам еще в большей степени, чем раньше, грозит неудача референции общих термов; мы получаем сложные сочетания типа „square apple“ ‘квадратное яблоко’ и „flying horse“ ‘летающая лошадь’, которые не являются истинными ни для каких объектов вследствие того, что множества объектов, для которых составляющие термы истинны, не пересекаются. Аtribuтивное присоединение термов также может приводить непосредственно к образованию ничего не называющих единичных термов, а именно к образованию таких массовых термов, как „dry water“ ‘сухая вода’. Более того, из атрибутивно соединенных общих термов мы можем получить указательные единичные термы и единичные дескрипции, неудача референции которых безоговорочно гарантирована: this square apple ‘это квадратное яблоко’, the flying horse ‘(определенная) летающая лошадь’.

Эта третья фаза при всех открывающихся в ней возможностях неудачи референции все же не обеспечивает существования новой, присущей лишь общим термам референции для новых типов объектов. Если вообще находятся объекты, для которых истинны вновь образованные общие термы, то они являются лишь отдельными элементами прежнего множества объектов, относительно которого истинны составляющие термы. В третьей фазе происходит массовое производство общих термов, сильно опережающее количество существующих объектов референции, но сами эти объекты остаются прежними.

Может возникнуть вопрос, не открывает ли третья фаза дорогу новым объектам референции единичных термов. Ведь атрибутивное соединение массовых термов приводит к образованию единичного терма, соотносящегося с общей частью двух множеств, или распределенных общностей, называемых его компонентами. Не

² Этой мыслью я обязан Дэвидсону.

может ли случиться так, что эта общая часть окажется чем-то, с чем не соотносится ни один из прежних единичных термов и для чего не является истинным ни один из имеющихся общих термов? Нет, не может. Каждый из компонентов, будучи массовым термом, в предикативной позиции употребляется как общий терм (ср. § 20), и при таком употреблении среди прочих объектов будет истинен и для этой общей части.

Доступ к новым объектам открывается в четвертой фазе. Эта фаза была только что объявлена нами как характеризующая наложением относительных термов на единичные и общие термы для образования общих термов. Эта фаза вводит новый способ понимания, порождая такие сложные термы, как «меньше, чем это пятнышко». Такой терм отличается от термина „квадратное яблоко“ тем, что он даже и не претендует на обозначение объектов, на которые мы могли бы указать и которым могли бы дать индивидуальные имена, если бы они нам встретились. Относительный терм „меньше, чем“ дает нам возможность выйти за пределы старой области знания, не чувствуя при этом, что мы переходим на тарабарский язык. Механизмом этого является, конечно же, аналогия, а точнее, экстраполяция (ср. § 4).

Постулирование новых объектов обусловлено не только этой грамматической конструкцией. Относительные предложения-составляющие (§ 23) представляют замечательно гибкие средства формулирования условий, которым объекты должны удовлетворять, а неопределенные единичные термы (§ 23) дают нам возможность быть достаточно уверенными в существовании любых объектов, которые нам хотелось бы допустить. Абстрактные объекты вводятся другими способами, которые будут обсуждаться чуть позднее (§ 25). Но наложение относительных термов на другие интересно само по себе: в ряду рассмотренных до сих пор простых конструкций это первая, расширяющая горизонты референции.

§ 23. Относительные предложения-составляющие

Неопределенные единичные термы

Употребление слова „относительный“ в словосочетании „относительное предложение-составляющая“* не имеет ничего общего с его употреблением в словосочетании „относительный терм“. Относительное предложение-составляющая является обычно абсолютным термом. Оно имеет форму предложения, если не счи-

* Англ. clause означает простое предложение, в том числе и в составе сложного. Этот термин переведен здесь как „предложение-составляющая“. — *Прим. ред.*

тать того, что на том месте, где для образования законченного предложения необходим единичный терм, стоит относительное местоимение и часто изменен порядок слов; таково относительное предложение Which I bought 'который я купил'. Общий терм такого типа истинен только для тех объектов, имена которых, будучи подставлены на место относительного местоимения, делают предложение истинным. Так, „который я купил“ будет истинно для тех объектов *x*, которые таковы, что *x* я купил, или, вернее, таковы, что я купил *x*.

Из этого широкого правила мы выводим, в частности, что относительные местоимения в некотором смысле избыточны в позиции субъекта. Например, who loves Mable 'который любит Мейбл' истинно только для тех лиц, для которых истинно loves Mable 'любит Мейбл', а which is bigger than Roxbury 'который больше, чем Роксбери' истинно только для тех объектов, для которых истинно bigger than Roxbury 'больше, чем Роксбери'. Но избыточное местоимение может служить грамматическим целям: мы преобразуем „любит Мейбл“ в „который любит Мейбл“ с целью атрибутивного употребления (как, например, в „брат, который любит Мейбл“), потому что относительные предложения-составляющие адъективны и, следовательно, пригодны для употребления в атрибутивной позиции, в отличие от глагольной формы „любит Мейбл“. Менее обусловлено в этом смысле „который больше, чем Роксбери“, поскольку „больше, чем Роксбери“ уже адъективно. Как правило, формы типа „который больше, чем Роксбери“ употребляются после запятой в качестве неограниченного предложения-составляющей; мы можем не обращать внимания на неограниченные предложения-составляющие, так как они являются всего лишь стилистическими вариантами сочиненных предложений.

Во всяком случае, замечательным свойством предложений-составляющих является то, что они создают из предложения „...*x*...“ сложное прилагательное, суммируя все, что говорится об *x* в предложении. Иногда того же эффекта можно добиться опущением „*x* is“, как в последнем примере [[which is] bigger than Roxbury], или другими приемами; так, в случае I bought *x* 'Я купил *x*' выражение bought by me 'купленный мной' (образование конверсией и наложением) будет выполнять те же функции, что и относительное предложение-составляющая which I bought 'который я купил'. Но часто, как в случае the bell tolls for *x* 'колокол звонит по *x*', относительное предложение-составляющая является наиболее точным прилагательным, пригодным для этой цели.

Мы уже говорили в § 21, что некоторые прилагательные, такие, как „сферический“, не могут функционировать в качестве единичных термов, тогда как другие (такие, как „красный“) свободно ведут себя как общие термы рядом с общими термами и как еди-

нические термы рядом с единичными термами. Эти рассуждения особенно применимы к относительным предложениям-составляющим. В предложении *Coffee from which extract is made is grown in the lowlands* 'Кофе, из которого сделан экстракт, выращен в долине' существительное *coffee* 'кофе' и прилагательное *from which extract is made* 'из которого сделан экстракт' являются массовыми термами, функционирующими как единичные; каждый из них называет соответствующий сегмент реальности; сложный терм, образованный из них, *coffee from which extract is made* 'кофе, из которого сделан экстракт', — является единичным термом, называющим тот меньший сегмент, который является общей частью двух предыдущих.

Which 'который', *who* 'кто' и *whom* 'кого, кому' — не единственные относительные местоимения, к которым применимы все эти рассуждения. Они применимы и к *that*, но я избегаю говорить о нем из-за его употребления как указательного местоимения и союза. Существует также способ просто оставлять относительное местоимение невыраженным, как, например: *car I bought from you* 'машина, [которую] я купил у вас'.

Продуктивной основой для образования единичных дескрипций является общий терм в форме относительного предложения-составляющей; такова единичная дескрипция *the car [which] I bought from you* ('Машина, [которую] я купил у вас'). Воспроизведем построение этого примера из его элементов. У нас есть трехместный относительный терм *bought from* ('купил у'), который будучи предикативно присоединенным к единичным термам *I*, *x* и *you*, дает предложение *I bought x from you* 'Я купил *x* у вас'. Заменяя в нем *x* на относительное местоимение и изменив порядок слов, мы получим относительное предложение-составляющую *which I bought from you* ('которую я купил у вас'). Это предложение-составляющая представляет собой общий терм, адъективный по своему статусу. Атрибутивно соединив его с общим термом *car*, мы получим общий терм *car which I bought from you*, после чего определенный артикль *the* преобразует этот общий терм в единичный.

Относительное предложение-составляющая должно быть атрибутивно соединено с существительным до присоединения *the*, поскольку *the* присоединяется к существительным, а относительные предложения-составляющие являются прилагательными. Если помимо выполнения этого грамматического требования существительное ни для чего не нужно, то употребляются так наз. „пустые“ существительные *thing* 'вещь' или *object* 'объект', или *person* 'некто'; а затем *the object which* 'объект, который' в свою очередь сокращается до *that which* 'тот, который' или даже до *what* 'что'. Таким образом появляются единичные дескрипции типа „*what the cat dragged in*“ ('то, что кошка притащила'). Заметьте, что это —

единичный терм и существительное, тогда как „which the cat dragged in“ (‘который кошка притащила’) — общий терм и прилагательное.

Изменение порядка слов при образовании относительного предложения-составляющей необходимо для того, чтобы вынести относительное местоимение в начало или как можно ближе к нему. Выполнение этого требования может быть в сложных случаях затруднено, и его можно обойти, обратившись к альтернативной конструкции, „such that“ ‘такой, что’. Эта конструкция не предъявляет никаких требований к порядку слов, в отличие от „which“, потому что она разделяет две обязанности which: занимать позицию единичного терма в пределах предложения-составляющей вменяется в обязанность „it“, а обязанность сигнализировать начало предложения-составляющей выполняется конструкцией „such that“. Так, which I bought ‘который я купил’ становится such that I bought it ‘такой, что я купил его’; for whom the bell tolls ‘по ком звонит колокол’ становится such that the bell tolls for him ‘такой, что колокол звонит по нему’.

Таким образом, конструкция „such that“ является более гибкой, чем конструкция „which“. Но больше всего поражает сила и гибкость обеих этих конструкций при сопоставлении с более ранними или „алгебраическими“ способами образования общих термов: такими операциями, как атрибутивное соположение, наложение относительных термов, преобразование в страдательный залог, дерелятивизация (brother из brother of) и соединение термов с помощью „и“ и „или“. Не очевидно, что все относительные предложения-составляющие могут быть получены с помощью какой-нибудь заранее определенной конечной последовательности алгебраических операций; хотя можно сказать, что работа Шёнфинкеля¹, знаменующая начало комбинаторной логики, отвечает на этот вопрос положительно.

Дискурс во многом зависит от *неопределенных* единичных термов, образованных, как правило, с помощью „an“ вместо „this“, „that“ или „the“. В I saw the lion ‘Я видел льва’ предполагается, что единичный терм the lion соотносится с каким-то одним львом, отличаемым говорящим и слушающим от прочих львов либо потому, что он упоминался в предшествующих предложениях, либо потому, что сопутствующие произнесению этой фразы обстоятельства обуславливают выделение именно этого льва. В I saw a lion ‘Я видел [какого-то] льва’ единичный терм a lion не обладает такой презумпцией; это просто подставной единичный терм. I saw a lion считается истинным предложением, если по крайней мере

¹ Schönfinkele, 1924.

один лев, неважно какой, был увиден мной в рассматриваемой ситуации.

Лишь с появлением неопределенных единичных термов мы находим явное утверждение существования. Предложение I saw a lion истинно, если есть по крайней мере один объект, удовлетворяющий условиям „быть львом“ и „быть увиденным“ кем-то в рассматриваемой ситуации; в противном случае это предложение ложно. О предложениях типа *Мама sings* ‘Мама поет’ и *I saw the lion*, содержащих определенные единичные термы, можно сказать, что их истинность зависит от существования объектов, называемых этими термами; но разница заключается в том, что они не очевидно становятся ложными (а их отрицания — истинными) при отсутствии таких объектов. При отсутствии объектов референции определенных единичных термов эти предложения, вероятно, следует рассматривать не как ложные, не как истинные, а просто как неуместные².

Различие между такими неопределенными единичными термами и обычными (или определенными) единичными термами подчеркивается при наличии повторений. В предложении *I saw the lion and you saw the lion* ‘Я видел [этого, определенного] льва и ты видел [этого, определенного] льва’ о нас говорится, что мы видели одного и того же льва; на самом деле, вместо второго вхождения *the lion* могло быть сказано *it* или *him* (его). Но в случае *I saw a lion and you saw a lion* ‘Я видел льва, и ты видел льва’ нет такого намека на тождество. В этом предложении мы можем заменить последние четыре слова на *so did you* ‘и ты тоже’, но мы не можем заменить последние два слова на *it* или *him*, если мы не имеем в виду тождество, которое заранее не предполагается. Нет такого объекта, который обозначался бы неопределенным единичным термом *a lion*. В этом отношении неопределенный единичный терм чем-то напоминает относительное местоимение *which*, о котором (несмотря на то что оно занимает в относительном предложении-составляющей позицию, соответствующую позиции единичных термов в предложении) едва ли можно сказать, что оно хоть временно что-либо называет.

В этом отношении местоимения *he* ‘он’, *she* ‘она’, *it* ‘оно, это’ ведут себя совершенно иначе. Они, как уже было отмечено, являются определенными единичными термами. Насколько лучше рассматривать их так, а не как какие-то „обозначения“ своих грамматических antecedентов, неожиданно стало очевидно при обнаружении невозможности замены, отмеченной в предыдущем параграфе: *it* нельзя заменить на его грамматический antecedent, когда им является неопределенный единичный терм, просто потому

² Ср. Frege, 1892.

что *it*, независимо от того, каков его антецедент, остается определенным единичным термом.

He, she и *it* являются такими же определенными единичными терминами, как *that lion* и *the lion*. Референция любого из них зависит от детерминативов в составе антецедента, и любой из них может быть употреблен в позиции субъекта ложных или пустых детерминативов, обеспеченных неопределенным единичным термом. Три сложносочиненных предложения — *I saw a lion and you saw that lion* 'Я видел льва, и вы видели этого льва', *I saw a lion and you saw the lion* 'Я видел льва, и вы видели этого льва' и *I saw a lion and you saw it* 'Я видел льва, и вы его видели' — взаимозаменяемы. Такое зависящее от неопределенного антецедента употребление определенного единичного термина является отступлением от описанных на предыдущих страницах употреблений определенных единичных термов, но зато оно не делает различий между таким местоимением, как *it*, и такой единичной дескрипцией, как *the lion*.

Употребление *it*, *he* и т. д. в сочетании с *such that* может показаться еще большим отступлением от образа единичной дескрипции. Все же даже в этом случае *the thing*, *the man* и т. д. могут быть заменены без натяжки. Дело в том, что конструкции с *such that* обычно вводятся в контекст таким образом, что антецедент местоимения, соотносимого с *such that*, осознается как определенный или неопределенный единичный терм. В предложениях *The car such that I bought it from you* 'Эта машина, такая, что я купил ее у вас' или *A car such that I bought it from you* 'Машина, такая, что я купил ее у вас' мы воспринимаем употребление *it* как шаблон *a the car* или *a car* считаем его антецедентом. Безусловно, это чувство пропадает в процессе разбора; ведь при нашем разборе считается, что артикли *the* или *a* скорее управляют сложным общим термом, образованным атрибутивным присоединением предложения-составляющей с *such that* к *car*. Наш анализ предпочтительнее по многим причинам: например, он взваливает на *the* максимум ответственности за обусловленную им единственность референции. Этот анализ требует рассмотрения функции местоимений в связи с *such that* как особым местоимением.

„*An*“ — не единственная частица, используемая для образования неопределенных единичных термов. Другой такой частицей является „*every*“ 'каждый'. „*Every*“ отличается от „*an*“ с точки зрения условий истинности содержащих ее предложений, но они похожи в том смысле, что обе образуют лишь пустые единичные термы. Не существует такого объекта — ни льва, ни вида, ни чего-либо еще, — который бы скорее именовался *every lion*, чем *a lion*. Более того, пример *I saw a lion and you saw a lion*, который помог выявить странность неопределенных единичных термов,

может пригодиться и для „every“. Рассмотрим сначала пример This lion is African or this lion is Asiatic ‘Этот лев — африканский или этот лев — азиатский’. This lion в этом примере — определенный единичный терм, и его можно заменить на he или даже вовсе устранить при его втором вхождении. Но обойтись так с every lion (‘каждый лев’) в ложном утверждении Every lion is African or every lion is Asiatic ‘Каждый лев — африканский или каждый лев — азиатский’ нельзя. Устранение второго вхождения every lion или замена его на he радикально изменит наше ложное высказывание, преобразовав его в истинное.

Частицы an и every имеют варианты, а именно: some (‘некоторые’), each (‘каждый’) и any (‘любой’). Они взаимозаменяемы далеко не всегда, что видно при попытке замены „a“ на „every“, „some“ и „any“ в предложениях John can outrun a member of the team ‘Джон может обогнать (какого-то) члена команды’ и John cannot outrun a member of the team ‘Джон не может обогнать (ни одного) члена команды’ и при сравнении полученных результатов (ср. § 29).

§ 24. Тожество

Тожество выражается в английском языке таким употреблением is, которое можно развернуть в is the same object as ‘такой же объект, как’. В этом смысле удобно считать, что английскому языку присущ знак тождества „=“, дающий нам возможность кратко, без неоднозначности, выражать суть дела. Обозначение тождества, пусть даже письменное, является фундаментальным свойством нашего языка и концептуальной схемы.

Знак тождества „=“ — относительный терм, его можно считать своего рода переходным глаголом, не избегающим прямого дополнения в именительном падеже. Как и любой другой такой терм, он присоединяет единичные термы для создания предложения. Образованное таким образом предложение истинно тогда и только тогда, когда составляющие его термы соотносятся с одним и тем же объектом.

Тожество тесно связано с разделением референции. Ведь разделение референции заключается в определении условий тождества: до каких пор объект можно считать одним и тем же яблоком и с какого момента он становится уже другим яблоком. Лишь после того, как ребенок до некоторой степени освоит различие между тем же самым и другим, о нем можно сказать, что он имеет представление об общих терминах. И наоборот, в противном случае тождество бессмысленно. Можно себе представить, как ребенок говорит: This is mama (‘Это мама’) или This is water (‘Это вода’) до освоения им общих терминов; „is“ в этом случае

представляет собой тождество „=“, но только в ретроспективе. Если не считать случая, когда целью является обусловленное обстоятельствами разделение референции общих термов, This is mama и This is water лучше рассматривать как Mama here ('Вот мама'), Water here ('Вот вода').

На этой самой ранней фазе референции еще одним возможным случаем тождества является случай, когда вместо указательного местоимения „этот“, с одной стороны, и устойчивого термина типа „мама“, с другой стороны, у нас с обеих сторон оказываются термины второго типа (типа „мама“). Но такое тождество будет истинным, если оба термина обусловлены одними и теми же стимуляциями для одного и того же человека, и если это так, — что неправдоподобно, — то тождество по этой самой причине не будет содержать никакой новой информации.

Тождество „Гауришанкар=Эверест“* действительно информативно, несмотря на то что оба составляющих его единичных термина осваиваются посредством наглядного обучения (в случае, рассмотренном в § 11). Ведь они осваиваются не так, как „мама“, а только после овладения общими терминами и схемой отношения к физическим объектам, присущей взрослым. Даже если наш исследователь осваивает каждое такое название наглядным способом с помощью местных жителей, не способных использовать вспомогательный английский указательный терм „that mountain“ ('та гора'), для исследователя это будет почти то же самое, как если бы они его использовали: он уверен, что оба местных жителя называют, со своих точек зрения, определенный горный массив, а не всего лишь открывающийся их взгляду отдельный его участок.

Все же для полезных и информативных тождеств более типичны случаи, когда один или оба термина являются сложными; таковы тождества Mama is the new treasurer ('Мама — новый казначей') и The barn behind 21 Elm Street is the same barn as the one behind 16 High Street ('Скотный двор за домом 21 по Элм-стрит такой же, как и за домом 16 по Хай-стрит')¹.

Несмотря на такую простоту понятия тождества, путаница вокруг него — не редкость. У Гераклита приводится пример, в соответствии с которым вы не можете вступить в одну и ту же реку дважды (по причине непрерывного течения воды). Эта трудность разрешается при обращении к принципу разделенной референции общего термина „река“. Утверждение, что человек вступил дважды в одну и ту же реку, основано на таком понимании реки, при ко-

* Гауришанкар — горная вершина в Б. Гималаях, на границе между Непалом и Китаем. До 1913 г. ее ошибочно принимали за вершину Эверест, находящуюся в действительности в 60 км к востоку от Гималаев. — *Прим. перев.*

¹ Заимствовано у Льюиса.

тором река отличается, с одной стороны, от отрезков реки и, с другой стороны, от воды с точки зрения постоянства вещества².

Другие трудности проблемы тождества лежат в основе следующего утверждения Юма: «Мы не можем, не нарушив правильности речи, сказать, что некоторый объект тождествен самому себе, если только мы не подразумеваем, что объект, существующий в один момент времени, тождествен самому себе, существующему в другой момент времени»³. Вероятно, это утверждение вызвано тем, что мы отмечали тремя параграфами раньше: что предложения о тождестве, связывающие простые термы, не обоснованы до тех пор, пока не будет освоена концептуальная схема физических объектов. Но есть и другая причина, ясно прослеживаемая в работе Юма: если понимать тождество строго как отношение каждой сущности только к самой себе, то поневоле теряешься, обнаруживая, что в нем относительно и как оно отличается от простого атрибута существования⁴. Причиной этого затруднения является смешение понятий знака и объекта. Тождество является отношением, а знак тождества „=“ — относительным термом, благодаря тому что „=“ действует между различными вхождениеми единичных термов, одинаковых или различных, а не благодаря тому, что этот знак устанавливает отношение между различными объектами.

Аналогичное смешение понятий знака и объекта наблюдается у Лейбница, когда он определяет тождество как отношение между знаками, а не между названным объектом и им же самим: «Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri, salva veritate» [«Два выражения считаются одинаковыми, если одно из них всегда может быть подставлено вместо другого, причем истинность целого не изменяется»]⁵. Фреге одно время придерживался аналогичных взглядов⁶. Это смешение необычно усилилось у Кожибского, когда он утверждал, что « $1=1$ » должно быть ложно потому, что две стороны равенства различны в пространственном отношении⁷.

Тождество явно провоцирует смешение понятий знака и объ-

² Более подробные рассуждения на эту тему см. ниже, § 36; также см. [Quine, 1953, pp. 65—70].

³ [Hume, 1888, p. 201].

⁴ См. [Hume, 1888, p. 200].

⁵ Leibniz. Opera Philosophica (изд. Erdmann), 1840, с. 94. С другой стороны, Аристотель выразился точнее: предметы тождественны (ταὐτά), когда «то, что утверждается об одном, должно утверждаться и о другом» (Топика. Кн. 7, гл. I, 15). Фома Аквинский говорит то же самое в „Summa Theologica“, часть I, вопрос 40, статьи 1, 3. Ср. Реано, 1958, vol. 2, pp. 258, 417, откуда и взяты эти ссылки.

⁶ См. Frege, 1892, ввводные замечания. Гич в последнее время стал придерживаться тех же взглядов; см. Geach, 1951, p. 540f.

⁷ Korzybski, 1933, p. 194.

екта у людей, которые не допустили бы такого смешения в другом контексте. К числу этих людей принадлежит большинство математиков, которым нравится считать равенство отношением между числами, которые в каком-то смысле равны, но различны. Уайтхед, однажды защищая эту точку зрения, писал, что « $2+3$ и $3+2$ не тождественны; порядок символов в этих двух сочетаниях различен, и эта разница в порядке символов предполагает различие мыслительных процессов»⁸. Неясно, насколько эта защита обусловлена смешением понятий знака и объекта, а насколько — специальной теорией о том, что числа являются мыслительными процессами. Ошибка Витгенштейна распознается легче, когда он по поводу понятия тождества возражает так: «сказать о *двух* предметах, что они тождественны, — бессмыслица, а сказать об *одном* предмете, что он тождествен самому себе, — значит не сказать ничего»⁹. На самом деле, конечно же, утверждения тождества, являющиеся истинными и бессмысленными, состоят из неодинаковых единичных термов, которые соотносятся с одним и тем же объектом.

Механизм тождества сочетается с механизмом неопределенных единичных термов для создания эквивалентов множества привычных и полезных выражений. Так, рассмотрим *Mabel loves none but George* 'Мейбл не любит никого, кроме Джорджа'. Это равнозначно тождеству с определенным единичным термом „George“, с одной стороны, и с неопределенным единичным термом „every-one whom Mabel loves“ ('все, кого любит Мейбл') — с другой. Этот неопределенный единичный терм в свою очередь образован наложением неопределенной неизменяемой частицы „every“ ('каждый') на общий терм „one whom Mabel loves“ ('некто, кого любит Мейбл'). Этот общий терм является, по сути, относительным предложением-составляющей „whom Mabel loves“ ('кого любит Мейбл'); „one“ является субстантивированной частицей, наличествующей по той лишь причине, что „every“ присоединяется к общим термам только в субстантивной, а не в адъективной форме.

Или рассмотрим *Mabel loves George and someone else* 'Мейбл любит Джорджа и кого-то еще'. Это равнозначно *Mabel loves George and someone other than George* 'Мейбл любит Джорджа и кого-то еще, отличного от Джорджа'. Неопределенный единичный терм „someone other than George“ ('кто-то, отличный от Джорджа') образован наложением неопределенной неизменяемой частицы „some“ (или „an“) на субстантивированный общий терм „other than George“ ('отличный от Джорджа'), который в свою очередь равнозначен относительному предложению-составляющей

⁸ Whitehead, 1898, p. 6.

⁹ Wittgenstein, 1922, 5.5303.

„who ≠ George“ (‘кто ≠ Джордж’), отрицанию „who = George“ (‘кто = Джордж’).

Общие термы только что описанного вида „other than y “ (‘отличный от y ’) представляют особый интерес потому, что они дают нам возможность проанализировать наиболее характерное употребление грамматического множественного числа. Так, *I hear lions* ‘Я слышу львов’ значит, что я слышу по крайней мере двух львов. Это равнозначно *I hear a lion other than a lion which I hear* ‘Я слышу льва, иного, чем тот, которого я слышу’, — перифразе, которая, хотя и неестественна, но линейна и свободна от окончаний множественного числа. („Other than“ (‘иной, чем’) в этой перифразе можно, как и прежде, переписать как „Which ≠“ (‘который ≠’). Расширение этого метода дает нам возможность сказать отдельно о каждом n , что есть n объектов данного вида, что есть более чем n объектов и что есть менее n объектов без обращения к формам множественного числа]¹⁰.

Сочетание „is an“, которое мы рассматривали как единичную связку, может быть повторно проанализировано как состоящее из „is“ и „an“ при том, что „an“ теперь считается частицей для образования неопределенных единичных термов. *Agnes is a lamb* (‘Агнец — это барашек’) перестает таким образом рассматриваться как „*Fa*“ и рассматривается уже как „ $a=b$ “, где „ b “ представляет собой неопределенный единичный терм вида „an F “. *Agnes bleats* (‘Агнец блеет’) и *Agnes is docile* (‘Агнец покорный’) сохраняют вид „*Fa*“, а *is in is docile* сохраняет статус связки или частицы для преобразования прилагательных в глаголы; но *is in is a lamb* становится „=“. В некотором смысле эта интерпретация является очень правильной для английского языка, но она подчеркивает весьма ограниченно распространенную особенность. В германских и романских языках моделью (столь же часто, сколь и нет) является просто „ a is F “ (‘ a есть F ’), даже когда общий терм выражен существительным; таково *Il est médecin*. В польском и русском языках артиклей нет вовсе. Существенно, что наша начальная интерпретация „ a is an F “ (‘ a есть (некоторое) F ’) как „*Fa*“ лучше соответствует логическим экспликациям настоящей главы; хотя многие употребления *is* нужно все же истолковывать как „=“.

§ 25. Абстрактные термы

Наконец, наступает фаза, в которой постулируется совершенно новый тип языковых сущностей. Эта фаза характеризуется появлением термов типа „*roundness*“ (‘круглость’) — абстрактных еди-

¹⁰ Методы такого расширения, по Фреге, легко разрабатываются в свете идей моей книги: *Quine*, 1959, pp. 211 and 231f. Об употреблении множественного числа, не затронутом здесь, см. ниже, §§ 25, 28.

ничных термов, представляющих собой имена качеств или свойств. Прежде, чем рассматривать механизм этого нового явления, разберемся, в чем оно заключается. Давайте посмотрим, чем функционально отличаются такие термы от „round“ (‘круглый’).

Мы не придавали большого значения различию между существительными, прилагательными и глаголами, то есть различию между round thing ‘круглый предмет’, round ‘круглый’ и is round ‘является круглым’. Но различие между общими и единичными термами мы считали важным; настолько же важно и различие между round ‘круглый’ и roundness ‘круглость’. Основной конструкцией, в которой проявлялось различие между общим и единичным, была предикация. В то время как round и ему подобные выступают в роли „F“ в „Fa“, roundness и ему подобные годятся скорее на роль „a“ или „b“ в „Fa“, „Fab“ и т. д. Но для того чтобы в этой последней роли могли выступать абстрактные единичные термы, необходимо, чтобы для исполнения роли „F“ существовали некоторые абстрактные общие термы, а именно: некоторые общие термы, способные находиться в позиции предиката при абстрактных объектах. Двумя такими абстрактными общими термами являются „virtue“ (‘добродетель’) и „rare“ (‘редкий’); так, Fa может быть реализовано и как Humility is a virtue ‘Скромность — это добродетель’ и как Humility is rare ‘Скромность редка’. Относительным термом, выступающим с одной стороны как абстрактный, является „has“ (‘имеет, обладает’), имеющий вид „Fab“, как в случаях: a has humility ‘a обладает скромностью’ или a has roundness ‘a обладает круглостью’. Введение абстрактных единичных термов должно быть одновременно и введением абстрактных общих термов.

Если бы описание некоторых слов как абстрактных термов, общих и единичных, зависело просто от описания их сочетаний как предикаций определенного рода, и наоборот, то принятые по поводу них решения были бы довольно бессодержательными¹. Но в действительности общие и единичные термы, абстрактные или конкретные, различаются не только по своей роли в предикации. Единичные термы употребляются также в качестве антецедента для „it“, а общие термы используются после артиклей и при преобразовании во множественное число. Предикация является всего лишь частью модели взаимозависимых употреблений, из которых и состоит статус слова как общего или единичного терма. К моменту, когда мы сталкиваемся с абстрактными общими термами в таких контекстах, как, например, He has a rare virtue ‘Он обладает редкой добродетелью’, у нас остается не очень ясная альтер-

¹ Возможно, отчасти размышления такого рода и послужили Лазеровичу поводом для написания второй главы его книги.

натива между тем, чтобы признать их абстрактными общими терминами, и тем, чтобы признать их предложениями, с очевидностью утверждающими о существовании абстрактных объектов.

Я не одобряю такие поверхностные соображения, в соответствии с которыми мы можем свободно употреблять абстрактные термины любым возможным для термов образом, без признания существования каких-либо абстрактных объектов. В соответствии с этим решением абстрактные обороты являются просто языковым употреблением, свободным от метафизических обязательств перед своеобразным царством реальности. Сомневающегося в том, существование каких объектов он вправе допускать, такое решение должно тревожить в неменьшей степени, чем ободрять, поскольку при таком решении теряется различие между безответственным овеществлением и его противоположностью. И действительно, каждый, независимо от степени своей заинтересованности проблемой абстрактных объектов, обязан интересоваться некоторыми экзистенциальными следствиями основных рассуждений; поэтому по крайней мере некоторые, якобы имеющие референцию обороты следует в порядке рабочей гипотезы принимать за чистую монету хотя бы в качестве первого шага к установлению окончательных границ между тем, что принимать, а что нет. Если выражения якобы об абстрактных объектах следует защищать как существующие в целях языкового удобства, то почему не считать эту защиту защитой овеществления в единственно возможном смысле? Привилегия не интересоваться некоторыми *онтическими*² следствиями своих рассуждений проявляется скорее в их игнорировании, нежели в отрицании. На самом деле этот вопрос не так прост; еще многое можно сказать о том, какие употребления термов следует считать недвусмысленно утверждающими существование своих объектов. Но этим мы будем подробно заниматься в главе VII.

Мы видели, что появление абстрактных единичных термов нельзя отделить от появления абстрактных общих термов и что ни одно из них нельзя отделить от появления системной модели употребления такого рода слов в сочетаниях с местоимениями, окончаниями множественного числа, артиклями и т. д. Все же не будет ошибкой отдельно говорить о развитии референции абстрактных единичных термов. Теперь рассмотрим, каков механизм этого явления.

Одним элементом этого механизма является терм. Такие термины, как мы видели, могут быть освоенны уже в самой первой фазе, наравне с „мама“. Мы видели, что они расходятся с „мама“ во

² Из трех очевидных преимуществ термина „онтический“ перед „онтологический“ (в специальном значении — ‘относящийся к тому, что есть’) краткость является наименее важным. Этим улучшением моего лексикона я обязан Уильямсу.

второй фазе — просто за счет того, что женщина начинает восприниматься как целостный в пространственно-временном отношении объект, в то время как вода или все существующие в мире красные объекты, как правило, так не воспринимаются. Таким образом, для ребенка, который не овладел сложным понятием распределенного единичного объекта, массовый терм уже отмечен печатью всеобщности (сравним с общим термом „яблоко“); но все же по своей форме и функции он больше похож на единичный терм „мама“, в связи с чем даже его освоение в первой фазе происходит или может происходить наравне с „мама“. Таким образом, уже массовый терм обладает смешанной природой абстрактного единичного термина. Терм „вода“ может быть употреблен скорее для называния (1) общего свойства разного рода луж и стаканов, нежели для (2) распределенной части мира, составленной из этих луж и стаканов; ведь ребенок, конечно же, не является сторонником из одного из этих подходов. Преимущества подхода (2) с точки зрения ретроспективной оценки массовых термов заключаются в том, что при нем сохраняется близость термов, освоенных или могущих быть освоенными в первой фазе, и отсрочивается признание зависимости от обстоятельств, свойственной абстрактным объектам. Но, несомненно, ребенок, имеющий представление о распределенных конкретных и абстрактных объектах, прав, выбирая любой из подходов. Различие между ними так же незначительно с точки зрения детской речи, как и с точки зрения стимул-значения (ср. § 12).

Таким образом, в категории массовых термов, этом архаическом пережитке первой фазы обучения языку, у ребенка уже встречаются предвестники абстрактных единичных термов. Дальнейший переход облегчается на примере „красный“. Это слово осваивается в первой фазе, где, как уже отмечалось (§ 21), различие между „красный“, сказанном о яблоке, и „красный“, сказанном о его коже, еще незначимо. Таким образом, ребенок употребляет „красный“ и как массовый терм, и как прилагательное, истинное для объектов, даже не состоящих первоначально из красного вещества. Конечно, он не делит сознательно „красный“ на два функционально разных слова. В результате словом „красный“ именуют общее свойство не только луж и капель однородного красного вещества, но также и яблок. Теперь мы уже не можем так же легко пренебречь этим абстрактным объектом, как мы пренебрегли свойством воды, а именно допустив, чтобы подход (2) возобладал над подходом (1). Даже мы, которые в своей умудренности осознаем воду как конкретный распределенный объект, а красный (все существующее в мире красное вещество) — как нечто другое, склонны признать еще и такой абстрактный объект, как *краснота* (*redness*) (мы называем его так потому, чтобы под-

черкнуть их различие). Затем эта аналогия распространяется и за пределы массовых термов, на термы с наиболее строго распределенной референцией; таковы roundness ('круглость'), sphericity ('сферичность'). Каждый общий терм поставляет абстрактный единичный терм.

Полезь абстрактных термов заключается прежде всего в сокращенной кросс-референции. Например, после пространного замечания о президенте Эйзенхауэре кто-то говорит: „То же самое относится и к Черчиллю“. Или, защищая некоторое биологическое отождествление, кто-то говорит: „Оба растения имеют следующее общее свойство“ — и продолжает описание того и другого. В таких случаях занудное повторение удобнее обойти. Кросс-референция при этом обусловлена формой слов. Но имеется упорная тенденция овещать неповторимую сущность посредством подстановки свойств на место слов. Безусловно, существуют старые прецеденты смешения понятий знака и объекта; вспомним, что при освоении слова „мама“ наблюдалось одновременное закрепление (в качестве стимулов) повторяющегося лица и услышанного слова (§ 17). Это смешение укоренилось настолько, что многие недумающие люди будут настаивать на реальности свойств единственно на том основании, что два растения (или Эйзенхауэр и Черчилль) «действительно имеют что-то общее».

Поскольку разговор о свойствах обусловлен наличием такой сокращенной кросс-референции, предполагаемые свойства удобно соотносить не с простыми абстрактными термами, а с распространенными выражениями; ведь чем более распространенным является выражение, тем большая экономия достигается кросс-референцией. Онтология свойств, раскрытая таким образом, позволяет соотносить свойство с любым, даже самым распространенным предложением, которое мы можем сформулировать об объекте. Сложные единичные термы для обозначения слов обычно принимают вид герундивных предложений-составляющих (например, bearing spines in clusters of five 'обладание колючками, растущими пучками по пять штук в каждой'), предваряемых или не предваряемых выражением „the attribute (or quality or property) of“ ('свойство (или качество) чего-либо').

Мы проследили, как ребенок мог постепенно соскользнуть в область онтологии свойств, отталкиваясь от массовых термов. Мы видели также, как склонность к называнию свойств продолжает поддерживаться в ребенке и в обществе вследствие определенного удобства кросс-референции, сопряженного со смешением понятий знака и объекта. Размышляя над всем этим, мы получили материал для рассуждений о зарождении онтологии свойств на ранней стадии развития. Есть место также и для альтернативных, и для дополняющих предположений, например того, что свойства явля-

ются остатками „младших божеств некоей устаревшей религии“³.

Можно, из лучших научных побуждений, попытаться устранить эти абстрактные объекты. Можно начать с того, что высказывания „Скромность — это добродетель“ и „Краснота — это признак спелости“ иллюстрируют неправильный способ рассуждения о скромных конкретных людях и красных конкретных фруктах, что они соответственно добродетельны и спелы. Но такую программу очень трудно выполнить. Что можно сказать с этих позиций о фразе „Скромность — это редкость“? В порядке доказательства мы можем толковать „Скромность — это добродетель“ и „Скромность — это редкость“ как „Скромные люди добродетельны“ и „Скромные люди редки“, но это сходство обманчиво. Ведь тогда как „Скромные люди добродетельны“ значит, что каждый скромный человек добродетелен, „Скромные люди редки“ совсем не значит, что каждый скромный человек является редкостью; в этой фразе что-то говорится скорее о классе скромных людей, а именно о том, какой маленькой частью всего класса людей он является. Но эти классы в свою очередь являются абстрактными объектами, которые ничем не отличаются от свойств, за исключением некоторых технических деталей (§ 43). Итак, фразы „Скромные люди редки“ в отличие от „Скромные люди добродетельны“ конкретны лишь внешне; наиболее точным аналогом этого выражения является: „Скромность — это редкость“. Может быть, эту абстрактную соотнесенность все же можно устранить, но лишь только каким-нибудь очень сложным способом.

Раз уж мы допустили существование абстрактных объектов, конца не будет. Совсем не все из них являются свойствами, по крайней мере не *prima facie**; они являются или претендуют на то, чтобы быть классами, числами, функциями, геометрическими фигурами, единицами измерений, идеями, возможностями. Некоторые из этих категорий легко сводятся к другим, а некоторые вообще отвергаются. Каждое такое преобразование является улучшением научной схемы, которое можно сравнить с введением новой или отказом от некоторой существующей категории физических элементарных частиц. Мы попытаемся в некоторой степени разрешить эти спорные вопросы в главе VII.

Мы коротко остановились на неясном происхождении абстрактных слов; мы рассмотрели, насколько индивидуум и общество обязаны этим явлением путанице вокруг массовых термов, смешению понятий знака и объекта, может быть, даже варварской теологии. Вообще, такие рассуждения эпистемологически релевантны, если

³ См. Cassiger, 1946, p. 95ff.

* 'На первый взгляд' (лат.). — *Прим. перев.*

предположить (как мы это делаем), как живое существо, созревающее и развивающееся в известном нам физическом окружении, могло бы прекратить разговаривать об абстрактных объектах. Но сомнительность происхождения сама по себе не является аргументом против сохранения и высокой оценки абстрактной онтологии. Эта концептуальная схема, несмотря на свою случайность, может оказаться счастливой случайностью; ведь теория электронов не стала ничуть хуже оттого, что впервые она привиделась своему создателю в нелепом сне.

Схемы, понятые ошибочно, обладают ценностью благодаря тому, что они сохранились, и их следует оценивать по их теперешней полезности. Но мы стоим за увеличение наших достижений посредством устранения путаницы, продолжающей существовать вокруг них, поскольку ясность в среднем оказывается более плодотворной, чем путаница, хотя не следует презирать плоды ни той, ни другой. Итак, мы правильно делаем, отличая абстрактные единичные термы от конкретных общих термов посредством правильного употребления суффиксов *-ness*, *-hood* и *-ity* (по крайней мере, в контекстах философского анализа), несмотря на то что своим происхождением абстрактные единичные термы, вероятно, обязаны отсутствию отличительного признака.

Взаимозависимые концептуальные схемы физических объектов, тождество и разделенная референция являются частью корабля, который, по образному выражению Нейрата, мы не можем переделать, не находясь на нем. Онтология абстрактных объектов также является частью этого корабля, только менее существенной его частью. Корабль этот может быть частично обязан своим устройством нашим грубо ошибавшимся предшественникам, которые не затопили его только благодаря своей дурацкой удаче. Но мы ни в коей мере не находимся в положении, при котором надо выбрасывать груз за борт, — разве что у нас под рукой есть замена, готовая служить тем же насущным целям.

ЛИТЕРАТУРА

Aldrich, Virgil. Mr. Quine on meaning, naming and purporting to name. — „Philosophical Studies“, 6 (1955), p. 17—26.

Anrep, G. V. The irradiation of conditioned reflexes. — In: „Proceedings of the Royal Society of London“, 94 (1923), p. 404—426.

Bass, M. J. and Hull C. L. The irradiation of a tactile conditioned reflex in man. — „Journal of Comparative Psychology“, 17 (1934), p. 47—66.

Birkhoff, G. D. Three public lectures on scientific subjects. — „Rice Institute Pamphlet“, 28 (1941), p. 1—76.

Bloomfield, Leonard. Language. New York: Holt, 1933.

Braithwaite, R. B. Scientific Explanation. Cambridge, England: University, 1953.

- Brough, John. Theories of general linguistics in the Sanskrit grammarians. — In: „Transactions of the Philological Society“ (Oxford), 1951, p. 27—46.
- Brough, John. Some Indian theories of meaning. — In: „Transactions of the Philological Society“ (Oxford), 1953, p. 161—176.
- Carnap, Rudolf. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin, 1928.
- Carnap, Rudolf. The methodological character of theoretical concepts. — „Minnesota Studies in the Philosophy of Science“, 1 (1956), p. 38—76.
- Cassirer, Ernst. *Language and Myth*. New York: Harper, 1946.
- Chisholm, R. M. *Perceiving: A Philosophical Study*. Ithaca: Cornell, 1957.
- Chomsky, Noam. Review of Skinner's *Verbal Behavior*. — „Language“, 35 (1959), p. 26—58.
- Einstein, Albert. Remarks on Bertrand Russell's theory of knowledge. — In: Schilpp, The *Philosophy of Bertrand Russell*.
- Frank, Philipp. *Modern Science and its Philosophy*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1950.
- Frege, Gottlob. Ueber Sinn und Bedeutung. — „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik“, 100 (1892), p. 25—50.
- Geach, P. T. Frege's Grundlagen. — „Philosophical Review“, 60 (1951), p. 535—544.
- Goodman, Nelson. *The Structure of Appearance*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1951.
- Hempel, C. G. Fundamentals of Concept Formation. — In: „International Encyclopedia of Unified Science“ II, 7. Chicago: University, 1952.
- Hempel, C. G. The theoretician's dilemma. — „Minnesota Studies in the Philosophy of Science“, 2 (1958), p. 37—96.
- Hofstadter, Albert. The myth of the whole: an examination of Quine's view of knowledge. — „Journal of Philosophy“, 51 (1954), p. 397—417.
- Hovland, C. I. The generalization of conditioned responses: I. The sensory generalization of conditioned responses with varying frequencies of tone. — „Journal of General Psychology“, 17 (1937), p. 125—148.
- Hume, David. *A Treatise of Human Nature*. 1739—1740. L. A. Selby-Bigge (ed.). Oxford, 1888.
- Jakobson, Roman, and Morris Halle. *Fundamentals of Language*. The Hague: Mouton, 1956.
- Jespersen, Otto. *Language: Its Nature, Development, and Origin*. New York, 1923.
- Joos, M. A. *Acoustic Phonetics*. Baltimore: Linguistic Society, 1948.
- Kemeny, J. G. Review of Quine's „Two dogmas“. — „Journal of Symbolic Logic“, 17 (1952), p. 281—283.
- Korzybski, Alfred. *Science and Sanity*. Lancaster, Pa.: Science Press, 1933.
- Langer, Suzanne K. *Philosophy in a New Key*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1942.
- Lazerowitz, Morris. *The Structure of Metaphysics*. London: Routledge and Kegan Paul, 1955.
- Lewis, C. I. The modes of meaning. — „Philosophy and Phenomenological Research“, 4 (1944), p. 236—249.
- Mandelbrot, Benoit. Structure formelle des textes et communication. — „Word“, 10 (1954), p. 1—27; 11 (1955), p. 424.
- Martin, R. M. *Truth and Denotation*. Chicago: University, 1958.
- Mill, John Stuart. *A System of Logic*. New York, 1867.
- Osgood, C. E., and T. A. Sebeok (eds.). *Psycholinguistics*. — „International Journal of American Linguistics, suppl.“, 1954.
- Peano, Giuseppe. *Opere scelte*, vol. 2. Rome: Cremonese, 1958.
- Peirce, C. S. *Collected Papers*, vols. 2 and 5. Cambridge, Mass.: Harvard, 1932, 1934.

- Quine, W. V. *From a Logical Point of View*. Cambridge, Mass.: Harvard, 1953.
- Quine, W. V. *Speaking of objects*. — In: „*Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*“, 31 (1958), p. 5—22.
- Quine, W. V. *Methods of Logic*. Revised edition. New York: Holt, 1959.
- Reichenbach, Hans. *Elements of Symbolic Logic*. New York: Macmillan, 1947.
- Richards, I. A. *The Philosophy of Rhetoric*. London: Oxford, 1936.
- Russell, Bertrand. *An Inquiry into Meaning and Truth*. New York: Norton, 1940.
- Rynin, David. *The dogma of logical pragmatism*. — „*Mind*“, 65 (1956), p. 379—391.
- Schönfinkel, Moses. *Ueber die Bausteine der mathematischen Logik*. — „*Mathematische Annalen*“, 92 (1924), pp. 305—316.
- Shannon, C. E., and Warren Weaver. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois, 1949.
- Skinner, B. F. *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan, 1953.
- Skinner, B. F. *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- Smith, John. *Tre tipi e due dogmi dell'empirismo*. — „*Rivista di filosofia*“, 48 (1957), p. 257—273.
- Strawson, P. F. *Particular and general*. — „*Proceedings of the Aristotelian Society*“, 54 (1954), p. 233—260.
- Strawson, P. F. *Individuals*. London: Methuen, 1959.
- Tarski, Alfred. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Oxford: Clarendon, 1956.
- Whitehead, A. N. *Universal Algebra*. Cambridge, England, 1898.
- Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*. New York and London, 1922.
- Woodger, J. H. *Biology and Language*. Cambridge, England: University, 1952.
- Zipf, G. K. *The Psycho-Biology of Language*. Boston: Houghton Mifflin, 1935.

ИСТИНА И ЗНАЧЕНИЕ*1

Большинство исследователей, работающих в области философии языка, а в последнее время даже и некоторые лингвисты признают, что удовлетворительная семантическая теория должна отвечать на вопрос о том, каким образом значения** предложений зависят от значений слов. Пока для некоторого языка не найден ответ на этот вопрос, нельзя объяснить и возможность обучения этому языку, то есть возможность построения и понимания в принципе бесконечного множества предложений в результате овладения конечным словарем и конечным набором правил. Я не собираюсь оспаривать эти весьма неясные соображения, в которых тем не менее я усматриваю рациональное зерно². Моя задача состоит в попытке выяснения того, что же на самом деле означает приведенное выше требование к семантической теории.

Существует подход, в соответствии с которым первым шагом исследования семантики должно быть приписывание всем словам (равно как и всем значимым существенным синтаксическим свойствам) предложения неких сущностей, называемых значениями; так, в предложении *Theaetetus flies* мы должны приписывать слову *Theaetetus* значение 'Теэтет', а слову *flies* значение 'свойство лететь'. Далее встает вопрос о том, каким образом значение предложения складывается из значений слов. Можно рассматривать последовательное соединение слов в предложении как значимое синтаксическое свойство и приписывать ему значение 'участие' или 'конкретная реализация', однако очевидно, что такой подход уводит в бесконечность. Пытаясь избежать этой трудности, Фреге предложил считать сущности, соответствующие предикатам, не-

* Donald Davidson. Truth and meaning. — „Synthese“, vol. 17, N 3, 1967, p. 304—323. Цифрами над строкой отмечены примечания автора (в которых содержатся также и библиографические данные), помещенные Д. Дэвидсоном в конце наст. статьи. — *Прим. ред.*

** В данном контексте meaning переводится как 'значение', исходя из сложившихся традиций в области логического анализа, ориентированного на естественный язык. — *Прим. ред.*

насыщенными или незамкнутыми* в отличие от сущностей, соответствующих именам. Однако, как представляется, эти соображения скорее формулируют вопрос, чем решают его.

Вопрос приобретает еще большую остроту, если мы примем во внимание сложные единичные термы, которые наряду с предложениями рассматриваются в теории Фреге. Возьмем словосочетание the father of Annette 'отец Анны'; каким образом значение целого зависит от значения частей? Как кажется, значение словосочетания the father of таково, что, когда это словосочетание предшествует единичному терму, результирующее словосочетание имеет своим референтом отца того лица, которое названо единичным термом. Какова же в таком случае роль ненасыщенной или незамкнутой сущности, выраженной словосочетанием the father of? Можно сказать только, что эта сущность при аргументе x имеет значение 'отец x ', или соотносит людей с их отцами. До тех пор пока мы рассматривали лишь конкретные словосочетания, мы не могли быть уверены в том, что the father of действительно выполняет какую-либо объяснительную функцию. Поэтому представим себе бесконечную последовательность выражений, составленных из слова Annette, которому словосочетание the father of предшествует 0 и более раз**. Весьма легко предложить теорию референтного соотношения каждого единичного термина нашей последовательности: в случае единичного термина Annette — это сама женщина по имени Анна, в случае сложного термина, состоящего из словосочетания the father of и единичного термина t , — это отец того человека, который обозначен как t . Очевидно, что при формулировании этой теории нет никакой нужды в упоминании некой особой сущности, соответствующей словосочетанию the father of.

Мы не должны испытывать неудовольствие из-за того, что наша миниатюрная теория *использует* словосочетание the father of для определения референтов выражений, включающих это словосочетание. Ведь задача была сформулирована как определение значения всех выражений некоторого бесконечного множества на основе значения частей этих выражений и в нее не входило требование определения значения самих этих частей. В то же время сейчас нам стало очевидно, что удовлетворительная семантическая теория, описывающая сложные выражения, не обязательно должна располагать особыми сущностями, описывающими значение частей этих выражений. Это позволяет пересмотреть наши требования к удовлетворительной семантической теории, исключив пред-

* См.: Г. Фреге. Понятие и вещь. — В кн.: „Семиотика и информатика“, вып. 10. М.: ВИНТИ, 1978, с. 188—205. — *Прим. перев.*

** Этим способом получим последовательность выражений, означающих 'отец, дед, прадед... Анны', однако дальше автор говорит о последовательности с меняющимся аргументом: 'отец Анны, отец Марии' и т. д. — *Прим. перев.*

посылку о необходимости существования значения у отдельных слов и заменив ее более слабой предпосылкой о некотором систематическом влиянии слов на предложения, в состав которых они входят. Действительно, для рассматриваемого нами случая более удачным результатом можно считать формулировку следующего критерия: мы хотели получить и получили теорию, которая сопоставляет каждому выражению форму „ t соотносится с x “ (t refers to x), где t — структурное описание³ единичного термина, а x — сам этот терм. Более того, наша теория выполняет эту задачу без обращения к каким бы то ни было семантическим понятиям, кроме базисного понятия „соотносится с“. И, наконец, теория в явном виде предлагает эффективную процедуру соотнесения любого единичного термина, принадлежащего к некоторому универсуму, с тем, что он обозначает.

Теория, которая имеет столь несомненные достоинства, заслуживает расширения сферы своего применения. Средство, предложенное для подобных случаев Фреге, отличается изумительной простотой: считать предикаты особым случаем функциональных выражений, а предложения — особым случаем сложных единичных термов. Однако в этом пункте возникают сложности, если мы хотим по-прежнему применять используемую нами (имплицитную) процедуру отождествления значений единичных терминов с их референтами. Сложности эти являются следствиями двух вполне разумных предположений: во-первых, логически эквивалентные единичные термы имеют один и тот же референт; во-вторых, единичный терм не меняет свой референт, если входящий в его состав единичный терм заменяется другим, имеющим тот же референт. Теперь предположим, что R и S — это символы двух предложений с одинаковым истинностным значением. Тогда следующие четыре предложения имеют один и тот же референт.

(1) R

(2) $x(x = x \cdot R) = x(x = x)$

(3) $x(x = x \cdot S) = x(x = x)$

(4) S

(1) и (2) логически эквивалентны, так же как (3) и (4), (3) отличается от (2) только тем, что содержит единичный терм $x(x = x \cdot S)$, тогда как (2) содержит $x(x = x \cdot R)$, а эти единичные термы обозначают одну и ту же вещь, если у S и R одно и то же истинностное значение. Тем самым любые два предложения имеют один и тот же референт, если они имеют одно и то же истинностное значение⁴. И если значение предложения — это его референт, то все предложения с одинаковым истинностным значением должны оказаться синонимичными — недопустимый результат!

Очевидно, что мы должны отказаться от подобного подхода как основы семантической теории. Естественно обратиться к сути

различия между значением и референтом. Как принято считать, сложность состоит в том, что, вообще говоря, вопросы референции определяются экстралингвистическими факторами, тогда как вопросы семантики — лингвистическими, в связи с чем экстралингвистические факторы позволяют отождествить референты выражений, которые не являются синонимичными. Если мы хотим получить теорию значений (а не референтов) всех предложений, то мы должны начинать с исследования значений (а не референтов) частей этих предложений.

До сих пор мы шли по пути Фреге; этот путь хорошо известен и вполне заслуживает развития. Однако начиная с этого момента мы оказываемся в тупике: переход от референта к значению не приводит к полезным соображениям относительно того, каким образом значение предложений опирается на значение слов (и других структурных признаков), образующих эти предложения. Зададимся, например, вопросом о том, каково значение предложения *Theaetetus flies*. Ответ в духе Фреге будет примерно таким: если взять значение слова *Theaetetus* за аргумент, то значение слова *flies* порождает значение предложения *Theaetetus flies* как значение некоторой функции. Бессодержательность такого ответа очевидна. Мы хотели выяснить, каково значение предложения *Theaetetus flies*, но мы никоим образом не продвинулись в решении этого вопроса, выяснив, что его значение — *Theaetetus flies*. Мы знали это и раньше, до построения какой бы то ни было теории. В русле подобных бессодержательных рассуждений все разговоры о структуре предложения и о значениях слов представляются праздными, поскольку никак не способствуют получению описания значения предложения.

Контраст между содержательными и бессодержательными рассуждениями станет еще ярче, если мы попытаемся построить теорию, аналогичную предложенной выше миниатюрной теории референции единичных термов, но оперирующую не с референтами, а со значениями. Аналогия состоит в том, что эта новая теория представляет все предложения в форме „*s* означает *m*“, где *s* — структурное описание предложения, а *m* — единичный терм, который соотносится со значением этого предложения; тем самым теория дает эффективный способ получения значения произвольного предложения, снабженного структурным описанием. Очевидно, что для выполнения сформулированных требований необходим более четкий способ задания значений, чем все предложенные⁵. Трактовка значений как особого рода сущностей или использование близкого к такому подходу понятия синонимии позволяет сформулировать следующее правило, касающееся предложения и его частей: предложения являются синонимичными, если соотносимые между собой части этих предложений являются синонимичными

(разумеется, слово „соотносимые“ нуждается в уточнении). А значения как особого рода сущности могут иногда в теориях, подобных теории Фреге, выступать в роли референтов, теряя тем самым свой статус сущностей, отличных от референтов. Как это ни парадоксально, значения, по-видимому, нельзя использовать только в одном случае — тогда, когда мы хотим построить семантическую теорию или по крайней мере такую семантическую теорию, к которой предъявляется требование нетривиального семантического описания всех предложений языка. Мои возражения против значений как инструмента семантической теории состоят не в том, что они чересчур абстрактны, и не в том, что условия их идентификации остаются весьма туманными, а в том, что сама суть их использования не ясна.

Сейчас уместно обратиться к другой обнадеживающей концепции. Предположим, что имеется удовлетворительная синтаксическая теория некоторого языка, позволяющая для любого высказывания на этом языке определить, обладает ли оно независимым значением (то есть является ли оно предложением). Будем считать, что эта процедура основывается на тех предпосылках, о которых говорилось раньше, а именно: предложение состоит из элементов, определенным образом скомпонованных из фиксированного конечного набора атомарных синтаксических элементов (в первом приближении — слов). Обнадеживающая концепция сводится к тому, что синтаксис, взятый в таком аспекте, перерастает в семантику, если добавить к нему словарь, описывающий значение каждого синтаксического элемента. Однако подобные надежды окажутся разбитыми, если в семантику входит теория значений в нашем понимании, поскольку знания о структурных характеристиках, организующих значение предложения, и знания о значениях его предельных единиц ничего не добавляют к знаниям о том, что же означает данное предложение. Хорошей иллюстрацией этого могут служить предложения полагания (*belief sentences*). Синтаксис таких предложений довольно прост. Однако присоединение словаря к синтаксису не решает традиционной семантической проблемы, касающейся этих предложений, которая состоит в том, что мы не можем оценивать истинность придаточного предложения, пользуясь своими знаниями о значении входящих в это предложение слов. Ситуация не прояснится и в том случае, если словарь будет пополнен правилами разрешения омонимии, позволяющими определять, какое из значений омонимичного слова используется в данном контексте; наш вопрос, касающийся предложений названного типа, останется открытым и после разрешения омонимии.

Тот факт, что рекурсивный синтаксис, дополненный словарем, не становится необходимым образцом рекурсивной семантикой, как

бы обходится в некоторых недавних лингвистических работах, которые вводят семантические критерии в синтаксически ориентированные теории. Дело свелось бы к невинным терминологическим различиям, если бы семантические критерии обладали ясностью, но ясности в этих критериях нет. Принято считать, что центральная задача семантики состоит в приписывании семантической интерпретации (или значения) всем предложениям языка, однако, насколько мне известно, в лингвистической литературе отсутствует сформулированное в явном виде объяснение того, каким образом семантика выполняет или будет выполнять в дальнейшем эту задачу. Контраст с синтаксисом разителен. Основная задача синтаксиса состоит в выявлении критериев *осмысленности* (или возможности употребления в роли предложения). Достоверность этих критериев находится в прямой зависимости от представительности исследуемой выборки и от нашего умения выделять среди разных выражений осмысленные (такие, которые могут быть использованы как предложения). Какие же аналогичные и столь же ясные задачи и способы проверки существуют в области семантики?⁶

Выше мы пришли к выводу, что части предложений не обладают никаким иным значением, кроме онтологически нейтрального, позволяющего им оказывать систематическое воздействие на значение тех предложений, в которых они встречаются. Сейчас уместно вернуться к этому положению. Одно из его следствий — это холистический подход к значению. Если значение предложений зависит от их структуры, и мы считаем значением каждой единицы этой структуры не что иное, как абстракцию, полученную из совокупности предложений, содержащих данную единицу, то мы можем задать значение любого предложения (или слова) единственным способом, а именно указанием значения каждого предложения (или слова) языка. Фреге сказал, что слово имеет значение только в контексте предложения; продолжая его мысль, мы могли бы добавить, что предложение (и, следовательно, слово) имеет значение только в контексте всего языка.

Доля холизма содержалась уже в нашем утверждении о том, что адекватная семантическая теория должна представлять все предложения в форме „*s* означает *t*“. Сейчас, не найдя в значениях предложений большей опоры, чем в значениях отдельных слов, мы можем попытаться освободиться от доставляющих много хлопот единичных термов, замещающих позицию '*t*' и соотносимых со значением. В некотором отношении сделать это совсем не трудно — просто-напросто написать: „*s* означает, что *p*“, где *p* — предложение. Как мы видели, предложения не могут называть значения, а предложения, начинающиеся с *что*, и вовсе не являются именами, если мы директивно не введем такого требования.

Представляется, однако, что теперь нас подстерегают неприятности иного рода, поскольку естественно ожидать, что, пытаясь выявить логику явно не экстенционального выражения „означает, что“, мы столкнемся с проблемой, равной по сложности, а может быть, и просто идентичной той проблеме, которую должна уметь решать наша теория.

Я знаю только один простой и радикальный способ решения этой проблемы. При переходе от предложения к описанию предложения нас беспокоит использование интенционального выражения „означает, что“; не исключено, однако, что успех нашего предприятия зависит не от самого выражения, а от той позиции, которую это выражение занимает. Теория будет выполнять свою задачу, если каждому предложению s исследуемого языка она будет сопоставлять соответствующее ему предложение (раньше в данной позиции был символ p), „задающее значение“ предложения s способом, который будет пояснен ниже. Одним очевидным кандидатом на роль „соответствующего“ предложения будет само s , если мы будем включать язык-объект в метаязык. В качестве предельного возьмем случай экстенционального замещения p , который получается таким образом: убираем неясное „означает, что“, дополняем предложение, замещающее p , надлежащими синтаксическими связками и снабжаем описание, замещающее s , его собственным предикатом. В результате получаем:

(Т) s является T тогда и только тогда, когда p .

Наше требование к семантической теории языка L состоит в следующем: без обращения к каким-либо (дальнейшим) семантическим понятиям теория накладывает на предикат „является T “ ограничения, достаточные для получения из схемы T всех предложений, в которых s замещено структурным описанием предложения, а p — самим предложением.

Любые два предиката, удовлетворяющие этим условиям, имеют один и тот же экстенционал⁷, и если мы располагаем достаточно богатым метаязыком, то ничто не препятствует использованию семантической теории (в нашем понимании) для эксплицитного определения предиката „является T “. Однако независимо от того, будет ли этот предикат эксплицитно определен или просто рекурсивно охарактеризован, предложения, к которым применим этот предикат, окажутся истинными предложениями языка L , поскольку условие, которое мы наложили на удовлетворительную семантическую теорию, по существу, повторяет сформулированное Тарским соглашение T , проверяющее адекватность формального семантического определения истины⁸.

Для получения этого вывода мы прошли довольно извилистый путь, однако сам вывод можно сформулировать просто: семанти-

ческая теория языка L показывает, «каким образом значения предложений зависят от значений слов», если в ней содержится (рекурсивное) определение истинности в языке L . Мы не располагаем (по крайней мере в настоящий момент) какими-либо другими способами решения интересующей нас проблемы. Подчеркнем, что при ее формулировке понятие истины в явном виде использовано не было. Путь решения проблемы, начатый с ряда уточнений, привел нас к заключению, что адекватная семантическая теория должна накладывать ряд ограничений на некий предикат. Естественно было предположить, что этот предикат соотносится с истинными предложениями. Смее надеяться, что предлагаемые рассуждения можно охарактеризовать (хотя бы частично) как отстаивание важности для философии семантического понятия истины в смысле Тарского. Однако предлагаемый мною подход связан лишь весьма отдаленно (если вообще связан) с вопросами о том, действительно ли понятие, определенное Тарским, является содержательным в философском плане понятием истины, или о том, удалось ли Тарскому пролить новый свет на обычное употребление таких слов, как истинный или истина. Весьма печально, что отголоски подобных пустых и вводящих в заблуждение споров заслонили вопросы, представляющие теоретический интерес для исследования языка специалистами самых разных областей (философами, логиками, психологами и лингвистами), начиная с введения семантического понятия истины (независимо от того, какое название дать этому понятию) и кончая разработкой предпосылок для создания семантической теории, одновременно тонкой и мощной.

Естественно, нет никаких оснований замалчивать очевидную связь между определением истины по Тарскому и понятием значения. Связь эта состоит в следующем: определение задает необходимые и достаточные условия истинности каждого предложения, а задание условий истинности есть способ задания значения предложения. Знание семантического понятия истинности для данного языка — это знание того, в чем состоит истинность любого его предложения, а ведь именно к этому и сводится понимание языка (если придавать этому словосочетанию положительное значение). Эти соображения по крайней мере оправдывают те черты моих рассуждений, которые могут показаться вызывающими: я свободно пользуюсь словом „значение“, а получившаяся в результате семантическая теория, то есть теория значения, в конечном счете оказывается независимой от значения, будь то значение отдельных слов или целых предложений. Действительно, определение истины по Тарскому удовлетворяет всем тем требованиям, которые мы предъявили к семантической теории, и тем самым наша теория попадает, по классификации Куайна, в класс теорий

референции, но не в класс семантических теорий. Это можно считать положительным свойством той теории, которую я называю семантической теорией, хотя одновременно, возможно, само наименование теории становится уязвимым для критики⁹.

Наша семантическая теория (я буду по-прежнему называть ее так) является эмпирической теорией, направленной на описание естественного языка. Подобно любой другой теории, она может быть подвергнута проверке, при которой вытекающие из нее следствия сопоставляются с фактами языка. В данном случае проверка не составляет труда, поскольку мы охарактеризовали нашу теорию как задающую условия истинности каждого предложения из их бесконечного множества; и проверка сводится к выяснению для некоторой выборки предложений того, действительно ли те случаи, которые данная теория не считает отвечающими условиям истинности, не являются истинными. Типичный случай проверки приводит к решению вопросов типа: „Действительно ли предложение *The snow is white* ‘Снег бел’ истинно тогда и только тогда, когда снег бел?“ Не все случаи проверки так просты, как приведенный выше (по причинам, о которых будет сказано особо), но тем не менее очевидно, что эта проверка никак не связана с подсчетами. Конкретный вопрос проверки теории рассматриваемого нами типа может послужить отправным пунктом для постановки серьезного общего вопроса о том, при каких условиях лингвистическую теорию можно признать правильной и каким образом проверять правильность теории. Однако трудности, возникающие при рассмотрении этого вопроса, носят теоретический, а не практический характер. При разработке теории основная сложность заключается в том, чтобы ее применение давало какой-то практический результат, а уж проверить этот результат может каждый¹⁰. Нетрудно понять, почему это так. Теория не сообщает ничего нового о тех условиях, в которых конкретные предложения являются истинными, она не формулирует эти условия более отчетливо, чем само исходное предложение. Применение теории состоит в том, что она соотносит известные условия истинности каждого предложения с теми аспектами (словами) этого предложения, которые, встречаясь в других предложениях, могут выполнять в них ту же роль, что и в данном предложении. Эмпирическая мощь такой теории зависит от успешности решения задачи, состоящей в создании структуры, которая моделирует необычайно сложную способность говорить на языке и понимать его. И поэтому совсем не трудно решить, согласуются ли результаты, получаемые при применении теории, с нашим пониманием языка, то есть с нашим языковым чутьем.

Замечания последнего абзаца касаются непосредственно только того случая, когда мы исходим из предположения, что

истинностные значения являются частью использования и понимания языка. При таких условиях работа с теорией состоит в построении (в тех случаях, когда это возможно) для предложений языка-объекта эквивалентных им выражений на метаязыке. Однако этот факт не должен приводить нас к мысли, что теория, с помощью которой можно вывести утверждение „Snow is white тогда и только тогда, когда снег бел“, более правильна, чем теория, с помощью которой можно вывести утверждения другого рода, например S :

(S) *Snow is white is true if and only if grass is green.*

‘Снег бел истинно тогда и только тогда, когда трава зелена’,

если, конечно, мы уверены в истинности S так же, как в истинности предшествующего утверждения. И все же теория, выводящая утверждения типа S , не внушает доверия в той степени, в какой его внушает наша теория, тип выводов которой позволяет называть ее семантической теорией.

Наша минутная неуверенность в достоинствах этой семантической теории может быть рассеяна следующим образом. Гротескность утверждения S сама по себе не свидетельствует о непригодности теории, выводящей S , в том случае, если эта теория дает правильные результаты для всех предложений (полученные на основе их структуры, поскольку другого пути не существует). Не вполне ясно, каким образом эта теория будет выводить утверждения типа S , но пусть это так, и теория на основе предиката „быть истинным“ умеет сопоставлять неким детерминированным образом истинные предложения с истинными, а ложные с ложными. В этом случае я не усматриваю несоответствия этой теории семантике, поскольку какое-то смысловое соответствие она все же описывает.

Содержание правой части в предложениях с двойным условием типа „ s истинно тогда и только тогда, когда p “, если эти предложения являются следствиями теории истинности, играет определенную роль в определении значения s не с помощью каких-либо вымышленных синонимических средств, а с помощью добавления новых штрихов к общей картине, которая позволяет составить представление о значении s ; с помощью этих новых штрихов можно сформулировать условие истинности: предложение, замещающее p , истинно тогда и только тогда, когда s .

Чтобы лучше это понять, заметим, что S приемлемо (если его вообще можно считать таковым) только потому, что предложения *Snow is white* и *Grass is green* оба независимо друг от друга истинны. Если же мы возьмем случай, когда истинность одного предложения вызывает сомнения, тогда об истинности целого мы мо-

жем судить лишь на основе уверенности в истинности второго из них и в эквивалентности обоих предложений. Однако тот, кто испытывает сомнения относительно цвета снега или травы, извлечет немного пользы из *S*, даже если он в одинаковой степени сомневается в цвете того и другого; *S* может помочь только при предположении, что цвет снега и цвет травы взаимообусловлены. Очевидно, что всезнание может породить более причудливые семантические теории, чем незнание, но при всезнании отпадает и нужда в коммуникации.

Конечно, не исключено, что носитель одного языка построит семантическую теорию для носителя другого языка, хотя в этом случае эмпирическая проверка правильности теории перестает быть тривиальной задачей. Как и раньше, цель теории будет состоять в исчислении бесконечной последовательности предложений, имеющих одинаковое истинностное значение. Однако на сей раз разработчик теории не может непосредственно ощутить эквивалентность предложений родного и неродного языка. Ему придется тем или иным способом выяснять истинность (или, скорее, степень истинности) предложений неродного языка, соответствующих истинным предложениям родного языка. В таком случае лингвист попытается сформулировать соглашение о соответствии между истинными (ложными) предложениями неродного языка и истинными (ложными) предложениями родного языка. Если сформулировать безукоризненное соглашение такого рода не удастся, возникнут ошибки двух типов: истинные предложения будут переведены ложными, а ложные — истинными. Точность интерпретации слов и мыслей собеседника необходима и в другом отношении: подобно тому как мы должны стремиться к оптимизации соглашений, касающихся перевода, рискуя в противном случае неправильно понять значение того, что говорит иностранец, мы должны стремиться и к повышению собственной наблюдательности и логичности, рискуя в противном случае не понять *самого иностранца*. Единого принципа максимальной точности не существует, и потому разного рода ограничения не составляют целостной теории. В теории „радикального“ перевода (название принадлежит Куайну) не проводится достаточно четко различие между высказываниями, произносимыми иностранцем, и его взглядами. Мы не можем судить о том, что человек хочет сказать, пока мы не знаем его взглядов, в то же время мы не можем судить, каковы взгляды человека, пока мы не знаем того, что он говорит. При радикальном переводе мы иногда можем вырваться из этого круга, поскольку в некоторых случаях известны сопутствующие соображения говорящего по поводу сказанного им предложения, которое мы не понимаем¹¹.

На нескольких последних страницах я рассматривал вопрос об

эмпирической проверке семантической теории, применяющей истинностные определения, полностью оставив без внимания обсуждавшийся ранее вопрос о том, имеет ли такая теория какие-либо серьезные шансы для применения к естественному языку. Каковы же перспективы применения формальной семантической теории к естественному языку? Согласно Тарскому, эти перспективы не являются обнадеживающими, и, я думаю, к этому мнению присоединится большинство логиков, специалистов в области философии языка и лингвистов¹². Я попытаюсь опровергнуть подобную пессимистическую точку зрения. Естественно, я могу это сделать только в самом общем виде, тогда как собственно доказательством могло бы послужить только доказательство соответствующих теорем.

Тарский заключает первую часть своего классического труда о понятии истины в формализованных языках следующими словами, которые он особо выделил:

«...Сама возможность последовательного употребления выражения „истинное предложение“, которое не находилось бы в противоречии с законами логики и духом повседневного языка, кажется весьма проблематичной, и соответственно те же сомнения вызывает и возможность построения правильного определения этого выражения»¹³.

Далее в той же книге он возвращается к этому вопросу.

«Понятие истины (подобно другим семантическим понятиям), будучи применено к разговорному языку в соответствии с нормальными законами логики, неизбежно ведет к путанице и противоречиям. Тому, кто, невзирая на все трудности, захотел бы исследовать семантику разговорного языка точными методами, нужно прежде всего предпринять неблагодарный труд по изменению этого языка. Ему необходимо определить структуру языка, разрешить неоднозначность слов, с которой он столкнется, и, наконец, преобразовать этот язык в серию все более широких языков, каждый из которых соотносится со следующим как формальный язык и его метаязык. Однако сомнительно, что наш обычный язык после подобной «рационализации» сохранит свою естественность, а не приобретет характерные черты формальных языков»¹⁴.

Встают два вопроса: универсальный характер естественного языка ведет к противоречию (семантические парадоксы); естественный язык слишком запутан и аморфен для непосредственного применения формальных методов. Первый вопрос заслуживает серьезного ответа, и я был бы рад, если бы мог предложить такой ответ. Мне же остается только отметить, почему, по моему мнению, можно обойтись и без решения этого вызывающего беспокойство вопроса. Семантические парадоксы возникают, когда язык-объект в определенном смысле включает слишком широкий

круг кванторов. Однако на самом деле не вполне ясно, насколько для урду или хинди правомерно утверждение, что кванторы этих языков недостаточны для эксплицитного определения понятий „истинно в урду“ или „истинно в хинди“. Иначе говоря (хотя в нашей формулировке и недостает серьезности), возможны случаи, когда мы ухватываем нечто (а именно концепт „истинно“) при понимании языка, но не можем передать этого. В любом случае для большей части проблем общефилософского значения релевантен тот фрагмент естественного языка, который можно охарактеризовать как достаточно далекий от теоретической последовательности. Конечно, подобные соображения не согласуются с утверждением, что естественные языки универсальны. Однако сейчас, когда мы знаем, что универсальность ведет к парадоксам, это утверждение может показаться подозрительным.

Второй вопрос, поставленный Тарским, состоит в том, что, прежде чем применять к языку формальные семантические методы, следует произвести его реформу. Если это действительно так, то это наносит сокрушительный удар по моему проекту, поскольку задача предлагаемой мною семантической теории состоит не в изменении, исправлении или реформе языка, а в его описании и понимании. Рассмотрим позитивную сторону вопроса. Тарский показал, каким образом следует строить теорию интерпретации формальных языков различных типов, причем один из этих языков построен на базе английского. Поскольку этот новый язык получил объяснения на английском языке и содержит многие черты английского языка, мы не только можем, но, по моему, и обязаны рассматривать этот формальный язык как подязык английского. Для этого фрагмента английского у нас имеется гипотетическая теория требуемого вида. Но дело не сводится только к ней; при интерпретации предложенного „новоанглийского“ языка средствами английского языка нам обязательно придется задавать соответствия между этими двумя языками. Каковы бы ни были английские предложения, имеющие те же условия истинности, что и некоторые предложения на „новоанглийском“, мы можем расширить свою теорию таким образом, чтобы она их охватывала. Другими словами, большая часть моих соображений сводится к следующему: надо, насколько это возможно, формализовать осуществлявшуюся нами ранее достаточно кустарно формулировку истинностных условий с помощью той или иной канонической системы записи. Дело не в том, что запись в канонической форме лучше, чем исходный идиоматичный способ выражения, а скорее в том, что, если мы знаем, какому идиоматичному выражению *соответствует* каноническая запись, наша теория может одновременно охватить и идиоматичные выражения, и канонические записи.

Философы уже давно затрачивают немало усилий на то, чтобы применять свои теории к обычному языку, подводя для этого предложения естественного языка под те образцы, к которым приложима та или иная теория. Весомый вклад Фреге состоит в том, что он показал, каким образом слова *all* 'все', *some* 'некоторые', *every* 'каждый', *each* 'каждый', *none* 'ни один' и связанные с ними местоимения в некоторых из своих значений могут быть формализованы; тем самым впервые забрезжила мечта о формальной семантике для значительной части естественного языка. Мечта эта воплотилась в работе Тарского. Нельзя забывать, что в результате крупных достижений Фреге и Тарского мы получили возможность глубже проникнуть в структуру языка, знакомого всем с детства. Философы логического толка начали с занятий теми аспектами языка, которые описываются с помощью теории, и исследуют все более сложные случаи. Современные лингвисты, имея своей целью нечто аналогичное, начали с исследования обычного языка и разрабатывают общую лингвистическую теорию. Если одна из этих групп исследователей добьется успеха, то эти два направления сомкнутся. Недавние работы Хомского и других лингвистов продвигают многоплановое исследование естественного языка в направлении, которое делает его приемлемым объектом серьезной семантической теории. Приведем пример: предположим, что нам удалось сформулировать условия истинности для некоторого важного подкласса предложений в активном залоге; тогда формальная процедура трансформации каждого предложения в активе в соответствующее ему предложение в пассиве позволяет проецировать истинностные значения, полученные с помощью семантической теории, на новый подкласс предложений¹⁵.

Одна из проблем, затронутых Тарским в приведенной выше цитате, не препятствует или по крайней мере препятствует не во всех случаях разработке теории — это проблема существования в естественном языке неоднозначных слов. Если неоднозначность не затрагивает грамматическую форму и неоднозначное выражение языка-объекта может быть переведено также с помощью неоднозначного выражения на метаязык, в истинностном определении не будет содержаться ничего ложного. Для систематической семантической теории не является помехой неточность или неоднозначность словосочетания *believes that* 'верит, полагает, что'; пусть метаязыком в ней будет английский, и тогда все *подобные* словосочетания будут представлены в нем в том же виде, что и в языке-объекте. Однако центральная проблема логической грамматики для '*believes that*' остается в силе.

Приведенный пример может служить иллюстрацией другого вопроса, также входящего в проблему описания предложений

полагания; дело в том, что обсуждение таких предложений зашло в тупик из-за непонимания фундаментальной разницы между двумя задачами: несоответствие этих предложений логической форме, или грамматике (а логическая грамматика входит в семантическую теорию о моем понимании этой теории), и анализ отдельных слов и словосочетаний (которые в рамках данной теории рассматриваются как примитивы). Так, Карнап в первом издании работы „Meaning and necessity“ предлагал трактовать предложение John believes that the earth is round ‘Джон считает, что земля круглая’ как John responds affirmatively to „the earth is round“ as an English sentence ‘Джон отвечает утвердительно на вопрос о том, является ли „the earth is round“ английским предложением’. Карнап отказался от этого подхода, когда Мейтс указал ему, что Джон может отвечать утвердительно на вопрос, касающийся данного предложения, но отрицательно на вопрос, касающийся другого предложения, даже если два эти предложения тесно связаны по значению. Однако всем этим рассуждениям сначала и до конца сопутствует понятийная путаница. Согласно Карнапу, семантическая структура предложений полагания — это трехместный предикат, актанты которого заполняют соответственно лицо, предложение и язык. А проблема анализа этого предиката является совершенно отдельной проблемой, связанной, быть может, с бихевиористской концепцией. Не последним достоинством теории истины в смысле Тарского является то, что ее метод разработан в соответствии с формулировкой проблемы самой по себе и свободен от ограничений, навязанных каким-либо философским направлением.

Как мне представляется, трудно переоценить те преимущества, которые получит философия языка от четкого разграничения вопроса логической формы или грамматики и вопроса анализа отдельных понятий. Убедиться в этом поможет другой пример.

Если предположить, что вопрос о логической грамматике решен, то предложения типа Bardot is good ‘Бардо хорошая’ не представляют особых трудностей с точки зрения определения их истинностного значения. Глубокое различие между описательными и оценочными (эмотивными, экспрессивными и т. п.) терминами здесь не проявляется. Даже если мы предположим, что в некотором важном смысле оценочные предложения не имеют истинностного значения (потому, что их нельзя проверить), нас все равно не должно пугать получаемое с помощью нашей теории утверждение „Bardot is good истинно тогда и только тогда, когда Бардо хорошая“; в теории истинности этот вывод должен осуществляться в совокупности с наблюдениями (насколько они возможны) о том, каково место значения таких предложений в рамках структуры языка в целом, о том, каково их отношение к обобщениям,

какова их роль в сложных предложениях типа *Bardot is good and Bardot is foolish* 'Бардо хорошая, и Бардо глупая' и т. д. Вопрос об особенностях оценочных слов вообще не затрагивается: тайна слова *good* просто переходит из языка-объекта в метаязык.

Совсем другое дело — использование слова *good* в предложениях типа *Bardot is a good actress* 'Бардо — хорошая актриса'. Проблема состоит не в переводе этого предложения на метаязык; предположим, что такой перевод существует. Проблема заключается в формулировке определения истинности, следствиями которого явились бы утверждения типа „*Bardot is a good actress* истинно тогда и только тогда, когда Бардо — хорошая актриса“. Очевидно, что *good actress* не означает 'быть хорошей и быть актрисой'. Нам следует предположить, что *is a good actress* — это неанализируемый предикат. Это заставит нас исследовать все связи между такими предикатами, как *is a good actress* и *is a good mother* 'является хорошей матерью', и это не позволит нам считать слово *good* в подобных употреблениях словом или семантическим элементом. Но более того, это вообще не позволит нам сформулировать условия истинности, поскольку набор подобных предикатов, которые мы будем трактовать как логически простые, будет возрастать до бесконечности (и, следовательно, занимать позиции отдельных придаточных в определении необходимых и достаточных условий); ср.: *is a good companion to dogs* 'является хорошим компаньоном для собак', *is a good 28-years old conversationalist* 'является хорошим 28-летним старым болтуном' и т. п. Эта проблема касается не только данного конкретного случая, она затрагивает вообще все прилагательные.

В соответствии с принятым нами подходом проведение философского анализа слов и выражений без предварительной или хотя бы одновременной попытки получения в явном виде логической грамматики является стратегической ошибкой. Действительно, каким образом можем мы удостовериться в правильности нашего анализа слов типа *right* 'правильный', *ought* 'следует', *can* 'мочь' и *obliged* 'вынужден' или словосочетаний, которые мы используем, говоря о действиях, событиях или причинах, если мы не знаем, какие именно (логические, семантические) части речи мы рассматриваем. Примерно то же самое можно сказать о „логике“ этих и других слов, а также о предложениях, содержащих подобные слова. Не оказываются ли труд и искусство, вложенные в разработку деонтических, модальных, императивных и эротических логик в значительной мере бесполезными до тех пор, пока мы не располагаем удовлетворительным семантическим анализом предложений, которые являются предметом рассмотрения этих логик. Философы и логики порой рассуждают так, как если бы они были свободны выбирать между, скажем, предложениями,

задающими условия истинности, и другими условными предложениями или свободно вводить сентенциональные операторы, задающие неистинностные условия типа *Пусть, Предположим*. Однако на самом деле выбор того или иного варианта играет решающую роль. Выходя за пределы идиом, сводимых к условиям истинности, мы попадаем в область языка (или начинаем создавать язык), для которого у нас нет четких семантических средств, то есть отсутствуют способы описания того места, которое занимают подобные высказывания в рамках языка в целом.

Вернемся к нашей основной теме. Как уже указывалось, теория рассматриваемого типа не предлагает никаких новых решений в области семантики отдельных слов. Даже если метаязык отличается от языка-объекта, применение теории не приводит к улучшению, уточнению или анализу отдельных слов (за исключением тех случаев, когда из-за словарных особенностей прямой перевод на метаязык оказывается невозможным). Подобно синонимии отдельных выражений, не интерпретируется и синонимия или разложимость целых предложений. Даже такие предложения, как *A vixen is a female fox* 'Лисица — самка лисы', не подвергаются анализу, если у нас нет особых причин для его проведения. Условия истинности не отграничивают аналитические предложения от всех прочих, за исключением таких предложений, истинность которых основывается исключительно на константах, что позволяет теории выявлять определенные структурные особенности: в таких случаях теория позволяет делать утверждения не только об истинности таких предложений, но и о сохранении истинности при всех перифразах логически несущественных частей этих предложений. Понятие логической истинности трактуется при таком подходе более узко, чем обычно принято, что отражается и на соотносимых с ним понятиях логической эквивалентности и логического следования. Трудно представить себе, что могло бы воспрепятствовать вложению логики в язык-объект в такой степени; при построении и проверке теории мы должны в тех пределах, в каких это возможно, использовать свою интуицию для определения логической истинности, эквивалентности и следования.

Сейчас я хочу обратиться еще к одной важной проблеме — к тому факту, что одно и то же предложение может в определенное время в определенных устах быть истинным, а в другое время в других устах — ложным. И логики, и критики формальных методов, как представляется, в значительной мере (хотя и не полностью) солидарны в том отношении, что формальная семантика и логика не способны справиться с теми трудностями, которые связаны с употреблением личных и указательных местоимений. Реакция логиков обычно заключается в ниспровержении естественного языка и попытках показать, каким образом можно

обходиться без местоимений; реакция их критиков состоит в ниспровержении логики и формальной семантики. Ни один из этих подходов не вызывает у меня энтузиазма: очевидно, что отказ от местоимений невозможен без потерь и радикальных изменений в естественном языке, поэтому единственный выход — создание теории, учитывающей это языковое явление.

Мы не совершим логической ошибки, если просто будем считать личные и указательные местоимения константами¹⁶; не возникает сложностей и при приписывании им условий истинности в рамках нашей теории: „I am wise ‘я мудр’ истинно тогда и только тогда, когда я мудр“, при этом полностью игнорируется соотношение личного местоимения „I“ с именем *Сократ* в утверждении „Socrates is wise истинно тогда и только тогда, когда Сократ мудр“, подобно тому как в рамках последнего предложения игнорируется показатель грамматического времени в глагольной форме is wise.

При подобном подходе к местоимениям сложность состоит не в определении предиката истинности, а в вероятностном характере требования об истинности определяемого. Дело в том, что это требование удовлетворяется только в случае, когда говорящий и условия произнесения предложения, входящего в определение, совпадают с говорящим и соответствующими условиями в самом определении истинности. Можно указать также на то, что понимание местоимений частично основывается на знании тех правил, с помощью которых в данных условиях производится референция; уподобление местоимений константам стирает эти различия. Как я полагаю, подобные сложности могут быть устранены только в результате глубокой ревизии теории истинности. Я попытаюсь предложить лишь схему того, как это может быть сделано; однако в данном случае именно такая схема и требуется, поскольку идея является технически тривиальной и сходна с идеями, выдвинутыми при анализе логики грамматического времени¹⁷.

Истину можно считать не свойством предложений, а свойством произнесений (utterances) или речевых актов, рассматриваемых как упорядоченная тройка „предложение, время, говорящий“; самым простым подходом к истине является такой, при котором истинной считается отношение между предложением, говорящим и временем. При таком подходе логическое утверждение сохраняет ту форму, которую оно и имело, однако только относительно тех наборов предложений, которые характеризуются одним и тем же временем и говорящим; дальнейшие логические соотношения между предложениями, произнесенными в разное время разными говорящими, могут быть сформулированы с помощью новых аксиом. Рассмотрение этих аксиом не входит в нашу задачу. Семантиче-

ская теория претерпевает тем самым систематические, однако не слишком существенные изменения: каждому предложению, содержащему местоимение, теория сопоставляет указания на условия истинности предложения при изменении времени и говорящего. Таким образом, теория будет давать логические следствия подобного вида:

„I am tired ‘я устал’ истинно, будучи (потенциально) произнесено лицом p во время t тогда и только тогда, когда p является усталым в t “.

„That book was stolen ‘Книга была украдена’ истинно, будучи (потенциально) произнесено лицом p во время t тогда и только тогда, когда книга, на которую указывает p во время t , была украдена раньше t “¹⁸.

Очевидно, что при подобном подходе не указывается, каким образом можно избавляться от местоимений; так, мы не утверждаем, что словосочетание *the book demonstrated by the speaker* ‘книга, на которую указывает говорящий’ при любых обстоятельствах можно подставлять вместо словосочетания *that book* ‘та книга’. Тот факт, что местоимения поддаются формальному анализу, должен существенно усилить оптимизм относительно возможности серьезного семантического анализа естественного языка, поскольку, вероятно, многие традиционные трудности, такие, как анализ цитат или предложений, выражающих предположения, могут быть решены, если рассматривать подобные случаи как содержащие скрытую местоименность.

Сейчас, когда мы соотнесли истину со временем и говорящим, настала пора вернуться к проблеме эмпирической проверки семантической теории для неродного языка. Напомним, что суть предлагаемого метода состоит в сопоставлении пар предложений двух языков, предполагаемых истинными, посредством истинностных определений с поправкой на допустимость ошибки. Сейчас эта процедура приобретает более четкий вид в результате дополнения о том, что предложения являются (и считаются) истинными только при их соотношении с говорящим и временем. Тем самым задача состоит в переводе каждого предложения с помощью такого предложения, которое истинно для одного и того же говорящего в одно и то же время. Предложения, содержащие местоимения, очевидным образом относятся к наиболее тонким способам проверки правильности семантической теории и являют собой наиболее непосредственный способ связи между языком и объектами реального мира, попадающими в сферу человеческого интереса и внимания¹⁹.

В своей статье я предполагаю, что говорящие могут успешно определить значение или значения произвольного выражения на

естественном языке (если у этого выражения есть значение) и что главная задача семантической теории состоит в том, чтобы показать, каким образом это делается. Я утверждаю, что задание истинностного предиката описывает требуемый тип структуры и дает четкий и проверяемый критерий адекватной семантической теории естественного языка. Без сомнения, существуют и другие разумные требования, которые можно предъявить к семантической теории. Однако теория, которая способна только на определение истинности в рамках данного языка, подходит гораздо ближе к завершенной семантической теории, чем превосходящий по тонкости семантический анализ, несоотносимый с проблемой истинности, — по крайней мере таково мое убеждение.

Поскольку, как мне кажется, предлагаемый подход не имеет альтернатив, я придерживаюсь оптимистической и прагматической точки зрения на возможность формального задания истинностного предиката для естественного языка. Однако нельзя забывать и о многочисленных вопросах, все еще требующих разрешения. Перечислим некоторые из них. Нам неизвестна логическая форма противоречащих фактам, или условных, предложений, равно как и логическая форма предложений, выражающих возможности и причинно-следственные отношения; у нас нет четкого представления о логической роли наречий и прилагательных; отсутствует теория неисчисляемых существительных типа *fire* 'огонь', *water* 'вода' или *snow* 'снег', предложений, выражающих предположение, восприятие и намерение, а также глаголов, обозначающих целенаправленные действия. Наконец, существуют предложения, которые, по-видимому, вообще не имеют истинностного значения: это повелительные, оптативные, вопросительные предложения и т. п. Адекватная семантическая теория естественного языка должна успешно решать все эти вопросы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Более ранний вариант этой статьи был прочитан в качестве доклада на заседании Восточной секции Американской ассоциации философов в декабре 1966 г., а основные темы ее были сформулированы в неопубликованной работе, доложенной на заседании Тихоокеанской секции Американской ассоциации философов в 1953 г. Настоящий вариант существенно опирается на соображения Джона Уоллеса, с которым я обсуждаю рассматриваемые проблемы начиная с 1962 г.

² В других своих работах я утверждал, что существование конечного набора семантических примитивов является необходимым условием возможности овладения языком; см. D. Davidson. *Theories of meaning and learnable languages*. — In: „Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science“. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1965, p. 383—394.

³ Структурное описание выражения представляет это выражение в форме последовательности элементов, взятых из фиксированного конечного списка (например, списка слов или букв).

⁴ Суть данного утверждения сформулирована самим Фреге. Вероятно, стоит отметить, что это утверждение не опирается на какую бы то ни было идентификацию сущностей, с которыми референциально соотносятся предложения.

⁵ Может показаться, что Чёрч в своей статье (A. Church. A formulation of the logic of sense and denotation. — In: „Structure, Method and Meaning: Essays in Honor of H. M. Sheffer“ (by ed. Henle, Kallen and Langer). New York: Liberal Arts Press, 1951, p. 3—24) предложил семантическую теорию, в которой существенно используются значения как особого рода сущности. Однако это не так: логические построения Чёрча в области значения и денотации следует понимать как оперирование над значениями, которые не соотносятся с высказываниями на естественном языке и потому, конечно же, эти построения нельзя относить к теориям значения в том понимании, какое мы придаем этому термину.

⁶ Интересные положения, касающиеся роли семантики в лингвистике, содержатся в работе Н. Хомского: N. Chomsky. Topics in the theory of generative grammar. — In: „Current Trends in Linguistics“ (ed. by Th. A. Sebeok), vol. III. The Hague, 1966. В этой статье Хомский (1) подчеркивает центральную роль семантики в лингвистической теории, (2) указывает на превосходство трансформационной грамматики над грамматикой непосредственных составляющих, в частности, в том отношении, что НС-грамматика, будучи адекватным способом описания синтаксической структуры предложений, (по крайней мере) некоторых естественных языков, непригодна для описания семантической информации, (3) пространно комментирует «довольно-таки примитивное состояние», в котором находятся семантические понятия, и отмечает, что понятие семантической интерпретации «все еще не поддается глубокому анализу».

⁷ Конечно же, при предположении, что экстенционал этих предикатов ограничен предложениями языка L.

⁸ Alfred Tarski. The concepts of truth in formalized languages. — In: „Logic, Semantics, Metamathematics“. Oxford, 1956, p. 152—278.

⁹ Однако для подтверждения правомерности такого наименования можно процитировать Куайна: «значение слова может быть определено заданием условно истинности и ложности для контекстов, содержащих это слово» (W. V. Quine. Truth by Convention. — Первое издание — в 1936 г., переиздано в книге „The Ways of Paradox“. N. Y., 1966 (см. с. 82).) Поскольку определение истины задает истинностные значения всех предложений языка-объекта (соотносимых с предложениями на метаязыке), оно тем самым задает смыслы всех слов и предложений языка. А это служит оправданием используемого мною термина „семантическая теория“.

¹⁰ Приведем один пример. Очевидно, что способность теории выводить утверждения типа „Snow is white истинно тогда и только тогда, когда снег является белым“ относится к достоинствам этой теории. Однако разработать механизм, осуществляющий вывод этого и подобных утверждений, — задача далеко не тривиальная. По крайней мере мне неизвестны теории, для которых задача такого рода была бы успешно решена.

¹¹ Этот набросок, касающийся вопроса о том, каким образом следует проверять семантическую теорию для иностранного языка, основывается на мыслях Куайна, высказанных во второй главе его книги „Word and Object“. N. Y., 1960.

¹² Насколько мне известно, вопрос о применении формальных истинностных определений к естественному языку обсуждался очень мало. Однако ставилась более общая проблема — возможность применения формальной семантики к естественному языку, и ряд лингвистов поддерживали такой подход; см., например, статьи И. Бар-Хиллела и И. Бета в сборнике „The Philosophy of Rudolph Carnap“ (ed. by P. A. Schilpp). La Salle, Ill, 1963, а также Y. Bar-Hillel. Logical syntax and semantics. — „Language“, 30, p. 230—237.

¹³ Tarski, *ibid.*, p. 165.

¹⁴ *Ibid.*, p. 267.

¹⁵ Сближение трансформационной грамматики и удовлетворительной семантической теории, о котором я здесь говорил, сильно продвинулось в результате недавних изменений в концепции трансформационной грамматики, предложенных Хомским в статье, на которую я ссылаюсь выше (прим. 6).

¹⁶ Интересны замечания, которые делает по этому поводу Куайн в своей книге „Methods of Logic“, N. Y., 1950, § 8.

¹⁷ Библиография, отвечающая современному состоянию вопроса, а также обсуждение его см. в: A. N. Prior. Past, Present and Future. Oxford, 1967.

¹⁸ Подобный подход более чем тесно связан с подходом к местоимениям и истинности, предложенным Остином в статье 1950 г., перепечатанной в книге „Philosophical Papers“. Oxford, 1961 (см. с. 89—90).

¹⁹ Эти замечания очевидным образом связаны с идеей Куайна о том, что „окказиональные предложения“ (то есть предложения, содержащие личные или указательные местоимения) должны играть центральную роль при создании руководств по переводу.

О МЕТАТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ СЕМАНТИКИ*

Сегодняшняя семантика — это область, в которой гораздо больше конкурирующих теорий, чем бесспорных результатов и обобщений. В семантике мы сталкиваемся с широким спектром соперничающих идей, взаимосвязи которых остаются в большой степени неисследованными. Сравнение теорий — жанр, не слишком распространенный в современной семантике; каждый исследователь работает в рамках своего концептуального аппарата, и обсуждение „чужих“ подходов если и присутствует, то больше напоминает партизанскую войну, которая ведется с фиксированного командного пункта, чем настоящее метатеоретизирование, которое ищет общую цель. По моему ощущению, при нынешнем состоянии дел в семантике налицо потребность именно в такой семантической метатеории. В данной статье я попытаюсь сделать несколько шагов в этом направлении.

В семантике сегодня можно выделить по меньшей мере девять различных подходов. Я представлю обзор всех этих подходов, дополненный некоторыми метатеоретическими комментариями, а затем, во втором разделе, перейду к формулированию более общих выводов, вытекающих из нашего обсуждения.

I.

(I) Трансляционная семантика. Идея трансляционной семантики, понимаемой в духе Катца (Katz, 1972; Katz and Postal, 1964), заключается в том, чтобы построить отображение исследуемого языка посредством некоторого подходящего языка с четкой структурой. Таким образом, фундаментом для построения семантики призван служить язык маркеров (Markere), средствами которого выражаются семантические репрезентации. Понимание, скажем, того или иного предложения состояло бы в умении построить его перевод на язык маркеров.

* Esa Saarinen. On the Metatheory and Methodology of Semantics. University of Helsinki. Preprint.

© 1985 by Esa Saarinen.

Трансляционная семантика подверглась резкой критике по целому ряду причин (Lewis, 1972; LePore and Loewer, 1981). Указывалось, например, что если человек правильно переводит предложение данного языка некоторым предложением другого языка (и при этом знает, что перевод не меняет значения оригинала), то из этого еще не следует, что он понимает — в любом разумном смысле этого слова — предложения исходного языка. Точно так же отмечалось, что если в нашем распоряжении имеется некое пособие по переводу, то из этого еще не следует, что мы умеем устанавливать связь между рассматриваемым языком и внешним миром, — возможно, что мы умеем связывать наш язык лишь с некоторым другим языком, но не с фрагментами внешней действительности. (Нет никаких гарантий, что существует связующее звено между языком маркеров и миром.) Неясно, стало быть, как могли бы мы узнать условия истинности предложений исходного языка даже и в том случае, когда в нашем распоряжении была бы соответствующая процедура перевода на язык маркеров.

Несмотря на эту критику, фактом остается то, что трансляционная семантика предоставила естественный концептуальный аппарат для анализа значений *слов* (противопоставленного анализу значений текстов и предложений). В самом деле, трансляционная семантика остается одним из немногих достижений в данной области; хорошо известно, что, например, теоретико-модельная семантика фактически не касается значений слов.

Все это наводит на следующее соображение метатеоретического характера, иллюстрирующее в то же время то направление проблематизации семантики, в котором я собираюсь продвигаться в данной статье: каким образом можно осуществить сколько-нибудь плодотворное сравнение двух семантических теорий, относящихся к различным областям семантики? Как теоретико-модельная семантика могла бы положить на лопатки трансляционную семантику, если все лучшее, что сделано в анализе значений слов, сделано в терминах семантических маркеров, введенных трансляционной семантикой? Могло бы показаться, что единственное, что мог бы предпринять теоретико-модельный семантик для оправдания своей позиции, — это объявить семантику слова „относительно несущественной“. Но ясно, что такое заявление свидетельствовало бы скорее о субъективном научном вкусе данного исследователя, чем о какой-либо основательно аргументированной позиции.

(II) В основе теоретико-модельной семантики лежат некоторые ключевые идеи современной логики. Как и в ма-

тематической теории моделей для логического языка, здесь речь идет о строго определенном отношении соответствия между объектным языком и некоторой подходящей теоретико-множественной сущностью. Таким образом, естественный язык трактуется как формальный — эта идея нашла отражение в названии плодотворной статьи Ричарда Монтегю „Английский язык как формальный“. (См. также многие статьи в Montague, 1974; Lewis, 1970; Partee, 1976.)

При анализе базового отношения $M|_t S$ („ S истинно в M относительно параметра t “) перед исследователем сразу же встают три вопроса: а) Каким образом определить семантические правила, задающие основное семантическое отношение как функцию синтаксической структуры предложения S (в предположении, что уже имеется семантическая интерпретация для составных частей предложения)? б) Какие параметры включить в „ t “? Следует отметить, что вся затея может стать тривиальной, если зависимость истинности от множества параметров задать слишком лобовым образом или если включить в t слишком много параметров.

в) Насколько богатую структуру предусмотреть для M ? Именно здесь наиболее непосредственным образом в игру вступают философские концепции: в зависимости от своих общих онтологических взглядов исследователь будет вынужден занять здесь одну из нескольких совершенно различных позиций. Например, является ли „событие“ достаточно ясной сущностью, чтобы включить его в онтологию в качестве одной из основных единиц? Модели, с которыми чувствует себя вправе оперировать исследователь, будут различаться в зависимости от его общих философских убеждений (имплицитных или эксплицитных). Если учесть, что в данном подходе модели играют роль действительности, то выбор структуры моделей приобретает решающее значение. (Заметим в этой связи, что знаменитая „ситуационная семантика“ Барвайса и Перри, в сущности, не что иное, как один из возможных вариантов теоретико-модельной семантики, в основе которой лежит такое понятие модели, которое больше соответствует идее „ситуации“, чем идее „возможного мира“. Ср. Barwise, 1981; Barwise and Perry, 1983.)

Теоретико-модельная семантика оказала огромное влияние на изучение естественного языка. Как бы ни назвать этот подход — „грамматикой Монтегю“ или „семантикой возможных миров“, — он должен занять видное место среди наиболее выдающихся в интеллектуальном отношении достижений в гуманитарных науках нашего времени. И тем не менее остается нерешенным ряд важных проблем, которые я сейчас попытаюсь изложить в метатеоретических терминах.

Понятие языка в теоретико-модельной семантике носит столь

абстрактный характер, что о естественном описании процесса понимания естественного языка или других психологических феноменов, связанных с языковым значением, говорить, по-видимому, не приходится. Что касается абстрактных данных, относящихся к условиям истинности и другим отношениям референции, то здесь теоретико-модельная семантика имеет на своем счету впечатляющие результаты. Но для исследователя семантики с более психологической ориентацией (такого, например, как Филип Джонсон-Леерд: Johnson-Laird, 1982, 1983) абстрактные условия истинности несущественны — для него ключевые вопросы касаются психологических механизмов, действующих в области языкового понимания и „вычисления“ значения. И опять же, постановка проблемы в таких терминах не слишком обнадеживает: как могли бы мы продвинуться в сравнении теорий, если в основе этих теорий лежат разные базы данных? И кроме того, чем нам руководствоваться при решении вопроса о том, имеют ли феномены психологической природы решающее значение для семантики? Именно такого рода метатеоретические проблемы приобретают сегодня в семантике наибольшую актуальность.

(III) Теоретико-истинностная семантика связана с именем Дональда Дэвидсона. (См. статьи, собранные в Davidson, 1984.)* Основываясь на идеях Тарского (Tarski, 1956), Дэвидсон разработал программу, согласно которой теорией значения для языка является конечно аксиоматизируемая теория истинности предложений этого языка. Суть дела здесь в том, что речь идет об истинности в действительном мире, а не об истинности в модели, как это было в теоретико-модельной семантике.

По-видимому, семантическая программа Дэвидсона представляет в основном философский интерес. Она проливает свет на общую природу языка и общетеоретический статус значения в исследовании языка. Однако эта программа не привела к результатам, удовлетворяющим критериям, которые имеют значение для исследователя с более лингвистической ориентацией. (Так, например, в авторитетном двухтомном учебнике Джона Лайонза „Семантика“ Дэвидсон упоминается лишь однажды на протяжении девятисот страниц, да и то в сноске.)

Острые критики дэвидсоновской программы направлено также и на ее философские достоинства и недостатки. Например, Майкл Даммит (Dummett, 1976) утверждает, что ключевые идеи

* См. также статью Д. Дэвидсона „Истина и значение“ в наст. сб., с. 99. — *Прим. ред.*

Дэвидсона неприемлемы, поскольку они не приводят к удовлетворительному объяснению феномена владения языком: знание значения предложения не может сводиться к знанию его условий истинности, так как есть предложения с неопределенными условиями истинности. Мы не можем, утверждает Даммит, положить в основу теории значения понятие истинности, интерпретируемое в смысле объективных условий истинности; в противном случае значение становится эпистемически недоступным (трансцендентным).

(IV) В основе теоретико-игровой семантики лежат, с одной стороны, математическая теория игр, а с другой — теоретико-модельная семантика. Как и эту последнюю, теоретико-игровую семантику интересует отношение $M \models_i S$. Однако, в отличие от теоретико-модальной семантики, $M \models_i S$ анализируется в терминах игры, которая, говоря неформально, интерпретирует предложение S посредством процесса вычисления истинностного значения, направленного от предложения как целого к его частям. Эта игра, представляющая, таким образом, нашу основную интерпретационную (семантическую) единицу, вводит в рассмотрение параметры нового вида (такие, как „память“ и „информационное множество“), которые исследователь затем стремится использовать в семантическом анализе. Все это приводит к тому, что семантика становится более процессуально-ориентированной. И неудивительно, что при таком подходе поддаются трактовке анафорические явления, дискурсивные феномены и вообще проблемы, входящие в компетенцию семантики текста. Совершенно ясно, что такие характеристики и инструменты анализа отсутствуют в теоретико-модельной семантике, где любые феномены процессуального характера не могут не оставаться исключением. (См., например, Hintikka, 1982a; статьи Хинтикки и других авторов в Saarinen, 1979; и Carlson, 1982.)

Новизна теоретико-игровой семантики — если сравнивать ее с теоретико-модельной — носит относительный характер. С одной стороны, представляется, что многие интерпретационные правила теоретико-игровой семантики нетрудно перефразировать в терминах рекурсивных определений истинности. (Ср. Peacocke, 1979, 1983.) Однако в некоторых случаях теоретико-игровой аппарат приводит, по-видимому, к более естественной терминологии анализа семантических феноменов, чем аппарат теоретико-модельной семантики, основным инструментом которой является рекурсивное определение истинности.

Но даже и в этих случаях статус теоретико-игровой семантики как концептуального аппарата анализа естественного языка

напоминает статус игровой семантики в математической логике. А там, скажем, игровые кванторы естественнее считать расширением теоретико-модельной семантики, чем конкурирующей с ней альтернативой. Иными словами, хотя феномены, связанные с дискурсом, в теоретико-игровой семантике доступнее для анализа, чем в традиционном теоретико-модельном подходе с его рекурсивным определением истинности, это вряд ли свидетельствует о каком-то общетеоретическом превосходстве теоретико-игровой семантики над теоретико-модельной.

Стоит подчеркнуть сложности метатеоретического сравнения даже таких относительно тесно связанных подходов, как теоретико-игровая и (обычная) теоретико-модельная семантика. Свойства языка, которые естественнее анализируются средствами теоретико-игровой семантики, — это, как правило, феномены, от которых исследователь, приверженный теоретико-модельному подходу, сознательно абстрагируется. Присущая тексту связность, иные факты, относящиеся к лингвистике текста, и даже многие анафорические феномены не представляют интереса для сторонников традиционной теоретико-модельной семантики, сосредоточивающих внимание на условиях истинности. Например, с точки зрения интуиции не подлежит сомнению, что анафорическое выражение (по крайней мере в большинстве случаев) анализируется по ходу семантической интерпретации позже, чем его антецедент, однако из этого факта вовсе не обязаны вытекать следствия, затрагивающие условия истинности. (Обсуждение метатеоретической значимости этого соображения см. в: Peters and Saarinen, 1982.)

(V) Критериальная (конструктивистская) семантика Бейкера и Хаккера восходит к идеям поздней философии Витгенштейна. Этот подход в значительной степени остался лишь программой; пока что он не вызвал интереса исследователей значения с выраженной лингвистической ориентацией. Суть дела заключается в том, чтобы анализировать значение в терминах понятия „критерий“. Критерии по природе своей связаны с фактическими подтверждениями: критерий для предложения S должен, в частности, апеллировать к утверждениям, истинность которых служит *подтверждением* истинности предложения S. Подтверждения такого рода сильнее, чем индуктивные подтверждения, но слабее, чем логические следствия. Резкое отличие от более традиционных подходов к анализу значения состоит здесь в том, что критерий не дает необходимых или достаточных условий истинности рассматриваемых предложений (и соответствующих условий для языковых выражений другого рода).

Делая акцент на эпистемической природе критериев, критериальная семантика резко противопоставляет себя некоторым ос-

новополагающим для теоретико-модельной семантики допущениям. Решающую роль в анализе значения начинает теперь играть человек, использующий язык, — абстрактное понятие языка, характерное для теоретико-модельной семантики, отвергается раз и навсегда. (Теоретико-модельная семантика рассматривает естественный язык как формальный язык, для которого основными являются структуры, связанные с отношениями референции между языком и моделью; на этом уровне отсутствует сколько-нибудь серьезная необходимость апеллировать к человеческому фактору, к человеку, использующему язык.)

В отказе от характерного для теоретико-модельного подхода антиментализма критериальная семантика солидаризируется с другими психологически ориентированными подходами к анализу значения. Тенденция к построению более реалистичных с менталистской точки зрения теорий фактически стала одним из самых интересных течений в современной семантике. (Ср. (VI)—(VIII) ниже.) Вместе с тем ориентация на исследование влияния, оказываемого на языковое значение когнитивными способностями человека, его концептуально-структурирующей деятельностью и другими принципами категоризации, проливает, по-видимому, новый свет на семантику.

И опять же основной камень преткновения заключается, видимо, в том, что сами феномены, находящиеся в центре внимания менталистски ориентированной семантики, почти полностью отличны от тех, на систематизацию которых нацелена, к примеру, теоретико-модельная семантика. Например, критериальная семантика представляет особый интерес скорее всего для анализа семантики слова. В структурной же семантике, где на первый план выдвигается вопрос, как значение сложного выражения строится из значений его составных частей, критериальная семантика сразу же дает осечку. (Ср. критические замечания Пикока в Реасоске, 1982.)

(VI) Семантика концептуальных ролей тесно связана с некоторыми новейшими течениями в философии сознания и в „компьютер сайенс“. Ее идея заключается в том, чтобы использовать так называемый функционализм (как концепцию ментального) для построения исследовательской программы в области теории значения. Наиболее известные достижения в этом направлении принадлежат Джильберту Харману (Harman, 1973; 1974; 1982). Однако много общего с идеями Хармана есть и в работах Джерри Фодора, посвященных „языку мышления“ (Fodor, 1975; 1981; 1982).

Суть этого подхода — в сосредоточении на ментальных репрезентациях, функционирующих в „языке мышления“ человеческого

индивида. Отметим, что такой подход, по-видимому, с самого начала противоречит знаменитым результатам Хилари Патнэма (Putnam, 1975), к которым он пришел в контексте рассуждений о „Земле-двойнике“. Согласно его результатам, «значения находятся не в голове». Впрочем, здесь мы не будем касаться этих вопросов. (Их обсуждение см., например, в: Fodor, 1982 и в Harman, 1982.)

В основе семантики концептуальных ролей лежат две идеи: а) значение языкового выражения детерминировано содержанием этого выражения в языке мышления; б) содержание понятий и мыслей детерминировано их функциональной ролью в психологии индивида.

Функциональная роль понимается здесь очень широко: она включает в себя, например, любую специфическую роль, которую может играть понятие в восприятии, рассуждениях или практических действиях индивида. При этом акцент делается на функциональную роль, а не на „содержание“. Связь с функционализмом как концепцией ментального здесь очевидна — принимается в расчет не имманентный характер психического опыта или ментальных состояний индивида, а их относительный статус в целостной совокупности его восприятий, действий и ментальных состояний.

Семантика концептуальных ролей в настоящее время недостаточно развита, чтобы можно было давать ей сколько-нибудь детальную оценку. Она имеет пока что характер общетеоретической программы, так что следует подождать, к чему сведется дело при анализе конкретных языковых явлений. Ясно, однако, что исходные данные, на систематизацию которых направлен подобный семантический подход, резко отличаются от тех, которые интересуют теоретико-модельную семантику. В частности, понятие истинности вряд ли будет играть вообще какую бы то ни было роль в семантике концептуальных ролей. Истинность предложения не рассматривается здесь в качестве ключевой семантической переменной, поведение которой должна систематически исследовать семантическая теория. (Фактически Харман (Harman, 1982) доходит до утверждения, что описание условий истинности предложений языка, возможно, вообще не имеет никакого отношения к языковым значениям.)

С точки зрения Хармана, первоочередная цель семантики заключается в систематизации таких аспектов языка, как, например, функция логических слов („и“, „или“ и т. п.), в умозаклключениях (рассуждениях), где умозаклключение понимается как *мыслительный процесс*, воздействующий на позицию, совокупность полаганий, план действий индивида и т. д. Заметим, что в сущности речь идет о решительном разрыве с теми задачами анализа умозаклю-

чения, которые ставятся в логике и вовсе не принимают в расчет роли умозаключений в психологии индивида.

Ввиду столь коренного различия в вопросе об исходных семантических данных, какое-либо сравнение семантики концептуальных ролей, скажем, с теоретико-модельной семантикой представляется делом безнадежным. Элемент несоизмеримости задан с самого начала. В таком случае, по-видимому, преждевременна и категорически отрицательная оценка теоретико-истинностной семантики со стороны самого Хармана. И здесь за категоричностью просматриваются прежде всего субъективные научные вкусы исследователя. (Ср. статью Барри Лувера (Loewer, 1982), в которой он настаивает на взаимодополнительности этих двух подходов.)

(VII) Процедурная семантика имеет некоторое сходство с семантикой концептуальных ролей. Ее идейный источник — исследования в области искусственного интеллекта и когнитологии. В процедурной семантике „реальное время“ рассматривается в качестве одного из элементов семантики. «Это знаменательное достоинство в сравнении с теоретико-модельным и лингвистическим подходами, которые по своей природе склонны отдавать предпочтение структуре в ущерб процессу», — пишет Филип Джонсон-Леерд (Johnson-Laird, 1977), один из наиболее известных сторонников процедурной семантики. Здесь всерьез принимается аналогия между компьютером и человеческим интеллектом: операции компьютера протекают во времени — и с таких же точно позиций моделируются в процедурной семантике семантические процедуры.

Следует обратить внимание на психологическую ориентацию данного подхода. С самого начала предполагается, что решающие семантические факторы — это концептуальная структура и механизмы функционирования человеческого сознания. Сторонник теоретико-модельной семантики с этим, конечно, никогда не согласится, — и это находит отражение не только в соответствующей этой позиции семантической теории, но и в выборе релевантных „дотеоретических“ фактов.

(VIII) Интенционалистская семантика была инициирована серией статей Поля Грайса, а дальнейшим своим развитием обязана С. Ф. Шифферу (Grice, 1957; 1968; 1969; Schiffer, 1972; 1982).

При этом подходе семантика рассматривается как раздел психологии — считается, что семантические свойства объясняются в конечном счете психологическими свойствами (верованиями, на-

мерениями, желаниями и т. д.). На этом уровне анализа сходство с семантикой концептуальных ролей очевидно, но, в отличие от последней, на передний план выдвигаются *намерения*, а не просто произвольные функциональные роли.

В интенционалистской семантике значение выражения редуцируется к значению говорящего. Значение говорящего, в свою очередь, анализируется в терминах намерения говорящего сообщить нечто. Заметим, что, поскольку для теоретико-модельной семантики интерес представляет только значение выражения, уже сам исходный пункт интенционалистской семантики апеллирует к параметрам, недоступным для теоретико-модельного анализа.

Значение говорящего — основа семантики в соответствии с данной концепцией — «отождествляется теоретиком с одним из видов интенционального поведения, характеристика которого не включает в себя ничего явно семантического». (Schiffer, 1982, p. 120). Таким образом, подход Грайса сближается с витгенштейновской концепцией „языка, как он дан в употреблении“. Значение с самого начала исследуется с точки зрения человеческого общения: язык трактуется не как абстрактная структура, а как устройство, используемое деятелем для совершения определенных *действий*.

Неудивительно, что анализ речевых актов зарождается в недрах именно этого подхода. Стоит также отметить, сколь радикально тип исследуемых здесь феноменов отличается от тех, которыми интересуется теоретико-модельная традиция. В типичной для подхода Грайса ситуации говорящий произносит *x* с некоторым поддающимся точной характеристизации коммуникативным намерением, обращаясь к определенному слушателю. Конкретная природа этой ситуации-парадигмы в корне отличается от фундаментальных для теоретико-модельной ситуации абстрактных отношений референции между языком и его моделью.

(Между прочим, решающее отличие интенционалистской семантики от семантики концептуальных ролей — по крайней мере в том ее варианте, который защищает Харман, — заключается в том, что для последней коммуникативные аспекты языка несущественны. Можно было бы сказать, что первая социальна, в то время как вторая индивидуалистична, — в семантике концептуальных ролей на первом плане механизм тех процессов, которые протекают в языке мышления *одного* носителя языка. Коммуникация и подобные ей социальные феномены рассматриваются в лучшем случае как второстепенные.)

Наиболее резкой критике подверглись философские основания интенционалистской семантики. Утверждалось, например, что понятие намерения слишком расплывчато, чтобы служить основой для семантики. Если учесть, что это богатое содержанием философ-

ское понятие традиционно считается особенно сложным и запутанным, то ясно, что такая критика, действительно, нащупала уязвимое место интенционалистской семантики. Однако некоторые возникающие в этой связи проблемы заслуживают более подробного рассмотрения.

Например, можно ли исходить из допущения, что измерения агента можно установить, не интерпретируя его язык? (Ср. Davidson, 1974.) Если нет, то рухнет одно из главных оснований программы Грайса. Далее, можем ли мы предположить, что не-семантические пропозициональные установки субъекта поддаются объяснению без апелляции к семантическим понятиям? (Ср. Grandy, 1982.) Вопросы такого рода касаются философской сущности интенционалистской семантики, а надежда получить на них четкий ответ пока что слаба.

В контексте основной задачи нашего анализа следует особо подчеркнуть, что попытки дать на метатеоретическом уровне сравнительную оценку интенционалистской семантики и, скажем, теоретико-модельной семантики наталкиваются на серьезнейшие трудности. В самом деле, что могло бы служить свидетельством превосходства одной из них над другой, если каждая из них исходит из принципиально различных представлений о том, что такое язык? Различны уровни абстракции — и соответственно этому различны те „дотеоретические“ данные, на систематизацию которых направлен каждый из этих подходов.

(IX) Исследователи, стоящие на позициях эпистемической семантики, сами не употребляют этого названия. Думается, однако, что общее в позициях таких философов языка, как Майкл Даммит (Dummett, 1973; 1976) или Гектор-Нери Кастаньеда, заключается именно в том, что они особо выделяют эпистемические элементы в составе теории значения. (О работах Кастаньеды см., например, Tomberlin, 1982, или Castañeda, 1980, и список литературы в Castañeda, 1980.)

Рассмотрим, например, предлагаемый Кастаньедой анализ предложения

(*) Герой войны знает, что он сам болен.

Идея Кастаньеды такова: при наиболее естественной интерпретации предложение (*) означает, во-первых, что герой войны знает утверждение, которое он сам мог бы выразить, произнеся: „Я болен“, и, во-вторых, что это утверждение нельзя выразить в терминах указания на этого героя войны или относящейся к нему дескрипции, осуществленных от третьего лица.

Чтобы понять суть дела, представим себе, что Джон — знаме-

нитый герой одной из недавних войн, о котором написано много книг. Попав в автомобильную катастрофу, Джон полностью утрачивает память о своем прошлом. После лечения здоровье Джона восстанавливается до такой степени, что он способен читать книги об этом герое войны [то есть о себе самом]. Тем не менее, он не осознает, что человек, чей боевой путь книга раскрывает перед ним в таких подробностях, — это он сам.

Поскольку Джон не осознает, что герой войны, о котором идет речь, — это он сам, он приобретает знание *de se* об этом герое, не приобретая при этом того знания *de se*, которое имеется в виду в рассматриваемой нами интерпретации предложения (*). Иными словами, Джон не считает, что тот человек, который известен ему (по книгам) как герой войны, болен. В то же время Джон знает, что сам он болен.

Нетрудно обратить ход рассуждения и представить себе, что Джон считает истинным некоторое утверждение о данном герое войны (как о герое войны — например, что тот был ранен точно сто раз), не полагая при этом, что он сам был ранен сто раз.

Теперь суть проблемы становится ясной — она заключается попросту в том, что в „феноменологическом мире“ Джона он сам и данный герой войны — это два различных индивида. Обобщая это наблюдение, можно утверждать, что, какую бы дескрипцию Джона, осуществленную в терминах третьего лица, мы ни взяли, можно представить себе ситуацию, в которой Джон не установит связь между этой дескрипцией и самим собой; самосознание в терминах первого лица никогда не сводится к знанию о себе в терминах третьего лица.

Заметьте, что все ключевые идеи этого анализа имеют эпистемологическую природу — любая апелляция к „феноменологическому миру“ героя войны или к его осознанию себя как субъекта, имеющего такие-то характеристики, связана с определенным концептуальным фоном. Таким образом, анализ Кастаньеды концептуально перекликается с работами Хинтикки о „двух методах кросс-идентификации“ (Hintikka, 1969; 1975; см. также Saarinen, 1984).

Основное допущение эпистемически ориентированной семантики Кастаньеды (а также и Хинтикки) можно сформулировать следующим образом (ср. Saarinen, 1983): в естественном языке наличествуют семантически релевантные эпистемические элементы, не зависящие от обычных сфер действия операторов. Например, традиционная неоднозначность, связанная со сферами действия пропозициональных операторов, налицо и в предложении (*), но она не помогает нам найти его правильную интерпретацию. С другой стороны, сам принцип проведенного выше анализа далеко не очевиден. Напротив, он связан с определенной мета-

теоретической позицией, имеющей непосредственное отношение к выбору базы семантических данных, и поэтому сам нуждается в обосновании.

II.

В нашем обзоре ведущих семантических теорий мы упомянули элемент несоизмеримости, который, по-видимому, характерен для сравнения теорий в данной области исследований. Перейдем теперь к более детальному обсуждению метатеории семантики.

Один из выводов, вытекающих из нашего обзора, таков: *в семантике нет единой, не вызывающей сомнений, заранее заданной „дотеоретической“ базы данных.* Рассмотрим этот тезис на конкретном примере: все согласны, что следующий вывод логически правилен:

$$\frac{P \& Q}{Q}$$

Однако имеются серьезные разногласия по вопросу о том, насколько существенны такого рода „дотеоретические“ факты, касающиеся логических выводов. Как статус логических выводов, так и статус условий истинности предложений вызывает споры в семантической теории.

Точно так же никто из исследователей семантики не станет отрицать, что в следующем контексте:

„Бьёрн Борг и Джон Макэнроу обсуждали сыгранные ими партии. Чемпион Швеции по теннису жаловался, что ему не вполне удаются удары слева“ —

выражение „чемпион Швеции по теннису“ указывает на Бьёрна Борга и включается в процесс интерпретации позднее, чем его antecedent. Однако являются ли эти интуитивно очевидные факты семантически релевантными? На условия истинности эти факты не влияют: здесь мы имеем дело с феноменами, мимо которых прошел бы сторонник теоретико-модельной семантики, склонный анализировать определенные дескрипции „по Расселу“.

Эти соображения являются яркой иллюстрацией того факта, что *выбор так называемой „дотеоретической“ базы данных, систематизировать которые призвана семантическая теория, сам по себе является теоретической проблемой.* Массив „голых фактов“, к систематизации которых приступает исследователь семантики, вовсе не является заранее заданным, — он детерминируется сложным взаимосвязанным комплексом научных ориентаций и позиций исследователя, его общих взглядов на язык, убеждений относи-

тельно разделения труда между различными областями науки о языке и даже его личных вкусов. Между тем, базе данных — это, „фоновому“ параметру, который чаще всего молчаливо подразумевается, а не декларируется, — принадлежит решающее значение; этим и объясняется взаимная несоизмеримость большинства теорий в современной семантике.

Следует отметить, что мы пока что коснулись лишь сравнительной значимости различных типов данных и вопроса о том, „какие именно данные должны считаться семантическими“. Картина в целом станет еще сложнее, если учесть, что ответ на эти вопросы еще не решает всех метатеоретических проблем. Даже после того, как установлен тип данных, подлежащих теоретической систематизации, может оказаться, что наши интуитивные представления о том, какие феномены относятся к этому типу, сбивчивы, расплывчаты и даже противоречивы. Например, мы можем — вслед за теоретико-модельной семантикой — решить, что семантическая теория должна систематизировать не что иное, как условия истинности. Однако нередко наша интуиция насчет истинностных условий далека от ясности. (Вспомним о пресловутых проблемах истинностного анализа контекстов полагания). Интуитивные представления сами оказываются теоретически нагруженными!

Вывод, вытекающий из всего этого, таков: методология семантики должна быть гораздо сложнее, чем мы могли бы предполагать с первого взгляда. Проблемы, стоящие перед исследователем семантики, не исчерпываются вопросом: как построить теорию, систематизирующую некоторую базу данных (имеющуюся в нашем распоряжении благодаря нашей языковой или семантической интуиции).

Это значит, что в корне ошибочна такая методология семантики, которую выдвигает Дж. Дж. Катц (Katz, 1982). В его методологической схеме подчеркивается примат интуиции („языкового здравого смысла“) над всеми теоретическими соображениями. Согласно Катцу, «значения надо принимать такими, какими они являются нам в нашем обыденном опыте, относящемся к естественному языку». Для этой точки зрения, подчеркивает Катц, «характерно принятие обыденного понятия значения в качестве подлинного объекта семантического исследования». Дотеоретическая интуиция дает нам объект семантики — абсолютный, непогрешимый и не подлежащий коррекции со стороны теоретических соображений.

Из всего вышеизложенного должно быть ясно, насколько ошибочна методология Катца. Дело не только в том, что дотеоретическая интуиция в семантике (как, впрочем, и везде) нередко сбивчива и противоречива, но, кроме того, выбор типа данных,

которые следует считать „семантическими“, не может быть сделан на основе „языкового здравого смысла“, а представляет собой сложный теоретический вопрос. Сравнение существующих семантических теорий должно продемонстрировать это со всей ясностью, что мы и попытались сделать в первой части статьи.

Вторая замечательная — но часто остающаяся не оцененной по достоинству — особенность метатеории семантики состоит в том, что *отсутствуют бесспорные условия адекватности семантической теории*. Выбор условий адекватности сам по себе является сложной теоретической проблемой. Лучше всего это можно показать на примере так называемого „принципа композициональности“ (принципа Фреге), который часто приводится в качестве условия адекватности семантической теории. (Ср., например, Reasoske, 1982.)

Принцип композициональности гласит, что семантическая теория должна показать, каким образом значение сложного выражения детерминируется значениями его составляющих. Следует отметить, что этот принцип проходит через всю теоретико-модельную семантику, и самые замечательные результаты этого подхода можно рассматривать как иллюстрации приложения данного принципа.

Однако некоторые видные семантики и философы подвергли критике статус принципа композициональности как критерия адекватности семантической теории. Мы имеем в виду прежде всего Хинтикку. (См., например, Hintikka, 1980; 1982b.) Хинтикка связывает этот принцип с вопросами, относящимися к динамическому аспекту семантики, и указывает, что композициональность предполагает, что семантический анализ (процесс вычисления истинностного значения) направлен от составных частей к целому выражению. Однако нет никаких общих априорных оснований, утверждает Хинтикка, в силу которых правильным должно быть именно такое направление семантического анализа. И фактически, как показывает Хинтикка, этот принцип не срабатывает при анализе как некоторых искусственных формальных языков, так и естественного языка.

Мы здесь не будем давать оценку этим соображениям Хинтикки; достаточно указать на них как на свидетельство противоречивой природы даже такого, на первый взгляд, невинного условия адекватности, как принцип композициональности.

Отметим, кстати, что для теоретико-модельной семантики акцент на принципе композициональности в какой-то мере предопределен заранее, поскольку этот принцип применим только к *структурной* семантике. Другими словами, если мы выделяем этот принцип в качестве условия адекватности для семантики, то мы тем самым предполагаем, что семантика предложения имеет

а priori более фундаментальное значение, чем семантика слова. Однако любое оправдание такой позиции, вероятно, не может не быть чисто теоретическим и в высшей степени спорным. Так, например, не представляется обоснованным использование этого принципа с целью исключить (скажем) критериальную семантику из числа жизнеспособных семантических подходов, как это делает, например, Пикок (Peacocke, 1982). Однако этот пример убедительно свидетельствует, с какой легкостью метатеоретические допущения исподволь вкрадываются в аргументацию исследователя семантики.

Эти негативные результаты, конечно же, в какой-то степени омрачают общую картину методологического статуса современной семантической теории. Встает вопрос: нельзя ли в этом царстве несоизмеримых семантических теорий предпринять шаг, который бы был аналогичен духу и ориентации современной абстрактной логики. Другими словами: нельзя ли исследовать семантические теории на более абстрактном уровне — на таком уровне, который ориентирован не на абсолютную истину, а на отношения между данной теорией и точно определяемым (и варьируемым) множеством семантических свойств (причем под „семантическими свойствами“ понимались бы любые свойства, которые могут иметь отношение к значению). Современные дискуссии в семантике, как правило, исходят из ошибочного допущения, будто существующие семантические теории соперничают друг с другом и, стало быть, являются взаимно соизмеримыми. Однако, как мы пытались показать выше, это верно лишь в немногих случаях.

ЛИТЕРАТУРА

Baker, 1974=**Baker G.** Criteria: A new foundation for semantics. — „Ratio“, 1974, vol. 16, p. 156—189.

Barwise, 1981=**Barwise J.** Scenes and other situations. — „Journal of Philosophy“, 1981, vol. 78, p. 369—397.

Barwise and Perry, 1983=**Barwise J., Perry J.** Situations and Attitudes. Cambridge: MIT Press, 1983.

Carlson, 1982=**Carlson L.** Dialogue Games. Dordrecht: D. Reidel, 1982.

Castañeda, 1981=**Castañeda H.-N.** On Philosophical Method. Bloomington: Indiana University, 1981.

Davidson, 1974=**Davidson D.** Belief and the basis of meaning. — „Synthese“, 1974, vol. 27, p. 204—223.

Davidson, 1984=**Davidson D.** Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford University Press, 1984.

Dummett, 1974=**Dummett M. A. E.** Frege. London: Duckworth, 1974.

Dummett, 1976=**Dummett M. A. E.** What is a theory of meaning? (II). — In: „Truth and Meaning“ (G. Evans and J. McDowell (eds.)). Oxford University Press, 1976.

Fodor, 1975=**Fodor J. A.** The Language of Thought. New York: Crowell, 1975.

Fodor, 1981=**Fodor J. A.** Representations. Cambridge: MIT Press, 1981.

- Fodor, 1982=Fodor J. A. Cognitive science and the Twin-Earth problem. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 98—118.
- Grandy, 1982=Grandy R. E. Semantic intentions and linguistic structure. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 327—334.
- Grice, 1957=Grice H. P. Meaning. — „Philosophical Review“, 1957, vol. 66, p. 377—388.
- Grice, 1968=Grice H. P. Utterer's meaning, sentence-meaning, and word meaning. — „Foundations of Language“, 1968, vol. 4, p. 225—242.
- Grice, 1969=Grice H. P. Utterer's meaning and intentions. — „Philosophical Review“, 1969, vol. 78, p. 147—177.
- Hacker, 1972=Hacker P. Insight and Illusion. Oxford University Press, 1972.
- Harman, 1973=Harman G. Thoughts. Princeton University Press, 1973.
- Harman, 1974=Harman G. Meaning and semantics. — In: „Semantics and Philosophy“ (M. K. Munitz and P. Unger (eds.)). New York University Press, 1974.
- Harman, 1982=Harman G. Conceptual role semantics. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 242—256.
- Hintikka, 1969=Hintikka J. Models for Modalities. Dordrecht: D. Reidel, 1969.
- Hintikka, 1975=Hintikka J. Intentions of Intentionality and Other New Models for Modalities. Dordrecht: D. Reidel, 1975.
- Hintikka, 1980=Hintikka J. Theories of truth and learnable languages. — In: „Philosophy and Grammar“ (S. Kanger and S. Ohman (eds.)). Dordrecht: D. Reidel, 1980.
- Hintikka, 1982a=Hintikka J. Game-theoretical semantics: Insights and prospects. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 219—241.
- Hintikka, 1982b=Hintikka J. Semantics: A revolt against Frege. — In: „Contemporary Philosophy“, vol. 1, (G. Fløistadt (ed.)). The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
- Johnson-Laird, 1977=Johnson-Laird Ph. Procedural semantics. — „Cognition“, 1977, vol. 5, p. 189—214.
- Johnson-Laird, 1982=Johnson-Laird Ph. Formal semantics and psychology. — In: „Processes, Beliefs, and Questions“ (S. Peters and E. Saarinen (eds.)). Dordrecht: D. Reidel, 1982.
- Johnson-Laird, 1983=Johnson-Laird Ph. Mental Models. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Katz, 1972=Katz J. J. Semantic Theory. New York: Harper & Row, 1972.
- Katz, 1982=Katz J. J. Common sense in semantics. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 174—218.
- Katz and Postal, 1964=Katz J. J., P. Postal. An Integrated Theory of Linguistic Description. Cambridge: MIT Press, 1964.
- LePore and Loewer, 1981=LePore E., B. Loewer. Translational semantics. — „Synthese“, 1981, vol. 48, p. 121—134.
- Lewis, 1972=Lewis D. General semantics. — In: „Semantics of Natural Language“ (D. Davidson and G. Harman (eds.)). Dordrecht: D. Reidel, 1972.
- Loewer, 1982=Loewer B. The role of 'conceptual role semantics'. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 305—315.
- Montague, 1974=Montague R. Formal Philosophy (ed. by R. H. Thomason). New Haven: Yale University Press, 1974.
- Partee, 1976=Partee B. H. (ed.). Montague Grammar. New York: Academic Press, 1976.
- Peacocke, 1979=Peacocke C. A. B. Game-theoretical semantics, quantifiers and truth. — In: „Game-Theoretical Semantics“ (E. Saarinen (ed.)). Dordrecht: D. Reidel, 1979.

Peacocke, 1983=Peacocke C. A. B. The theory of meaning in analytic philosophy. — In: „Contemporary Philosophy“ (G. Fløistadt (ed.)). The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.

Peters and Saarinen, 1982=Peters S., E. Saarinen. Introduction. — In: „Processes, Beliefs, and Questions“. Dordrecht: D. Reidel, 1982.

Putnam, 1975=Putnam H. The meaning of 'meaning'. — In: Putnam H. Philosophical Papers, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

Saarinen, 1979=Saarinen E. (ed.). Game-Theoretical Semantics. Dordrecht: D. Reidel, 1979.

Saarinen, 1983=Saarinen E. On the logic of perception sentences. — „Synthese“, 1983, vol. 54, p. 115—128.

Saarinen, 1984=Saarinen E. Hintikka on quantifying in and transworld identity. — In: „Jaakko Hintikka: A Profile“ (R. Bogdan (ed.)). Dordrecht: D. Reidel, 1984.

Schiffer, 1972=Schiffer S. F. Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1972.

Schiffer, 1982=Schiffer S. F. Intention-based semantics. — „Notre Dame Journal of Formal Logic“, 1982, vol. 23, p. 119—156.

Tarski, 1956=Tarski A. The concept of truth in formalized languages. — In: „Logic, Semantics, Metamathematics“. Oxford: Oxford University Press, 1956.

Tomberlin, 1982=Tomberlin J. (ed.). Language, Intentionality and the Structure of the World. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1982.

ПОНИМАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ*

Эта статья состоит из четырех разделов. Сначала я коротко остановлюсь на том, чем, по моему мнению, является понимание. Затем я перейду к анализу основной разновидности понимания — к пониманию действий. Далее я рассмотрю, каким образом мы приходим к пониманию действий других людей, а также охарактеризую связь между пониманием действий и пониманием объектов иного вида, например людей и языковых выражений. В заключение я остановлюсь на том, какую роль в понимании играет рациональность.

ЧТО ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ?

Ставя перед собой цель выяснить, что такое понимание, мы можем начать с относительно простого вопроса, который послужит основой для рассмотрения более сложного. Сначала мы рассмотрим, какие виды предметов могут являться объектами понимания, а затем перейдем к вопросу, что значит понимать.

При ответе на первый вопрос мы без колебаний должны признать, что существует большое количество самых разнородных объектов понимания. Не претендуя на полную таксономию, мы можем предварительно разделить их на четыре основные группы:

- (А) Люди (а также, возможно, некоторые животные);
- (В) Их действия, в том числе „речевые акты“;
- (С) Некоторые результаты этих действий, например языковые выражения (слова, предложения и т. д.); значения языковых выражений; доказательства¹; научные теории, а также

* Føllesdal Dagfinn. Understanding and Rationality. — In: „Meaning and Understanding“ (Ed. by H. Parret and J. Bouveresse). Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1981, p. 154—168.

© 1981 by Walter de Gruyter, Berlin; 1982 by D. Føllesdal.

¹ А также понимание доказанных теорем (положений), что рассматривается Грангером (Granger, 1981). Понимание доказательства связано, по-видимому, с хорошо известной проблемой в теории доказательства — с проблемой тождества доказательства. Представляется, что два доказательства являются тождественными, если для понимания одного не требуется ничего иного, чем для понимания другого.

такие, говоря словами Дильтея, «проявления человеческого духа», как живопись, скульптура, музыка и различного рода произведения искусства, разнообразные виды человеческой активности — игры, танцы и т. д., а также социальные институты;

(D) Другие разнообразные объекты, о которых говорят, что они имеют значение, такие, как небесные предзнаменования и т. д.; предметы, которые функционируют определенным образом (сложные устройства, например карманные калькуляторы), а также принципы их действия; различные физические процессы, подобные процессу осмотического давления; ситуации и многое другое.

Помимо этих прямых объектных конструкций надо учитывать некоторые случаи понимания, которые выражаются конструкцией с придаточным дополнительным (*понимать, что...*), а также все случаи понимания, являющиеся ответом на вопрос „Почему?“, которые включают все, что требует объяснения. Класс D является неопределенным — перечисление объектов, входящих в него, можно было бы продолжить. В этот класс попадают все объекты, которые не могут входить в классы А, В или С.

Присуще ли этим объектам что-нибудь общее? Согласно Юлиусу Моравчику (Moravcsik, 1979) и Зиффу (Ziff, 1972), все они имеют структуру. Однако структурой обладает также множество других предметов, которые в обычных условиях мы бы не отнесли к объектам понимания, например камни и многие другие природные объекты, а также артефакты (*man-made objects*). Часто считается, что предмет является объектом понимания в том случае, если он что-либо выражает. (Так, например, стулья и дома могут, по-видимому, быть объектами понимания, когда они рассматриваются не просто как результат деятельности человека, а как произведения искусства, в которых реализован определенный авторский замысел.) Однако это не устраняет проблему понимания устройства карманных калькуляторов и сложных механизмов. Возможно, нам следует считать, что артефакты тогда являются подходящими объектами понимания, когда они имеют определенную сложность, отражающую силу человеческого разума? Сходным образом, возможно, различные естественные процессы и явления, которые мы отнесли к классу D, должны причисляться к объектам понимания именно потому, что в далеком прошлом, в период формирования языка, они в целом рассматривались как проявление божьей воли?

Если сказанное верно, тогда, вероятно, должен существовать достаточно последовательный способ описания большинства объектов понимания, а именно тех, которые входят в следующие, слегка расширенные классы А, В и С:

(А') люди (а также бог и, возможно, приближающиеся к уровню человека животные);

(В') их действия;
(С') различные продукты их деятельности.

Заметим, что, хотя все эти объекты могут быть объектами понимания, рассмотрение их в этом качестве не всегда является наиболее естественным. Мы уже убедились в этом на примере со стульями и домами. О стульях и домах, когда они анализируются как воплощение определенного авторского замысла, вполне можно сказать, что они являются объектами понимания, что сразу становится невозможным, если подойти к ним просто как к продуктам деятельности человека. Аналогично сам человек может служить объектом понимания тогда, когда его рассматривают не просто как физическое тело, а как личность, ответственную за свои поступки. Конечно, это не относится к тем случаям, когда человеческое тело предстает как сложно функционирующий механизм. В классе В' уже сам выбор слова „действие“ (action) подчеркивает, что объектами понимания являются не произвольные телодвижения, а только те, которые могут быть названы действиями, то есть те, которые либо сами направлены на достижение определенной цели, либо связаны с целеустановкой каким-нибудь другим способом.

Я считаю, что феноменологическая основа, как она разработана Гуссерлем, очень хорошо подходит для описания указанных объектов понимания и связей между ними, а также связей между разновидностями понимания, зависящими от специфики конкретных объектов.

Человек характеризуется интенциональностью (intentionality), то есть он всегда „переживает“ (experiencing) объекты, а не просто „встречается с ними глазами“. При этом объекты рассматриваются как обладающие фактическими свойствами и оценочными характеристиками, которые только частично открыты нашему наблюдению в данный конкретный момент. Эти свойства и характеристики выходят за пределы непосредственного наблюдения. Их наличие может быть подтверждено в дальнейшем, когда будут созданы соответствующие условия.

В силу присущей ему интенциональности, человек может *действовать* (to act), то есть учитывать наличие различных возможных вариантов развития события и способствовать осуществлению одного из них, не упуская из внимания того, как в соответствии с его системой ценностей данная возможность соотносится с другими предусматриваемыми им вариантами развития событий.

В результате деятельности человека часто, хотя и не обязательно всегда, будут производиться предметы, в той или иной степени являющиеся отражением взглядов и системы ценностей субъекта. Предметы, которые отвечают этому условию, и являются собственно объектами понимания.

Я не считаю, что выделенные нами три класса объектов понимания — люди, действия и продукты, созданные в результате деятельности, — являются единственными объектами понимания. Например, ситуации, которые рассматриваются Розенбергом (Rosenberg, 1981), не попадают ни в один из этих трех классов. По правде говоря, я был бы немало удивлен, если бы оказалось, что все объекты понимания можно описать одним и тем же простым способом. Мне бы показалось еще более неправдоподобным, если бы употребление и сочетаемость слов „understanding“ ('понимание') в английском языке, „compréhension“ во французском и „Verstehen“ в немецком были бы совершенно одинаковыми. В чем я полностью уверен, так это в том, что объекты, которые сгруппированы в три класса, представляют собой очень большой и важный подкласс объектов понимания и что они взаимосвязаны таким образом, что понимание одних объектов способствует пониманию других. К этому мы еще вернемся в разделе 3.

Давайте теперь обратимся к рассмотрению второго поставленного нами вопроса: что значит понимать? Как мне представляется, понимание есть разновидность знания в том случае, когда объект знания является одним из указанных нами. Знание в свою очередь есть подтвержденная истинная вера (justified true belief). Основное затруднение здесь, так же как и для других видов знания, состоит в прояснении понятия подтверждение (justification). Я считаю, что подтверждение состоит в согласовании того, что нуждается в подтверждении, с исчерпывающим набором представлений, которые, будучи взяты как единое целое, *объясняют* то, что мы стремимся понять.

Я, таким образом, рассматриваю объяснение и понимание как связанные глубинными внутренними связями, а не как противопоставленные друг другу. Более того, в то время как многие философы противопоставляют метод интерпретации, который приводит к пониманию, гипотетико-дедуктивному методу, я считаю первый метод разновидностью второго. В тех случаях, когда интерпретация направлена на понимание значения или значимого материала, подобного текстам различного рода, метод интерпретации часто называют герменевтикой. Из сказанного следует, что я придерживаюсь того мнения, что герменевтика есть не что иное, как гипотетико-дедуктивный метод, применяемый к истолкованию значимого материала.

Стремясь к интерпретации того, что мы еще не поняли, мы стараемся сформулировать *гипотезу*, которая согласуется с системой наших представлений и данными нашего опыта. Мы стараемся достичь логически последовательной совокупности гипо-

тез, так хорошо и точно согласующихся друг с другом и с нашим опытом, что мы не можем им не верить (это отмечал Дюэм*). Таким образом, эти гипотезы становятся частью нашего взгляда на мир. Одновременно они объясняют нам то, что мы стремимся понять, способствуют нашему пониманию. Это рассуждение, кстати, подтверждает, что три элемента, которые Джой Розенберг отметил в своей статье, — анализ, включение (incorporation) и пояснение (clarification) — действительно являются характеристиками понимания. Они характеризуют использование гипотетико-дуктивного метода и являются тремя ключевыми процедурами, которые мы применяем, когда стараемся поместить что-то, еще не понятое нами, в систему наших представлений о мире, стремясь таким образом достичь понимания.

Заметим, что в результате этого процесса согласованными становятся не только наши гипотезы и представления, но и результаты чувственного опыта, которые, как было отмечено Мак-Доуэллом (McDowell, 1981), зависят от нашего взгляда на вещи. Это явление аналогично ситуации оправдания в этике, где, как указал Роулз, мы стремимся достичь „рефлексивного равновесия“ (Rawls, 1971, особ. с. 17—22, 46—53 и 577—587). Как я заметил в связи с теорией интенциональности Гуссерля, мы познаем не внешние признаки вещей — из чего мы потом делаем вывод о том, чем на самом деле являются вещи, — и не данные наших сенсорных органов. Мы познаем объекты с их свойствами, не открытыми прямому наблюдению. Эти объекты не обязательно являются материальными, они могут быть абстрактными, подобно значениям; в этом качестве могут выступать также люди, намерения и т. д. Мы должны различать эксплицитное построение гипотез (что имеет место в научном познании) и *имплицитное* использование гипотез (что характеризует весь наш опыт), когда процесс формулировки гипотез не тематизируется, и мы познаем полноточные объекты, например людей, непосредственно. Опыт, который служит подтверждением нашей веры, может, подобно нашим гипотезам, быть подвержен ошибкам. Данные опыта зависят от наших гипотез и меняются с их изменением.

На основе указанного различия имеет смысл отграничить понимание от *интерпретации*, как это сделал в своей статье Мак-Доуэлл. Понимание аналогично восприятию, когда мы непосредственно «схватываем» весь объект, если, например, наше внима-

* Дюэм (Duhem) Пьер Морис Мари (1861—1916) — французский физик, философ и историк науки. «С именем Дюэма связан так называемый тезис Дюэма — Куайна: научный закон получает свое значение в контексте всей научной теории и не может проверяться или опровергаться изолированно от других законов и вспомогательных допущений (гипотез)». (Философский энциклопедический словарь. М.: „Советская энциклопедия“, 1983, с. 182.) — *Прим. перев.*

ние направлено на стоящего перед нами человека* или на восприятия сообщения. В этих случаях мы обходимся без построения тематизированных гипотез. Интерпретация подобна построению теории, ибо в обоих случаях мы выдвигаем гипотезы относительно того, что мы еще не поняли, с целью согласования этого с тем, что нам известно и понятно.

Сравнение интерпретации с построением теории помогает также напомнить нам, что интерпретация никогда не бывает полной. Это верно и для случаев понимания, однако мы часто не отдаем себе в этом отчет, поскольку выдвижение гипотез не является здесь эксплицитным и тематизированным.

2. ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

В данном разделе я более подробно остановлюсь на вопросе о том, что значит понимание действий и как мы этого достигаем. Действия, как мы отметили ранее, являются лишь одной, но очень важной характеристикой объектов. К действиям можно отнести все речевые акты; по этой и иным причинам понимание действий важно для понимания языковых выражений. К этому мы еще вернемся в следующем разделе настоящей статьи.

Итак, что значит понимание действия? С учетом того, что я только что сказал, можно утверждать, что это есть способность объяснить действие, то есть объяснить, *почему* данное действие было совершено. Заметим, что в случае речевых актов часто существует неопределенность между пониманием самого сообщения и пониманием того, почему данное высказывание было произнесено. Когда мы рассматриваем речевой акт как действие, нас должен интересовать именно второй вопрос. Часто, однако, объектом нашего понимания является содержание речевого акта. В силу этого мы всегда должны четко представлять, какой именно вопрос нас интересует.

Каким образом мы объясняем действия?² Согласно одной достаточно распространенной точке зрения, которая восходит к Аристотелю, действия объясняются с помощью так называемых практических силлогизмов, в первой посылке которых содержится информация о каком-нибудь желании субъекта, например о его намерении подышать свежим воздухом. Во второй посылке утверждается вера субъекта в то, что для осуществления его

* Ср. термин „перцептивное понимание“, который употребляется для обозначения подобных случаев в работе: Быстрицкий Е. К., Филатов Н. П. Теория познания и проблема понимания. — В кн.: „Гносеология в системе философского мировоззрения“. М.: „Наука“, 1983, с. 286—287. — *Прим. перев.*

² Более полное изложение взглядов, которые кратко будут описаны ниже, можно найти в работе Фоллесдала: Føllesdal, 1979.

желания требуется совершить определенное действие, например открыть окно, а в выводе отмечается, что это действие должно быть совершено. Однако несомненно, что человек, имея такие желание и веру, может тем не менее оставить окно закрытым. Нередко возникают обстоятельства, которые препятствуют осуществлению действия. Так, например, в комнате может находиться человек, который не переносит сквозняков и может серьезно заболеть, если окно будет открыто. Поэтому считается, что в объяснении действий не может быть никакой системы и что в этом отношении действия отличны от физических явлений, которые мы можем объяснить с помощью законов.

Я убежден, что в случае действий тоже существует определенная система, но картина здесь более запутанная, а схема объяснения совершенно отлична от той, которую склонны принять сторонники практического силлогизма. При объяснении поведения человека необходимо принимать во внимание полный набор представлений, которыми руководствуется субъект, когда он думает о том, какие действия он может предпринять и каковы возможные последствия этих действий, из которых он должен осуществить выбор. При объяснении поведения субъекта надо рассматривать все указанные факторы в комплексе. Я склоняюсь к мысли, что модель анализа действий является не чем иным, как в первую очередь приложением принципов рациональности, классификацией которых занимается теория принятия решений.

Согласно этой теории, действие является конечным результатом двухступенчатого процесса. Сначала мы думаем о том, какие действия можно предпринять в данной ситуации; это в большой степени зависит от наших представлений о том, что возможно и что невозможно для нас. Однако мы не перебираем все возможные альтернативы, ибо наш поиск ограничен, с одной стороны, возможностями нашей фантазии и временем, которым мы располагаем, а с другой стороны, нашими представлениями о том, насколько связаны альтернативные способы действия с тем, чего мы желаем или страшимся. Мы останавливаемся на тех альтернативах, которые, как нам представляется, нужно непременно осуществить или же которых надо обязательно избежать, то есть мы рассматриваем альтернативы, дающие, как говорят экономисты, особенно большой положительный или отрицательный эффект.

Вторая стадия процесса принятия решения состоит в сопоставлении этих альтернатив друг с другом. При этом мы исходим из наших представлений, касающихся вероятности различных последствий возможных действий, а также из той значимости, которую

мы приписываем каждому из этих последствий. Умножая вероятность на значимость и суммируя результаты, человек вычисляет эффект каждой альтернативы и выбирает альтернативу с наибольшей ожидаемой полезностью³.

Однако теперь необходимо сделать одно важное замечание. Используя теорию принятия решений при объяснении поведения людей, мы должны учитывать, что человек обычно рассматривает только небольшое количество альтернативных действий, которые можно предпринять в данной ситуации. Человек нередко задумывается только над некоторыми из последствий и располагает неадекватными представлениями об их вероятности. Кроме того, он может иметь ценности и предпочтения, существенно отличающиеся от тех, которые, как нам представляется, он должен иметь. Аналогичная ситуация имеет место в эпистемологии, где наши представления часто оказываются ложными из-за нашей неспособности компенсировать перспективу или из-за подверженности восприятия ошибкам (ср. Tversky and Kahneman (неопубл.)), а также точку зрения Эдмунда Гуссерля о том, что присвоение опыта зависит от перспективы).

Необходимо включить в нашу теорию объяснения действий все, что нам известно о факторах, которые систематически вводят людей в заблуждение при их оценке вероятности и влияют на их выбор, зачастую вызывая значительные колебания. Мы должны также принимать во внимание уровень образования субъекта и сведения о его прошлой деятельности и об особенностях его психической организации. Здесь нам большую пользу могут оказать результаты эмпирических исследований выбора и принятия решения, проведенные Дэвидсоном, Суппесом, Тверским и другими (Davidson, Suppes and Siegel, 1957; Davidson and Marschak, 1959; Tversky, 1967; 1969; 1972; 1975; Tversky and Kahneman (неопубл.)).

Ясно, что объяснение и предсказание поведения субъекта зависят от тех сведений и предсказаний о данном человеке, которыми мы располагаем: от присущих ему качеств при принятии решения (например, осторожен ли он или предпочитает рисковать), от осознаваемых и неосознаваемых им представлений и желаний в момент совершения определенного действия и т. д.

К разговору об этих источниках информации мы еще вернемся в следующем разделе. А сейчас давайте рассмотрим структуру объяснения действия. Как мы убедились, причина (reason) дей-

³ Указанные операции умножения и суммирования ставят много сложных вопросов, которые широко обсуждались в литературе по теории принятия решений. Вполне вероятно, что способ, при помощи которого человек суммирует предпочтения и значимости и вычисляет ожидаемую полезность, имеет мало общего с арифметическими операциями умножения и сложения.

ствия (то есть желание или мнение) никогда не бывает *единственной*, однако в готовом объяснении обычно содержится только один. или же небольшое количество факторов, которые мы склонны считать *действительными* причинами поступка. Мы выбираем эти факторы в зависимости от их относительной значимости и от ситуации, в которой дается объяснение, например в зависимости от того, какая информация уже известна человеку, для которого предназначено объяснение.

Как мне кажется, нет никакого противоречия между тем, что существует большое количество причин (reasons), которые учитываются в объяснении по принципу субъективного обоснования (explanation by reason), и тем, что мы приписываем статус *действительной* причины только одной из них (или же ограниченному их числу). Представляется, что ситуация здесь аналогична той, которая может возникнуть при каузальном объяснении (causal explanation)*, когда говорящий тоже может отмечать только одну или небольшое количество причин (causes) некоторого явления, например те, о которых ничего не известно адресату.

На самом деле, я думаю, сходство между объяснением по принципу субъективного обоснования и каузальным объяснением гораздо глубже. Я даже склоняюсь к мысли, что, вместо того чтобы стремиться приравнять субъективные обоснования (reasons) к объективным причинам (causes) по параметру непосредственного действия каузального закона, надо постараться понять, что каузальное объяснение, подобно объяснению по принципу субъективного обоснования, базируется на использовании всей сложной теории, а не на каком-то одном отдельно взятом каузальном законе. С целью иллюстрации этого положения давайте рассмотрим случай, когда мы, объясняя, почему металлический шарик падает по направлению к центру Земли, говорим, что шарик тяжелый и что существует физический закон, гласящий, что всякое тяжелое тело, если его приподнять, будет падать по направлению к центру Земли. Ясно, что, как и в случае с окном, это объяснение иногда будет верным, а иногда неверным. Если в рассматриваемом примере с металлическим шариком будут присутствовать такие факторы, как, например, электромагнитное поле или опора, на которой покоится предмет, то шарик, возможно, не упадет и не исключена возможность, что даже начнет двигаться вверх.

* Здесь автор использует различие между понятиями reason и cause, которые на русский язык переводятся одинаково — «причина». В первом понятии присутствует оттенок субъективности (ибо объяснения причин одного и того же поступка, предложенные разными людьми, могут сильно отличаться друг от друга), а второе понятие указывает на объективную связь причины и следствия естественнонаучных процессов. — *Прим. перев.*

Конечно, мы можем приспособить наш закон к указанным контрпримерам — для этого надо просто оговорить условия, при которых он приложим. Мы могли бы сказать: приподнятый над землей тяжелый предмет, если он не лежит на опоре и не находится в сфере действия электромагнитного поля, будет падать по направлению к центру Земли. Аналогично для случаев объяснения действий мы могли бы при рассмотрении нашего примера с окном применить следующий простой „закон“: человек, который хочет подышать свежим воздухом и считает, что для этого необходимо открыть окно, обязательно его откроет. Очевидно, что из этого закона существует множество исключений, учитывая которые, мы могли бы его переформулировать: «Человек, который хочет подышать свежим воздухом и считает, что для этого необходимо открыть окно, обязательно его откроет, если он уверен, что от этого никто не пострадает». Однако как в физике, так и в теории действий наши новые пересмотренные „законы“ все равно будут иметь исключения и должны быть дополнены новыми ограничениями.

Совершенно очевидно, что в теории действий не имеет смысла формулировать все более сложные законы. Вместо этого мы можем охарактеризовать ряд предрасположенностей (*propensities*) каждого субъекта к действию, его желания и представления, а затем с помощью теории принятия решений определить, как в данной ситуации все эти компоненты дадут толчок к определенному действию. В физике мы тоже фиксируем у каждого объекта такие характеристики, как масса, электрический заряд, положение относительно других объектов и т. д., и на их основе можем определить, например, предрасположенность объекта к движению в данной конкретной ситуации. Подобно действиям, физические объекты и явления могут быть описаны также множеством других способов, для каждого из которых будут привлекаться различные „законы“. Эти законы, или предрасположенности, не обязательно должны быть детерминистскими. Они могут быть вероятностными как в теории действий, так и в физике.

Заметим, что при рассмотрении субъективных обоснований действий (*reasons*) и объективных причин естественнонаучных процессов (*causes*) как однородных сущностей сомнения Шиффера (*Schiffner, 1981*) в правильности идеи, что ментальные явления могут вызывать физические явления, отчасти теряют свою силу.

С формальной точки зрения существует, следовательно, немало общего между физическими явлениями и действиями людей. Есть, однако, и важные различия. Одно из них заключается в том, что в физике число основных характеристик строго ограничено —

это масса, электрический заряд, нахождение в гравитационном или электромагнитном поле и т. д. Со временем, возможно, удастся свести эти характеристики к еще более ограниченному набору.

В теории действия положение гораздо сложнее. Здесь нам приходится иметь дело с такими ценностями, как красота, деньги, любовь, мир и т. д., которые мы не умеем сравнивать и которые, возможно, вообще являются несравнимыми. Мы уже отметили, что набор этих факторов и их соотношение будут у каждого человека различными. Другая важная причина, которая тоже ведет к формальному разграничению физики и теории действия, состоит в способности объектов, которые мы исследуем в теории действия, — людей — учитывать различные возможности. Реализация каких-либо из этих возможностей может гораздо лучше удовлетворить наши желания, чем результаты, которых мы достигли бы, если бы следовали в направлении к некоторому логическому максимуму. И наконец, третий и наиболее важный фактор, который необходимо учитывать в теории действия и который, насколько мне известно, не имеет аналога в физике, — это наша способность размышлять о происходящих с нами событиях и обратное воздействие этих размышлений на систему наших ценностей и представлений, а следовательно, и на наши действия. Это именно то, что в кибернетике стремятся отразить в механизмах обратной связи. Однако, как мне представляется, мы имеем здесь дело с такой характеристикой человека, которую не так-то легко имитировать с помощью физических процессов. Я говорю это не с целью принизить значение кибернетики. Одна из основных задач при рассмотрении способности человека размышлять над самим собой (*self-reflection*) и такой характеристики, как самосознание (*self-consciousness*), состоит в более точном определении этих понятий и более глубоком понимании их сущности. В этом отношении кибернетика, ставя четкие вопросы и требуя точных ответов, помогает нам лучше понять истинную природу этих свойств, присущих только человеку.

3. КАК МЫ ДОСТИГАЕМ ПОНИМАНИЯ ДЕЙСТВИЙ? СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОНИМАНИЕМ ДЕЙСТВИЙ И ДРУГИМИ ВИДАМИ ПОНИМАНИЯ

Понимание действий человека может показаться теперь довольно несложной задачей. Надо просто объяснить, обращаясь к желаниям и представлениям того или иного субъекта, а также его характеристикам как лица, принимающего решения, почему он делает то, что он делает. Однако, хотя нам уже известно, что значит понимать, мы сталкиваемся здесь с огромной эпистемоло-

гической трудностью: как можем мы узнать о желаниях, представлениях и т. д. субъекта?

Являясь сторонником эмпиризма, я убежден, что все мои представления должны в конечном итоге проверяться посредством чего-то, влияющего на мои органы чувств. Как я уже отметил, это не означает, что я воспринимаю (*experiense*) только физические объекты. Это могут быть также действия, люди, значения и т. д. Однако мое восприятие каждой из этих сущностей зависит как от восприятия других сущностей, так и от восприятия обычных физических объектов, а также от моих представлений о мире. Сейчас мы займемся рассмотрением этих взаимосвязей. Мы постараемся описать скрытый механизм построения гипотез. Возможно, таким образом нам удастся более точно охарактеризовать процесс нашего восприятия и понимания окружающих, их действий и речевых сообщений.

Позвольте нам начать. К числу объектов, которые я могу видеть, относятся и *действия* окружающих. Но *могу* ли я на самом деле видеть действия? Вижу ли я действия, а не просто некоторые движения, которые потом *интерпретирую* как действия, или же *прихожу* к этому *путем логического вывода*? Эту точку зрения могли бы отстаивать некоторые представители бихевиоризма. Однако в разделе первом я показал, что это неверно. Мы видим именно действия. Но не следует забывать, что восприятие действий, так же как и восприятие любых других объектов, всегда сопровождается построением гипотез. Если бы мои представления о мире или мое понимание данного человека изменились, то в сходной ситуации вместо того действия, которое я вижу сейчас, я мог бы увидеть совершенно иное действие или же просто движение тела. Так, экономист с целью подтверждения какой-либо экономической теории может утверждать, что люди действуют таким-то и таким-то образом, но не исключено, что по прошествии некоторого времени он убедится, что люди делают нечто совершенно иное, хотя с точки зрения зрительного восприятия это одно и то же.

Среди экономистов, изучающих так называемые „выявленные предпочтения“ (*revealed preferences*), принято считать, что единственным способом определения предпочтений человека является анализ тех выборов, которые он совершает, и что других источников информации, имеющих отношение к предпочтениям человека, не существует. Это приводит нас к замкнутому кругу. Мы объясняем выбор человека, обращаясь к его предпочтениям, и характеризуем предпочитаемое им на основе его выборов.

Ясно, что мы обладаем и другими источниками информации. Мы можем спросить человека о том, что он предпочитает, о его

представлениях и его системе ценностей. Однако на этом пути нас подстерегают трудности. Во-первых, мы не всегда можем принимать на веру то, что нам говорит собеседник. Он может не называть нам истинных мотивов своих поступков. Пытаясь себя оправдать, он может лгать даже самому себе. Его поведение может быть вызвано причинами, которые он сам не осознаёт. Оно может быть обусловлено факторами, которые заставят нас обратиться к Фрейдю или к сведениям из физиологии. Так, в примере, который приводит Патрик Суппес, подросток, обучающийся у молодой привлекательной преподавательницы, часто остается после занятий, чтобы получить консультацию. Если у него спросить, почему он это делает, он ответит, что у него есть вопросы по пройденному материалу, в которых он хочет разобраться. Он может быть совершенно искренне в этом уверен, но мы, возможно, объясним его поведение иначе.

Заметим, кстати, что, подобно тому как наша теория объяснения действий должна охватывать отклоняющиеся от нормы явления, так, с другой стороны, и отнесение чего-либо к числу отклоняющихся явлений, таких, как самообман, подавление, сублимация и т. д., возможно только на основе теории, дающей ответ на вопрос, каким образом нужно объяснять действия.

В контексте данной книги* важно также отметить, что информация, которую мы получаем от собеседника, задавая ему вопросы, слушая то, что он говорит, и т. д., имеет в качестве своей основы его поведение, особенно языковое. Задавая человеку вопросы о причинах его поступков, мы расширяем базу нашего анализа от рассмотрения лишь одной ситуации выбора до учета всего поведения в целом. Таким образом, мы все равно не можем выйти из порочного круга: мы объясняем поведение человека, обращаясь к его предпочтениям и ценностям, о которых в свою очередь узнаем только на основе анализа его поведения.

Как и в случае других объяснений, не выходящих за пределы логического круга, здесь есть возможность для более детального анализа. Так, например, хорошо известно, что, когда мы объясняем действия человека, мы характеризуем систему его ценностей с учетом того, какие взгляды, как мы считаем, он имеет; и, наоборот, различные предположения относительно системы его ценностей должны приводить нас к различным выводам о характере его взглядов. Дэвидсон указал, что взаимосвязь между системой ценностей и представлениями человека подобна той взаимосвязи, которую отметил Куайн в своей работе о неопределенности пере-

* Имеется в виду книга „Meaning and Understanding“, в которой помещена настоящая статья. — *Прим. перев.*

вода*, — между тем, что, по нашему мнению, значат высказывания человека, и тем, какие взгляды мы ему приписываем (Davidson, 1973).

К счастью, здесь существуют различные ограничения, которые помогают нам уменьшить количество этих не вполне определенных элементов. Одно очевидное ограничение связано с тем, что две взаимозависимые пары элементов, которые мы только что рассмотрели, — мнения, представления и система ценностей в случае действий и представления и значение в случае высказываний — имеют общий первый элемент. Ясно, что мнения, представления, приписываемые нами человеку, действия которого мы стараемся объяснить, входят в ту же самую систему, как и взгляды, которые мы приписываем этому же человеку, интерпретируя его речевое сообщение.

Другие ограничения, которые я рассматривал в работе (Føllesdal, 1975), имеют отношение к зрительному восприятию и к остенсивности. Ряд ограничений обнаруживается при детальном анализе речевых актов как разновидности действий, на что указал Д. Холдкрафт (Holdcroft, 1981), а также при использовании в наших попытках понять другого человека тех предложений, которые мы делаем относительно его взглядов и системы ценностей, когда стремимся объяснить его речевые акты.

4. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Только что коротко описанная мною модель объяснения действий, построенная на основе исследования принятия решений, часто рассматривается как модель рациональности или как модель рационального принятия решений. Человек всегда выбирает то, что является для него наилучшим, или, точнее, то, что, как он полагает, является для него наилучшим.

Я предлагаю именно эту модель в качестве основы для объяснения действий и, следовательно, для их понимания, поскольку я не знаю никакой более приемлемой теории. Я думаю, что теория действия, основанная на рациональности, необходима для того, чтобы положить начало изучению объяснения и понимания действий. Я еще вернусь к этому в своем заключении. Однако, хотя в указанном смысле такая теория является предпосылкой анализа понимания, она есть не что иное, как рабочая гипотеза, которую я буду готов заменить другой гипотезой, если она окажется лучше.

* Имеется в виду книга Куайна „Word and Object“ (Quine, 1960), особенно гл. 2: Translation and Meaning. — *Прим. перев.*

В любом случае модель должна быть улучшена и расширена с учетом ряда факторов; некоторые из них мы сейчас рассмотрим⁴.

(i) Согласованность с каждым конкретным моментом времени

Хотя теоретическую модель объяснения действий, построенную на основе исследования принятия решения, часто называют теорией человеческого поведения, основанного на рациональном выборе, можно попробовать подвести под эту модель поведение практически любого субъекта, даже если его действия не вполне рациональны. Стремясь выявить, что предпочитает тот или иной человек, мы можем, например, обнаружить, что для него a предпочтительнее, чем b , b предпочтительнее, чем c , но c предпочтительнее, чем a . Это кажется иррациональным и трудным для понимания, поскольку мы исходим из высказанного мной предположения, что основой понимания является рациональность. В связи с этим условие рациональности должно быть сформулировано следующим образом: рациональный индивид, находясь в ситуации выбора, из нескольких альтернатив, которые он учитывает в момент времени t , делает свой выбор в соответствии с той системой предпочтений, которую он имеет в этот момент. Если человек действует в соответствии с этим условием, а также в соответствии с другими условиями, о которых мы уже говорили и еще будем говорить, то его поведение будет нам понятно; в обратном случае в поисках достижения понимания мы будем продолжать попытки объяснить его поведение, уже, возможно, рассматривая его поведение не как действие, а просто как нечто, в основе чего лежат психологические и неврологические причины и для чего требуется естественнонаучное объяснение.

(ii) Согласованность с более продолжительным периодом времени

Существуют и другие факторы, которые должны быть привлечены для интерпретации человеческого поведения. Условие, сформулированное в предыдущем пункте, относится только к той системе предпочтений человека, которую он имеет в данный конкретный момент времени t . Его поведение может удовлетворять этому условию в каждый конкретный момент времени, но тем не менее казаться совершенно иррациональным и, следовательно,

⁴ При формулировке ряда положений, которые изложены ниже, я воспользовался работами Элстера, особенно (Elster, 1979).

представлять трудность для понимания. Так, например, делая выбор между тремя возможными вариантами *a*, *b* и *c*, человек может сначала предпочесть *a*, в следующий момент времени — *b*, а потом сразу *c*. Такая непоследовательность в поведении ставит нас в затруднительное положение. Нам бы хотелось, чтобы предпочтения субъекта были согласованы не только с каждым конкретным моментом времени, но и с более продолжительным периодом. Это не означает, что мы считаем, будто бы взгляды человека совсем не должны меняться, нам просто интересно было бы знать, почему это происходит. Нам бы хотелось объяснить эти изменения или при помощи субъективного обоснования, или путем указания на естественнонаучные причины. В других случаях может оказаться необходимым объяснить отсутствие этих изменений. Это служит подтверждением того, что субъективное обоснование и приобретение новой информации посредством, например, зрительного восприятия весьма нужны для объяснения и понимания действий. Существует множество связей между поведением человека и другими чертами его личности, которые мы хотим понять, такими, как его мысли, мнения, представления, чувства, страхи и другие психические и ментальные состояния.

(iii) Учет будущих интересов

Далее, нам бы хотелось, чтобы рациональный человек в своем выборе руководствовался не только сиюминутными, но и будущими интересами, хотя, как отметил Сидвик⁵, это не является столь очевидным для философов, подобных Юму, который утверждал, что «постоянное, идентичное самому себе „Я“ является не чем иным, как фикцией; ...в силу этого непонятно, почему одна часть из ряда чувств, на основе которой реализуется „Я“, должна быть больше связана с другой частью из того же ряда, чем с каким-то другим рядом». Оставим этот вопрос открытым. Учет людьми своих будущих интересов представляется важной характеристикой рациональности. Это означает, что было бы иррационально совершенно не заботиться о своем будущем. Однако в силу особенностей человеческой психики и непрогнозируемости наступления многих событий столь же иррационально было бы руководствоваться в своей деятельности исключительно будущими интересами. Игнорирование будущих интересов, так же как и преувеличенное к ним внимание, может создать значительные трудности для понимания действий субъекта и нуждаться в специальном объяснении.

⁵ См. (Sidgwick, 1874); здесь цитируется по работе (Sen, 1977, p. 343).

(iv) Различные виды предпочтений

Поскольку, пытаясь понять действия человека и его предпочтения, мы используем всю доступную нам информацию, полученную не только в ситуации непосредственного наблюдения, но и в коммуникации, имеет смысл выделить несколько видов предпочтений. В не так давно опубликованной статье Амартии Сен отмечается, что при изучении поведения и предпочтений человека необходимо принимать во внимание его привязанности и нормы морали, которыми он руководствуется и которые нередко заставляют его сделать выбор, не отвечающий его собственным интересам (Sen, 1977). Каждый человек обладает четырьмя уровнями предпочтений из совокупности альтернатив. Уровень А соответствует таким личным интересам человека, которые он имел бы, если бы на него не оказывало влияние осознание того, какие чувства — радость или горе — вызовет реализация его намерений у окружающих. Уровень В имеет отношение к состоянию душевного спокойствия человека, которое связано с чувством сострадания: человек может сам страдать, наблюдая за страданиями других людей, и чувствовать себя счастливым, видя, как они радуются. Не для выгоды окружающих, а для своей собственной пользы он может выбрать такую альтернативу, реализация которой принесет радость окружающим, а не такую, которую бы он предпочел, если бы ему было неизвестно чувство сострадания.

Третий уровень — С — соответствует тем выборам, которые на самом деле делает человек, а четвертый — уровень М — уровень морали — соотносится с теми предпочтениями, которые, как думает сам субъект, он *должен* иметь. Этот последний уровень дает нам определенную информацию о тех нормах морали, которых придерживается человек. Однако Сен указывает, что о моральных взглядах человека гораздо больше сообщает нам метауровень, который упорядочивает все четыре уровня в соответствии с тем, насколько моральными считает их субъект. Человек может, например, думать, что уровень М самый значимый, уровень С важнее, чем В, а В в свою очередь важнее, чем А.

Трудно, конечно, получить достаточное количество информации, нужное для характеристики всех уровней. Ясно, что они не могут быть полностью описаны только при помощи данных, полученных в результате непосредственного наблюдения выборов, которые осуществляет человек, — эта информация может помочь охарактеризовать фактически только один уровень — С. Необходима устная коммуникация, то есть живое общение. В работе, которая еще не написана, Сен намеревается описать способ ведения разговора, в котором с необходимой степенью точности мы могли бы

выяснить, каковы конкретные черты состояния душевного спокойствия у интересующего нас субъекта.

Сен также утверждает, что система метаранжирования пригодна для рассмотрения различных феноменов, которые важны для понимания человеческого поведения, таких, как акразия или слабоволие, а также для описания теоретико-игровых ситуаций, подобных „дилемме узника“. Когда такой анализ будет предпринят, станет ясно, действительно ли решены указанные проблемы или же они просто сдвинуты на метауровень.

(v) Взаимодействие между участниками

Для того чтобы понять человеческие действия, необходимо учитывать, что многие из тех представлений, которыми мы руководствуемся в своих действиях, являются представлениями о представлениях других людей, а также предположениями о том, как окружающие будут реагировать на наши действия. Стандартным методом для изучения такого взаимодействия между участниками событий является теория игр, которую, для того чтобы избавиться от ненужных ассоциаций, связанных со словом „игра“, можно было бы назвать теорией взаимодействий. Поскольку многие человеческие действия, которые мы хотим объяснить, являются как раз случаями такого взаимодействия, я считаю, что изучение поведения людей не может быть успешным без применения теории игр. Теория игр принадлежит к числу основных приемов, используемых в герменевтике. Многие случаи группового поведения, которые сначала могут показаться непонятными и иррациональными (например, люди, разбрасывающие мусор, или китайские крестьяне, вырубающие леса и обрекающие тем самым почву на эрозию), получают простое и логичное объяснение в терминах теории игр, и мы начинаем *понимать*, что они значат.

Я думаю, что в рамках теории игр могут быть проанализированы также и речевые акты и описаны различные представления и ценности, лежащие в их основе. Это, однако, тема для отдельного исследования, проведение которого не входит в нашу задачу.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стандартная теория рационального принятия решения является нормативной. Она указывает нам на то, как мы должны поступать в конкретной ситуации, однако по горькому опыту нам известно, что наши действия зачастую бывают иными. В большинстве случаев мы не поступаем рационально, принимая те или иные решения.

Однако, как отмечают Тверский (Tversky, 1975) и Дэвидсон (Davidson, 1976), нормативная теория принятия решений может быть приложена ко многим видам поведения, ибо, согласно Тверскому, «аксиомы теории полезности могут рассматриваться как максимы рационального выбора только в связи с предполагаемой интерпретацией, а сам критерий выбора интерпретации не является частью теории полезности» (Tversky, 1975, p. 172). Так, Тверский указывает, что, например, учет отрицательной значимости сожаления в добавление к чисто денежным ценностям может изменить нашу оценку поведения человека (которое раньше казалось иррациональным) таким образом, что в нашем представлении оно начнет соответствовать нормативной теории принятия решений.

Мне кажется, это разумный путь, по которому мы должны идти, когда пытаемся понять что-то явно иррациональное. В подобных случаях надо предположить, что субъект рационален, и постараться сформулировать ряд гипотез о том, какие альтернативы он осознает, какие последствия для каждой альтернативы предвидит и каковы представления, мнения и ценности субъекта. При формулировке гипотез по первым двум пунктам, касающимся альтернатив и последствий, мы особенно свободны в выборе. Надо, однако, осознавать, что наш выбор не может быть полностью произвольным. Он должен быть обоснован, то есть соответствовать тому, что мы могли бы ожидать от субъекта на основании наших знаний о нем, о его представлениях, воображении, жизненном опыте и деятельности, о подверженности при принятии решения панике и влиянию окружающих и т. д. Это же верно и для построения гипотез относительно взглядов и системы ценностей субъекта. Они должны согласовываться, во-первых, с нашей теорией о том, как формируются и изменяются представления и взгляды под влиянием различных жизненных обстоятельств и с развитием самосознания личности, а во-вторых, с имеющейся у нас информацией, которая касается прошлого опыта субъекта. Все эти направления анализа должны включать также предположение, что субъект рационален, и наши знания того, какие представления и ценности может иметь рациональный человек, обладающий данным жизненным опытом.

Ставя перед собой цель понять человека и его действия, мы должны взвесить и сопоставить одно за другим все эти соображения, которые базируются на наших наблюдениях за его действиями, мимикой и жестами и на информации, полученной из его рассказов. Основой для подобного анализа является нормативная или рациональная теория. Характер случайных и иррациональных факторов, которые могут повлиять на поведение человека, мы можем предсказать на основе нашей общей теории чело-

века. К числу этих факторов могут относиться такие, как формирование представлений у субъекта под влиянием пропаганды, рекламы или группового давления; действия под влиянием гипноза и наркотиков; действия, совершаемые на основе неосознанных побуждений, и т. д. Определяя рациональность как основу понимания, я придерживаюсь старой традиции, которая присутствует у Витгенштейна и ряда сторонников герменевтики, подобных Гадамеру. Особенно тщательно этот вопрос был разработан Куайном и Дэвидсоном в их „принципе доброжелательности“ („principle of charity“) (Quine, 1960, p. 59—69; Davidson, 1974, особ. p. 19; 1975, особ. p. 20—22). Я считаю, что в работах Куайна и Дэвидсона по данному вопросу содержится наиболее глубокий анализ проблем понимания. Остается только пожалеть, что на них так редко ссылаются в современных работах по герменевтике.

ЛИТЕРАТУРА

Davidson, 1973=Davidson, D. Radical Interpretation. — „Dialectica“, 1973, vol. 27, p. 313—327.

Davidson, 1974=Davidson, D. On the very idea of a conceptual scheme (Presidential Address, American Philosophical Association, Eastern Division Meeting, Atlanta, 1973). Proceedings of the American Philosophical Association, 1974, p. 5—20.

Davidson, 1975=Davidson, D. Thought and talk. — In: „Mind and Language“ (Guttenplan, S. (ed.)). Oxford: Clarendon Press, 1975, p. 7—23.

Davidson, 1976=Davidson, D. Hempel on explaining action. — „Erkenntnis“, 1976, vol. 10, p. 239—253.

Davidson and Marschak, 1959=Davidson, D. and J. Marschak. Experimental tests of a stochastic decision theory. — In: „Measurements: Definitions and Theories“ (Churchman, C. W. and P. Ratoosh (eds.)). New York: Wiley, 1959, p. 233—269.

Davidson, Suppes and Siegel, 1957=Davidson, D., P. Suppes and S. Siegel. Decision Making: An Experimental Approach. Stanford: Stanford UP, 1957.

Elster, 1979=Elster, J. Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality. Cambridge: Cambridge UP, 1979.

Føllesdal, 1975=Føllesdal, D. Meaning and Experience. — In: „Mind and Language“ (Guttenplan, S. (ed.)). Oxford: Clarendon Press, 1975, p. 25—44.

Føllesdal, 1979=Føllesdal, D. Handlungen, ihre Gründe und Ursachen. — In: „Handlungstheorien — interdisziplinär“ (Lenk, H. (ed.)). Munich: Fink, 1979, p. 431—444.

Granger, 1981=Granger, G. G. Qu'est-ce que comprendre la formule: „2+2=4“? — In: „Meaning and Understanding“ (Parret and Bouveresse (eds.)), 1981, p. 389—401*.

Holdcroft, 1981=Holdcroft, D. Principles of conversation, speech acts and radical interpretation. — In: „Meaning and Understanding“ (Parret and Bouveresse (eds.)), 1981, p. 184—203.

* См. отсылочную сноску на с. 152. — Прим. перев.

- McDowell, 1981=McDowell, J. Anti-realism and the epistemology of understanding.—In: „Meaning and Understanding“ (Parret and Bouveresse (eds.)), 1981, p. 225—248.
- Moravcsik, 1979=Moravcsik, J. Understanding.—„Dialectica“, 1979, vol. 33, p. 201—216.
- Quine, 1960=Quine, W. V. O. Word and Object. New York: Wiley, 1960.
- Rawls, 1971=Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1971.
- Rosenberg, 1981=Rosenberg, J. R. On understanding the difficulty in understanding understanding.—In: „Meaning and Understanding“ (Parret and Bouveresse (eds.)), 1981, p. 29—43.
- Schiffer, 1981=Schiffer, S. Truth and the theory of content.—In: „Meaning and Understanding“ (Parret and Bouveresse (eds.)), 1981, p. 204—222.
- Sen, 1977=Sen, A. Rational fools.—„Philosophy and Public Affairs“, 1977, vol. 6, p. 317—344.
- Sigdwick, 1874=Sigdwick, H. The Methods of Ethics. London—New York: Dover Publications, 1966.
- Tversky, 1967=Tversky, A. Additivity analyses of risky choices.—„Journal of Experimental Psychology“, 1967, vol. 75, p. 27—36.
- Tversky, 1969=Tversky, A. The intransitivity of preferences.—„Psychological Review“, 1969, vol. 76, p. 31—48.
- Tversky, 1972=Tversky, A. Elimination of aspects: A theory of choice.—„Psychological Review“, 1972, vol. 79, p. 281—300.
- Tversky, 1975=Tversky, A. A critique of expected utility theory: descriptive and normative considerations.—„Erkenntnis“, 1975, vol. 9, p. 163—173.
- Tversky and Kahneman, 1974=Tversky, A. and D. Kahneman. Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases.—„Science“, 1974, vol. 185, p. 1124—1131.
- Tversky and Kahneman, неопубл.=Tversky, A. and D. Kahneman. The Framing of Decisions and the Rationality of Choice. Unpublished (mimeo).
- Ziff, 1972=Ziff, P. Understanding Understanding. Ithaca—London: Cornell UP, 1972.

ГРАММАТИКА И ФИЛОСОФИЯ*

Каждый, кто свободно и правильно говорит на своем родном языке, прошел через период овладения языком. В течение этого периода человек, без сомнения, воспринял множество предложений, произнесенных другими людьми, а его собственные предложения неоднократно подвергались исправлению. Однако результат овладения языком состоит не только в том, что человек приобретает способность повторять предложения, сказанные другими, или исправлять ошибки в собственных предложениях. Подлинный результат овладения языком состоит в способности человека произносить и понимать в принципе бесконечное множество новых предложений, смысл которых ему ясен, а также в умении отличать полностью правильные и осмысленные предложения языка, какими бы причудливыми они ни были, от предложений, в тех или иных отношениях и в той или иной степени отходящих от норм правильности и осмысленности, и, быть может, отмечать (в более или менее явном виде), какие именно особенности предложения не позволяют считать его нормальным.

Представляется вполне разумным допустить, что из способности носителя языка конструировать, интерпретировать и критически оценивать предложения следует существование набора или системы правил, которыми (в определенном смысле) овладел этот носитель языка. Это не означает, что он сознательно строит или интерпретирует предложения в соответствии с какими-либо правилами такого рода или что ему удастся сделать хотя бы первые шаги в формулировке этих правил с достаточной эксплицитностью или с учетом всей системы правил в целом. Правила могут «управлять» речевым поведением и даже способностью критически оценивать предложения таким образом, что человек не отдает себе отчета в их существовании. Поэтому не следует ожи-

* P. F. Strawson. Grammar and philosophy. — In: „Semantics of Natural Language“ (by ed. Davidson and Harman). Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing company, 1972, p. 455—472. Сокращенный перевод. — *Прим. ред.*

дать, что человек, в совершенстве овладевший языком, сможет теоретически сформулировать суть того, что он применяет на практике.

Тем не менее вся речевая практика остается в нашем распоряжении. И поэтому в принципе возможно извлечь из нее теорию и сформулировать ее в полном виде, с учетом всей системы правил разных типов. Именно такую цель поставили перед собой современные ученые, работающие в русле трансформационной порождающей грамматики. Полностью эксплицитная и максимально систематическая формулировка правил, управляющих речевой деятельностью человека, составляет *теорию* языка этого человека. Такую теорию можно назвать *грамматикой* языка, если трактовать понятие грамматики достаточно широко. Она будет состоять из трех частей или компонентов: синтаксиса, семантики и фонологии. Если не стремиться к точности, то можно сказать, что эти три части имеют дело соответственно со структурами, смыслами и звуками; однако неточность в этом случае оказывается весьма существенной, поскольку структура сама по себе в значительной степени детерминирует смысл. Именно синтаксическая или структурная часть языка подверглась наиболее тщательному исследованию и вызвала наибольший интерес специалистов в области трансформационной грамматики.

Из традиционной грамматики нам известны некоторые термины, которыми пользуются специалисты по трансформационной грамматике для описания фактов, касающихся структуры предложений. Так, мы знакомы с названиями таких грамматических *классов* и *категорий*, как существительное, именная группа, глагол, предлог, наречие и прилагательное, и с названиями таких грамматических *отношений*, как подлежащее предложения, подлежащее при глаголе, дополнение при глаголе, модификатор подлежащего [=определение], модификатор глагола [=обстоятельство] и т. п. Совершенно очевидно, что полный охват всех фактов, касающихся структуры, то есть грамматических отношений в предложении, связан с пониманием предложения. Описать разницу в смыслах таких пар предложений, как John loves Mary 'Джон любит Мери' и Mary loves John 'Мери любит Джона' или The old man sings a song 'Старик поет песню' и The man sings an old song 'Человек поет старую песню' — это значит собрать воедино те структурные факты, которые выражаются в грамматике следующим образом: в первом предложении первой пары слово John является подлежащим, а слово Mary — дополнением, а во втором предложении той же пары — наоборот; прилагательное old является определением к существительному man в первом предложении второй пары и определением к слову song во втором предложении той же пары. В „школьном“ варианте грамматического

анализа мы фиксируем факты, касающиеся грамматической структуры анализируемого предложения, в некоторой принятой форме. Конечно, мы можем неудачно выполнить упражнение такого рода, прекрасно понимая при этом разницу между парами приведенных предложений, и это иллюстрирует тот факт, что понимание структуры — это далеко не то же самое, что ее эксплицитное описание.

Таким образом, грамматическая структура, равно как и смыслы отдельных слов, обуславливают смыслы, или семантические интерпретации, предложений. Центральный тезис трансформационной грамматики, ее отличительная особенность состоит в том, что адекватная грамматическая теория должна различать базовую структуру и поверхностную синтаксическую структуру, глубинную грамматику и поверхностную грамматику...*

Синтаксический компонент грамматики, или теории языка, представляет собой систему правил, допускающих или предписывающих выполнение определенных действий над элементами определенного типа. Эти терминальные элементы мыслятся как минимальные единицы смысла, атомы, которые язык структурирует посредством синтаксиса. Хомский называет эти минимальные единицы формативами. Формативы нельзя сравнить ни с одним из известных понятий, однако для нас не так уж важно в точности представлять себе их действительную природу. Формативы бывают двух типов — лексические и нелексические. Первые можно представить себе как аналог тех общих терминов или имен собственных, смысл которых ни в коей мере нельзя считать синтаксически производным от какого-либо другого; сюда относятся такие примеры, как глаголы *sing* 'петь' или *love* 'любить', прилагательное *red* 'красный', имя *Mary*. Элементы второго типа имеют более гетерогенный характер; они включают, например, форматив, называемый *Past*, для обозначения прошедшего времени...

Синтаксический компонент теории задает как глубинные, так и поверхностные структуры предложений. Теперь вкратце о соотношении этих структур с двумя другими компонентами — семантическим и фонологическим. Правила фонологического компонента теории применяются к поверхностной структуре для получения реального звукового представления предложения. Информация, содержащаяся в семантическом компоненте, касается смысла индивидуальных лексических единиц и предназначена для того, чтобы совместно со структурной информацией глубинной структуры задать полную семантическую интерпретацию предложения...

В начале своей статьи я охарактеризовал языковую способность человека, в совершенстве владеющего своим языком, как

* Здесь и далее многоточие означает, что в данном месте текст сокращен. — *Прим. ред.*

способность понимать, производить и критически оценивать неограниченное количество новых предложений данного языка. Сторонники трансформационной грамматики, по крайней мере в те моменты, когда они не теряют осмотрительности, не утверждают, что владение этими языковыми способностями, присущее идеальному носителю языка, может быть полно и адекватно объяснено с помощью простого приписывания ему „подразумеваемого“ или неосознанного знания той системы правил, которые задает подобная теория. Они полагают (или, вернее, настаивают на том), что адекватное объяснение языковой способности должно быть более серьезным. Отвлечемся на некоторое время от вопроса о том, каким образом сами специалисты в области трансформационной грамматики предполагают расширять ее для того, чтобы она могла объяснять эту способность, и рассмотрим вопрос о том, какое условие препятствует тому, чтобы человек, далекий от позиций трансформационной грамматики, признал эту теорию отвечающей его представлениям о понимании языка. Я буду называть это условие условием явности (*perspicuousness*).

Здесь мы вынуждены вернуться к рассмотрению глубинных структур предложений, которые, согласно Хомскому, играют решающую роль для семантической интерпретации предложений. Глубинные структуры порождаются базовыми правилами синтаксического компонента. Если мы отвлечемся от той части базы (включающей словарь), которая сопоставляет структуре терминальную цепочку, то останутся правила, работающие с узлами дерева, которые вводят грамматические категории (именная группа, глагол, предложная группа) в допустимых сочетаниях. Хомский видит особое значение этих правил и вводимых с их помощью грамматических категорий в том, что они задают основу для определения тех грамматических *отношений*, которые с точки зрения структурных соображений имеют первостепенную важность для семантической интерпретации предложений (хотя их роль и не исчерпывается этим). Именно поэтому столь существенны грамматические категории и правила, их задающие. Их роль состоит в том, что в совокупности они задают те термины, с помощью которых могут быть определены грамматические отношения для данного языка. А эти отношения существенны в силу своей важной роли для семантической интерпретации предложений. Однако, если не касаться словаря, грамматика пока не дает нам такой информации о важности этих грамматических отношений, которая была бы независимой от их определения в терминах грамматических категорий. Символы грамматических категорий и правила построения древесных структур, содержащих эти категории, как утверждается, приводят нас к грамматическим отношениям, столь важным для понимания предложений; однако

имена грамматических отношений, по определению, уводят нас обратно к символам грамматических категорий и их последовательностей, а поскольку грамматика — это эксплицитно заданный набор правил, мы не вправе считать, что располагаем пониманием *каких бы то ни было* типов терминов, *если* эти термины не заданы в эксплицитных правилах самой грамматики.

Конечно, грамматика, или история языка в целом, располагает средством, позволяющим выйти из этого круга технических терминов. Таким средством является словарь, в синтаксических зонах которого лексическим формативам сопоставляются грамматические категории, а в семантических зонах, как можно себе представить, содержится вся остальная информация об элементах языка, необходимая для его понимания. Однако, как указывают критики трансформационной грамматики и как признают ее сторонники, удовлетворительное теоретическое решение проблемы построения семантического компонента пока отсутствует. Я не собираюсь подробно останавливаться на этой проблеме, сформулированной здесь в общем виде. Достаточно констатировать, что в полном виде правила теории, включающей семантический компонент, должны полностью задавать смысл всех формативов, как лексических, так и нелексических. Далее, поскольку грамматика соотносит отдельные формативы с грамматическими категориями, то она обеспечивает непосредственную связь смыслов формативов с грамматическими категориями и соответственно обеспечивает опосредованную связь смыслов формативов с возможными грамматическими отношениями в глубинной структуре, то есть с теми отношениями, которые помогают определять смысл предложения в целом. Однако — и именно это является сутью моей критики — этот особо важный набор связей не основывается на каких-либо теоретических положениях трансформационной грамматики. Имеется лишь перечень лексических единиц, никак не учитывающий общие принципы, регулирующие сопоставление грамматических категорий с лексическими единицами. А ведь именно отношения такого рода особенно важны для теории, которая отвечает условию явности.

Следует еще раз указать, какие причины заставляют нас настаивать на сформулированном выше требовании. Мы не должны забывать, что первостепенная важность грамматических категорий и их допустимых сочетаний в глубинных структурах языка кроется в том, что они задают термины, в которых могут быть определены грамматические функции и отношения между элементами в этом языке. А эти функции и отношения должны совпадать с функциями и отношениями, ощущаемыми обычным носителем языка при понимании предложений, которые он слышит или производит. Он ощущает их имплицитно, не имея, как можно

предположить, никаких специальных грамматических навыков. Теперь зададимся вопросом о том, каким образом это его ощущение характера функций и отношений связано с его знаниями смысла элементов языка, на котором он говорит? Не следует предполагать, что его знание смысла этих элементов полностью отделено от грамматических навыков, касающихся функций и отношений, которые необходимы для понимания смысла слышимых и производимых предложений. Его ощущение смысла элементов языка, как представляется, должно хотя бы частично включать ощущение их потенциальных ролей в грамматических отношениях базовых структур. Предположим теперь, что существуют внутренняя и закономерная связь между типами семантических отношений и грамматическими ролями в глубинной, или базовой, структуре. Задавая принципы подобной связи, мы очевидным образом будем прибегать и к семантическим, и к синтаксическим соображениям. Может ли получиться так, что мы при этом все же не заложим фундамент (или какую-то его часть) для общей теории грамматики? В любом случае грамматика, опирающаяся на такой фундамент, с точки зрения условия явности предпочтительнее, чем грамматика противоположного типа...

По-видимому, верно, что, если грамматика должна обладать объяснительной силой (то есть иметь объяснительные основы), то следует попытаться перекинуть мост между семантико-логическими признаками, с одной стороны, и синтаксическими отношениями и классами, с другой. По-видимому, неверно, что лучшим подходом к постановке соответствующих вопросов является их формулировка в терминах традиционных грамматических категорий и отношений, таких, как существительное, глагол, глагольное дополнение и т. п. Я попытаюсь объяснить нежелание сторонников трансформационной грамматики предпринять необходимую работу по изменению традиционной терминологии до того, как перейти к рассмотрению причин, по которым эту перестройку формы нельзя считать несущественной. Эти два вопроса тесно связаны между собой.

Прежде всего, вспомним, что сторонники трансформационной грамматики ожесточенно критикуют как философов, исследующих естественный язык с помощью традиционных методов (за их недостаточную систематичность), так и тех философов языка, которые опираются на формальную логику и строят идеализированные языки; критика в адрес последних состоит в том, что их подход, будучи систематическим, страдает от недостаточной эмпиричности¹. Подход трансформационной грамматики, будучи

¹ По обоим вопросам см., например: J. J. Katz. *The Philosophy of Language*. N. Y., 1966, ch. 3.

систематическим, в то же время является последовательно эмпирическим. Его последователи — это лингвисты-эмпирики, грамматисты, действительно изучающие, хотя и в обобщенном виде, реальные языки и не склонные увлекаться теоретизированием, если речь не идет о *построении систем, или механизмов, или правил*, которые описывают то, что реально встречается в правильных предложениях, и указывает на характер отклонений в неправильных предложениях. Таким образом, хотя специалист в области трансформационной грамматики и относится положительно к идее универсальной грамматики, то есть к общей лингвистической теории, он все же, по словам Хомского, берет от понятий, входящих в эту теорию, лишь то, что может быть использовано при построении действующих лингвистических правил. Любой же другой подход, как утверждается, является слишком неопределенным и интуитивным для сопоставления с трансформационистским идеалом эмпирической ясности (*clarity*).

Таким образом, лингвисту не следует придерживаться подхода, который более уместен для философа и который, возможно, следует принять в случае, если грамматика действительно будет строиться на объяснительных основах. Фундаментальные идеи трансформационной грамматики — различие между глубинной и поверхностной структурами, понятие систематических трансформационных отношений между ними, намек на то, что базисные формы функциональных отношений можно усматривать в простейших формах глубинных структур, — найдут отклик у каждого философа, который самостоятельно пытался за внешним сходством грамматических форм усматривать их внутреннее логико-семантическое различие, то есть фактически у любого философа. Однако если речь заходит об объяснительных основах грамматики в свете названных идей, то, как мне представляется, философ, по крайней мере на первом этапе исследования, попытается действовать независимо от эмпирических ограничений. Так, его вовсе не должно интересовать (по меньшей мере в начале исследования), на каком именно уровне — глубинном или ином — в данном языке задается формальная организация функциональных отношений. Подобно лингвисту, он будет располагать, с одной стороны, пониманием элемента смысла (атомами структуры) и, с другой стороны, семантически существенными способами их комбинирования друг с другом (синтаксические отношения). Однако он с самого начала будет подготовлен к использованию словаря, который содержит семантическую или — рассматривая проблему шире — логическую классификацию элементов, которая явно соотносится со словарем сочетаний или грамматических связей. Имея подобное явное соотношение, он может, далее, рассматривать возможные формальные средства, позволяющие вносить из-

менение при комбинировании элементов, и, наконец, обращаться к приложениям подобной теоретической модели, к эмпирическому материалу некоторого конкретного языка.

Такова в общем виде программа исследования для лингвиста, который пользуется неэмпирическим методом; возможно, эта программа в конце концов сможет сослужить службу при исследовании эмпирического материала. Процесс реализации такой программы будет в некоторых отношениях напоминать процесс построения логиками формальных языков. Как отметил в одной из своих работ Куайн, не следует злоупотреблять структурами. Однако для лингвиста, пользующегося неэмпирическим методом, важно, чтобы каждый фрагмент структуры вносил лепту в совокупное описание смысла. Структуральность должна пронизывать все представления, и каждый фрагмент представления должен пониматься как часть структуры.

Скажу теперь несколько слов о деталях этой процедуры. Практически неизбежен путь, при котором исследователь начинает с построения сравнительно простых моделей языковых типов, а затем переходит к более сложным моделям. Важным противопоставлением, которое нельзя упускать из виду, является противопоставление между внутренней, или „сущностной“, грамматикой языкового типа и меняющимися, или вариативными, грамматиками этого языкового типа. Тип языка определяется: 1) семантическим или логическим (в широком смысле) типом входящих в язык элементов смысла и 2) типами их осмысленных комбинаций при построении предложений. Эти параметры а priori задают сущность грамматики языкового типа при предположении, что каждое предложение, по крайней мере в базе, имеет синтаксически однозначную интерпретацию. Правила сущностной грамматики содержат требование идентификации, а в случае необходимости — и дифференциации всех названных комбинаций, то есть, например, если предложение содержит несколько элементов, различные комбинации которых дают осмысленные атрибутивные группы, то следует некоторым способом определить, как именно связаны эти элементы; или, если имеется элемент, задающий несимметричное отношение в комбинации с элементами или узлами, задающими его термы, то следует некоторым способом задать порядок прохождения по дереву к этим элементам или узлам. Таковы требования сущностной грамматики. Однако эта грамматика ни в коей мере не отвечает за то, *каким образом* будут выполнены указанные требования. Открывается широкий простор для использования разного рода формальных средств, таких, как порядок расположения элементов, флексии, аффиксы или использование особых синтаксических признаков. Выбирая один способ формальной организации из допустимого вариативного набора

способов, которые могут адекватно передавать особенности сущностной грамматики, мы тем самым выбираем одну из допустимых меняющихся, или вариативных, грамматик для рассматриваемого языкового типа. Когда такой выбор произведен, мы получаем полную и эксплицитную грамматику (или форму грамматики) для языкового типа, конечно же, ценой отказа от грамматики действительно существующих языков, поскольку мы рассматривали не естественный язык, а лишь предельно упрощенный тип языка.

Если мы продолжим наши исследования, то вскоре заметим, что нам требуется словарь терминов для используемых нами теоретических понятий или даже целый набор взаимосвязанных друг с другом словарей. Во-первых, нам нужен, так сказать, онтологический словарь. Во-вторых, нам нужен семантический словарь, то есть словарь наименований семантических типов элементов и даже отдельных элементов (как уже говорилось, элементы рассматриваются довольно абстрактно). В-третьих, нам нужен функциональный словарь типов допустимых комбинаций или отношений между элементами в составе предложения, а также типов ролей, которые эти элементы и комбинации элементов играют в предложениях. И наконец, в-четвертых, нам нужен словарь названий формальных средств. Как внутри трех первых словарей, так и между ними существуют пересечения и зависимости. Четвертый словарь достаточно автономен, он требуется только при переходе от сущностной грамматики к вариативной. Выше я уже говорил о терминах, относящихся к четвертому словарю: порядок элементов, словоизменение и т. п. В первый, онтологический словарь включаются такие понятия, как пространство, время, длительность, ситуация, общая характеристика и общее отношение, а также некоторые подклассы двух последних понятий, например: подразделение общей характеристики на состояния, действия, свойства и выделение внутри общих отношений по меньшей мере симметричных и несимметричных отношений. Понятия такого рода тесно связаны с понятиями функционального и семантического словарей. Функциональный словарь описывает связь между главными членами предложения, а также, если не предполагать у языкового типа полной неразвитости, связь главных членов предложения с остальными членами предложения. Два названных типа связи подразделяются далее на подтипы, происходит и выделение ролей, которые могут играть различные элементы и их комбинации как в рамках всего предложения, так и относительно друг друга. Отношения между понятиями функционального словаря, то есть их пересечение и соподчинение, являются весьма сложными, и я не рискую их здесь иллюстрировать. Семантический словарь ограниченного языкового типа может включать три

основных класса элементов: (1) имена; (2) общие характеристики и отношения; (3) дейктические элементы. По меньшей мере второй и третий классы должны быть далее подразделены для продвинутых языковых типов; второй класс — так, как это указано выше, при описании онтологического словаря, третий, — например, на темпоральные, локативные, интерлокативные и просто контекстуальные дейктические элементы.

Отмечу, что, перечисляя взаимосвязанные понятия трех словарей сущностной грамматики, я не упоминал никаких традиционных синтаксических категорий (существительное, глагол, прилагательное, предлог и т. п.). И это отнюдь не объясняется случайностями выбора примеров или недосмотром. Чем большей сложностью отличается языковой тип, тем, естественно, богаче содержание взаимосвязанных понятийных словарей, используемых для его описания и соответственно для формирования требований к его сущностной грамматике. Однако какими бы сложными ни стали эти словари, они ни в коем случае не должны включать упомянутую выше традиционную синтаксическую классификацию, если мы не выходим за рамки сущностной грамматики. Классификация такого рода, согласно современным грамматическим теориям, непосредственно соотносится с формальной организацией, определяющей вариативную грамматику языкового типа. Чем более строгими методами пользуется лингвист, тем больше усилий он прилагает к тому, чтобы задать такие категории, как существительное или глагол, с помощью формальных критериев, то есть с помощью типов преобразований, допустимых для тех или иных выражений, их дистрибуции в составе предложения, их линейного расположения относительно элементов, принадлежащих другим классам, и т. п. Вероятно, формулировка подобных критериев не может быть полностью независимой от семантики, а неучет семантических факторов обедняет эти критерии. Тем не менее наш основной тезис остается в силе: традиционные синтаксические категории отражают существующее в естественных языках взаимодействие между семантическими и функциональными факторами, с одной стороны, и наблюдаемыми формальными факторами, с другой стороны, поэтому данные категории не должны приниматься во внимание при исследовании сущностной грамматики. Это вовсе не может воспрепятствовать исследованию характерных способов формальной организации языка и, следовательно, использованию определенных синтаксических категорий при описании вариативной грамматики. Важно, однако, что синтаксические категории вводятся именно на уровне вариативной грамматики, но не ранее. Все сказанное о традиционных синтаксических категориях относится и к традиционным синтаксическим отношениям, опирающимся на эти категории.

Теперь, надеюсь, стало понятным сделанное мною ранее замечание о том, что для выявления объяснительных основ грамматики нельзя считать оптимальным путем установление непосредственных связей между семантико-логическими категориями и традиционными (или по крайней мере носящими традиционные названия) синтаксическими категориями, — а ведь именно это и пытаются сделать сторонники трансформационной грамматики при разработке базовых структур. Если термины используются в значении, близком к их нормальному употреблению, то следует говорить уже не о синтаксических, а о сущностных функциях и классификациях; если же традиционная терминология используется произвольно, то не лучше ли вообще от нее отказаться и перейти к более точной терминологии. Некоторые преимущества указанных терминологических изменений бросаются в глаза. Нам будет легче признать, что определенные категории не всегда просто отыскать в структурно непривычном для нас языке, и, соответственно, мы не будем падки на романтические предположения о существовании концептуальных различий между носителями родных языков и носителями нашего родного языка.

Предложенная мною программа вызывает множество вопросов. Понятие сущностной грамматики очевидным образом является понятием относительным: сущностная грамматика — это сущностная грамматика того или иного языкового типа. Мы можем отвлечься от того неоспоримого факта, что имеется только один практический путь построения подобной грамматики и путь этот состоит в последовательном переходе от описания простых явлений языка к описанию все более сложных явлений, и в связи с этим как сущностная, так и вариативная грамматики будут приобретать все более сложный вид. Имеются и более фундаментальные вопросы, которые касаются задания базовых типов элементов и их комбинаций, выбора базовых единиц для функционального и логико-семантического словарей. Как я полагаю, выбор всех названных единиц нельзя производить независимо друг от друга; каждый логико-семантический тип соотносится с потенциальными синтаксическими функциями. Что будет, если исследователю, разрабатывающему подобные классификации, не удастся отвлечься от тех ограничений, которые свойственны только хорошо известным ему языкам? Не следует ли опасаться (предполагать), что тогда построение онтологических объяснительных основ грамматики сведется к абстрактному отражению лишь некоторых языков? А если так, то как соотносится подобное описание с идеей общей теории человеческого языка (ведь никакая менее глобальная теория не может задать объяснительные основы грамматики в достаточно полном виде)?

На все сомнения такого рода я могу ответить лишь догмати-

чески. Во-первых, даже если эти сомнения в значительной мере оправданны, то это отнюдь не дискредитирует предложенный нами подход. Получение продвинутых моделей явной грамматики уже само по себе, как мне кажется, было бы важным результатом. Даже если такие модели непосредственно не дадут нам тонких теоретических языковых универсалий, они все же могут помочь в поисках таких универсалий. Совсем не нов подход, при котором удовлетворительная теория строится на основе теорий менее удовлетворительных, а адекватное объяснение получается при опровержении объяснений неадекватных. И, во-вторых, эти сомнения кажутся мне преувеличенными. Мы все принадлежим к существам одного вида с фундаментально общим типом нервной и церебральной организации, и потому нет оснований считать, что наиболее общие категории, организующие человеческий опыт, кардинально различаются и, соответственно, что базисные логико-семантические типы элементов, стоящие за человеческими языками, столь несходны между собой. (Это вовсе не означает, что названные логико-семантические типы элементов легко выявить.) Действительно, бывают случаи, когда нам только *кажется*, что языковые данные свидетельствуют о некоторых серьезных различиях между языками²; на самом же деле в настоящее время, до достижения определенных успехов в развитии теоретических исследований, мы просто ничего не можем утверждать о том, каким должен быть наиболее правильный способ трактовки указанных проблем, связанных с различиями между разными языками. Однако ни один способ рассмотрения языка не позволил бы поставить ни одной проблемы, если бы эти проблемы не были *поняты* каким-либо исследователем-теоретиком; таким образом, вряд ли стоит опасаться того (или надеяться на то), что любой исследователь, который ставит ту или иную проблему, может избежать рассмотрения единой теории языка.

Один из сторонников трансформационной грамматики предполагает, что общая теория языка, понимаемая как самодостаточное исследование эмпирического языкового материала, должна включать решения широкого круга традиционных философских проблем³. Я же настаиваю на том, что общая теория языка вовсе не должна получать поддержку со стороны философии, а также

² Например, может показаться соблазнительным предположение, что в некоторых областях, где мы склонны причислять понятие типов или разрядов объектов к нашим первичным понятиям, те первичные понятия носителей других языков, которые наиболее близки упомянутым нашим понятиям, могут оказаться все же понятиями другого рода, в большей степени элементарными; подобные понятия носителей других языков могут вовсе и не квалифицироваться как понятия определенных разрядов объектов или как понятия разрядов действий или ситуаций, в которые обычно вовлекаются такие объекты.

³ См. названную книгу Катца.

не должна и предлагать последней какую-либо поддержку. Одним из наиболее поразительных моментов в трансформационном подходе к грамматике является то, что этот подход существенно продвинулся в указанном мной направлении. Как представляется, следовать этому направлению вовсе не означает отталкиваться от эмпиризма, пусть и благоприятно осмысляемого; в качестве подходящего названия для предприятия такого рода можно, вероятно, взять такое: „Исследование неэмпирического языкового материала“ (как я указывал ранее). Разумеется, эмпирическая ценность конструкций, предлагаемых философски ориентированным исследователем явных грамматик, в конечном счете должна стать предметом рассмотрения психологов и лингвистов, работающих отдельно и совместно друг с другом. Однако там, где указанные два различных направления исследований смыкаются, философ хотя бы на какое-то время может найти свое место в исследовании языка; и это вовсе не так мало. И наконец, какой бы ни была окончательная эмпирическая ценность теоретических построений философа (если она вообще имеется), он может быть уверен в том, что найдет в подобных построениях источник интересных для себя вопросов и ответов.

В КАКИХ ОТНОШЕНИЯХ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНА ТЕОРЕТИКО-МОДЕЛЬНАЯ СЕМАНТИКА?*

Часто утверждают, что структурно-семантические теории (далее ССТ), например теория Катца [13, 14, 16, 18]**, Джейкендоффа [12] и некоторые варианты порождающей семантики [1, 21, 27, 28], страдают одним существенным недостатком. Так, Крессуэлл [3], Льюис [24], Парти [32] и Фермазен [39], а также некоторые другие исследователи считают, что ССТ не выявляют отношений между высказываниями на естественном языке и внеязыковой действительностью, поскольку не задают условий истинности предложений, и, следовательно, эти теории вообще нельзя считать семантическими. В то же время многие философы и лингвисты работают в русле теоретико-модельной семантики (далее ТМС)², полагая, что ТМС компенсирует слабые стороны ССТ. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы еще раз проанализировать обвинения в адрес ССТ и одновременно показать, что понятие истины является центральным для семантики и что теория, задающая условия истинности для предложений языка L, должна составлять ядро семантической теории для L. Вместе с тем я утверждаю, что ТМС сама по себе, как это ни парадоксально, неадекватна в тех же отношениях, что и ССТ. Если я прав, то широко распространенный взгляд на ТМС как на семантическую теорию, то есть как на теорию, задающую условия истинности для предложений естественного языка, оказывается ошибочным.

* Ernest LePore. What model theoretic semantics cannot do? — „Synthese“, Vol. 54, № 2, 1983, p. 167—187.

© 1983 by D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, The Netherlands.

¹ Желание написать эту статью возникло у меня под впечатлением мыслей Доналда Дэвидсона относительно теоретико-модельной семантики, которые содержатся в ряде его статей. Мне хотелось бы поблагодарить его, равно как и Джона Уоллеса. Я признателен также Биллу Ликану, Полу Ю и Джону Биро за их замечания по поводу более ранних вариантов настоящей статьи.

** Цифры в квадратных скобках, которые встречаются в тексте, указывают номер соответствующей библиографической ссылки в списке литературы, помещенном в конце статьи. — *Прим. ред.*

² См., например: [2, 24, 29, 30, 31, 32].

Первый шаг разработки ССТ связан с пристальным вниманием к таким языковым явлениям и свойствам, как синонимия, антонимия, осмысленность, бессмысленность или семантическая аномальность, избыточность и неоднозначность; эти понятия считаются удобными исходными понятиями для изучения семантики. Исследователи, работающие в русле этого направления, считают, что семантическая теория языка L — это теория значения L , а перечисленные выше явления и свойства — это центральные понятия, связанные со значением. В связи с этим они относятся с недоверием к таким семантическим теориям, которые полностью или частично отвлекаются от названных явлений и свойств [8, 14].

ССТ осуществляют отображение выражений на естественном языке в последовательности или наборы выражений на некотором другом языке. Среди различных ССТ нет единства ни относительно того, какова природа этого языка, ни относительно того, как именно следует осуществлять это отображение (или перевод)³. Для нас достаточно рассмотреть теорию Катца, в которой выражения естественного языка преобразуются в выражения на языке семантических маркеров [13, 14, 16, 18]. Кульминацией применения различных правил преобразования и других формальных средств являются теоремы типа (А):

(А) Финское предложение *Barbara sekoilee* 'Барбара смущена' переводится на язык семантических маркеров как S .

Переводы такого рода ограничены, и потому они сопровождаются представлениями, составленными из семантических маркеров; при этом синонимичные выражения некоторого естественного языка L преобразуются в одинаковые последовательности (или наборы) семантических маркеров, неоднозначные выражения языка L преобразуются более чем в одно представление на языке семантических маркеров, аномальные выражения языка L не получают на нем никакого представления и т. п. Таким образом, в подобных представлениях на языке семантических маркеров отражаются факты синонимии, неоднозначности, аномальности и другие семантические свойства и отношения естественного языка.

Некоторые критики теории Катца утверждают, что явления, которые описывает эта теория, составляют лишь часть тех явлений, которые следует относить к семантике, и что эта теория в принципе не способна в полном объеме охватить явления, отно-

³ Более подробное рассмотрение различных ССТ и несоответствий между ними см. в [8].

сящиеся к семантике. К таким явлениям они относят понятие истинности (а не те свойства и отношения, о которых говорилось выше), рассматриваемое как центральное понятие семантики; ССТ же, по их мнению, непригодны для формулирования условий истинности⁴. В связи с этим встают два вопроса: почему ССТ не могут обеспечить формулирование условий истинности и почему они должны это делать? Второй вопрос является особенно важным, поскольку исследователи, работающие в русле ССТ, выражали недоумение, когда их обвиняли в том, что соответствующие теории не задают условий истинности.

Так, Катц согласен, что понятие истинности остается за рамками его теории и, следовательно, эта теория не пригодна для задания условий истинности, однако, по его словам, «предмет исследования, для которого центральным является понятие истинности», не входит в его семантическую теорию, которая «никогда и не претендовала на рассмотрение этого предмета» [14, с. 182]. Если рассматривать семантику как науку о значении выражений естественного языка, то «понятие истинности не является центральным для семантики» и, как пишет Катц, его нельзя упрекнуть в том, что за рамками его теории «осталось нечто для нее центральное» [14, с. 182]. По мнению Катца, высказываемые в его адрес упреки в том, что его теория не задает условий истинности, объясняются неоднозначностью термина „семантика“. Для сторонников ССТ цель семантической теории состоит в построении теории значения, тогда как для критиков этого направления цель семантической теории состоит в «исследовании объектов того или иного рода, а также выражений естественного языка, которые описывают эти объекты» [14, с. 183], то есть в исследовании отношений, которые возникают при рассмотрении выражений естественного языка. Таким образом, для подтверждения уместности названного упрека в адрес теории Катца мы должны показать, что семантическая теория естественного языка, цель которой состоит в построении теории значения, должна именно для достижения этой цели задавать условия истинности предложений на данном языке. Тем самым два значения термина „семантика“, выделенные Катцем, сольются в одно. Мы сделаем шаг в этом направлении, задавшись вопросом о том, чего можно ожидать от семантической теории как от теории значения.

Согласно традиционной точке зрения, мы (частично) понимаем предложения благодаря знаниям об их значении. Например, именно знания о значении изолированного предложения *Barbara sekoilee* позволяют предположить, что соответствующее утвердительное высказывание (utterance) сообщает о том факте,

⁴ См.: [3, 4, 5, 10, 24, 29, 31, 32, 35].

что Барбара смущена. Далее, если известно, что это высказывание истинно в конкретных условиях его применения, то знания о значении предложения (частично) подкрепляют предположение о том, что данный факт действительно имеет место⁵.

Эта иллюстрация удачно проясняет двусторонний характер понятия „значение“. С одной стороны, значение связано с рядом экстенциональных понятий: выполнимость, денотация, истинность и т. п. Это отражается в имплицитно содержащемся в нашем анализе примера принципе, согласно которому, если предложение S истинно и если S означает p , то p . С другой стороны, значение связано с рядом интенциональных понятий: косвенная цитация, утвердительность и т. п. Это отражается в уже отмеченном нами соотношении между значением и косвенной цитацией: если некто произносит предложение S как утвердительное высказывание и S означает p , то он сообщает, что p . Располагая значением предложения, мы можем, благодаря этой двойственности, двигаться в одном из двух направлений. Мы можем воспользоваться отношением между значением и истинностью для того, чтобы сделать некоторые выводы относительно мира говорящего, или мы можем воспользоваться отношением между значением и некоторыми интенциональными понятиями для того, чтобы сделать некоторые выводы относительно самого говорящего, то есть о том, каковы его утверждения, вопросы, требования и т. п. Исходя из всего этого, мы можем ожидать, что семантическая теория как теория понимания (или языковой компетенции) языка L может по меньшей мере определять значения предложений L ⁶. Сторонники ССТ согласятся с таким утверждением, однако в то же время они ошибочно предполагают, что любая семантическая теория, которая может описывать семантические свойства и отношения типа неоднозначности и синонимии упомянутыми выше способами, мо-

⁵ Подтверждения такого подхода см. в [22, 23].

⁶ Я не рассматриваю здесь важной проблемы, касающейся того, действительно ли лингвистическое понятие теории компетенции может быть удовлетворительно объяснено либо с помощью структурной семантики, либо с помощью теоретико-модельной семантики. Проблема состоит в том, как характеризовать «то, что находится в голове говорящего». В рамках ТМС эта проблема сводится к статусу теории моделей, в рамках ССТ — к статусу метаязыка. Какие врожденные или приобретенные способности позволяют ребенку, находящемуся в языковой среде некоторого языка, обучиться семантике этого языка?

В работе, находящейся в печати (The concept of meaning and its role in understanding language. — „Dialectica“), я утверждаю, что никакой проблемы здесь нет, и она возникает, только когда семантика рассматривается как отрасль психологии. Если признать, что вопросы о знании и понимании языка относятся к психологии, то семантика окажется отраслью психологии. Однако, по моему мнению, семантика в правильном понимании этого термина является отраслью не психологии, а эпистемологии. А тогда нам не следует беспокоиться по поводу того, что же «находится в голове говорящего», как бы ни понимать это выражение.

жет в то же время удовлетворительно задавать значения предложений.

Любая ССТ, которая содержит (А), несомненно, должна включать и соответствующее следствие (В):

(В) Предложение *Barbara sekoilee* имеет тот же смысл, что S. Таким образом, о каждой ССТ, приводящей к утверждению (А), можно сказать, что она задает значение предложения *Barbara sekoilee*, однако делает это неадекватно, поскольку одного лишь (В) недостаточно для констатации того, что соответствующее утвердительное высказывание имеет значение 'Барбара смущена'. В то же время эта недостаточность сохранится при добавлении к (В) информации о том, что рассматриваемое высказывание истинно. Поясним, почему это так.

В общей картине ССТ наличествуют три языка: естественный язык, язык семантических маркеров и язык перевода (последний может быть либо языком семантических маркеров, либо естественным языком, либо каким-то третьим языком). Перевод осуществляет сопоставление первого и второго языков с помощью третьего. Однако (А) и (В) можно понять, зная только язык перевода (в нашем случае это естественный язык) и не зная двух остальных. Иначе говоря, мы можем понять, что два предложения сопоставлены одному и тому же выражению на языке семантических маркеров, то есть что они имеют одинаковое значение, не зная в то же время, каково именно это значение. Мы можем понять (А) и (В), например, на основе пояснений Катца по этому поводу, не зная того, что означают как предложение *Barbara sekoilee*, так и его семантическое представление на языке семантических маркеров.

Конечно, тот, кто знаком с языком семантических маркеров, без колебаний использует (В) для интерпретации рассматриваемого финского предложения; однако это объясняется тем, что ему известны две вещи, отсутствующие в (В): понимание устройства языка семантических маркеров и сведения о том, как следует интерпретировать S. Именно знания последнего типа играют здесь основную роль, но отнюдь не ССТ. Именно такие знания и должны, по нашему мнению, характеризовать адекватная семантическая теория, понимаемая как теория значения.

Из всех изложенных нами соображений не следует пока ни то, что теория значения должна включать рассмотрение условий истинности, ни то, что ССТ непригодны для задания этих условий. На самом деле, существуют прямые подтверждения того, что подобное расширение ССТ возможно. Нет сомнений, что из (А) следует (С):

(С) Предложение *Barbara sekoilee* истинно для финского языка тогда и только тогда, когда S истинно для языка семантических маркеров.

Поскольку истинность S для языка семантических маркеров является единственным условием того, чтобы считать предложение *Barbara sekoilee* истинным для финского языка, то не следует ли трактовать (С) как задание условий истинности для этого предложения? Можно заподозрить, что если ССТ в их классическом виде не справляются с приписыванием условий истинности, то существуют изъяны в том способе приписывания условий истинности, который сформулирован в (С). Для того чтобы убедиться в справедливости подобных подозрений, нам надо задаваться вопросом о том, почему семантическая теория, понимаемая как теория значения, должна прежде всего заниматься рассмотрением условий истинности.

Как было сказано, знания человека о значении изолированного предложения *Barbara sekoilee* позволяют ему предположить, что имеет место факт „Барбара смущена“, если одновременно ему известно, что соответствующее утверждение истинно. Однако это предположение следует трактовать именно как знание условий истинности данного предложения. Это предложение истинно тогда и только тогда, когда имеет место факт „Барбара смущена“. Таким образом, по меньшей мере для прямого утвердительного предложения задание тех условий, которые должны выполняться для того, чтобы оно было истинным, действительно характеризуют центральный аспект его значения.

Рассматривая вопрос с другой точки зрения, предположим, что человек знает значение предложения *Barbara sekoilee*, а также все релевантные факты (или, иначе говоря, располагает всеми нужными фактами о *мире*). Тогда этот человек будет знать и то, является ли это предложение истинным. Как мог бы он это знать, если бы значение не задавало истинностного значения относительно возможных релевантных ситуаций? Тогда, если значение действительно задает истинностные значения подобным образом, то и теория значения естественного языка должна задавать условия истинности. (Конечно, многие специалисты в области семантики идут еще дальше и считают, что знание условий истинности предложений само по себе является знанием его значения; см., например, [3]. Это объясняется их убеждением в том, что семантика естественного языка обусловлена именно знанием условий истинности, а не знанием значения, как принято считать традиционно.)

Если значение предложения включает в качестве своей части условия истинности этого предложения (или идентично этим

условиям), то любая семантическая теория языка, которая претендует на роль теории значения этого языка, должна задавать условия истинности для каждого его предложения. Из этого не следует, однако, что *любая* семантическая теория, которая полностью определяет условия истинности для предложений языка, является адекватной. Для любой ССТ верно, что из теорем типа (А) можно вывести следствия типа (С), однако знания о (С) сами по себе не убеждают в том, что имеет место факт „Барбара смущена“, если оказывается, что *Barbara sekoilee* истинно. Это объясняется тем, что (С) не в состоянии должным образом задать условия истинности предложений.

Как мы показали, ССТ не могут описывать всех аспектов нашего понятия „значение“, хотя и описывают некоторые из них. Ведь какое бы содержание мы ни вкладывали в понятие „значение выражения“, это понятие не сводимо к простому переводу этого выражения на частично формализованный язык, равно как и к констатации тождества значения или тождества условий истинности у двух выражений. Сейчас мы обратимся к ТМС, чтобы выяснить, каким образом это направление компенсирует недостатки ССТ и как удается ТМС давать эксплицитные объяснения тех явлений, которые в ССТ считаются исходными или попросту не рассматриваются.

2.

Теория моделей традиционно использовалась как математический инструмент для исследования некоторых свойств формальных систем, таких, в частности, как непротиворечивость, полнота и т. д. Сейчас среди лингвистов и философов все шире распространяется точка зрения, согласно которой с помощью теории моделей можно построить теорию значения естественного языка. Эта точка зрения завоевала право на существование в последние десятилетия в значительной мере благодаря работам Крипке [19, 20], Фраассена [38], Хинтикки [10], Монтегю [29, 30, 31], Льюиса [24] и других исследователей. Названные авторы развили ТМС для многих систем многозначных, многосортных, свободных временных, демонстративных, контрфактических и модальных логик. Эти результаты убедили многих исследователей в том, что ТМС может оказаться достаточно мощным средством для разработки на ее основе семантической теории представительных фрагментов естественного языка. Существует много разных подходов к решению этой задачи, каждый из которых стремится найти способы характеристики (или определения) относительного понятия истины (в некотором мире, в некоторый момент времени и т. п.). Я хочу остановиться на рассмотрении грамматики Монтегю (ГМ),

и в особенности на той части его теории, которая описана в работе [31]. То, что я собираюсь сказать о ГМ, легко распространить на любой подход в духе ТМС. Самого Монтегю теория понимания не интересовала. Поэтому мои замечания направлены не в адрес Монтегю, а в адрес тех исследователей семантики, которые пытаются применять формальную семантику к теории понимания, а также в адрес тех, кто усматривает у ТМС действительные преимущества по сравнению с ССТ. Я сосредоточиваю внимание именно на ГМ по двум причинам: во-первых, она хорошо известна, во-вторых, она сама или те или иные ее варианты [33] широко используются специалистами, исследующими семантическую компетенцию.

В работе [31] Монтегю предлагает общую теорию синтаксиса и ТМС. Он рассматривает фрагмент английского языка, содержащий простые кванторы и некоторые интенциональные глаголы. В его теории выделяются три этапа анализа. На первом этапе английские предложения подвергаются синтаксическому анализу с помощью категориальной грамматики. Это синтаксическое представление на втором этапе преобразуется в выражения на языке временной интенциональной логики с различными нелогическими константами. И наконец, на третьем этапе эти выражения на языке интенциональной логики получают теоретико-модельную интерпретацию. Интерпретирование состоит в сопоставлении языковых выражений с неязыковыми, которое осуществляется двумя методами — экстенциональным и интенциональным.

Экстенционал выражения некоторого языка (L) определяется при интерпретации A этого выражения в мире ω и в момент времени t (то есть при модели $\langle A \langle \omega, t \rangle \rangle$ в L). Вкратце, экстенционал — это объект выражения, обозначающий A в ω и t . Интенционал выражения — это его значение, смысл или концепт, коррелирующий с этим выражением. Вместо того чтобы трактовать интенционал как исходное понятие, то есть как идеальную абстрактную сущность или ментальное представление, Монтегю определяет интенционал выражения как функцию: это функция, которая каждому возможному миру ω и моменту времени t (при A) сопоставляет те объекты при A , которые образуют экстенционал выражения при A в ω и t . Дальнейшая детализация для нас несущественна. Достаточно сказать, что результатом разного рода определений, переводов, правил и других технических средств в ГМ являются теоремы типа следующих:

- (E) Предложение *Barbara sekoilee* истинно при интерпретации A в мире ω и в момент времени t тогда и только тогда, когда экстенционал, соответствующий интенционалу слова *Barbara* при A в ω и t , является членом экстенционала,

соответствующего интенционалу слова *sekoilee* при *A* в ω и *t*.

- (I) Интенционал предложения *Barbara sekoilee* при *A* — это сложная функция, отображающая возможные миры и возможные моменты времени на истинностные значения — истина и ложь, где сложная функция есть результат композиции интенционала слова *Barbara* и интенционала слова *sekoilee*. Интенционал слова *Barbara* — это функция, сопоставляющая возможные миры и моменты времени (при *A*) с индивидами в *A*. Сходным образом, интенционал *sekoilee* при *A* — это функция, сопоставляющая возможные миры и моменты времени (при *A*) с функцией, сопоставляющей индивиды в *A* с истинностными значениями (иначе говоря, возможные миры и моменты времени с классами индивидов). (На самом деле, Монтегю вводит интенционалы для имен собственных иначе и считает интенционалы предикатов аргументами интенционалов имен собственных при композиции двух функций. Эти различия, однако, не затрагивают сути наших рассуждений. Я ввел соответствующие изменения из соображений наглядности.)

Многие теоретики ТМС считают, что ГМ обладает существенными преимуществами по сравнению с ССТ (см., например: [3, 24, 29, 32]). Если ССТ сопоставляет выражения одного языка выражениям другого языка, то ГМ не останавливается на подобном сопоставлении, но переходит далее к сопоставлению языковых выражений и неязыковых сущностей (третий этап работы ГМ). Можно задаться вопросом о том, почему сопоставление последнего типа обеспечивает превосходство ГМ над ССТ. Какими же преимуществами обладает теория, в которой имеются следствия типа (E) или (I), отсутствующие в ССТ?

В ГМ воплощено достаточно специфическое представление о природе семантической интерпретации и о способе систематической корреляции между синтаксисом и семантикой. Эта корреляция основывается на известном принципе композиционности, суть которого восходит к работам Фреге; в самом общем виде принцип композиционности сводится к тому, что значение целого является функцией от значения его частей. В теории Монтегю этот принцип реализован в форме рекурсивного определения множеств правильных выражений для каждой синтаксической категории языка, рекурсивного построения словосочетаний и простых предложений из единиц более низких уровней и сопоставлении каждого синтаксического правила правилу семантической интерпретации, которое задает семантическую интерпретацию для синтаксической конструкции определенного вида. Большинство специа-

листов в области семантики считают, что адекватная семантическая теория должна учитывать подобную композиционность, в противном же случае теория окажется беспомощной перед лицом того очевидного и существенного факта, что мы можем понимать бесконечное множество предложений⁷.

Оценка семантической теории для некоторого языка не сводится к тому, располагает ли эта теория принципом композиционности. Эта оценка включает также в определенной мере и вопрос о том, насколько точно логика теории отражает „логическую географию“ языка, то есть такие его логические свойства и отношения, как логические следствия, истинность, эквивалентность и т. п. Понимание языка состоит отчасти в знании того, каковы логические отношения (типа логических следствий) между предложениями на естественном языке. Тот, кто не знает, что из истинности английского предложения в форме $P \text{ and } Q$ следует истинность Q , не может считаться человеком, понимающим английский язык или по меньшей мере понимающим такое важное английское слово, как *and*. Существенное достоинство ТМС состоит в том, что в ее рамках можно определить подобные важные логические понятия...

Таким образом, двумя основными целями ГМ является обеспечение композиционности и логических следствий. Однако — и это замечание весьма существенно — именно те же цели являются основными и для ССТ. Катц ищет пути введения выдвинутого Фреге принципа композиционности в свою теорию. Его словарь приписывает каждому базисному выражению языка его значение („лексическое толкование“). Проекционные правила теории Катца можно рассматривать как семантические операции, причем каждому НС-правилу соответствует свое проекционное правило. Эти проекционные правила рекурсивно производят комбинирование толкований пар узлов, имеющих один управляющий узел на следующем уровне НС-структуры [14, 18]. Важное понятие следования (*entailment*), а также группу производных от него понятий Катц определяет не с помощью классов моделей (и не пытаясь использовать вывод из той или иной дедуктивной системы), а, скорее, с помощью операции введения (*containment*) одного толкования (или его части) в состав другого толкования [14, 15, 17, 41].

Ни один из аргументов в критической литературе не убеждает в том, что теоретические принципы Катца по своей сути не совместимы с двумя важнейшими семантическими принципами, рассматриваемыми нами. Неубедительным (и это очень важно)

⁷ Исключением из этого принципа является семантика теории игр; см. [11, 34, 40].

оказывается и аргумент сторонников ТМС о том, что ССТ как теория, осуществляющая перевод, не в состоянии описывать композиционность или логическое следование. Дело в том, что подобно тому, как одно предложение можно считать переводом другого предложения без понимания этих предложений, так одно предложение можно считать и следствием другого предложения без знания их значения (хотя со знанием, быть может, того, что существующее следствие составляет часть значения исходного предложения). Сходным образом, можно располагать сведениями о том, как смысловая единица более низкого уровня комбинируется с другими при образовании смысловой единицы более высокого уровня, не зная соответствующих значений. Если бы требования к семантической теории сводились лишь к описанию этих двух семантических принципов, то у нас не было бы никаких оснований для того, чтобы считать ТМС более предпочтительной, чем ССТ. Таким образом, если исходить из того, что ТМС превосходит ССТ, то следует выявить какой-то иной аспект семантики естественного языка, который адекватно описывает ТМС, но не ССТ.

Критики ССТ подчеркивают, что ССТ непригодна для описания связей между высказываниями на естественном языке и внеязыковой действительностью. Так, Барбара Холл Парти пишет: «Семантика (в духе Монтегю и Томасона) всегда была исследованием отношений между высказываниями на естественном языке и внеязыковой действительностью, которая отражается в этих высказываниях. Никакое описание межъязыковых связей не может привести к заданию экстралингвистического понятия интенционала. Для этого нужен некоторый способ соотнесения языка и внеязыковой действительности» [42].

Цитаты подобного рода можно приводить до бесконечности. По мнению их авторов, ГМ обладает преимуществом перед ССТ, поскольку она *требует* введения связи между высказываниями на естественном языке и внеязыковой действительностью. В отличие от ССТ, ТМС стремится вырваться из „пут языка“. Выше говорилось о том, насколько важна семантическая теория, которая может предложить эксплицитный и общий способ такого описания отношений между предложением и ситуацией, при котором истинность предложения определяет сведения о ситуации. На основании понимания предложения Barbara sekoilee я могу получить некоторые сведения о внешнем мире, а именно сведения о том, что Барбара смущена. Теория, занимающаяся лишь собственным языком, а не его использованием, не может отразить этого свойства языка, поскольку только использование языка позволяет нам переходить к внеязыковой действительности. Однако мы все еще не выяснили, обладает ли ГМ аппаратом, обеспечивающим переход от того, что высказывается, к тому, что утверждается. У нас

нет оснований априорно полагать, что любая связь языкового/неязыкового в рамках некоторой теории обеспечивает моделирование именно этого перехода, который используется в процессе понимания естественного языка. Сейчас я попытаюсь показать, что ГМ, подобно ССТ, недостаточна для того, чтобы перекинуть мост между высказыванием и утверждением.

Предположим, что некто Френк произносит слова: „Barbara sekoilee“, и все, что я знаю о языке Френка, сводится к (E') и (I').

(E') Финское предложение *Barbara sekoilee* истинно тогда и только тогда, когда *Barbara* подпадает под число объектов, для которых *sekoilee* истинно.

(I') Значение финского предложения *Barbara sekoilee* — это пропозиция, являющаяся результатом использования значения слова *Barbara* в качестве аргумента при значении слова *sekoilee*.

Было бы удивительным, если бы я оказался в состоянии определить, что именно утверждает Френк в своем высказывании *Barbara sekoilee* в случае, если бы мои знания о языке Френка ограничивались (E') и (I'). Зная (E') или (I'), я в лучшем случае мог бы предположить, что Френк утверждает следующее: нечто, называемое „*Barbara*“, имеет истинным относительно себя выражение „*sekoilee*“. Для меня осталось бы тайной, что же это за объект и что относительно него истинно.

Для всех случаев, кроме тех, когда темой высказывания является сам язык, семантическая теория, ставящая своей задачей описание значения, должна полностью исключить любого рода апелляции к языку; иными словами, она должна абстрагироваться от того, каким образом носитель языка переходит от восприятия последовательности звуков к их истолкованию. Тот, кто понял ход наших рассуждений, не усомнится в том, что ГМ, какими бы достоинствами она ни обладала, в рассматриваемом нами аспекте столь же неадекватна, как и ССТ. Оба подхода с самого начала двигались в неправильном направлении. Нигде не сказано прямо, что такое условие истинности и что такое значение. ГМ не задает содержания интерпретаций имен и предикатов, тем самым оставляя открытым этот основной вопрос. Понятия истинности и денотации задаются относительно некоторой интерпретации, которая включает набор допустимых значений для таких переменных, как говорящий, мир и время. (E) и (I) сообщают о том, как получить условия истинности или пропозицию для предложения *Barbara sekoilee* только при интерпретации *A* в мире *w* и в момент времени *t*. Для того чтобы получить действительные условия истинности, а также пропозицию, выраженную этим предложением, мы

должны задать значения параметров: интерпретация, мир, момент времени. Здесь уместно сравнить ГМ с семантической теорией Дэвидсона.

Теория Дэвидсона отличается от ГМ по меньшей мере в одном существенном пункте. В работе [4] Дэвидсон утверждает, что структура, которая требуется для описания понимания языка, либо идентична, либо очень близка к структуре того вида, которая предложена для определения истинности Тарским [36]. Эта теория с помощью набора аксиом сопоставляет каждому предложению естественного языка утверждение о том, при каких условиях оно истинно — в форме „ S истинно тогда и только тогда, когда p “. (S соотносится (refers to) с предложением, условия истинности которого формулируются, а p — само это предложение. Если язык, на котором формулируются условия истинности, не включает тот язык, к которому принадлежит S , то p — это перевод S .) Данное необходимое и достаточное условие адекватности исключает теории, принадлежащие к классу ТМС, так как последние развиваются в направлении, противоположном тому, которое сформулировано условием Дэвидсона. Поскольку в ТМС роль одноместного предиката истинности занимает относительное понятие, то ТМС не может сделать последнего шага в рекурсивном задании истинности (или удовлетворительности), который состоит в переходе от относительного понятия истинности к абсолютному, задаваемому с помощью необходимых и достаточных условий истинности [5].

Итак, мы не можем переходить от относительной теории истинности к абсолютной теории истинности. Предположим, например, что язык L состоит из одного предложения: Barbara sekoilee. Язык L будет описываться в ГМ теоремой типа (1):

- (1) $(A) (p)$ (Barbara sekoilee истинно при A в p тогда и только тогда, когда экстенционал слова Barbara при A в p „удовлетворяет“ sekoilee при A в p),

где A задает множество интерпретаций, а p — множество возможных миров. (Мы опустили переменную „время“.) Из относительной теории истинности для L , заданной в (1), мы не можем получить абсолютную теорию истинности типа (2):

- (2) Barbara sekoilee истинно тогда и только тогда, когда Барбара смущена.

Самое слабое расширение теоремы (1) для получения из нее теоремы (2) имеет следующий вид:

- (3) $(EA) (Ep) (x)$ ((экстенционал Barbara при A в p = Барбара) & $(x$ удовлетворяет sekoilee при A в p тогда и только тогда, когда x смущена) & (Barbara sekoilee истинно

при A в p тогда и только тогда, когда предложение Barbara sekoilee истинно)).

Два первых члена конъюнкции в (3) задают суть того, что помимо (1) мы должны знать для понимания языка L , то есть они задают следующие базисные предложения абсолютной теории истинности:

(4) Экстенционал $\text{Barbara} = \text{Барбара}$.

(5) (x) (x удовлетворяет sekoilee тогда и только тогда, когда x смущена).

Последний, третий член конъюнкции в (3) сообщает, что интерпретация A является действительной интерпретацией, а некоторый мир p в A является действительным миром. Эти знания об A и позволяют нам заключить, что истина при A в p есть абсолютная истина.

Каковы же следствия того факта, что теорема (1) сама по себе недостаточна для получения (2)? Хартри Филд задается этим вопросом в другом контексте [44]: его интересует, позволяет ли тот факт, что (4) не содержит семантических термов, которые содержит, например, (6), считать теории, базисные предложения которых сформулированы в форме, подобной (4), более предпочтительными, чем теории, базисные предложения которых близки к (6):

(6) Слово « Barbara » обозначает то, что оно обозначает.

После кропотливых бесплодных поисков предпочтительности утверждений типа (4) по отношению к утверждениям типа (6) в абсолютной теории истинности он приходит к заключению, что, по-видимому, теории первого рода не имеют никаких общетеоретических или практических преимуществ перед теориями второго рода. Парти приветствует вывод Филда. Она пишет [43, с. 321—322]: «Как утверждает Хартри Филд, в основе определения истинности, по Тарскому, лежит список условий успешности денотации для примитивных термов в форме (7), а при рассмотрении примитивов мы можем с равным успехом начинать с формы (8)».

(7) „snow“ обозначает снег.

(8) „snow“ обозначает то, что обозначает (имеет денотатом).

Парти согласна с Филдом [44] (и Харманом [9]) в том отношении, что «При формулировании определений истинности и сходства для семантики возможных миров в духе Монтегю основная работа состоит в выявлении того, каким образом интерпретация бесконечного набора предложений может быть задана с помощью

конечного набора правил, оперирующих интерпретациями примитивов». [44]. Основная идея автора сводится к тому, что семантика, занимающаяся проблемой условий истинности, освещает смысл не путем задания условий истинности, а путем выявления роли логических слов типа *и*, *или* и т. п. при рекурсивном объединении простых предложений. По мнению Парти, теории истинности в духе Тарского и теории в духе ТМС одинаково непригодны для выявления значения лексических единиц.

Другой автор, Ричмонд Томасон, исходя из позиции Куайна, двигается дальше в том же направлении и утверждает, что в общем плане *не следует* ставить перед семантической теорией задачи выявления значения лексических единиц. По его мнению [37, с. 48—49], «Задачи семантической теории нельзя смешивать с задачами лексикографии... Центральная задача (семантики) состоит в объяснении того, каким образом различные типы значения соотносятся с различными синтаксическими категориями; другая задача состоит в объяснении того, каким образом значение целого соотносится со значениями составляющих... Однако мы не должны относить к сфере семантической теории вопросы о характере семантических различий между двумя выражениями, принадлежащими одной и той же синтаксической категории. Так, *walk* 'ходить, прогуливаться' и *run* 'бегать' или *unicorn* 'единорог' и *zebra* 'зебра', несомненно, различаются по значению, и словари английского языка должны описывать эти различия. Однако составление словаря требует глубоких знаний о мире».

Итак, ставить перед специалистом по семантике задачу определения значения слов — это значит требовать чрезмерно многого, поскольку названная задача предполагает построение энциклопедии.

Каждый из упомянутых авторов не прав, потому что ни одному из них не удалось ухватить суть различия между теорией абсолютной истинности и ТМС. Так, из утверждений Парти и Филда следует, что теория абсолютной истинности, базисные предложения которой имеют форму (4), не обладает преимуществами перед теорией (такой, как ТМС), базисные предложения которой имеют форму (6). Заметим только, что если бы эти авторы были правы, то тогда теория Дэвидсона не давала бы большей информации о лексической семантике, чем теория Монтегу. Однако последнее, как было показано, ложно. Добавление к ГМ предложений типа (6) не моделирует тех рассуждений, о которых шла речь, то есть рассуждений, которые, как мы показали, характерны для понимания языка, в отличие от предложений типа (4). (6) не исключает обращения к языку в том виде, в каком это делает (4).

Обсудим теперь утверждение Томасона о том, что лексическая семантика не является частью собственно семантики, поскольку задача различения значений двух любых термов часто требует большего объема информации, чем тот, которого разумно ожидать от семантической теории. Мы не можем опровергнуть это мнение ссылаясь на то, что если семантическая теория не способна специфицировать значения лексических единиц языка L , то она не способна задавать и тех знаний, которые требуются для понимания L . Ведь, согласно позиции Томасона, всех этих знаний и не следует требовать от семантической теории. Собственно семантика, по Томасону, должна специфицировать значения связок, вовлекаемых в вывод. Однако здесь Томасон ошибается. Почему должны мы соглашаться с тем, что спецификация информации, необходимой для понимания лексических единиц языка, требует именно тех знаний, которые выбрал Томасон? Иначе говоря, каковы преимущества отказа от обращения к языку в базисных предложениях ГМ? Повторяю, нам нужна теория, которая задает условия истинности (и/или значения) предложений языка таким образом, чтобы тот, кто знает эти условия истинности (или значения), имел основания поверить в утверждаемое. Наш вопрос состоит в том, что же нам нужно знать (используя пример Томасона) о различии между словами *run* и *walk* для того, чтобы моделировать соответствующую компетенцию. Пусть имеются предложения типа (9) и (10):

(9) (x) (x удовлетворяет предикату „*run*“ тогда и только тогда, когда x бежит).

(10) (x) (x удовлетворяет предикату „*walk*“ тогда и только тогда, когда x идет).

Тот, кто располагает этими знаниями, будет иметь основания поверить в то, что Барбара бежит, когда заслуживающий доверия говорящий произносит слова: „*Barbara runs*“, или в то, что Барбара идет, если он произносит слова: „*Barbara walks*“. Представляется, что такие знания никак нельзя считать глубокими неязыковыми знаниями. Если же встает вопрос о месте этих знаний в семантике, то их, по-видимому, следует отнести к парадигматике лингвистических семантических знаний.

Что же следует из наших рассуждений? Один из возможных ответов состоит в том, что наши результаты совсем не удивительны, поскольку ТМС ценна прежде всего как теория логического вывода, а не как теория значения. Эти два типа теорий имеют разные задачи, чем обусловлено и различие в подходах. Теория логического вывода исследует общезначимость рассуждений. Поэтому она должна сосредоточивать внимание на вопросе множественности возможных интерпретаций схемы предложения; а для

этого требуется понятие истинности при некоторой интерпретации. Теория значения, как мы ее понимаем, занимается только одной интерпретацией языка, а именно той, которая является правильной и соответствует намерениям говорящего, и потому фундаментальным понятием для нее является понятие значения или истинности. В то же время, несмотря на указанное различие целей, исторически эти две теории тесно связаны между собой. В ходе развития обеих дисциплин теория значения заимствовала многие понятия логики, убедительным примером чего может служить ТМС. В связи с указанным различием задач двух дисциплин встает вопрос о том, в какой мере аппарат, предложенный логиками, может быть использован для решения проблем семантики естественного языка. Наш вывод сводится к тому, что ТМС выполняет эту функцию не лучше, чем ССТ (и при этом столь же неадекватно).

3.

Многие специалисты по ГМ и другие сторонники ТМС соглашались с последним выводом, однако будут утверждать, что, задавая набор всех интерпретаций языка, мы в то же время задаем и одну особую, действительную интерпретацию, а задание этой действительной интерпретации заставляет задавать действительно существующий мир, что в свою очередь позволяет задавать значение абсолютной истинности. В конце концов, и сам Тарский описывал ТМС как общую теорию, частным случаем которой является абсолютная теория [36, с. 156]. Монтегю не предпринял попыток выделения единой интерпретации английского языка, отмечая при этом, что «не все интерпретации интенциональной логики могут быть приемлемыми кандидатами для интерпретации английского языка» [31, с. 263]. В работе [29] он пишет: «Говоря более точно, предложение считалось бы истинным при анализе или в возможном мире i , если бы оно было истинным (в том смысле, в котором истина определена выше) в действительной модели i . От этой соотношенности с i можно было бы избавиться, если бы мы умели выделять действительный мир из всех возможных миров».

Проблема, которая нас сейчас интересует, состоит в следующем: какой должна быть форма семантической теории, какие процедуры для представления значения и условий истинности должна она использовать для того, чтобы удовлетворительно описывать языковую компетенцию человека. Монтегю фактически признает, что его теория недостаточна для решения этой проблемы (хотя часть семантической компетенции, а именно способность вывода логических следствий, разрешение неоднозначности, комбинирова-

ние единиц и т. п., может быть успешно охарактеризована в рамках ГМ). Для того чтобы решить рассматриваемую проблему в полном объеме, мы должны продвинуться в своем умении определять значения предложений и условия истинности не относительно, а абсолютно [см. также 32]. В приведенной выше цитате Монтегю утверждает, что, если исходить из его грамматики, то общая задача включает выделение одной интерпретации для определения значений различных предложений языка, а также выделение в этой интерпретации одного мира для определения условий истинности этих предложений. Если выделена одна интерпретация и в ней выделен действительный мир, то соответствующие единицы можно затем успешно использовать для описания с помощью ГМ того фрагмента английского языка, на который ГМ рассчитана. Однако это возможно лишь на основе знаний о том, что же такое действительная интерпретация языка и каков действительный мир. Сама же ГМ такие знания не задает.

В нашем рассмотрении вопроса о том, что именно следует добавить к ТМС (то есть (1)) языка L для того, чтобы в результате получить абсолютную теорию истинности (то есть (2)) для L , мы показали, что минимальное расширение ТМС состоит в добавлении базисных предложений теории абсолютной истинности для L (таких, как: „ N “ обозначает N ; „ P “ истинно при условии P и т. д.), а также утверждения, что истина относительно интерпретации A (для L) в мире p , заданном в A , является абсолютной истиной. Иначе говоря, семантическая теория для L должна утверждать, что A и p — это соответственно действительная интерпретация и действительный мир. Однако Монтегю, как представляется, рекомендует обходить явное задание базисных предложений (в результате чего возникнет теория абсолютной истинности для L), а вместо этого прямо выделять один действительный мир и одну интерпретацию. Ричмонд Томасон, сторонник семантики Монтегю, как представляется, придерживается сходной точки зрения. Он считает, что теория Монтегю абстрактна в том смысле, что «она допускает не только множественность задания интерпретаций, но и множественность структур интерпретаций. То есть интерпретации могут различаться как по материалу, используемому для построения пространства возможных денотаций, так и по конкретным семантическим значениям, которые они сопоставляют базисным выражениям». [37, с. 50]. Томасон полагает, что «само по себе это не страшно; можно считать, что построение удобного набора сущностей и возможных миров для одного из описываемых ГМ фрагментов английского языка является лишь эмпирической проблемой». [37, с. 50].

Как Монтегю, так и Томасон пристрастно оценивают те результаты, которые можно получить при использовании ТМС. В за-

ключение я покажу, что путь, намеченный Монтегю и Томасоном, бесперспективен.

Во-первых, не ясно, каким образом задавать действительную интерпретацию. Вернемся к (E) и (I): выделение одной действительной интерпретации включает, например, определение функции слова Вагбага при денотации. Но как определить эту функцию? Может быть, это такая функция, которая, принимая в качестве аргумента возможный мир ω , имеет значением денотат слова Вагбага в мире ω ? Слабое место такого предположения состоит в том, что, пока у нас нет еще одного правила, которое позволяет оперировать с понятием «то, что является денотатом слова Вагбага в мире ω », мы не можем безболезненно исключать обращение к языку и, следовательно, не можем выводить теорем, необходимых для той интеллектуальной работы, которая нас интересует. Не попытаться ли задать действительную интерпретацию с помощью утверждения о том, что в этой интерпретации Вагбага имеет денотатом функцию, которая при аргументе «возможный мир ω » принимает значение того объекта, который является Барбарой в мире ω ? Но что означает весь этот набор слов? И неужели все это действительно нужно понять для того, чтобы понять предложение Вагбага *sekoilee*?

Во-вторых, Монтегю и Томасон, по-видимому, утверждают, что, если мы хотим двигаться от относительных условий истинности к абсолютным, мы должны выделить один действительный мир из всех возможных миров. Очевидно, что и эта задача не из простых. Каков объем тех знаний о нашем мире, который позволит нам выделять его? Можно предположить, что этот объем очень велик. Пусть существует один класс миров, где количество деревьев в Канаде четно, и второй, где количество деревьев в Канаде нечетно. Мы настолько далеки от умения выделять свой мир из всех других миров, что не в состоянии даже отнести его к одному из двух классов. Но неужели и вправду мы должны научиться отличать этот мир от всех иных для того, чтобы понимать естественный язык? С точки зрения ГМ и ТМС вообще для понимания естественного языка нужно иметь столько знаний, сколько их нужно для выделения действительного мира. Разве не очевидно, что такими знаниями не располагает ни один говорящий? Как представляется, при анализе предложения в русле семантики Монтегю не проводится разграничений между пониманием предложения и его истинностным значением.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Bach E. Nouns and noun phrases. — In: „Universals in Linguistic Theory“ (by ed. Bach E. and R. T. Harms). New York: Holt Rinehart and Winston, 1968.

- [2] Cresswell M. J. *Logic and Languages*. London: Methuen, 1973.
- [3] Cresswell M. J. *Semantic competence*. — In: „*Meaning and Translation*“ (by ed. Ruetter, M. G. and F. Guenther). London: Duckworth, 1978.
- [4] Davidson D. *Truth and meaning*. — „*Synthese*“, 1967, 17, p. 304—323.
- [5] Davidson D. *In defense of convention T*. — In: „*Truth Syntax and Modality*“ (by ed. LeBlanc H.). Amsterdam: North-Holland, 1973.
- [6] Dummett M. *What is a theory of meaning (pt. 1)?* — In: „*Mind and Language*“ (by ed. Guttenplan S.). Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [7] Fodor J. A. *Language of Thought*. New York: Crowell, 1975.
- [8] Fodor J. A. *Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammar*. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1977.
- [9] Harman G. *Meaning and semantics*. — In: „*Semantics and Philosophy*“ (by ed. Munitz M. K. and P. Unger). New York: New York Univ. Press, 1974.
- [10] Hintikka J. *Semantics for propositional attitudes*. — In: „*Philosophical Logic*“ (by ed. Davis J. et al.). Dordrecht: D. Reidel, 1969.
- [11] Hintikka J., Carlson L. *Conditionals, generic quantifiers and other applications of subgames*. — In: „*Meaning and Use*“ (by ed. Margalit Avishai). Dordrecht: D. Reidel, 1979.
- [12] Jackendoff R. *Semantic Interpretation in Generative Grammar*. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1972.
- [13] Katz J. *The Philosophy of Language*. New York: Harper, 1966.
- [14] Katz J. *Semantic Theory*. New York: Harper, 1972.
- [15] Katz J. *Logic and Language: an examination of recent criticisms of intentionalism*. — In: „*Language, Mind and Knowledge*“ (by ed. Gunderson K.). Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1975.
- [16] Katz J., Fodor J. A. *The structure of a semantic theory*. — „*Language*“, 1963, vol. 39, p. 170—210.
- [17] Katz J., Nagel R. *Meaning postulates and semantic theory*. — „*Foundations of Language*“, 1974, vol. 11, p. 311—340.
- [18] Katz J., Postal P. *An integrated theory of linguistic description*. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1964.
- [19] Kripke S. *Semantical analysis of modal logic. I. Normal propositional calculi*. — „*Zeitschrift für mathematische Logic*“, 1963, 9, S. 67—96.
- [20] Kripke S. *Semantical considerations on modal logic*. — „*Acta Philosophica Fennica*“, 1963, 16, p. 83—94.
- [21] Lakoff G. *Linguistics and natural logic*. — In: „*Semantics for Natural Languages*“ (by ed. Harman G. and D. Davidson). Dordrecht: D. Reidel, 1972.
- [22] LePore E. *In defense of Davidson*. — „*Linguistics and Philosophy*“, 1982, vol. 5, p. 277—294.
- [23] LePore E., Loewer B. *Translation semantics*. — „*Synthese*“, 1981, 48, p. 121—133.
- [24] Lewis D. *General semantics*. — In: „*Semantics for Natural Languages*“ (by ed. Harman G. and D. Davidson). Dordrecht: D. Reidel, 1972.
- [25] Lewis D. *Counterfactuals*. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1973.
- [26] Lyons J. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968.
- [27] McCawley J. *The role of semantics in grammar*. — In: „*Universals in Linguistic Theory*“ (by ed. Bach E. and R. T. Harms). New York: Holt Rinehart and Winston, 1968.
- [28] McCawley J. *Where do noun phrases come from?* — In: „*Semantics*“ (by ed. Steinberg J. and Jakobovits L.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1971.
- [29] Montague R. *English as a formal language*. — In: [37].
- [30] Montague R. *Universal grammar*. — In: [37].

- [31] Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English. — In: [37].
- [32] Partee B. Montague grammar and transformational grammar. — „Linguistic Inquiry“, 1975, 6, p. 203—300.
- [33] Potts T. Model theory and linguistics. — In: „Formal Semantics for Natural Language“ (by ed. Keenan E.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975.
- [34] Saarinen E. Game-theoretical semantics. — „Monist“, 1977, 60, p. 406—418.
- [35] Stalnaker R. Pragmatics. — In: „Semantics of Natural Language“ (by ed. Harman G. and D. Davidson). Dordrecht: D. Reidel, 1972.
- [36] Tarski A. The concept of truth in the languages of the deductive sciences. — In: „Logic, Semantics, and Mathematics“. Oxford: Clarendon Press, 1956.
- [37] „Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague“ (by ed. Thomason R.). New Haven (Conn.): Yale Univ. Press, 1974.
- [38] van Fraassen B. C. Presuppositions, supervaluations and free logic. — In: „The Logical Way of Doing Things“ (by ed. Lambert K.). New Haven (Conn.): Yale Univ. Press, 1969.
- [39] Vermazen B. Review. — „Synthese“, 1967, 17, p. 350—365.
- [40] Hintikka J. Theories of Meaning and Learnable Languages (forthcoming).
- [41] Katz J. The advantage of the semantic theory over predicate calculus in the representation of logical form in natural language. — „Monist“, 1977, 60, p. 380—405.
- [42] Partee B. Montague grammar, mental representation, and reality. — In: „Midwest Studies in Philosophy“, 1980.
- [43] Partee B. Possible world semantics and linguistic theory. — „Monist“, 1977, 60, p. 303—326.
- [44] Field H. Tarski's theory of truth. — „Journal of Philosophy“, 1973, 69, p. 347—375.

ЗАГАДКА КОНТЕКСТОВ МНЕНИЯ*

В настоящей статье речь пойдет об одной загадке, связанной с употреблением в языке собственных имен и контекстов мнения (belief). Хотя кое-какие выводы можно будет извлечь из анализа аргументов, которые время от времени появляются при обсуждении вопросов, относящихся к данной области, основной мой тезис выглядит довольно просто. Загадка, о которой пойдет речь, является действительно загадкой, и как следствие этого любая попытка объяснить, что представляет собой мнение, должна в конце концов неизбежно с нею столкнуться. Всякие же размышления и гипотезы относительно ее возможного разрешения можно пока отложить.

В первой части статьи рассматриваются теоретические положения, которые были предметом обсуждения в происходивших ранее дискуссиях и в моей собственной статье и которые побудили меня подробно остановиться на анализе этой загадки. Указанные положения никоим образом не являются необходимыми для того, чтобы ее сформулировать. Как философская загадка она имеет самостоятельную ценность, и я даже думаю, что ее фундаментальное значение для решения проблемы мнения важнее значения тех предпосылок, которые ее породили. В действительности, как я показываю в третьей части статьи, проблема эта затрагивает не только те предложения, в которых контексты мнения выражены именами, но и значительно более широкий класс предложений мнений. Таким образом, я полагаю, что рассматриваемые теоретические положения объясняют происхождение загадки, и это обстоятельство позволяет мне в заключительной части работы сделать один важный вывод.

Во второй части статьи излагаются некоторые общие принципы, которые лежат в основе нашей повседневной практики передачи сообщений о мнениях людей. Эти принципы формулируют-

*Saul A. Kripke. A puzzle about belief. — In: A. Margalit (ed.). *Meaning and Use*. Dordrecht: D. Reidel, 1979, p. 239—283. Работа печатается с некоторыми сокращениями. В ряде случаев для удобства чтения кавычки заменены курсивом. — Прим. ред.

© 1979 by Saul A. Kripke.

ся гораздо более подробно, чем это необходимо для понимания загадки; есть несколько разных формулировок, каждая из которых нам вполне подходит. Ни эта часть, ни предыдущая не являются обязательными для интуитивного понимания центральной проблемы, рассматриваемой в третьей части статьи, хотя они и могут помочь в осмыслении ее отдельных тонких мест. Читатель, который хочет быстро подойти к изучению основной проблемы, может лишь бегло ознакомиться с первыми двумя частями при первом чтении настоящей работы.

Отдельным читателям проблема, о которой здесь идет речь, может показаться в каком-то смысле не содержащей загадки. Действительно, в рассматриваемой ситуации все релевантные факты могут быть легко описаны на *одном* каком-то языке, однако на *другом* языке ту же ситуацию уже, по-видимому, нельзя описать непротиворечивым образом. Это станет ясно чуть позже.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: ПОДСТАНОВЧНОСТЬ (SUBSTITUTIVITY)

В других своих работах¹ я предложил концепцию собственных имен, стоящую во многих отношениях ближе к старой точке зрения на наименование Дж. Милля, чем к новой традиции, берущей начало у Г. Фреге, которая до недавнего времени была доминирующей. Согласно Миллю, собственное имя, так сказать, *просто* имя. Оно *просто* отсылает к своему носителю и не имеет никаких других функций в языке. В частности, в отличие от определенной дескрипции, имя не представляет своего носителя как обладающего какими-либо особыми идентифицирующими свойствами.

В противоположность Миллю, Фреге утверждает, что с каждым именем собственным носитель языка связывает некоторое свойство (или конъюнкцию свойств), которое определяет его носителя как уникальный объект, удовлетворяющий этому ассоциируемому с ним свойству (или свойствам). Это свойство (свойства) составляет „смысл“ имени. Если ‘...’ — имя собственное, то, по всей вероятности, ассоциированными с этим именем свойствами являются те, которые сообщил бы человек в ответ на вопрос „Кто такой ‘...’?“. Если бы он ответил „...“ — это человек, который _____“, то свойства, заполняющие второй пробел в данной фразе, будут теми, которые определяют референцию имени со стороны говорящего и составляют его „смысл“. Ясно, что если взять имя какого-нибудь известного исторического лица и спро-

¹ См. [1, с. 253—255 и 763—769], [2, с. 135—164]. Знакомство с этими работами не является необходимым для понимания существа основной проблемы, рассматриваемой в настоящей статье, но полезно для уяснения теоретических предпосылок.

силь „Кто такой ‘...’?“, то в ответ можно получить разные и равно корректные ответы. Так, один человек может идентифицировать Аристотеля как философа, который был учителем Александра Македонского, другой — как философа, родившегося в Стагире, который учился у Платона. Для этих двух людей смысл имени ‘Аристотель’ будет разным: в частности, говорящие второго, но не первого типа будут считать предложение „Аристотель, если он существовал, родился в Стагире“ аналитическим². Фреге (как и Рассел)³ пришел к заключению, что, строго говоря, разные носители английского (или немецкого) языка обычно употребляют такое имя, как ‘Аристотель’, в разных смыслах (хотя и с той же самой референцией). Различия в свойствах, ассоциированных с такого рода именами, порождают, строго говоря, разные идиолекты⁴.

² По существу Фреге приводит именно этот пример во второй сноске своей статьи „Смысл и денотат“. Дело в том, что для того, чтобы вопрос *Кто такой ‘...’?* был применим, нужно выявить у информанта свойства, которые тот рассматривает как определяющие имя и устанавливающие референт, а не просто как хорошо известные факты о референте. (Конечно, такое различие свойств может оказаться вымышленным, но оно является центральным у основоположников классической теории собственных имен Фреге и Рассела).

³ Для удобства терминология Рассела уподобляется терминологии Фреге. В действительности же, обращаясь к подлинным или „логически собственным“ именам, Рассел строго следует за Миллем: „логически собственные“ имена *просто* отсылают (refer) к объекту (к непосредственно знакомым объектам). Но, по Расселу, те имена, которые обычно рассматриваются, не являются подлинными, то есть логически собственными именами, а представляют собой скрытые определенные дескрипции. Поскольку Рассел относит, в свою очередь, определенные дескрипции к скрытым символам, он считает, что дескрипции сами по себе смысла не имеют, так как не являются подлинными единичными терминами. Если элиминировать все скрытые обозначения, то окажется, что только оставшиеся единичные (сингулярные) термины являются логически собственными именами, для которых никакого понятия „смысла“ не требуется.

Когда мы говорим о Расселе, что тот приписывает именам „смыслы“, то имеем в виду при этом обычные имена, для удобства пренебрегая его утверждением, что сокращающие их дескрипции в конечном итоге исчезают в ходе анализа.

С другой стороны, именно Расселу принадлежит сделанное явно утверждение о том, что имена собственные — это сокращенные обозначения определенных дескрипций. М. Даммит в своей недавно вышедшей работе [3] отрицает положение о том, что Фреге выдвинул и поддерживал дескриптивную теорию смыслов, хотя, насколько мне известно, Фреге на этот счет не делает никакого эксплицитного утверждения. Приводимые им примеры, как это признает сам Даммит, согласуются с данным положением.

В любом случае философы обычно понимали смыслы Фреге в терминах теории дескрипций; мы поступаем так же. Для наших целей это более важно, чем детальные исторические экскурсы по поводу имевшихся теорий и споров вокруг них. Даммит признает (с. 111), что его более широкая интерпретация теории Фреге влияет лишь на отдельные важные моменты; поэтому мы можем думать, что она не имеет отношения к проблемам, обсуждающимся в настоящей работе.

⁴ См. сноску в работе Г. Фреге „On Sense and Reference“, упомянутую нами выше в примечании 2 и особенно его рассуждения о „докторе Густаве Лаубен“ в статье „Der Gedanke“ [‘Мысль’]. (См. недавно вышедший перевод этой работы: [4].)

Позднейшие теоретики, примкнувшие к традиции Фреге — Раесела, сочли это следствие малопривлекательным. Поэтому они решили модифицировать классическую точку зрения, „собирая в пучок“ смысл имени (например, для них Аристотель — это объект, имеющий следующий длинный список свойств или, по крайней мере, большинство из них), или — для наших целей лучше сказать — „социологизируя“ его (что дает определение смысла имени ‘Аристотель’ как некоторого грубо устанавливаемого множества *широко распространенных в обществе* мнений об Аристотеле).

Один из способов подчеркнуть различие между строгим подходом Милля и точкой зрения Фреге предполагает (если мы позволим себе такой жаргон) использование понятия пропозиционального содержания. Если подход Милля корректен, и языковая функция имени собственного всецело исчерпывается указанием на носителя имени, то тогда собственные имена одного и того же объекта всюду взаимозаменяемы не только с сохранением *salva veritate*, но и *salva significatione*: пропозиция, выраженная в предложении, остается такой же, независимо от имени, которое носит объект в ее составе. Это утверждение, конечно, перестает быть верным, если имена не реально употреблены, а только упомянуты в предложении: предложения ‘*Цицерон*’ *содержит семь букв* и ‘*Туллий*’ *содержит семь букв* имеют различные истинностные значения, не говоря уже об их пропозициональном содержании. (Этот пример, конечно, принадлежит Куайну.) Давайте на данной стадии ограничимся рассмотрением простых предложений, не содержащих связок или каких-то других источников интенциональности. Если Милль целиком прав, то не только предложение *Цицерон был ленивым* имеет то же истинностное значение, что и предложение *Туллий был ленивым*, но эти два предложения выражают также одну и ту же пропозицию, имеют одно содержание. Аналогично, фразы *Цицерон восхищался Туллием*, *Туллий восхищался Цицероном*, *Цицерон восхищался Цицероном* и *Туллий восхищался Туллием* — это просто четыре разных способа выразить одну и ту же мысль⁵.

⁵ Б. Рассел, будучи последовательным миллеанцем в отношении подлинных имен, принимает этот аргумент по отношению к „логически собственным именам“. Представим, например, на мгновение, что ‘Цицерон’ и ‘Туллий’ являются „логически собственными именами“. Тогда Рассел относительно них сказал бы, что если я делаю вывод, что Цицерон восхищался Туллием, то я связываю определенным образом Цицерона, Туллия и отношение восхищения. Поскольку Цицерон — это Туллий, то точно таким же образом связаны Туллий, Цицерон и восхищение, следовательно, я делаю вывод, что Туллий восхищался Цицероном. С другой стороны, если Цицерон, действительно, восхищался Туллием, то, согласно Расселу, всем предложениям *Цицерон восхищался Туллием*, *Цицерон восхищался Цицероном* и т. д. соответствует один-единственный факт. Его конституентом (помимо отношения восхищения) является Цицерон, взятый, так сказать, дважды.

Если принять такое вытекающее из теории Милля следствие, то оно, по всей видимости, повлечет за собой и другие следствия относительно „интенциональных“ контекстов. Выражает предложение необходимую истину или условную, зависит только от содержащейся в нем пропозиции, но не от слов, употребленных в предложении для ее выражения. Поэтому всякое предложение должно сохранить свое „модальное значение“ (необходимость, невозможность, условную истинность или условную ложь), если имя *‘Цицерон’* заменить в одном или нескольких местах на имя *‘Туллий’*, поскольку такое замещение оставляет неизменным содержание предложения. Это, очевидно, означает, что кореферентные имена взаимозаменяемы в модальных контекстах *salva veritate*: предложения *Необходимо (возможно), что Цицерон...* и *Необходимо (возможно), что Туллий...* должны иметь одно истинностное значение при любом возможном заполнении пустых мест простым предложением.

Аналогичной выглядит ситуация и с контекстами, содержащими модальности знания, мнения и эпистемические модальности. Если субъект полагает, что нечто является истинным или ложным, то не играет никакой роли, как его мнение передано в предложении. Поэтому, если подстановка одного собственного имени вместо другого не меняет содержания предложения мнения, то кореферентные собственные имена должны быть взаимозаменяемы *salva veritate* в контекстах мнения. Подобное рассуждение применимо и к эпистемическим контекстам (*Джоунз знает, что...*), контекстам эпистемической необходимости (*Джоунз a priori знает, что...*) и т. п.

Все это резко отличает собственные имена от определенных дескрипций. Хорошо известно, что замена кореферентных дескрипций в простых предложениях (без операторов) при любом разумном определении понятия „содержание“ может изменить содержание такого предложения. В частности, не является инвариантным модальное истинностное значение предложения при замене дескрипции на кореферентную: предложение *Наименьшее простое число четное* необходимо истинно, тогда как предложение *Любимое число Джоунза четное* условно истинно, даже если любимое число Джоунза оказывается наименьшим простым. Отсюда следует, что кореферентные дескрипции не взаимозаменяемы *salva veritate* в модальных контекстах: предложение *Необходимо, что наименьшее простое число четное* истинно, тогда как предложение

Рассел считал, что фразы *Цицерон восхищался Туллием* и *Туллий восхищался Цицероном* на самом деле не взаимозаменяемы. Для него это был один из аргументов в пользу того, что имена *‘Цицерон’* и *‘Туллий’* не являются подлинными и что римский оратор — никакой не конституент пропозиций (или „фактов“ или „суждений“), соответствующих предложениям, содержащим данное имя.

Необходимо, что любимое число Джоунза четное ложно. Конечно, существует „de re“ прочтение, или прочтение с „большой сферой действия“, при котором второе предложение будет истинным. Такое прочтение, возможно, более точно было бы передать предложением *Любимое число Джоунза таково, что оно необходимым образом четное*, или, в приблизительной транскрипции Рассела, предложением *Одно и только одно число вызывает восхищение Джоунза, и всякое такое число необходимым образом четное (имеет свойство быть необходимо четным)*. Такое de re прочтение, если оно вообще имеет смысл, должно быть по определению подвержено субституции *salva veritate*, поскольку свойство „быть необходимо четным“ является свойством числа независимо от того, как оно обозначено; в этом отношении между именами и дескрипциями может не оказаться различия. Противопоставлены имена и дескрипции, в соответствии с точкой зрения Милля, в предложениях, прочитанных de dicto, или „с малой сферой действия дескрипции“, то есть только при прочтении, которое — для контекстов мнения и модальных контекстов — будет единственно интересовать нас в данной работе. Мы можем, если хотите, особо подчеркнуть, что нас интересует это прочтение в различных транскрипциях, скажем: *Необходимо, что: Цицерон был лысым*, или, в более эксплицитной форме: *Следующая пропозиция верна необходимым образом: Цицерон был лысым*, или даже в „формальном“ виде в духе Карнапа⁶: *Предложение „Цицерон был лысым“ выражает необходимую истину*. Теперь приверженец Милля может утверждать, что все эти формулировки сохраняют свое истинностное значение и в случае, если имя *Цицерон* в них заменено на имя *Туллий*, при том, что дескрипции *Любимый латинский писатель Джоунза* и *Человек, который осудил Катилину* в этих контекстах не взаимозаменяемы, хотя и кодесигнативны (codesignative)*.

Аналогично обстоит дело с контекстами мнения. Здесь такие мнения, как в предложениях типа *Джоунз считает, что Цицерон (или: его любимый латинский писатель), что тот был лысым*, нас интересовать не будут. К таким контекстам, если они имеют смысл, по определению применим принцип субституции как для имен, так и для дескрипций. Нас скорее будут интересовать вы-

⁶ Основываясь на аргументах, приводимых А. Чёрчем и другими авторами, я не думаю, что такой формальный способ выражения синонимичен другим формулировкам. Но его можно использовать в качестве грубого средства передачи идеи сферы действия дескрипции.

* Кодесигнативы — термин, введенный Крипке ранее. Этот термин встречается в его ранних статьях, где Крипке толкует собственные имена как твердые десигнаторы. Отсюда кодесигнативы — это собственные имена, понимаемые Крипке как твердые десигнаторы, которые имеют ту же самую референцию. — *Прим. ред.*

ражения *de dicto*, эксплицитно содержащиеся в таких формулировках, как *Джоунз думает, что: Цицерон был лысым* (или: *Джоунз думает, что: человек, который осудил Катилину, был лысым*). Материал предложения после знака двоеточия выражает содержание мнения Джоунза. Другие, более эксплицитные формулировки того же содержания таковы: *Джоунз думает: пропозиция — что — „Цицерон — был — лысым“ истинна*, или даже в более формальном стиле: *Предложение „Цицерон был лысым“ составляет содержание мнения Джоунза*. Обо всех таких контекстах строгий миллеанец будет, видимо, утверждать, что в них кодесигнативные имена, но не кодесигнативные дескрипции, взаимозаменяемы *salva veritate*⁷.

Так вот, существовало широко распространенное мнение, что все эти очевидные следствия из учения Милля попросту ложны. Казалось прежде всего, что предложения могут изменить свое модальное значение, если заменить в них одно имя на имя, кодесигнативное ему. Предложение *Венера — это Вечерняя звезда* (или, более осторожное: *Если Венера существует, то Венера —*

⁷ С таким же основанием можно было бы утверждать, что миллевская трактовка собственных имен признает их *не имеющими сфер действия* и что для них различие *de dicto* — *de re* исчезает. Это положение выглядит весьма правдоподобно (моя теория твердых десигнаторов предполагает нечто подобное для модальных контекстов), но здесь ни это, ни противоположное положение можно не обсуждать: попросту *de re* употребления в настоящей работе не рассматриваются.

Кристофер Пикок [5] использует понятие, равнозначное эквивалентности *de dicto* — *de re* конструкций во *всех* контекстах (или, говоря иначе, отсутствию такого различия) для характеристики твердых десигнаторов и их поведения в текстах. Я согласен, что для *модальных* контекстов это (приблизительно) равносильно моему понятию твердых десигнаторов, а также согласен, что для собственных имен эквивалентность Пикока справедлива и для темпоральных контекстов (что примерно равносильно „темпоральной твердости“ имен). Я, кроме того, согласен также и с тем, что очень возможно, что принцип подстановочности следует распространить на все контексты. Однако, как признает Пикок, отсюда вытекает, что принцип подстановочности имеет силу и для кодесигнативных имен собственных в контекстах мнений, а это уже многими отвергается как ложное утверждение. Чтобы исключить возможность такого вывода, Пикок предлагает использовать теорию интенсиональных контекстов Дэвидсона („что“ — предложение, является отдельным, самостоятельным предложением). Сам я теорию Дэвидсона принять не могу, но даже если бы она и была верной, она не избавила бы нас от указанной трудности, что фактически признает и сам Пикок (с. 127, § 1). (Между прочим, если теория Дэвидсона препятствует выводу о прозрачности контекстов мнения в отношении имен, то почему Пикок без каких бы то ни было аргументов отвергает возможность, что указанная теория препятствует такому выводу и для модальных контекстов, имеющих сходную грамматическую структуру?) Эти проблемы обсуждаются в настоящей работе, но до тех пор, пока они не решены, я предпочитаю держаться своей ранней, более осторожной формулировки.

Отметим в связи со сказанным следующее: всеми признаваемый как банальный факт — что кодесигнативные имена не являются взаимозаменяемыми в контекстах мнения — может быть, как дает нам понять Пикок, — совсем не так банален, как это обычно предполагается.

это *Вечерняя звезда*) выражает необходимую истину, тогда как предложение *Вечерняя звезда — это Утренняя звезда* (или: *Если Вечерняя звезда существует, то Вечерняя звезда — это Утренняя звезда*) выражает эмпирически обнаруженный факт и тем самым, как это всеми признавалось, конвенциональную истину (иначе говоря, „так это могло случиться и, следовательно, так могло быть“).

Еще более очевидным казалось положение, что кодесигнативные имена собственные не взаимозаменяемы в контекстах мнения и в эпистемических контекстах. Том, рядовой носитель языка, легко может согласиться с утверждением *Туллий осудил Катилину*, но не с утверждением *Цицерон осудил Катилину*. Он даже может отрицать последнее. И это отрицание вполне совместимо с его статусом рядового носителя языка, удовлетворяющего обычному критерию употребления имен *Цицерон* и *Туллий* для обозначения прославленного римлянина (то есть носителя языка, который не знает, что эти имена называют одно и то же лицо). Отсюда представляется совершенно очевидным, что Том думает, что *Туллий осудил Катилину*, но не думает, что (у него отсутствует мнение): *Цицерон осудил Катилину*⁸. Поэтому кажется абсолютно ясным, что кодесигнативные собственные имена в контекстах мнения не взаимозаменяемы. Также представляется очевидным, что должны быть две отдельные пропозиции или два разных содержания, передаваемые предложениями *Цицерон осудил Катилину* и *Туллий осудил Катилину*. А как еще может Том считать истинным одно из них и отрицать другое? И таким способом выраженное различие в пропозициях может возникнуть только из-за разницы по *смыслу* имен *Туллий* и *Цицерон*. Этот вывод согласуется с теорией Фреге и, видимо, несовместим с чисто миллевским подходом⁹.

⁸ Данный пример взят из работы Куайна: [6, с. 145]. Вывод Куайна о том, что истолкованное *de dicto* выражение *думает*, что является непрозрачным (*opaque*), повсеместно считался само собой разумеющимся. В формулировке в тексте я использовал знак двоеточия, чтобы подчеркнуть, что я говорю о мнении *de dicto*. Поскольку, как уже отмечалось, только мнение *de dicto* и будет нас интересовать в данной работе, знак двоеточия в дальнейшем, как правило, опускается, и все „*думает, что*“ контексты следует интерпретировать *de dicto*, если явно не указано противоположное.

⁹ Во многих своих работах П. Гич отстаивал точку зрения, противоположную точке зрения Милля, согласно которой каждому имени, по определению, приписывается некий сортиный предикат (так, например, предикат „Гич“, по *определению*, называет человека). С другой стороны, теория Гича не полностью совпадает и с теорией Фреге, поскольку Гич отрицает тот факт, что всякая определенная дескрипция, которая бы идентифицировала референт имени в кругу объектов того же рода, аналитически привязана к данному имени (см., например, его работу: [7, с. 43—45]). Что же касается проблем настоящей статьи, то воззрения Гича могут быть скорее отнесены к Миллю, нежели к Фреге. Для обычных имен типа

В работе [1], о которой уже упоминалось выше, мною был опровергнут один из аргументов против Милля, а именно — модальный. Предложение *Вечерняя звезда* — это *Утренняя звезда* выражает такую же необходимую истину, как и предложение *Венера* — это *Вечерняя звезда*: не существует таких контрфактических ситуаций, в которых *Утренняя звезда* и *Вечерняя звезда* были бы различны. Правда, истинность предложений *Венера* — это *Утренняя звезда* не была известна а priori, и могло так быть, что пока не поступило соответствующего эмпирического свидетельства, в нее мало кто верил. Однако, как я уже говорил, эти эпистемические вопросы следует отделить от метафизического вопроса о необходимой истинности предложения *Вечерняя звезда* — это *Утренняя звезда*. И то, что кодесигнативные имена собственные взаимозаменяемы *salva veritate* во всех контекстах (метафизической) необходимости и, более того, замена имени собственного на имя с тем же денотатом оставляет прежним модальное значение предложения, есть следствие, вытекающее из моей концепции имен как твердых десигнаторов.

Хотя моя точка зрения в вопросе об именах в модальных контекстах совпадает с точкой зрения Милля, на первый взгляд кажется, что объяснение поведения имен в эпистемических контекстах и контекстах мнения требует принципиально *не-миллевского подхода* (то же относится и к другим контекстам пропозициональных установок). Дело в том, что я предполагал наличие резкого противопоставления между эпистемической и метафизической возможностью: прежде чем были сделаны соответствующие эмпирические открытия, люди могли просто не знать, что *Вечерняя звезда* (*Венера*) — это *Утренняя звезда*, и даже так не считать, при том, что они, естественно, знали или считали, что *Венера* — это *Вечерняя звезда*. Не говорит ли это в пользу положения Фреге о том, что имена *Вечерняя звезда* и *Утренняя звезда* имеют различные „способы представления“, определяющие их референцию? Чем же еще можно объяснить тот факт, что прежде чем астрономы установили тождество двух небесных светил, предложение с *Вечерней звездой* могло выражать общее суждение, а то же предложение, но с именем *Утренняя звезда* нет? В случае с *Вечерней звездой* и *Утренней звездой* абсолютно ясно, каковы эти разные способы представления. Один определяет небесное тело по его появлению на небе в соответствующее время года, вечером, и по его положению на небосводе, другой — также по

Цицерон и *Туллий* будет иметь место одна и та же референция, и им будет приписан один (в духе Гича) смысл, а именно, что это имена человека. Таким образом, представляется, что эти имена всоуду взаимозаменяемы. (В [7] Гич, кажется, не принимает такого заключения, однако есть все основания для того, чтобы его принять; на первый взгляд они такие же, как и при чисто миллевском подходе.)

положению на небосводе и по появлению в соответствующее время года — утром. Поэтому, хотя я и считаю, что собственные имена являются *модально* твердыми десигнаторами (то есть имеют одну и ту же референцию, когда мы используем их при описании контрфактических ситуаций и при описании реального мира), представляется, что они имеют фрегевский „смысл“ в соответствии с тем, как фиксируется строгая референция. И все расхождения по смыслу (в указанном смысле понятия „смысл“) приводят к нарушению принципа подстановочности для кодесигнативных имен в контекстах пропозициональной установки, хотя для модальных контекстов он по-прежнему остается верным. Это положение вполне согласуется с доктриной Милля, рассматривающего модальные контексты, но расходится со взглядами Фреге, рассматривающего контексты мнения. Таким образом, эта теория не является в *чистом* виде миллевской¹⁰.

Итак, после некоторого размышления вывод, сделанный Фреге, представляется уже менее очевидным. Точно так же, как когда-то люди не знали, что Утренняя звезда — это Вечерняя звезда, так и нормальный носитель английского языка может, видимо, не знать, что Цицерон — это Туллий или что Голландия — это Нидерланды. Поэтому человек может согласиться с тем, что *Цицерон был ленивым*, но не согласиться с утверждением *Туллий был ленивым*, или он может искренне признать, что *Голландия — прекрасная страна*, но отрицать, что *Нидерланды — прекрасная*

¹⁰ Хочу подчеркнуть, что имена являются модально твердыми десигнаторами и удовлетворяют принципу подстановочности в модальных контекстах, и в том, что для них в контекстах мнения тот же принцип нарушается, никакого противоречия нет. Весь понятийный аппарат, разработанный в [1] для различения эпистемической и метафизической необходимости, приписывания смысла и установления референции, был призван показать, помимо всего прочего, что учение Милля о подстановочности имен в модальных контекстах может быть принято, хотя его тезис о подстановочности имен в эпистемических контекстах следует отвергнуть. В [1], однако, вовсе не утверждалось, что принцип подстановочности применим к эпистемическим контекстам.

Непротиворечивым будет даже предположить, что за нарушение принципа подстановочности ответственность несут разные способы установления референции (имеется в виду строгой референции), и таким образом занять промежуточную позицию между Фреге и Миллем, — позицию, о которой идет речь в данной работе. Можно даже думать, что работа [1] наводит на мысль, что способ установления референции существует и для эпистемических контекстов, и прежде всего для таких, где конвенциональная дескрипция строго фиксирует референт имени (*Вечерняя звезда — Утренняя звезда*). Когда я писал [1], то уже тогда знал, что из-за проблем, обсуждаемых в настоящей работе, вопрос о подстановочности имен в эпистемических контекстах оказывается весьма деликатным, и тогда я полагал, что дальше лучше не запутывать проблему.

После того, как данная статья была закончена, я познакомился с работой А. Платинги [8], занимающим позицию где-то посередине, между Миллем и Фреге, и нарушение принципа подстановочности может служить основным аргументом, доказывающим правильность его позиции.

страна. Ситуацию с именами *Вечерняя* и *Утренняя звезда* кажется правдоподобным объяснить тем, что эти имена устанавливают свою (строгую) референцию к одному объекту, как правило, двумя разными способами: одно имя называет звезду, появляющуюся вечером, другое — звезду, появляющуюся утром. Но каковы те *конвенциональные „смыслы“* (пусть даже под „смыслами“ мы понимаем „способы строгой фиксации референции“), которые могут быть приписаны, соответственно, именам *Цицерон* и *Туллий* (или *Голландия* и *Нидерланды*)? Не являются ли эти два слова (в английском языке) просто двумя разными именами одного человека? Есть ли какая-нибудь *конвенциональная* и *широко распространенная* в языковом коллективе „коннотация“, присущая одному имени, которая бы отсутствовала в другом?¹¹ Я таких коннотаций не знаю¹².

¹¹ Я воспользовался здесь термином „коннотация“, чтобы показать, что ассоциированные с именами свойства а priori приписаны именам и соединены с ними по крайней мере как фиксаторы строгой референции, а следовательно, должны быть истинными относительно своего референта (если таковой существует). Есть и другой смысл термина „коннотация“; ср., например, коннотацию у выражения *Священная Римская империя*, когда необязательно предполагать или считать коннотацию истинной относительно референта. В каком-то близком смысле сторонники классического подхода и другие исследователи, освоившие классическое наследие, могут приписать разные коннотации именам *Цицерон* и *Туллий*. Так, слово *The Netherlands* 'Нидерланды' для внимательного уха может показаться низкой высоты. Такого рода „коннотации“ вряд ли можно считать широко распространенными в обществе, многие люди употребляют в речи имена, не осознавая таких коннотаций. Но даже тот носитель языка, который знает свойства коннотации данного имени, может не считать их истинными относительно данного объекта; ср. выражение *Священная Римская империя*. Такие коннотации не создают значения и не устанавливают референцию имени.

¹² Можно было бы попытаться определить различие по смыслу имен *Цицерон* и *Туллий*, исходя из того, что предложение *Цицерона зовут „Цицерон“* тривиально и не слишком содержательно, а предложение *Туллия зовут „Цицерон“* может быть совсем бессодержательно. Нил и в одном месте Чёрч (возможно, не эксплицитно) утверждали что-то в этом роде. (Относительно гипотезы Нила см. [1, с. 283].) Поэтому вроде бы можно утверждать, что свойство называться Цицероном составляет часть смысла имени *Цицерон*, но не является частью смысла имени *Туллий*.

Я уже рассматривал некоторые проблемы, имеющие отношение ко всем этим вопросам, в [1, с. 283—286]. (См. также обсуждение возможных условий появления логических кругов в другом месте той же работы.) Можно много сказать за и против такого рода аргумента, и не исключено, что я когда-нибудь это сделаю. А сейчас позвольте мне лишь очень кратко упомянуть о следующей аналогичной ситуации (которую, видимо, легче будет осмыслить, если сослаться на наши рассуждения на ту же тему, содержащиеся в работе [1]).

Всякий человек, понимающий значение предиката „звать(ся)“ и кавычек в английском языке (а также понимающий, что слово *alienists* 'психиатры' полнозначное и с точки зрения грамматики абсолютно нормальное), знает, что предложение *Alienists are called „alienists“* 'Психиатры зовутся „психиатрами“' выражает в английском языке истину, даже если он понятия не имеет, что означает слово *alienists*. Ему не нужно знать, что предложение *Psychiatrists are called „alienists“*

Все эти рассуждения могли бы, по-видимому, подтолкнуть нас к крайней точке зрения Фреге — Рассела, согласно которой смыслы имен собственных меняются, строго говоря, от одного носителя языка к другому и не существует одного, признаваемого всем обществом смысла, а есть только признаваемая всем обществом референция¹³. В этой теории смысл, который носитель языка приписывает такому имени, как *Цицерон*, зависит от того, какие утверждения относительно Цицерона он принимает и какие из них считает дефинициями данного имени (в отличие от тех утверждений, которые он просто рассматривает как отражающие реальность мнений „о Цицероне“). Аналогично и для имени *Туллий*. Пусть, например, некто определяет *Цицерона* как ‘римского оратора, выступившего с речью, написанной по-древнегречески, против Кассия’, а *Туллия* — как ‘римского оратора, осудившего Катилину’. Тогда этот человек спокойно может отвергнуть суждение *Цицерон — это Туллий*, если он не знает, что существует единственный римский оратор, удовлетворяющий обеим дескрипциям (если верить и Шекспиру и истории). Точно так же он по незнанию может утверждать, что *Цицерон был лысым*, отрицая, что *Туллий был лысым* и под. Не так ли в действительности случается, когда выраженные кем-то мнения небезразличны к взаимозаменимости имен *Туллий* и *Цицерон*? Не должен ли источник их невзаимозаменимости лежать в двух разных дескрипциях, связанных с этими именами, или способах установления их референции? Если говорящему повезет, и он припишет одинаковые идентифицирующие свойства и Цицерону и Туллию, то он, по всей вероятности, будет употреблять имена *Цицерон* и *Туллий* как взаимозаменимые. На первый взгляд, все сказанное кажется мощной поддержкой точки зрения Фреге и Рассела, утверждавшим, что в общем случае имена принадлежат идиолектам, а их „смыслы“

‘Психиатры зовутся „психиатрами“ истинно. Ни одно из этих предложений не доказывает того, что слова *alienists* и *psychiatrists* несинонимичны и что название *alienists* ‘*alienists*’ является частью значения слова *alienists*, а название их ‘*psychiatrists*’ — нет. Аналогично обстоит дело и с именами *Цицерон* и *Туллий*. Нет больше никаких других причин считать, что свойство „называться так-то и так-то“ является частью значения собственного имени и не входит в значение любого другого слова языка.

¹³ Такая точка зрения, даже если она позволяет каждому говорящему связывать с каждым именем пучок дескрипций, может считаться последовательно фреге — расселовской, при условии, что пучок этот меняется от одного носителя языка к другому и что изменения в пучке являются изменениями в идиолекте. Например, точка зрения Сёрля является фреге — расселовской, когда он пишет в заключительном разделе своей работы [9, с. 166—173]: «Предложение ‘*Туллий*’ = ‘*Цицерон*’, я думаю, для большинства людей представляется аналитическим; одни и те же дескриптивные presupпозиции связаны как с одним, так и с другим именем. Но, разумеется, если бы дескриптивные presupпозиции были различны, это предложение можно было бы употребить для выражения синтетического суждения».

зависят от тех „идентифицирующих дескрипций“, которые связаны с данными именами.

Отметим, что согласно точке зрения, которой мы сейчас придерживаемся, *нельзя* сказать *Некоторые не знают, что Цицерон — это Туллий*, так как не существует отдельной пропозиции, обозначаемой *что-предложением*, которую бы коллектив нормальных носителей языка передавал с помощью предложения *Цицерон — это Туллий*. Некоторые люди, в частности, те, кто определяет и ‘Цицерона’ и ‘Туллия’ как ‘автора „De Fato“’, употребляют это предложение для выражения тривиального тождества. Другие употребляют его для выражения суждения о том, что человек, удовлетворяющий одной дескрипции (скажем, что он осудил Катилину), тот же самый, что и человек, удовлетворяющий другой дескрипции (например, что его речь против Кассия была написана на древнегреческом языке). Нет такого факта, „что Цицерон — это Туллий“, который был бы известен лишь некоторым, но не всем членам языкового коллектива.

Если бы мне пришлось сказать *Многие не знают, что Цицерон — это Туллий*, то я бы употребил выражение *Цицерон — это Туллий* для обозначения подразумеваемой под этими словами пропозиции. Если, например, оно является тривиальным утверждением тождества, то я бы при этом ложно и не адекватно реальному положению вещей утверждал, что в обществе существует широко распространенное незнание некоторой самоидентификации¹⁴. Я могу, конечно, сказать: *Некоторые англичане используют имена ‘Цицерон’ и ‘Туллий’ для обычной референции к лицу (прославленному римлянину), хотя все-таки не согласны с утверждением ‘Цицерон — это Туллий’*.

Можно, как и раньше, соединить этот аспект теории Фреге — Рассела с уступкой-допущением, что собственные имена являются твердыми десигнаторами и что, следовательно, используемая для установления референции некоторого имени дескрипция не синонимична этому имени. Но здесь мы сталкиваемся с большими трудностями. Интуитивно явно неприятное ощущение оставляет использование нами в речи таких имен собственных, как ‘Цицерон’, ‘Венеция’, ‘Венера’ (планета), с разными „смыслами“, ведь тогда все мы, „строго говоря“, разговариваем на разных языках. Имеется много хорошо известных и весомых возражений на какую-либо дескриптивную теорию имен, а также на теорию собствен-

¹⁴ Хотя я говорю здесь на языке пропозиций, вопрос этот совершенно не зависит от различий в теоретических установках. Опираясь, например, на анализ Дэвидсона, я бы (примерно) утверждал, что многие люди не знают содержания следующего моего высказывания: *Цицерон — это Туллий*. В итоге это привело бы нас к той же проблеме.

ных имен как пучков определенных дескрипций. И так ли уж явно очевидно, что невзаимозаменяемость имен в контекстах мнения подразумевает некоторое различие между именами по смыслу? Существует, в конце концов, немалая литература по философии, в которой утверждается, что даже полностью синонимичные — если таковые вообще имеются — слова типа *доктор* и *врач* не взаимозаменяемы *salva veritate* в контекстах мнения, по крайней мере в тех из них, где операторы мнения повторяются¹⁵.

Менее важная проблема, связанная с представлением доводов в пользу теории Фреге и Рассела, появится в следующем разделе статьи: если оба они правы, то в процессе анализа контекстов мнения выясняется, что тот аргумент, который кажется подтверждающим правоту их точки зрения, на самом деле сформулировать не так-то просто.

Однако наиболее очевидное возражение, показывающее, что остальным доводам нужно отвести подобающее им место и приписать надлежащий вес, таково: в действительности рассматриваемая нами теория не объясняет всех тех явлений, которые она пытается объяснить. Как мне уже доводилось писать в другом месте¹⁶, люди, „определяющие Цицерона“ с помощью таких фраз, как ‘человек, осудивший Катилину’, ‘автор „De Fato“’ и т. д., встречаются сравнительно редко: распространенность таких фраз в философской литературе — это продукт чрезмерного увлечения некоторыми философами классическим учением. Нормальные люди, употребляющие в речи имя *Цицерон*, как очевидно обозначающее Цицерона, на вопрос *Кто был Цицерон?*, по всей вероятности, вряд ли придумают лучший ответ, чем следующий: *Знаменитый римский оратор*, и, видимо, то же самое они ответят (если смогут ответить вообще!) на вопрос о Туллии. (В действительности же, большинство людей, скорее всего, никогда не слышали имени ‘*Туллий*’.) Аналогично, многие из тех, кто слышал о Фейнмане и о Гелл-Манне, идентифицируют каждого из них, как ‘выдающийся современный физик-теоретик’. Эти люди не приписыва-

¹⁵ См. об этом статью Б. Мэйтса [10], перепечатанную в [11].

То, что имена с тождественным денотатом могут иметь разные „смыслы“, и то, что носитель языка может принять простое предложение с одним из этих слов и отрицать аналогичное предложение с другим, *хотя он неповинен ни в языковой, ни в понятийной неразберихе, ни в отклонении от логической непротиворечивости*, — все эти факты составляют краеугольный камень, на котором держится „фрегевский“ аргумент. В случае с двумя полными синонимами это не так.

Сам я считаю, что рассуждения Мэйтса представляют значительный интерес, но вопросы эти весьма путанные и тонкие и если аргумент его и работает, то приводит, по всей видимости, скорее к парадоксу или загадке, чем к какому-то определенному выводу.

¹⁶ См. [1, с. 291 (внизу) — 293].

вают именам обычных „смыслов“, тех, которые обеспечивали бы уникальную референцию имени (даже при том, что они употребляют имена с определенной референцией). Однако в той степени, в какой *неопределенные* дескрипции, приписанные имени или ассоциированные с ним, могут быть названы „смыслами“, „смыслы“, приданные *Цицерону* и *Туллию* или *Фейнману* и *Гелл-Манну*, *одни и те же*¹⁷. И все же такие носители языка могут, видимо, спросить: *Цицерон* и *Туллий* — это один и тот же римский оратор или два разных? или *Фейнман* и *Гелл-Манн* — это два разных физика или один?, не зная ответа ни на один из этих вопросов и рассматривая только „смыслы“. Кто-то из них мог бы даже высказать ложное предположение или составить ложное мнение, считая, например, что Цицерон был лысым, а Туллий не был. Следовательно, посылка аргумента, который мы рассматриваем в защиту классической концепции Фреге — Рассела, — всегда, когда два кодесигнативных имени не взаимозаменяемы при выражении мнения говорящим, причина этого кроется в различии дескрипций, которые лежат в основе „дефиниции“ имени и которые носитель языка связывает с данными именами, — ложна. Ситуация, которую мы продемонстрировали на примере с именами *Цицерон* и *Туллий*, на самом деле абсолютно ординарная. Поэтому повсеместную невзаимозаменяемость кодесигнативных имен в контекстах мнения нельзя объяснить различием по „смыслу“ между этими именами.

Поскольку крайняя точка зрения Фреге и Рассела фактически не объясняет очевидной невзаимозаменяемости имен в контекстах мнения, то, по-видимому, нет больше других причин (имея в виду наши задачи) не придавать значения несметному числу *prima facie* доводов против этой точки зрения. Имена известных городов, стран, людей и планет в нашем обиходном языке весьма употребительны и не являются просто терминами, омонимично используемыми в отдельных идиолектах носителей языка¹⁸. Очевидная невзаимозаменяемость кодесигнативных имен в контекстах мнения остается загадкой, но уже не кажется очевидным, что она ровно столько же говорит в пользу теории Фреге, сколько противоречит точке зрения Милля. Ни разные „коллективные“, ни разные „част-

¹⁷ Вспомним в этой связи также сноску 12.

¹⁸ Некоторые философы подчеркивают, что имена не являются *словами* языка или что имена *непереводимы* с одного языка на другой. По-видимому, трудно отрицать, что слова *Deutschland*, *Allemagne* и *Germany* — это немецкое, французское и английское имена одной страны — Германии и что французское предложение, содержащее слово *London* 'Лондон', переводится на английский язык предложением со словом *London* 'Лондон'. Обучение этим фактам является составной частью обучения немецкому, французскому и английскому языкам.

Может показаться, что *отдельные* имена, в особенности названия стран, других известных мест и некоторых известных людей мыслятся как принадлежащие

ные“ смыслы, которыми владеет каждый отдельно взятый носитель языка, не могут объяснить всех тех явлений, которые они должны объяснить. По этой причине бесспорное существование такого рода явлений больше не составляет *prima facie* довода в пользу наличия у имен разных смыслов.

Прежде чем закончить данный раздел, сделаю последнее замечание. Мне уже не раз приходилось ссылаться на свои прежние взгляды, изложенные в [1], и говорить, что, трактуя имена собственные как твердые десигнаторы и как референциально прозрачные¹⁹ в модальных контекстах, я целиком присоединяюсь к Миллю, тогда как считая, что имена собственные непрозрачны в контекстах мнения, я, по всей вероятности, приближаюсь к Фреге. При более пристальном рассмотрении становится, однако, весьма проблематичным, в какой степени явления референциальной прозрачности действительно говорят в пользу Фреге против Милля. Существуют важные теоретические основания, чтобы рассматривать принятый нами в [1] подход в духе Милля. В указанной работе я утверждал, что в действительности референция имен какой-либо известной исторической личности обычно устанавливается с помощью цепочки коммуникации, в которой референция имени переходит от одного звена к другому. Так вот, законность такой цепочки гораздо больше согласуется с концепцией Милля, чем с альтернативными теориями. Дело в том, что при таком подходе предполагается, что обучающийся принимает имя по цепочке от знающих это имя людей и далее решает использовать его с той

языку, составляющие его часть. Многие другие имена, однако, уже к языку не относятся, особенно если их референты малоизвестны (поэтому имена эти ограничены в своей применимости) или если одно и то же имя используется носителями всех языков. Насколько я могу судить, существует весьма незначительная семантическая разница (а может быть, ее нет и вовсе) между именами, которые осмысливаются как принадлежащие языку, и именами, языку не принадлежащими. Математические символы, вроде знака $<$, тоже, как правило, не составляют фрагмента естественного (английского или какого-нибудь другого) языка, хотя эти символы употребляются в сочетаниях с английскими словами в предложениях, образующих тексты математических трактатов, написанных на английском языке (французский математик может пользоваться той же символикой, ни слова не зная по-английски). С другой стороны, сочетание *is less than* ‘меньше, чем’ принадлежит английскому языку. Имеет это различие хоть какое-нибудь семантическое значение?

В настоящей работе я чаще всего буду говорить об именах так, как если бы они составляли часть языка — английского, французского и т. д. Но для тех утверждений, которые я буду о них делать, почти не существенно, считаются они принадлежащими языку или являются его дополнением. И нет необходимости говорить, что имя типа *Londres* „переводимо“ (если бы такая терминология предполагала, что имена имеют „смыслы“, я бы все равно счел ее нежелательной), коль скоро мы признаем, что *предложение*, содержащее это имя, адекватно переведено на английский язык с помощью слова ‘London’.

¹⁹ Говоря, что имена референциально прозрачны в некотором контексте, я имею в виду, что они в нем взаимозаменяемы.

же референцией, с какой используют его остальные члены общества. Поскольку обучающийся предполагает, что он будет употреблять данное имя с тем же референтом, с каким употребляют его другие, мы рассматриваем его как употребляющего в своей речи предложение *Цицерон лысый* для передачи той же идеи, что и все общество в целом, и отвлекаемся от расхождений в свойствах, которые разные обучающиеся приписывают имени *Цицерон*. Тот факт, что имя может быть передано по цепочке от одних знающих его людей к другим, прекрасно согласуется с нарисованной Миллем картиной референции. В соответствии с нею семантика содержащих данное имя предложений определяется только референцией имени, а не особыми, приписанными имени свойствами. Был поставлен вопрос, нельзя ли саму цепочку коммуникации, определяющую в нашей теории референт имени, назвать „смыслом“. Наверное, можно, если хочется²⁰, однако в итоге не следует забывать, что законность такой цепочки означает просто, что она сохраняет референцию имени, как считал Милль, и что ее нужно рассматривать в качестве необходимого инструмента для правильного обучения языку²¹. (Эту цепочку можно сопоставить с терминами типа *сердцевидный*, когда необходимо не только обучение языку, но и надлежащее расширение языка.) Точно таким же образом учение о твердых десигнаторах в модальных контекстах, как уже говорилось выше, диссонирует (хотя и не обязательно противоречит ей) с теорией, предполагающей обращение к антимиллевским рассуждениям для объяснения поведения имен в контекстах пропозициональной установки.

Следовательно, общее направление моих прежних взглядов наводит на мысль, что раз теория Милля вполне пригодна, ее нужно отстаивать.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Где же мы сейчас находимся? По-видимому, мы попали в довольно затруднительное положение. С одной стороны, мы пришли к выводу, что неважизаменимость имен '*Цицерон*' и '*Туллий*' salva

²⁰ Мы, однако, должны здесь под „смыслом“ понимать „нечто, фиксирующее референцию“, а не „нечто, означающее имя“, иначе у нас возникнут трудности с твердой десигнацией собственных имен. Если настоящим источником цепочки для некоторого имени является данный объект, то мы используем данное имя для обозначения этого объекта даже тогда, когда говорим о контрафактических ситуациях, где некоторый *другой* объект дает начало рассматриваемой цепочке.

²¹ Согласно провозглашенной в [1] доктрине, собственные имена передаются по цепочке от одного звена к другому, несмотря на то, что мнения о референте, ассоциативно связанном с именем, могут измениться радикально. Происходящие при этом изменения, однако, не являются языковыми в том смысле, в каком язы-

veritate в контекстах пропозициональной установки нельзя объяснить различием их по „смыслу“. С другой стороны, не нужно забывать первоначальный аргумент против Милля: если референция — это *все, что связано с наименованием*, то тогда какое вообще может быть смысловое различие между именами ‘Цицерон’ и ‘Туллий’? А если никакой семантической разницы между ними нет, то не выражают ли предложения *Цицерон был лысый* и *Туллий был лысый* одну и ту же пропозицию? И как тогда может кто-то считать, что Цицерон был лысым и вместе с тем сомневаться или не считать, что Туллий тоже был лысым?

Давайте задумаемся. Почему мы полагаем, что кто-то может считать, что Цицерон был лысый, но не считать, что Туллий тоже был лысым? Или думать, несмотря на логическую несовместимость суждений, что Йельский университет очень хороший, а Старый Эли плохой? Хорошо, допустим, что нормальный носитель английского языка Джоунз искренне соглашается с тем, что предложение *Цицерон был лысым* истинно, но не может согласиться с истинностью предложения *Туллий был лысым*. И это несмотря на то, что Джоунз употребляет в речи имена ‘Цицерон’ и ‘Туллий’ обычным образом: имя ‘Цицерон’ в этом утверждении он употребляет для обозначения римлянина, а не, например, своей собаки или немецкого шпиона.

Сделаем явным предполагаемый здесь имплицитно принцип (или правило) раскрытия кавычек (disquotational principle), связывающий согласие (с некоторым утверждением) и мнение. Этот принцип можно сформулировать так (здесь ‘*p*’ должно быть заменено (внутри или вне кавычек) любым подходящим английским предложением): «Если обыкновенный носитель языка, поразмыслив, искренне соглашается с ‘*p*’, то он считает (believes that), что ‘*p*’». Предложение, замещающее ‘*p*’, при этом не должно содержать индексальных или прономинальных языковых средств, а также омонимичных выражений, искажающих интуитивный смысл принципа (например, если носитель языка соглашается с предложением *Вы изумительный человек*, ему не нужно думать, что *вы* — читатель — изумительный человек)²².

ковым считается изменение значения слова villain ‘негодяй, злодей’ от rustic ‘грубый, неотесанный’ до wicked ‘злой <человек>’. Хотя референция имени не меняется, мнения об объекте часто подвергаются значительным изменениям, даже за вычетом тех, которые могут считаться языковыми.

²² Похожие ограничения предлагается ввести и для формулируемых ниже усиленного принципа раскрытия кавычек и принципа перевода. Омонимию исключать не надо, если всякий раз имплицитно подразумевается, что, когда встречается предложение, оно понимается однозначно. (Аналогично при формулировке принципа перевода предполагается, что переводчик подбирает заранее определенную интерпретацию предложения.) Что же касается индексов, то я не разработа-

Когда мы предполагаем, что имеем дело с обыкновенным носителем английского языка, то под этим подразумеваем, что он употребляет все слова в предложении стандартным образом, соединяет их по синтаксическим правилам языка и т. п., то есть, короче говоря, что он под данным предложением имеет в виду то же, что имел бы в виду рядовой англичанин, употребивший это предложение. Слова предложения могут включать в себя имена собственные, если последние входят в тексты, распространяемые в обществе, так что мы можем говорить о стандартном использовании этих имен. Например, если взять предложение *Лондон — красивый город*, то оно употреблено в соответствии с языковой нормой, если под *Лондоном* говорящий имеет в виду имя города, а под *красивый* — предикат, приписывающий объекту определенную степень красоты.

Слово „*поразмыслив*“ в формулировке принципа раскрытия кавычек предупреждает ту ситуацию, при которой человек, небрежно обращающийся со значениями слов или склонный к сиюминутным концептуальным или языковым ошибкам, утверждает нечто, чего на самом деле в виду не имеет, или же, допуская языковую ошибку, соглашается с истинностью некоторого предложения.

Слово „*искренне*“ включено в формулировку принципа для того, чтобы исключить случаи лжи, притворства, иронии и т. п. Боюсь, однако, что даже при всех сделанных оговорках какой-нибудь дотошный читатель — впрочем, таков уж путь развития философии — обнаружит пропущенное мною условие, без которого провозглашенный принцип легко может быть расшатан контрпримерами. Однако я сомневаюсь, чтобы изменение формулировки принципа раскрытия кавычек путем введения в текст такого рода оговорок могло повлиять хотя бы на один случай его применения в следующих рассуждениях. Если понять намерение, которое скрывается за этим принципом, то последний покажется самоочевидной истиной. (Аналогичный принцип можно сформулировать не только для согласия с истинностью некоторого предложения, но и для искренних заявлений или утверждений.)

Существует также усиленная „бикондициональная“ (biconditional) разновидность принципа раскрытия кавычек, где ‘*p*’ везде, где оно встречается, должно быть заменено соответствующим английским предложением: „*Обыкновенный носитель английского языка, не будучи скрытым человеком, искренне готов согласиться с ‘p’, обдумав ‘p’ заранее, если и только если он считает, что*

тывал в деталях ограничений на их употребление, поскольку смысл этих ограничений вполне ясен.

Очевидно, что правило раскрытия кавычек применяется только к *de dicto*, но не к *de re* атрибутам мнения.

p''^{23} . Бикондициональная разновидность сильнее простой за счет того, что в нее входит условие, в силу которого несогласие говорящего с ' p ' означает, что он не думает, что ' p ', тогда как его согласие с ' p ' означает, что он думает, что ' p '. Оговорка относительно скрытности нужна для объяснения того случая, когда говорящий может не захотеть поделиться своими мыслями по поводу ' p ' из-за своей скромности, желания сохранить мысли в тайне, из-за боязни, что его обидят или оскорбят, и т. д. (Альтернативная формулировка могла бы содержать признаки, указывающие на согласие говорящего с данным утверждением или на отсутствие у него сложившегося мнения (не обязательно несогласие) по поводу этого утверждения.) Как и раньше, не исключено, что последняя формулировка принципа предполагает введение в ее текст более жестких условий, смысл которых, впрочем, вполне ясен.

В дальнейшем нам для наших целей, как правило, будет достаточно простого правила раскрытия кавычек, хотя один раз придется прибегнуть к его усиленной форме. Простую разновидность принципа раскрытия кавычек часто можно использовать в качестве теста, проверяющего отсутствие согласия (disbelief) говорящего с высказанным ранее утверждением, при условии, что говорящий обладает тем минимумом логики, который не позволяет ему, во всяком случае после некоторого размышления, иметь одновременно два противоречащих друг другу мнения ' p ' и ' p' '.²⁴ (При таком условии ничто не мешает ему иметь сразу два мнения, которые вместе приводят к противоречию.) В этом случае, если поль-

²³ А что произойдет, если он согласится с данным предложением, но отвергнет синонимичное? Например, согласится с тем, что *Джоунз — доктор*, но не с тем, что *Джоунз — врач*. В этом случае либо он не совсем обычно интерпретирует одно из этих предложений, либо, «подумав», вероятнее всего сам себя поправит. Поскольку говорящий ошибочно соглашается с предложением '*Джоунз — доктор*' и отвергает '*Джоунз — врач*', мы не можем прямо применить правило раскрытия кавычек, чтобы определить, считает ли он или нет, что *Джоунз — доктор*, — ведь его согласие не является „продуманным“.

Аналогично, если человек утверждает, что *Джоунз — доктор, но не врач*, то он, видимо, поймет, что его утверждение противоречиво без какой бы то ни было дополнительной информации.

Нами были сформулированы оба принципа раскрытия кавычек таким образом, что до тех пор, пока у нас есть все основания подозревать, что произошло какое-то концептуальное или языковое недоразумение (как в вышеупомянутых случаях), мы не можем приписать говорящему наличие или отсутствие определенного мнения. Заметим, что если некто произносит предложение *Цицерон был лысым, а Туллий нет*, то едва ли найдутся хоть малейшие основания подозревать говорящего в том, что тот совершает языковую или концептуальную ошибку.

²⁴ Данный вопрос не следует смешивать с вопросом о том, думает ли говорящий *про* объект, что тот одновременно обладает и не обладает некоторым свойством. Наши рассуждения касаются не мнения *de re*, а мнения *de dicto* (понятийного).

зоваться одним лишь простым (неусиленным) принципом раскрытия кавычек, согласие говорящего с отрицанием 'р' указывает не только на то, что он не считает, что 'р', но и на то, что он считает, что 'не р' (где на место переменной 'р' может быть подставлено любое подходящее английское предложение).

Пока что сформулированный нами принцип можно применить только к носителям английского языка. Согласно этому принципу мы, исходя из того, что, подумав, Питер искренне соглашается с предложением „God exists“ 'Бог существует', делаем вывод, что Питер считает, что бог существует. Однако мы, разумеется, обычно делаем различные выводы на английском языке и о мнениях людей, говорящих на других языках. Так, мы заключаем, что Пьер думает, что бог существует, из того, что он, подумав, искренне соглашается с французским предложением „Dieu existe“ 'Бог существует'. Есть несколько способов моделировать подобного рода заключения, если в нашем распоряжении имеются традиционные переводы предложений французского языка на английский. Мы выбираем следующий путь. Ранее нами был описан принцип раскрытия кавычек для английского языка, для английских предложений; аналогичный принцип, изложенный на французском (немецком и пр.) языке, также, по предположению, справедлив и для французских (немецких и пр.) предложений. Наконец, мы предполагаем, что имеет место следующий принцип перевода: *если предложение одного языка выражает истину в этом языке, то всякий его перевод на другой язык также выражает истину (в том, другом, языке)*. Обычная практика перевода нередко идет вразрез с изложенным принципом. Это происходит тогда, когда задачей переводчика является не сохранение первоначального смыслового содержания предложения, а получение такого эквивалента перевода, который служил бы в родном языке — в каком-то другом смысле — тем же целям, что и исходное предложение в чужом языке²⁵. Но если мы хотим, чтобы перевод имел смысл, жадственный со смыслом предложения-оригинала, то тогда сохранение истинностного значения — это то минимальное условие, которое должно быть соблюдено при переводе.

Допустим теперь, что принцип раскрытия кавычек можно вы-

²⁵ Например, переводя на иностранный язык исторически значимое сообщение типа *Патрик Генри сказал: „Дайте мне свободу или дайте мне умереть“*, человек может адекватно перевести часть предложения в кавычках, отнеся ее к словам Генри. Этим он из предполагаемой истины получает ложь, поскольку Генри произносил фразу по-английски. Впрочем, возможно, что адресат это знает, однако его больше интересует содержание высказывания Генри, чем произнесенные им в точности слова. Особенно часто такая поцедура перевода истины в ложь происходит при переводе беллетристики, где понятие истины нерелевантно. Некоторые оппоненты, выступающие против „переводного аргумента“ Чёрча, позволили ввести себя в заблуждение, анализируя практику перевода.

разить на каждом языке. Тогда, исходя из согласия Пьера с утверждением 'Dieu existe', можно следующим образом продолжить рассуждения. Во-первых, на основании его высказывания и принципа раскрытия кавычек для французского языка, мы выводим (во французском), что Pierre croit que Dieu existe 'Пьер считает, что бог существует'. А отсюда уже, воспользовавшись принципом перевода, получаем вывод²⁶ на английскийком:

Пьер считает, что бог существует.

Таким же путем техника снятия кавычек может быть применена к любому языку. Но если даже я применяю ее только к английскому языку, все равно допустимо считать, что я предполагаю использование принципа перевода, так как я применяю ее к носителям языка, который отличается от моего собственного. Как указывал Куайн, если мы рассматриваем других людей как говорящих с нами на одном языке, то это означает, что в каком-то смысле мы молчаливо предполагаем существование *омофонного* перевода с их языка на наш собственный. Поэтому, когда я, отталкиваясь от искреннего согласия Питера с утверждением, что „Бог существует“, или его подтверждением, делаю вывод, что он считает, что бог существует, то я, строго говоря, вынужден соединить принцип раскрытия кавычек (для идиолекта Питера) с принципом (омофонного) перевода (с идиолекта Питера на мой собственный). Между тем для большинства задач можно обойтись принципом раскрытия кавычек для одного языка, скажем, английского, предполагая, что он является общим языком всех людей — англичан. Только в тех случаях, когда релевантными оказываются индивидуальные различия в идиолектах, мы формулируем принцип более тщательно.

Вернемся, однако, от этих абстрактных рассуждений к нашей основной теме. Поскольку рядовой носитель языка — ничем не выделяющийся среди других даже в своем употреблении имен 'Цицерон' и 'Туллий' — может после размышления искренне согласиться сразу с двумя предложениями „Цицерон был лысый“ и „Туллий не был лысый“, то это, в соответствии с принципом раскрытия кавычек, означает, что он думает, что Цицерон был лысым, но не думает, что Туллий был лысым. Представляется, что коль скоро он совсем не обязан иметь два противоречивых мнения (даже будучи блестящим логиком, он может не суметь вывести, что по

²⁶ Для того, чтобы точно сформулировать вывод, нужно дополнительно прибегнуть к той разновидности принципа раскрытия кавычек, которая впервые была рассмотрена Тарским применительно к понятию истины: какое бы предложение ни подставлялось на место 'р' (английское или французское), выводы предложения „'р' истинно“ из 'р' и наоборот. (Подчеркнем, что английское предложение „'р' истинно“ будет английским даже тогда, когда на место 'р' подставляется французское предложение.) Применение принципа раскрытия кавычек в формулировке Тарского в тексте подразумевается.

меньшей мере одно из его мнений должно быть ошибочным), а принцип подстановочности для кореферентных собственных имен в контекстах мнения заставляет предполагать наличие у него двух противоречивых мнений, то сам принцип подстановочности следует признать неправильным. В самом деле, по-видимому, проводимые здесь рассуждения *сводят этот принцип к абсурду*.

Любопытно обсудить соотношение приводимых нами аргументов против подстановочности с классической теорией Фреге и Рассела. Как мы уже видели, этими аргументами можно *с первого взгляда* воспользоваться для подтверждения правильности классической теории, и я полагаю, что именно под таким углом зрения и рассматривали их многие философы. В действительности же, последний аргумент прямо применить для поддержки точки зрения Фреге и Рассела нельзя. Допустим, например, что Джоунз делает утверждение „*Цицерон был лысым, а Туллий не был*“. Если Фреге с Расселом правы, то из этого я не могу, опираясь на принцип раскрытия кавычек, вывести заключение:

(1) *Джоунз думает, что Цицерон был лысым, а Туллий не был*, поскольку вообще-то мы с Джоунзом, строго говоря, не можем считаться носителями одного и того же идиолекта, если не приписываем одинаковых „смыслов“ всем именам. Точно так же я не могу соединить с нашим эффектом принцип раскрытия кавычек с принципом перевода, поскольку омофонный перевод предложения Джоунза в мое будет в общем случае неточным по аналогичной причине. На самом же деле я не вижу особых различий по смыслу в именах *Цицерон* и *Туллий*, а поэтому для меня, как, впрочем, возможно, и для вас тоже, эти имена являются взаимозаменяемыми обозначениями одного человека. А так как в соответствии с теорией Фреге — Рассела утверждение (1) показывает, что для Джоунза какое-то различие по смыслу между этими именами *имеется*, то он (Джоунз), следовательно, должен — по Фреге и Расселу — употреблять одно из этих имен иначе, чем я, и омофонный перевод его предложения в мое будет неправильным и незаконным. Отсюда вытекает, что если Фреге и Рассел правы, то этот пример *нельзя* использовать для того, чтобы из него непосредственно мы могли вывести заключение, что имена собственные не являются взаимозаменяемыми в контекстах мнения. И это при том, что данный пример и вытекающее из него отрицательное суждение о подстановочности имен часто считались доказательством справедливости концепции Фреге и Рассела!

Тем не менее даже по теории Фреге — Рассела Джоунз может, применив принцип раскрытия кавычек и выражая свое заключение на своем идиолекте, сказать

(2) *Я думаю, что Цицерон был лысым, а Туллий не был*.

Я не могу передать это мнение словами Джоунза, так как не говорю с ним на одном идиолекте. Конечно, я *могу* сделать вывод: „предложение (2) выражает истину в идиолекте Джоунза“. Если я узнаю, какие два „смысла“ Джоунз приписывает именам *Цицерон* и *Туллий*, то смогу также ввести в свой собственный идиолект два имени с этими смыслами (еще раньше овладев словами *Цицерон* и *Туллий*) и заключить:

(3) *Джоунз думает, что Х был лысым, а У не был.*

Всего сказанного достаточно, чтобы можно было, следуя концепции Фреге — Рассела, сделать вывод о невзаимозаменяемости кодесигнативных имен в контекстах мнения. Действительно, справедливость такого вывода легче всего продемонстрировать, оставаясь в рамках теории Фреге — Рассела, поскольку в контекстах мнения кодесигнативные дескрипции просто невзаимозаменяемы, а для Фреге и Рассела имена по своей сути являются сокращенными дескрипциями и, следовательно, также невзаимозаменяемы. Однако этот простой аргумент, очевидно, не связанный с относящимся к доктрине Фреге — Рассела посылками (и часто применяющийся для поддержки их теории), фактически не может быть принят, если Фреге с Расселом правы.

Если же считать, *с легкой руки Фреге — Рассела*, что широко известные имена весьма употребительны в нашем языке, то с этим аргументом больше нет никаких проблем (в том случае, если применить к (2) принцип раскрытия кавычек). Так, представляется, что, осудив Джоунза за противоречивые мнения (явно несправедливый приговор), мы должны признать, что в контекстах мнения принцип подстановочности имен *не имеет силы*. Если бы мы применили *усиленный* принцип раскрытия кавычек, то должны были бы, опираясь на предположение об отсутствии у Джоунза намерения согласиться с утверждением *Туллий был лысым*, признать, что тот не считает (у него отсутствует мнение), что *Туллий был лысым*. Теперь несостоятельность принципа подстановочности становится еще более заметной, так как, будучи применимым к выводу *Джоунз думает, что Цицерон был лысым, но не думает, что Туллий был лысым*, он сразу же приводит к прямому противоречию. Это противоречие будет уже содержаться не во мнениях Джоунза, а в наших собственных.

Данное рассуждение, как мне представляется, было широко принято в качестве доказательства того факта, что кодесигнативные собственные имена в контекстах мнения невзаимозаменяемы. Обычно оно подразумевается молча, так что можно было бы считать, что я представил очевидный вывод как нечто сложное. Мне бы хотелось, однако, поставить под сомнение корректность приведенного аргумента, и я сделаю это, не оспаривая в нем ни одно-

го конкретного шага. Вместо него я предложу — и это будет составлять основную часть настоящей работы — доказательство существования парадокса с именами в контекстах мнения, *не апеллируя* ни к какому принципу подстановочности. Доказательство будет опираться на другие принципы — раскрытия кавычек и перевода, — принципы настолько самоочевидные, что их использование в рассуждениях, как правило, явно не оговаривается.

Предлагаемое доказательство в общем случае предполагает обращение к более чем одному языку, а это, в свою очередь, требует использования принципа перевода и традиционного руководства по переводу. Мы, однако, приведем пример, из которого будет видно, что определенная разновидность парадокса может возникнуть и внутри одного языка, например английского. Поэтому единственный принцип, к которому приходится прибегнуть, — это принцип раскрытия кавычек (или, быть может, принцип раскрытия кавычек плюс *омофонный* перевод). В этих случаях будет интуитивно абсолютно ясно, что ситуация с субъектом „по существу такая же“, как и ситуация с Джоунзом в отношении имен *Цицерон* и *Туллий*. Больше того, парадоксальные выводы относительно субъекта можно будет вполне сопоставить с выводами, сделанными о Джоунзе на основании принципа подстановочности, а сами рассуждения окажутся аналогичными тем, которые мы вели, рассматривая в качестве субъекта Джоунза. Единственное отличие состоит в том, что в ходе дальнейших рассуждений мы не будем прибегать ни к какому принципу подстановочности...

III. ЗАГАДКА

Наконец-то (!) мы подошли к загадке. Предположим, что Пьер — рядовой носитель французского языка, живет во Франции и не говорит ни на каком другом языке, кроме французского. Он, конечно, слышал о далеком городе Лондоне (который, естественно, называет „Londres“), хотя сам никогда не покидал пределы Франции. Судя по тому, что ему довелось услышать о Лондоне, он склонен думать, что Лондон — красивый город. Поэтому он произносит (разумеется, по-французски) фразу „Londres est jolie“.

Отталкиваясь от этого искреннего высказывания Пьера, мы делаем вывод, что

(4) *Пьер считает, что Лондон — красивый город.*

Я предполагаю, что Пьер отвечает всем требованиям, накладываемым на рядового носителя французского языка, и, в частности, удовлетворяет критерию, в соответствии с которым мы обычно считаем, что француз (правильно) употребляет слова „est jolie“ с целью приписать объекту соответствующее качество и что он —

в полном соответствии с существующей традицией — употребляет слово 'Londres' в качестве имени для Лондона.

Позднее Пьер, пройдя через разные — счастливые и несчастные — перипетии, переезжает в Англию, а именно в сам Лондон, хотя и в его малопривлекательную часть, где живут абсолютно необразованные люди. Пьер, как и большинство его соседей, крайне редко выезжает за пределы этой части города. Никто из его соседей французского языка не знает, так что Пьеру придется изучать английский „прямым методом“, не пользуясь какими бы то ни было переводами с английского на французский. Постоянно вращаясь среди англичан и разговаривая с ними, он в конце концов начинает овладевать английским. В частности, он, как и каждый из тех, кто проживает в этом квартале, называет город Лондон „London“.

Предположим на некоторое время — правда, чуть ниже мы увидим, что это допущение не столь существенно, — что местное население до такой степени необразованно, что знает только малую часть тех фактов, которые Пьер слышал о Лондоне, еще будучи во Франции, Пьер узнает от этих людей то, что им известно о Лондоне, однако эти сведения лишь незначительно отличаются от тех, которые были известны ему раньше. Теперь, овладев английским, он, конечно, понимает, что город, в котором живет, следует называть „London“. Как я уже говорил, живет Пьер в на редкость непривлекательном районе, и поэтому большинство из того, что ему приходится видеть и слышать, не оказывает на него никакого впечатления.

По этой же причине Пьер склонен согласиться с английским предложением:

(5) London is not pretty 'Лондон некрасивый'.

У него *нет* ни малейшего желания соглашаться с тем, что

(6) London is pretty. 'Лондон красивый'.

Пьер, разумеется, пока что отказывается признать, что был не прав, согласившись ранее с французским предложением „Londres est jolie“. Просто он считает само собой разумеющимся, что этот безобразный город, где он сейчас надолго застрял, отличается от того очаровательного города, о котором ему довелось слышать во Франции. Но Пьер вовсе не намерен менять свое мнение о городе, который по-прежнему зовет „Londres“. Вот тут-то и возникает загадка. Если рассматривать отдельно прошлый опыт Пьера как носителя французского языка, то все его языковое поведение подкрепляет сделанный выше вывод (4) — вывод о том, что он считает Лондон красивым, то есть вывод, который мы точно на том же основании могли бы сделать о многих его соотечественниках. С другой стороны, после того как Пьер какое-то

время пожил в Лондоне, он перестал выделяться среди соседей (если оставить в стороне его французский опыт и французское прошлое) как своим знанием английского языка, так и степенью владения необходимыми сведениями, касающимися местной географии. Его словарный запас английских слов стал мало отличаться от словарного запаса его соседей — англичан. Как и они, он редко отваживается покинуть мрачный квартал города, где все они живут. Как и они, он знает, что город этот называется „London“ и т. д. О соседях Пьера, естественно, говорят, что они исползуют слово „London“ для обозначения Лондона и что они говорят на английском языке. Поскольку как носитель английского языка Пьер ничем от них не отличается, мы должны были бы то же самое сказать и о нем. Но тогда, исходя из того, что Пьер искренне признал (5), мы должны заключить, что

(7) *Пьер считает, что Лондон — некрасивый город.*

Каким образом может быть описана эта ситуация? Нельзя, по-видимому, отрицать, что когда-то Пьер считал Лондон красивым — по крайней мере до того, как выучил английский. Ведь тогда он совсем не отличался от своих многочисленных соотечественников, и у нас были точно такие же основания говорить о нем, как и о любом из его соотечественников, что он считает Лондон красивым городом: если некий француз, не знавший ни слова по-английски и никогда не бывавший в Лондоне, думал, что Лондон красивый, то этим французом был Пьер. Столь же неправдоподобным выглядит заключение — *из-за позже* возникшей ситуации, когда Пьер выучит английский, — что он в *прошлом никогда* не считал Лондон красивым. Допуская такие *ex post facto* выводы, мы ставим под сомнение возможность приписывать определенное мнение *всем* французам-монолингвам. Мы вынуждены были бы говорить о Мари, владеющей одним только французским языком и твердо и искренне утверждающей „Londres est jolie“, что она может считать или не считать Лондон красивым в зависимости от каких-то будущих событий своей жизни (если позже она выучит английский и т. д., и т. п.). Нет, Пьер, как и Мари, считал Лондон красивым, когда знал только один язык.

Должны ли мы сказать, что теперь, когда Пьер живет в Лондоне и владеет английским языком, он больше не считает, что Лондон красивый? Допустим, что это так. Очевидно, что Пьер уже однажды считал, что Лондон красивый. Поэтому нам пришлось бы говорить, что Пьер *изменил свое мнение, отбросил прежнее мнение*. Но действительно ли он изменил свое мнение? Его ведь отличает постоянство привычек и действий. Он все время переводит решительно *каждое* сделанное им когда-либо на французском языке утверждение на английский. Он заявляет, что никогда ни

в чем не менял своих планов, *не* отказывался от своих мнений и убеждений. Можем ли мы утверждать, что здесь Пьер ошибается? Если бы мы не знали историю его жизни в Лондоне и высказываний, сделанных им на английском языке, то, исходя из его знания французского, мы *вынуждены были бы* заключить, что Пьер все еще считает Лондон красивым. И, как нам представляется, это заключение было бы абсолютно корректным. Пьер не менял никаких взглядов или намерений и не отказался от мнений, которые имел, живя во Франции.

Аналогичные трудности ожидают всякого, кто попытается опровергнуть наличие у Пьера нового мнения. Если пренебречь его французским прошлым, Пьер точно такой же, как и его новые приятели в Лондоне. О всяком другом человеке, выросшем в Лондоне и имеющем такие же знания и мнения, какие Пьер выражает на английском языке, мы бы, очевидно, вынесли суждение, что тот думает, что Лондон — некрасивый город. Можно ли утверждать, что Пьер по причине своего французского происхождения на него электрошоком он начисто забыл французский язык, все, чему обучался во Франции, и свое французское прошлое. Тогда он стал бы в точности таким, как его соседи в Лондоне. У него были бы те же знания, мнения и языковые способности. В этом случае мы, вероятно, *вынуждены были бы* сказать, что Пьер считает Лондон безобразным городом, раз мы говорим, что так считают его соседи по кварталу. Но, безусловно, никакой шок, уничтоживший часть воспоминаний и знаний Пьера, *не может заставить* его думать иначе. Если Пьер *после* шока считает, что (5), то он думал так и раньше, несмотря на свой французский язык и французское происхождение.

Если бы мы отрицали наличие у Пьера (в его статусе билингва) как мнения, что Лондон красивый, так одновременно с этим *и* мнения, что Лондон некрасивый, нам пришлось бы столкнуться со всеми трудностями обоих предыдущих случаев. Мы по-прежнему должны были бы полагать, что когда-то Пьер считал Лондон красивым городом; но теперь он так не считает, хотя сам искренне отрицает, что перестал так считать. Нас также должно было бы беспокоить следующее: сможет ли Пьер *приобрести* мнение, что Лондон — некрасивый город, если он полностью забыл свое французское прошлое. В общем, это описание не может нас полностью удовлетворить.

Таким образом, представляется, что нам следует принять во внимание и французские высказывания Пьера и их английские эквиваленты. Поэтому приходится признать, что Пьер обладает противоречащими друг другу мнениями, то есть что он считает Лондон одновременно красивым *и* некрасивым. Однако рассмотрение

этой альтернативы также приводит к непреодолимым препятствиям. Мы можем предположить, что несмотря на неприятную ситуацию, в которой Пьер оказался, он является выдающимся философом и логиком. Он *никогда* не пропускает мимо себя противоречий. И безусловно верно, что всякий человек, будь то великий логик или нет, в принципе всегда замечает противоречия и исправляет противоречивые мнения, если ими обладает. Именно по этой причине мы рассматриваем противоречащих самим себе людей как объекты, достойные большего осуждения, по сравнению с теми, которые просто имеют ложные мнения. Очевидно, однако, что раз Пьер не знает, что города, которые он называет „London“ и „Londres“ — это один и тот же город, он не может с помощью одной только логики увидеть, что по меньшей мере одно из его мнений должно быть ложным. И не хватает ему вовсе не логической изобретательности, а информации. Его нельзя обвинить в противоречии; поступить так было бы неправильным.

Картина еще более прояснится, если мы изменим исходную ситуацию. Предположим, что Пьер, находясь во Франции, вместо того, чтобы утверждать „Londres est jolie“, делает более осторожное утверждение: „Si New York est jolie, Londres est jolie aussi“ ‘Если Нью-Йорк красивый, то Лондон тоже красивый’, то есть он считает, что *если* Нью-Йорк — красивый город, то и Лондон также красивый. Позднее Пьер переезжает в Лондон, овладевает, как и раньше, английским языком и произносит по-английски следующую фразу: „London is not pretty“ ‘Лондон — некрасивый город’. Так что теперь он считает Лондон *некрасивым* городом. Исходя из двух посылок, каждая из которых входит в состав его мнений: (а) Если Нью-Йорк красивый, то Лондон тоже красивый и (б) Лондон некрасивый, — Пьер должен по правилу *modus tollens* заключить, что Нью-Йорк — некрасивый город. Но сколь далеко бы ни простиралась логическая проницательность Пьера, *он на самом деле не может вывести такого заключения, потому что считает, что слова „Londres“ и „London“ могут обозначать два разных города.* Если бы Пьер такое заключение сделал, то его можно было бы обвинить в том, что заключение это ошибочное.

Интуитивно Пьер вполне мог подозревать, что Нью-Йорк — красивый город, и именно это предположение могло бы натолкнуть его на мысль, что слова „Londres“ и „London“ называют, видимо, разные города. Тем не менее, если придерживаться обычной практики передачи мнений людей, говорящих на французском и английском языках, то нужно предположить, что *в распоряжении Пьера (среди его мнений) имеются обе посылки правила modus tollens, позволяющие заключить, что Нью-Йорк — некрасивый город.*

И снова нам хочется особо подчеркнуть, что у Пьера *нет* мне-

ния. Он, как я уже говорил, не намерен соглашаться с утверждением (6). Давайте остановим свое внимание именно на этом обстоятельстве, игнорируя его намерение согласиться с утверждением (5). В действительности, если мы того захотим, мы можем еще раз изменить ситуацию. Предположим, что соседи Пьера считают, что поскольку они так редко выезжают куда-либо из своего ужасного района, у них нет никакого права судить о красоте всего города, и кроме того, предположим, что Пьер разделяет их мнение. Тогда, раз он не реагирует положительно на утверждение *Лондон — красивый город*, то судя по его поведению как носителя *английского языка*, можно думать, что у него отсутствует мнение о красоте Лондона, причем неважно, считает он, что Лондон — красивый город (как в исходной ситуации), или настойчиво утверждает, что у него нет твердого мнения на сей счет (как в неизменной ситуации).

Теперь, воспользовавшись *усиленным* принципом раскрытия кавычек, легко обнаружить противоречие не только в суждениях Пьера, но и в наших собственных. А именно, опираясь на поведение Пьера как носителя *английского языка*, мы делаем вывод, что он *не считает* Лондон красивым (другими словами, неверно, что он считает, что Лондон красивый). Однако, если исходить из поведения Пьера как носителя *французского языка*, то следует заключить, что на самом деле он *считает*, что Лондон — красивый город. Это и есть противоречие²⁷.

Итак, мы рассмотрели четыре возможных способа, характеризующие поведение Пьера на тот момент, когда он находится в Лондоне: (а) когда Пьер в Лондоне, мы больше не принимаем во внимание его французское высказывание „Londres est jolie“, то есть больше не приписываем ему соответствующее мнение; (б) мы не принимаем во внимание его английское высказывание (или не принимаем во внимание отсутствие высказывания); (в) не принимаем во внимание оба высказывания и, наконец, (г) принимаем во внимание оба высказывания. Видимо, каждый из этих способов вынуждает нас произнести явную ложь или какие-то противоречивые суждения. Между тем представленные способы, по всей вероятности, логически исчерпывают все мыслимые возможности. Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом, загадкой.

²⁷ Здесь, как и в случае с человеком, который соглашается с утверждением *Джоунз — доктор*, но не с утверждением *Джоунз — врач*, нельзя отказаться от применения принципа раскрытия кавычек на том основании, что человек может недостаточно свободно владеть языком или часто совершает языковые или смысловые ошибки. Поскольку Пьер не знает, что имена 'Londres' и 'London' кодесигнативны, то, когда он утверждает *Londres est jolie*, но отрицает *London is pretty* 'Лондон — красивый город', совсем не обязательно думать, что ему не хватает необходимого знания языка или что он склонен совершать языковые или понятийные ошибки.

У меня нет ясного представления о том, как ее разрешить. Стоит, однако, предостеречь читателя от иллюзии, которая может стать первопричиной дальнейшей путаницы. То обнаруживаемое обстоятельство, что некоторый другой язык, обходящий вопрос, считает ли Пьер Лондон красивым, может оказаться достаточным для описания всех релевантных фактов, само по себе еще не является решением проблемы. Я отчетливо понимаю, что возможны прямые и исчерпывающие описания этой ситуации, и в этом смысле парадокса никакого нет. Пьер расположен искренне согласиться с тем, что „*Londres est jolie*“, но не с тем, что „*London is pretty*“. Французским и английским языками он владеет неплохо, однако, связывая с именами „*Londres*“ и „*London*“ свойства, достаточные для определения знаменитого города, он не понимает, что они указывают на один и тот же город. (А его употребление имен „*Londres*“ и „*London*“ исторически (каузально) связано с одним и тем же городом, однако Пьер этого не осознает.) Мы можем даже грубо представить себе мнения Пьера: Пьер считает, что город, который он называет „*Londres*“, красивый, а город, который он называет „*London*“, нет. Возможны, очевидно, и другие описания, причем некоторые из них в определенном смысле могут быть отнесены к *полным* описаниям данной ситуации.

Несмотря на это, ни одно из таких описаний не отвечает на первоначально поставленный вопрос: считает Пьер или не считает Лондон красивым городом? Мне не известно ни одного ответа на *этот вопрос*, который можно было бы считать удовлетворительным. Приводить же в качестве возражения тот аргумент, что на каком-то *другом языке* можно описать „все релевантные факты“, совсем не означает дать ответ на поставленный вопрос.

Повторяю, мы столкнулись с загадкой: считает Пьер или не считает Лондон красивым? Очевидно, что традиционный критерий приписывания субъекту мнений, будучи примененным в *этом* случае, приводит к парадоксам и противоречиям. Один такой набор правил, достаточных, чтобы приписать мнения в обычных ситуациях, но ведущих к парадоксу в случаях типа рассматриваемого, был изложен нами в разделе 2; возможны и другие формулировки правил. Как это бывает в ситуациях с логическими парадоксами, настоящая загадка представляет собой проблему для обычно принимаемых постулатов, и потому естественным и понятным, с интуитивной точки зрения, выглядит желание сформулировать такие принципы, которые были бы вполне приемлемы и не приводили к парадоксам, а также подкрепляли бы все те выводы, какие мы обыкновенно делаем в подобных ситуациях. Такое желание, однако, нельзя реализовать, просто описав ситуацию с Пьером и обойдя вопрос, считает ли он Лондон красивым.

Один из аспектов рассматриваемой проблемы может навести

на ложную мысль о возможности использовать здесь идею Фреге — Рассела о том, что каждый говорящий связывает с каждым именем свои дескрипции или свойства. Например, так, как это сделал я, описав ситуацию, в которой Пьер узнал *один* набор фактов о городе, называемом „Londres“, когда был во Франции, а *другой* набор фактов о городе, называемом „London“, когда попал в Англию. Может поэтому показаться, «что в действительности происходит» вот что: Пьер считает, что *город*, удовлетворяющий *одному множеству свойств, является красивым*, а *город*, удовлетворяющий *другому множеству свойств, является некрасивым*.

Как мы только что отметили, фраза «в действительности происходит вот что», служит опасным сигналом при обсуждении парадокса. Допустим на минуту, что сформулированные нами условия позволяют определить, «что происходит на самом деле». Они, однако, совсем не решают проблемы, с которой мы начали, то есть проблемы поведения имен в контекстах мнения: считает Пьер или нет, что Лондон (не город, отвечающий таким-то и таким-то дескрипциям, а *Лондон*) красивый? На этот вопрос ответ мы еще не получили.

Тем не менее эти рассуждения, как нам кажется, показывают, что дескрипции или приписанные объекту свойства играют весьма существенную роль в окончательном решении проблемы. Дело в том, что на данной стадии загадка, как нам представляется, возникает из-за того, что Пьер изначально связал с именами „London“ и „Londres“ разные идентифицирующие свойства. В этом предположении есть свой резон, несмотря на хорошо известные аргументы против идентифицирующих дескрипций как „определяющих“ или даже каким-то способом „фиксирующих референцию“ различных имен. На самом деле, как я уже подробно об этом говорил, разные признаки, приписываемые именам, здесь вводят в заблуждение, ибо загадка может появиться и тогда, когда Пьер связывает с обоими именами в точности одни и те же идентифицирующие свойства. Во-первых, это доказывают приведенные выше соображения об именах *Цицерон* и *Туллий*. Например, Пьер, живя во Франции, вполне мог бы выучить слово *Platon* ‘Платон’ и узнать, что оно обозначает выдающегося греческого философа, а позднее, в Англии, выучить слово *Plato* ‘Платон’ и узнать, что оно обозначает того же самого человека. В такой ситуации может возникнуть та же загадка. Пьер, находясь во Франции и владея одним только французским языком, мог бы считать, что Платон был лысым (он бы сказал: „*Platon était chauve*“ ‘Платон был лысым’), а позже высказать на английском предложение „*Platon was not bald*“ ‘Платон не был лысым’, показывая, таким образом, что считает или подозревает, что Платон не был лысым. Ему нужно лишь предположить, что, несмотря на сходство двух

имен, человек по имени „Platon“ и человек по имени „Plato“ — это два разных выдающихся греческих философа. В принципе то же самое могло бы случиться и с именами „London“ и „Londres“.

Конечно, большинству из нас известна хоть одна *определенная* *описание* Лондона, например: „самый большой город в Англии“. Может ли и в таком случае возникнуть загадка, о которой идет речь? Примечательно, что и здесь она может возникнуть, даже если Пьер связывает с именами „Londres“ и „London“ *одни и те же уникальные идентифицирующие свойства*. Каким же образом это может произойти? Хорошо, предположим, что Пьер считает, что Лондон — это самый большой город (и столица) в Англии, что в Лондоне находится Бэкингемский дворец, резиденция королевы Англии, и пусть он (правильно) считает, что все эти свойства вместе обеспечивают уникальную референцию к городу. (Самое лучшее тут предполагать, что Пьер никогда не видел Лондона или вообще Англии, так что он использует для идентификации города *только* эти свойства. Тем не менее, английский язык он выучил „прямым методом“.) После того, как Пьер выучил английский, он приходит к выводу о необходимости связать эти создающие уникальную референцию свойства с именем „London“ и выражает соответствующие мнения о Лондоне на английском языке. Раньше, когда он не говорил ни на каком другом языке, кроме французского, он тем не менее связывал с именем „Londres“ *точно* такие же уникально идентифицирующие свойства. Пьер считал, что город „Londres“, как он его тогда называл, мог бы быть однозначно идентифицирован как столица Англии, как город, где находится Бэкингемский дворец, как город, где живет королева Англии, и т. д. Как и большинство французов, говорящих только по-французски, Пьер выражал все свои мнения на французском языке. Так, он воспользовался именем „Angleterre“ для обозначения Англии, именем „Le Palais de Buckingham“ (произносится это имя как „Bookeengam“) — с для обозначения Бэкингемского дворца и „La Reine d'Angleterre“ — для обозначения королевы Англии. Но если о каком-нибудь не знаем английском языке французе можно сказать, что он связывает с именем „Londres“ такие свойства, как „быть столицей Англии“ и пр., то это о Пьере в тот период, когда тот был монолингвом.

Когда же Пьер овладел еще и английским языком, стал билингвом, должен ли был он тогда прийти к выводу, что имена „Londres“ и „London“ обозначают один и тот же город при условии, что он определил, что значит каждое имя, приписав ему *одни и те же уникально идентифицирующие свойства*?

Как это ни удивительно, ответ на этот вопрос — нет! Предположим, Пьер утверждал: „Londres est jolie“. Если бы у него была хоть какая-то причина — даже простое интуитивное ощущение

или, быть может, фотография, на которой изображен отвратительный район, являющийся, как сказали (по-английски) Пьеру, частью Лондона, — чтобы утверждать „London is not pretty“ ‘Лондон — некрасивый’, то ему не нужно было бы противоречить самому себе. Ему надо было лишь сделать вывод, что имена „England“ (англ. ‘Англия’) и „Angleterre“ (франц. ‘Англия’) называют две разные страны, что „Buckingham Palace“ ‘Бэкингемский дворец’ и Le Palais de Buckingham ‘Бэкингемский дворец’ (вспомним произношение этих слов!) — это имена двух разных дворцов и т. д. Тогда Пьер смог бы отстаивать истинность обоих мнений, не впадая в противоречие, и трактовать эти свойства как обеспечивающие однозначную референцию.

Дело обстоит таким образом, что загадка возникает вновь, так сказать, на уровне „уникально идентифицирующих свойств“, которые рассматривались учеными, занимавшимися дескрипциями, как „определяющие“ имена собственные (и a fortiori фиксирующие их референцию). А тогда наиболее разумным будет предположить, что если два имени A и B и множество свойств S таковы, что некоторый носитель языка считает, что референты этих имен однозначно определяются всеми свойствами из S , то тем самым он принимает на себя обязательство считать, что имена A и B имеют один референт. На самом деле, тождество референтов у A и B является тривиальным *логическим следствием* его мнений.

Из этого исследователи дескрипций делали вывод, что имена, когда они „определяются“ одинаковыми уникально идентифицирующими свойствами, можно считать синонимичными и потому взаимозаменяемыми *salva veritate* даже в контекстах мнения.

Мы уже видели, что определенную трудность представляет тот факт, что множество свойств S в действительности не обязательно должно быть множеством уникально идентифицирующих свойств. Однако в обсуждаемой нами парадоксальной ситуации есть еще одна необычная трудность, даже если считать, что допущение исследователей дескрипций (о том, что носитель языка считает S множеством уникально идентифицирующих свойств) справедливо. Как мы только что видели, Пьер не в состоянии сделать обычные логические выводы из объединенного множества утверждений, которые можно было бы назвать его мнениями, если мы будем отдельно рассматривать его как носителя английского и как носителя французского языков. Пьер не может вывести противоречий из своих двух мнений, то есть из мнений, что Лондон красивый и некрасивый одновременно. Точно так же в модифицированной нами ситуации он не в состоянии сделать естественный вывод из своих мнений с использованием правила *modus tollens*, что если Нью-Йорк красивый, то Лондон красивый и некрасивый одновременно. Аналогично и здесь, если мы будем обращать вни-

мание только на поведение Пьера как носителя французского языка (а по крайней мере в тот период, когда он владел только одним языком, он ничем не отличался от любого другого француза), то окажется, что Пьер удовлетворяет всем обычно принятым критериям, чтобы считать, что у имени „Londres“ есть референт, который однозначно определяется по свойствам „быть самым большим городом в Англии“, „быть городом, где находится Бэкингемский дворец“, и под. (Если уж Пьер не придерживался этих мнений, то навряд ли хоть один француз их придерживался.) Точно так же, основываясь на своих мнениях, выраженных уже на английском языке и возникших позднее, Пьер считает, что уникальный референт английского имени „London“ определяется по тем же самым свойствам. Пьер, однако, не может объединить оба своих мнения в одно множество, из которого он смог бы вывести обычное заключение, что имена „Londres“ и „London“ должны иметь один и тот же референт. (Сложность здесь не с „London“ и „Londres“, а с именами „England“ и „Angleterre“ и другими.) В самом деле, если бы ему удалось получить нечто, напоминающее нормальный вывод в этом и подобных случаях, он совершил бы, фактически, логическую ошибку.

Конечно, специалист по теории дескрипций может надеяться избавиться от обсуждаемой проблемы, определяя имена „Angleterre“, „England“ и др. с помощью подходящих дескрипций. Поскольку в принципе проблема эта многоуровневая, исследователь может думать, что в процессе ее анализа на разных уровнях ему удастся дойти до такого „предельного уровня“, когда определяющие имя свойства становятся „чистыми“, не содержащими собственных имен (а также термов естественных классов (natural kind terms), релятивных термов; см. об этом ниже).

Мне не известно ни одного хоть сколько-нибудь убедительного аргумента в пользу гипотезы, согласно которой можно будет достичь предельного уровня более или менее правдоподобным путем, и что свойства при этом будут продолжать оставаться однозначно идентифицирующими объект, то есть путем, при котором в составе дескрипций элиминируются все имена и сходные с ними языковые средства²⁸. Оставим в покое дальнейшие размышления на

²⁸ Наиболее вероятным было бы указанное „элиминирование“ имен, если бы я согласился, следуя эпистемологии Рассела, считать, что наш язык, будучи записанным в несокращенной нотации, полностью представлен во фрагментах, с которыми я „знаком“ в смысле Рассела. В этом случае можно утверждать, что ни один человек не говорит на языке, понятном другому человеку; в самом деле, никто не говорит на одном и том же языке дважды. Немного найдется сегодня людей, которые согласились бы с этим утверждением.

Особо следует остановиться здесь на основном аргументе. Умеренные последователи Фреге пытаются соединить его грубый подход с точкой зрения на имена как на часть нашего общего языка, считая традиционную практику межъязыко-

эту тему. Тем не менее остается тот факт, что если судить по обычно принятым критериям, то Пьер *обучился* именам „Londres“ и „London“ с помощью одного и того же множества идентифицирующих свойств, но загадка даже в этом случае не исчезает.

Так все-таки есть ли хоть какой-нибудь способ избавиться от нее? Кроме принципов раскрытия кавычек и перевода, мы опирались в своих рассуждениях только на обычную практику перевода с французского языка на английский. Поскольку принципы раскрытия кавычек и перевода кажутся самоочевидными, легко соблазниться считать источником наших неудач перевод французского предложения „Londres est jolie“ английским предложением ‘London is pretty’, а в пределе и перевод имени „Londres“ словом ‘London’²⁹. Может быть, уместно позволить себе предположить, что, строго говоря, „Londres“ нельзя переводить как ‘Lon-

вого перевода и интерпретации вполне корректной. Проблемы, о которых идет речь в данной статье, говорят о том, что разработать необходимое понятие смысла, которое принималось бы всеми членами общества и которое позволило бы успешно осуществить намеченную программу, крайне сложно. Ученые, придерживающиеся крайних взглядов Фреге (в том числе сам Фреге и Рассел), полагают, что, вообще говоря, имена принадлежат идиолектам. Следовательно, ими отрицается существование общего правила, в соответствии с которым имя „Londres“ на английский переводится словом ‘London’, и даже возможность перевода одного употребления имени London в другое. Между тем, раз они вслед за Фреге трактуют смыслы как „объективные сущности“, то они обязаны признать, что в принципе правомерно говорить о двух носителях разных идиолектов, каждый из которых в своем идиолекте использует оба имени с одним и тем же смыслом, и что должны существовать (необходимые и) достаточные условия того, когда это имеет место. Если условия тождественности смыслов имен выполнены, то перевод одного имени в другое закончен, в противном случае — не закончен. Эти рассуждения (а также их распространение на термы естественных классов и релятивные термы; см. дальше в тексте) показывают, однако, что понятие тождества смыслов тогда, когда оно эксплицировано в терминах одинаковых идентифицирующих свойств и когда сами свойства выражены на языках двух соотносимых друг с другом идиолектов, приводит к такого же рода проблемам интерпретации, к каким приводят сами имена. Если последователь Фреге неспособен предложить метод для установления тождества смыслов, свободного от всех таких проблем, то у него в распоряжении нет ни достаточных условий для определения тождества смыслов, ни условий, при которых перевод одного имени в другое был бы признан адекватным. Следовательно, он, в противоположность намерениям самого Фреге, вынужден утверждать, что на практике не только мало что употребляет одинаковые по смыслу собственные имена, но и что в принципе бессмысленно сопоставлять смыслы друг с другом. Точка зрения, согласно которой применяемые для определения смыслов идентифицирующие свойства всегда должны быть различимы в расселовском языке, „логически собственных имен“, является, видимо, верной и открывает один из путей к решению проблемы, однако за ней стоят сомнительные философия языка и эпистемология.

²⁹ Если кто-нибудь из читателей сочтет неудачным использование термина „перевод“ по отношению к именам, то позвольте напомнить, что единственное, что я здесь имею в виду, — это то, что французские предложения со словом „Londres“ единообразно переводятся на английский предложениями со словом „London“.

don'? Очевидно, что это лишь уловка отчаяния: ведь перед нами стандартный перевод одного имени в другое, перевод, которому обучаются наравне с другими общепринятыми переводами французских слов на английский язык. В действительности же именно слово „Londres“ введено во французский язык как французская версия английского слова 'London'.

Ввиду того, что наше положение выглядит совсем критическим, остановимся все же на этой безнадежной и невероятной уловке чуть подольше. Если имя 'Londres' — это *неправильный* перевод английского „London“, то при каких же условиях собственные имена могут быть переведены с одного языка на другой?

Классические теории дескрипций предлагают ответ на этот вопрос. Перевод, строго говоря, производится с одного идиолекта на другой. Имя в одном идиолекте может быть переведено на другой идиолект тогда (и только тогда), когда носители обоих идиолектов связывают с этими двумя именами одни и те же уникально идентифицирующие свойства. Мы, однако, уже видели, как предлагаемое ограничение такого рода не только явно не отражает существующей традиционной практики перевода и косвенного пересказа, но даже и не пытается воспрепятствовать появлению парадокса³⁰.

Итак, мы все же хотим ввести подходящее ограничение. Давайте больше не обращаться к идиолектам, а вернемся снова к словам „Londres“ и „London“, именам собственным, относящимся, соответственно, к французскому и английскому языкам — языкам двух сообществ людей. Если 'Londres' является неправильным переводом слова „London“, то какой перевод будет лучше? Предположим, что я ввел во французский другое слово, оговорив, что оно всегда будет использоваться в качестве переводного эквивалента английского слова „London“. Не возникнет ли с этим словом той же проблемы? Единственно возможное, наиболее радикальное решение в этом направлении — потребовать, чтобы каждое предложение с именем собственным переводилось на другой язык предложением, содержащим фонетически тождественное имя. Так, если Пьер утверждает, что „Londres est jolie“, то мы как носители английского языка можем самое большее заключить, что Пьер считает Londres красивым. Этот вывод, естественно, невыра-

³⁰ Возникновение парадокса было бы невозможно, если бы мы потребовали, чтобы носители идиолектов определяли имена с помощью одних и тех же свойств, выраженных одними и теми же словами. В обосновании классических теорий дескрипций не содержится ничего такого, что оправдывало бы появление этого последнего оборота. В рассматриваемом здесь случае с французским и английским языками сказанное равносильно утверждению о том, что ни „Londres“, ни любое другое мыслимое французское название нельзя перевести на английский словом 'London'. Это положение мною будет подробно рассмотрено непосредственно в тексте.

зим на английском языке; его можно передать лишь на языке, представляющем собой смесь английского с французским. Оставаясь в рамках принятой здесь концепции, мы совсем не можем выразить мнение Пьера на английском языке³¹. Аналогично, мы должны были бы сказать: Пьер считает, что Angleterre — это монархическое государство, Пьер считает, что Platon писал диалоги и т. п.³².

Такое „решение“ сначала кажется весьма эффективным средством против нашего парадокса, однако оно чересчур грубое. Что же есть в предложениях, содержащих имена собственные, что делает их — точнее, самый важный класс таких предложений — подлинно непереводаемыми? Что делает их пригодными для выражения мнений, которые нельзя передать больше ни на каком другом языке? В лучшем случае для их передачи на другой язык необходимо воспользоваться смесью из двух языков, когда имена из одного языка введены в другой. Это предложение противоречит повседневной практике перевода, и само по себе с первого же взгляда кажется слишком неестественным.

Однако, несмотря на то, что такое „решение“ выглядит неправдоподобно, для его обсуждения имеются вполне достаточные мотивы. Нам в нашей повседневной практике перевода предложений с одного языка на другой приходится переводить некоторые имена известных людей и особенно часто географические названия, поскольку для этих имен в разных языках имеются разные эквиваленты. Между тем для большого числа имен, и, прежде всего, имен людей, это не так: одно и то же имя человека может фигурировать в предложениях всех естественных языков. Это вынуждает нас в дальнейшем делать *всегда* то, что мы сейчас делаем *изредка*.

По-настоящему радикальный характер предложенного ограничения обнаруживается тогда, когда мы начинаем сознавать, как далеко оно может нас завести. В работе [1] я показал, что имеются важные аналогии в поведении собственных имен и термов естественных (natural kind terms) классов, и кажется, что настоящая

³¹ Смесь из двух языков (напоминающая грамматически неправильные „полупредложения“ одного языка) не обязательно должна быть непонятной, хотя она и представляет собой паллиативное языковое образование без жестко фиксированного синтаксиса.

„If God did not exist, Voltaire said, *il faudrait l'inventer*“.

„Если бы бога не существовало, — сказал Вольтер, — *его следовало бы придумать*“.

³² Если бы мы сказали: „Пьер считает, что страна, которую он называет ‘Angleterre’, является монархией“, предложение было бы английским, так как французское слово было бы не употреблено в предложении, а только упомянуто. Однако как раз по этой причине мы и не поняли смысл французского предложения-оригинала.

загадка — это еще одна ситуация, где проявляется сходство между этими именами. Патнэм, взгляды которого на имена натуральных классов во многих отношениях пересекаются с моими, в своих замечаниях подчеркнул возможность распространить данную загадку на имена натуральных классов. Заметим, что загадка распространяется на все переводы с английского языка на французский. В настоящий момент мне представляется, что Пьер, если он по отдельности изучает английский и французский языки, не пользуясь руководством по переводу с одного языка на другой, должен (если достаточно над этим поразмыслит) сделать вывод о том, что английское *doctor* 'врач' и французское *médecin*, французское *heureux* 'счастливый' и английское *happy* синонимичны или, во всяком случае, коэкстенсивны³³. Таким образом, ни одного потенциально возможного парадокса рассматриваемого типа для этих пар слов не возникает. А как обстоит дело с такими парами слов, как французским *lapin* и английским *rabbit* 'кролик' или английским *beech* 'бук' и французским *hêtre*? Можно предположить, что Пьер не является ни зоологом, ни ботаником. Он обучался каждому из языков в стране, где на нем говорит все население, а примеры, которые ему показали со словами *les lapins* и *rabbits* 'кролики', а также с *beeches* и *les hêtres*, различные. Не исключено поэтому, что Пьер будет считать, что слова *lapin* и *rabbit* или *hêtre* и *beech* обозначают разные, но поверхностно сходные виды или породы, хотя для нетренированного уха разницу между этими словами ухватить не так-то просто. (Это предположение, как считает Патнэм, выглядит весьма правдоподобным, поскольку англичанин, такой, как, например, сам Патнэм, не являющийся ботаником, может свободно употреблять в своей речи слова *beech* 'бук' и *elm* 'вяз' с их обычными (разными) значениями, хотя не может отличить одно дерево от другого³⁴. Пьер вполне мог бы заинтересоваться тем, являются ли деревья, которые он во Франции называл „*les hêtres*“, буками или вязами, при том, что он как носитель французского языка удовлетворяет всем обычным критериям носителя языка, нормально употребляющего в речи

³³ Читатель, находящийся под влиянием работы У. Куайна „Слово и объект“, может возразить, что этот вывод не является обязательным: возможно, что он переведет *médecin* как 'doctor stage' букв. 'стадия врача' или же как 'undetached part of a doctor' букв. 'неотделенная часть врача'. Если скептически настроенный приверженец Куайна сделает эмпирическое предсказание, что такого типа реакции и в самом деле могут быть получены от билингвов, то я сомневаюсь, что он будет прав. (Я не знаю, что думал сам Куайн по этому поводу, но см. „Слово и объект“, с. 74, первый абзац.)

³⁴ Патнэм приводит пример с вязами и буками в [12], перепечатанный также в его „Избранных работах“. См. у него также обсуждение других примеров на с. 139—143; см., кроме того, мои замечания по поводу „золота дурака“, тигров и т. д. в [1, с. 316—323].

слова les hêtres. Если почему-либо не годятся буки и вязы, то нетрудно подыскать более подходящие пары, как две капли воды похожих друг на друга слов, которые способен различить разве что специалист.) Коль скоро Пьер оказался в такой ситуации, то, очевидно, могут возникнуть парадоксы с кроликами и буками, аналогичные тем, которые были связаны с Лондоном. Пьер может согласиться с истинностью утверждения (со словом *lapin*), сделанного на французском языке, но отрицать его английский вариант со словом *rabbit*. Как и раньше, мы затрудняемся сказать, что же именно *думает* (believes) Пьер. Нами уже рассматривалась „строгая и философская“ реформа процедур перевода, предполагающая, что иностранные имена собственные не должны переводиться на родной язык, а скорее всегда каким-то образом приспособливаться к нему и им осваиваться. Теперь то же самое, по-видимому, мы должны будем проделать со всеми словами-именами натуральных классов. (Например, из-за парадокса не следует переводить французское слово *lapin* английским ‘*rabbit*’!) Больше этот подход, распространяемый на имена натуральных классов, невозможно отстаивать даже в слабой степени, как, например, мы делаем иногда, когда утверждаем, что это „просто“ обобщающий подход. За ним стоят слишком радикальные изменения, что мешает ему сохранить хоть какую-нибудь видимость правдоподобия.

Можно высказать еще одно соображение, которое делает предлагаемое здесь ограничение еще более неприемлемым, а именно: даже это ограничение не препятствует возникновению парадокса. Загадка появится все равно, даже если рассматривать только один язык, например английский, и фонетически тождественные знаки одного имени. Питер (как мы его теперь уже можем называть) может узнать имя ‘*Вишнеvский*’, обозначающее человека, носящего то же имя, что и знаменитый пианист. Очевидно, что, выучив это имя, Питер согласится с утверждением: *У Вишнеvского был музыкальный талант*, и мы, употребляя имя *Вишнеvский* как обычно, для обозначения музыканта, можем вывести отсюда, что

(8) *Питер думает, что у Вишнеvского был музыкальный талант.*

Чтобы сделать такой вывод, нам надо воспользоваться лишь принципом раскрытия кавычек; никакого перевода тут уже не нужно. Позже, в другом кругу людей, Питер узнает, что был какой-то Вишнеvский, политический лидер. Питер весьма скептически оценивает музыкальные способности политических деятелей и потому приходит к заключению, что существует, вероятно, два человека, живущих примерно в одно и то же время и носящих фамилию ‘*Вишнеvский*’. Употребляя слово ‘*Вишнеvский*’ для обозначения политического лидера, Питер соглашается с тем, что „*У Виш-*

невского не было музыкального таланта". Должны мы с помощью принципа раскрытия кавычек вывести, что

(9) *Питер думает, что у Вишневого не было музыкального таланта,*

или не должны? Если бы в прошлом Питер не узнал имя 'Вишнево́ский' другим путем, мы, безусловно, считали бы, что он употребляет это имя, как обычно, с обычной референцией, и с помощью принципа раскрытия кавычек вывели бы (9). В общем, ситуация близка той, которая была с Пьером и Лондоном. Однако тут ограничение, состоящее в том, что имена следует не переводить, а фонетически калькировать при переводе, помочь нам не может. Ведь у нас только один язык и одно имя. Если какое-то понятие перевода мы и привлекаем в данном случае, так это понятие омофонного перевода. Только принцип раскрытия кавычек применяется в этом случае эксплицитно³⁵. (С другой стороны, ситуация, которая была рассмотрена вначале с „двумя языками“, имела ту особенность, что к ней мог бы быть применен принцип раскрытия кавычек, даже если бы мы говорили на языках, где все имена имеют уникальную референцию и употребляются однозначно.)

Мне хотелось бы закончить этот раздел несколькими замечаниями по поводу соотношения обсуждаемой загадки и тезиса Куайна о „неопределенности перевода“ с его отказом от интенциональных идиом „пропозициональной установки“, таких, как мнение и даже непрямо́е цитирование. Тому, кто симпатизирует теории Куайна, наша загадка может показаться еще одной каплей в море воды, падающей на знакомую мельницу. Видимо, ситуация с загадкой ведет к нарушению нашей обычной, традиционной прак-

³⁵ Можно было бы сказать, что мы с Питером говорим на разных языках, так как в его идиолекте слово *Вишнево́ский* используется омонимично как имя музыканта и как имя политического лидера (при том, что в действительности это одно и то же имя), тогда как в нашем идиолекте оно употребляется однозначно — как имя музыканта — политического деятеля. В этой связи возникает вопрос: возможен ли омофонный перевод идиолекта Питера на мой? Думается, что пока Питер не услышал о существовании *Вишневого* — политического деятеля, ответ на него должен быть утвердительным, если судить по тому, как Питер употребляет (в данном случае однозначно) имя „Вишнево́ский“. Ведь он тогда ничем не отличался бы от человека, которому довелось услышать об успехах Вишневого на музыкальном поприще, не знающего, однако, о деятельности Вишневого в управлении государством. Аналогичное рассуждение применимо и к случаю, когда имя „Вишнево́ский“ используется Питером для обозначения политического деятеля, если пренебречь тем, как он употреблял это имя раньше. Эта проблема не отличается от проблемы с Пьером и в сущности остается такой же, независимо от того, описываем мы ее как ситуацию, при которой Питер удовлетворяет всем условиям применимости правила раскрытия кавычек, или как ситуацию, когда становится допустимым омофонный перевод его идиолекта на наш собственный.

тики приписывания мнений, равно как и непрямого цитирования. Никакого явного парадокса не возникает, если ту же самую ситуацию описывать в терминах искреннего согласия Пьера с разными утверждениями наряду с указанием условий, при которых он выучил данное имя. Это описание, хотя прямо и не согласуется со строгими бихевиористскими рассуждениями Куайна, вполне отвечает его взглядам на прямое цитирование как представляющее собой в каком-то смысле более „объективное“ идиоматическое выражение по сравнению с пропозициональными установками. И даже те читатели, кто, как и я, не находят слишком привлекательным отрицательное отношение Куайна к пропозициональным установкам, должны, очевидно, с этим согласиться.

Однако, хотя симпатизирующие Куайну ученые могут воспользоваться этими рассуждениями, чтобы поддержать его точку зрения, различия между приведенными примерами и теми, которыми пользовался сам Куайн для утверждения своего негативного отношения к мнению и переводу, не должны ускользнуть от нас. Мы здесь не будем применять гипотетические, выглядящие весьма экзотически системы перевода, резко отличающиеся от общепринятых, и переводить, например, французское слово „lapin“ как ‘кадр кролика’ или ‘неотъемлемая часть кролика’. Вся проблема целиком лежит внутри традиционной и привычной нам системы перевода с французского языка на английский; в одном случае парадокс возник даже внутри одного английского языка при использовании, самое большее, „омофонного“ перевода. И дело вовсе не в том, что многие разные интерпретации или переводы удовлетворяют нашему критерию, то есть что имеется, говоря словами Дэвидсона, «более чем один путь понять загадку правильно»³⁶. Трудность тут не в том, что многие суждения о мнениях Пьера передают ее правильно, а в том, что именно они-то как раз определенно передают ее *неправильно*. Непосредственное применение принципов перевода и раскрытия кавычек ко всем — французским и английским — высказываниям Пьера приводит к следующему результату: мнения, которых придерживается Пьер, противоречивы; сама по себе логика должна ему подсказать, что одно из его мнений ложно. Однако интуитивно ясно, что этот вывод не верен. Если мы вообще откажемся от применения принципов перевода и раскрытия кавычек к французским предложениям, то вынуждены будем заключить, что Пьер никогда не считал, что Лондон красивый, хотя он перед своим непредвиденным заранее переездом в Англию ровно ничем не отличался от прочих французов, говорящих на одном только французском языке. Но это же явный абсурд. Если же мы откажемся приписать Пьеру мнение о кра-

³⁶ См. [13], с. 166.

соте Лондона после того, как тот переедет в Англию, то получим контринтуитивный результат, будто Пьер изменил свое мнение и т. п. Выше был сделан обзор всех возможностей такого рода и суть не в том, что все описания в равной степени дают „хороший результат“, а в том, что они *очевидным образом неудовлетворительны*. Если же использовать нашу загадку как аргумент против позиции Куайна, то это будет аргумент совершенно другой природы, нежели те, которые приводились ранее. И даже Куайн, если он хочет ввести понятие мнения во „второй уровень“ своего канонического языка³⁷, должен рассматривать эту загадку как реальную проблему.

Неопределенность перевода и непрямого цитирования, о которой говорит Куайн, доставляет сравнительно мало хлопот приводимой схеме рассуждений о проблеме мнения; препятствие, которое якобы представляет собой неопределенность перевода, в конечном счете оказывается одним из богатств данной схемы. Существование загадки, однако, показывает, что традиционные критерии, используемые нами для приписывания субъекту мнений, в ряде случаев приводят к противоречию или по крайней мере к явной лжи. Поэтому загадка составляет проблему для любой схемы — Куайна или чьей-то еще, — то есть всех тех, кто пытается иметь дело с „логикой мнения“ на разных уровнях анализа.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какую же мораль можно извлечь из всего сказанного? Основной вывод, абсолютно не зависящий от дискуссии, которую мы вели на протяжении первых двух разделов, заключается в том, что загадка *есть* загадка. Подобно тому, как всякой теории истинности приходится иметь дело с парадоксом лжеца, так и всякая теория контекстов мнения и имен собственных непременно должна столкнуться с этой загадкой.

В первых двух разделах мы, однако, начали вести теоретические рассуждения с анализа имен собственных и контекстов мнения. Давайте еще раз вернемся к Джоунзу, который соглашается с тем, что „Цицерон был лысым“, и с тем, что „Туллий не был лысым“. Используя принцип раскрытия кавычек, философы сделали вывод, что Джоунз считает, что Цицерон был лысым, а Туллий не был. Следовательно, решили они, раз у Джоунза нет противоре-

³⁷ В работе „World and Object“ (с. 221) Куайн отстаивает идею второго уровня канонической записи, который необходим, чтобы уничтожить словесную путаницу и облегчить логические выводы». При этом он допускает пропозициональные установки, хотя и считает их «необоснованными» идиоматическими единицами, которые необходимо исключить из языка, «описывающего истинную и предельную структуру действительности».

чивых мнений, контексты мнения не являются „шекспировскими“ в смысле Гича, а именно: кодесигнативные собственные имена не являются в этих контекстах взаимозаменяемыми *salva veritate*³⁸.

Я полагаю, что загадка ситуации с Пьером убедительно показала необоснованность простого вывода. Ситуация же с Джоунзом удивительным образом напоминает то, что произошло с Пьером. Предположение, что имена *Цицерон* и *Туллий* взаимозаменяемы, приблизительно соответствует омофонному „переводу“ с английского языка на английский же, при котором имя *Цицерон* отображается на *Туллий* и наоборот, а все остальные фрагменты языка остаются неизменными. Такого рода „перевод“ действительно можно использовать для получения парадокса. Но следует ли на этом этапе возлагать ответственность за появление парадокса именно на перевод? Как правило, мы не ставим под сомнение то, что французские предложения со словом „*Londres*“ должны переводиться на английский предложениями со словом „*London*“. Однако и при таком переводе парадокса избежать не удастся. Мы уже видели, что парадокс может возникнуть даже в одном языке с одним-единственным именем собственным и что он возникает даже в случае с терминами естественных классов в двух языках (или одном).

Интуитивно абсолютно очевидно, что согласие Джоунза с высказываниями „*Цицерон был лысым*“ и „*Туллий не был лысым*“ проистекает из того же источника, что и согласие Пьера с высказываниями „*Londres est jolie*“ и „*London is not pretty*“.

Было бы неправильно, однако, считать, что во всех этих неприятных выводах относительно Джоунза повинна подстановочность. Причина здесь лежит не в какой-то особой ложности аргумента, а скорее в природе той области, в которой мы находимся. Случай с Джоунзом в точности такой же, как с Пьером: оба случая попали в ту сферу, где наша обычная практика приписывания человеку мнений, покоящаяся на принципах раскрытия кавычек и перевода или им аналогичных, весьма сомнительна.

В этой связи нужно отметить, что принципы раскрытия кавычек и перевода могут привести как к доказательству возможной подстановочности имен в контекстах мнения, так и к ее опровержению...

³⁸ Гич ввел термин „шекспировский“ после того, как привел строчку из Шекспира: „a rose|By any other name, would smell as sweet“ букв. ‘роза|при любом другом имени имела бы запах сладости’.

По-видимому, Куайн определяет контексты как „референциально прозрачные“, чтобы выразить ту мысль, что в них кореферентные имена и определенные дескрипции должны быть взаимозаменяемы с сохранением истинного значения. Гич особо подчеркивает то обстоятельство, что контекст может быть „шекспировским“, но не „референциально-прозрачным“ в смысле Куайна.

Остановимся еще на одном аспекте, связанном с именами естественных классов. Ранее мы говорили, что билингв может нормально усвоить слова „lapin“ и „rabbit“, каждое в своем языке, интересуясь тем, один это вид или два, и что этим фактом можно воспользоваться для порождения парадокса типа парадоксов с Пьером. Точно так же человек, говорящий только *по-английски*, мог бы обычным способом выучить (отдельно) слова — биологические термины *furze* ‘утесник (европейский)’ и *gorse* ‘утесник (обыкновенный)’, заинтересовавшись, один это вид или два похожих друг на друга вида. (А как насчет ‘кроликов’ и ‘зайцев’?) Такому человеку было бы легко согласиться с утверждением про ‘*furze*’ и воздержаться от согласия с аналогичным утверждением про ‘*gorse*’. Ситуация абсолютно идентична той, которая имела место с Джоунзом и именами ‘Цицерон’ и ‘Туллий’, причем ‘*furze*’ и ‘*gorse*’, равно как и другие пары терминов для одного естественного класса, обычно считаются *синонимами*.

Дело, конечно, *не в том*, что кодесигнативные имена собственные *взаимозаменяемы* в контекстах мнения *salva veritate* или что в простых контекстах они взаимозаменяемы даже *salva significatio*не, а в том, что нелепости, порождаемые раскрытием кавычек вместе с подстановочностью, в точности соответствуют тем, которые порождаются раскрытием кавычек плюс переводом или даже „одним только раскрытием кавычек“ (или: раскрытием кавычек вместе с омофонным переводом). Аналогично, хотя наша наивная практика может привести к „опровержению“ подстановочности в отдельных случаях, она также может привести и к ее „доказательству“ в ряде тех же самых случаев, как это мы уже видели двумя абзацами выше. Вступая в область парадокса, примером которой могут служить ситуации с Джоунзом или с Пьером, мы попадаем в ту сферу, где наша привычная практика построения интерпретаций и приписывания мнений подвергается самым жесточайшим испытаниям и терпит, видимо, неудачу. Так же обстоит дело и с понятиями *содержание* некоторого утверждения и *пропозиции*, выражаемой данным утверждением. При нынешнем состоянии нашего знания было бы преждевременно и даже глупо делать какие-либо положительные или отрицательные выводы относительно возможной подстановочности имен³⁹.

³⁹ Несмотря на такое официальное заявление, не исключено, что где-нибудь в другом месте я уже буду не столь категоричен и выскажу некоторые соображения на сей счет, по своему духу более позитивные.

В случае с „Утренней звездой“ и „Вечерней звездой“ (в отличие от случая с „Цицероном“ и „Туллием“), когда существуют конвенциональные, широко распространенные в обществе „смыслы“, которые закреплены за этими именами и отличаются их друг от друга (имеются по меньшей мере два разных способа „фиксировать референцию двух твердых десигнаторов“), более правдоподобно предпо-

Ничто, разумеется, в ходе этих рассуждений не мешает нам заключить, что Джоунз может искренне утверждать как то, что „Цицерон лысый“, так и то, что „Туллий не лысый“, хотя Джоунз — это нормальный носитель английского языка и употребляет в речи имена ‘Цицерон’ и ‘Туллий’ обычным образом и с обычной референцией. Аналогично могут быть описаны случаи с Пьером и другие парадоксальные ситуации. (Для тех, кто интересуется одной из моих теорий, могу добавить, что было время, когда из-за недостатка эмпирической информации люди не имели эпистемических оснований принять утверждение „Вечерняя звезда — это Утренняя звезда“, хотя последнее, тем не менее, выража-

ложить, что данные два имени в контекстах мнения не взаимозаменяемы. Следуя такому предположению, мнение о том, что *Вечерняя звезда* — это планета, есть мнение о том, что некоторое небесное тело, четко выделенное среди других тел как наблюдаемое вечером в определенное время года, является планетой; то же самое можно сказать и про *Утреннюю звезду*. Можно было бы даже утверждать, что проблем перевода типа тех, какие были в ситуации с Пьером, тут не возникает, что слово „Vesper“ следует переводить как ‘Вечерняя’, а не как ‘Утренняя звезда’. Однако против такого утверждения можно привести следующие два довода:

(а) нужно помнить, что одинаковость свойств, которые используются при установлении референции, в общем случае, видимо, не дает гарантии от парадоксов. Поэтому далеко не каждый охотно согласится с решением, сформулированным на языке свойств, фиксирующих референцию, если оно не затрагивает самого существа общей проблемы;

(б) как мне представляется, основной вопрос здесь такой: насколько существует конкретный способ установления референции для правильного обучения имени? Если родитель, которому известно о тождестве двух планет, возьмет с собой утром ребенка в поле и скажет ему (показывая на утреннюю звезду): «Вот эта звезда называется „Вечерней“», то правильно он или нет учит ребенка языку? (Несомненно, что родитель, говорящий своему ребенку: «Животные с почками называются „хордовыми“», определенно допускает ошибку, хотя экстенционально утверждение родителя вполне корректно.) Точно в той мере, в какой для правильного усвоения языка не является существенным конкретный способ установления референции, не существует и „способа представления“, различающего „содержание“ мнений об „Утренней“ и „Вечерней“ звездах. Я сомневаюсь в том, что нужно сохранить первоначальный способ установления референции при передаче имени.

Если же способ установления референции существен, то можно утверждать, что в других отношениях одинаковые мнения с именами „Утренняя“ и „Вечерняя“ звезда имеют определенные различия в „содержании“, по крайней мере в эпистемическом смысле. Таким образом, в одних случаях обычное суждение против возможной подстановочности имен может быть безоговорочно поддержано, а в других оно уже выглядит не столь очевидным, как, например, в случае с именами „Цицерон“ и „Туллий“. Мне, однако, остается не ясным, имеют ли даже такие имена, как „Вечерняя“ и „Утренняя“ звезда, общепринятые, конвенционально закрепленные „способы представления“. Тут нет необходимости занимать какую-то определенную позицию в этом вопросе — решение тут может быть разным для разных конкретных пар имен. См. короткую дискуссию по этому поводу в [1, с. 331, первый абзац].

ло необходимую истину.)⁴⁰ Неудивительно, однако, что контексты с кавычками, а точнее, те их фрагменты, что находятся внутри кавычек, не подчиняются в общем случае принципу подстановочности. И степень нашего *современного* понимания проблемы мнения не позволяет нам в такого рода ситуациях применять принцип раскрытия кавычек и выносить суждения по поводу того, когда два предложения с кавычками выражают, а когда не выражают одну „пропозицию“.

В ходе дискуссии не было высказано никаких положений, которые бы опровергали традиционное представление о контекстах мнения как „референциально непрозрачных“, если под таковыми понимать контексты, в которых не действует правило взаимозаменяемости кореферентных *определенных дескрипций* *salva veritate*. Близкий к этому вопрос состоит в следующем: верно ли, что контексты мнения являются „шекспировскими“, а не „референциально прозрачными“? (В моем представлении модальные контексты являются „шекспировскими“, но „референциально непрозрачными“.)⁴¹

Однако даже если бы мы заявили, что контексты мнения — не „шекспировские“, то вряд ли мы бы в настоящее время сумели воспользоваться этим и поддержать взгляды Фреге и Рассела на имена как носители дескриптивных „смыслов“ благодаря приданным им „уникально идентифицирующим свойствам“. Существуют хорошо известные всем аргументы против теории дескрипций, не зависящие от тех доводов, которые приводились в ходе настоящей дискуссии. Далее, положение, согласно которому различие в именах сводимо к различию в идиолектах, выглядит неправдоподобно. И, наконец, имеются аргументы — из числа тех, что содержатся

⁴⁰ Некоторые из ранее высказанных утверждений, не содержащие кавычек, типа *Прежде было неизвестно, что Вечерняя звезда — это Утренняя звезда*, могут быть поставлены под сомнение в свете приводимых в тексте статьи рассуждений (см., правда, в этой связи предыдущую сноску). Ко времени написания работы [1] я уже знал о существовании этой проблемы, но в тот период не хотел запутывать картину больше, чем это было необходимо. Во всяком случае, я считал и считаю различие эпистемической и метафизической необходимости важным и обоснованным. Больше того, я полагаю, что оно существенно для адекватного описания тех различий, которые я хотел провести.

⁴¹ По Расселу, определенные дескрипции не являются подлинно сингулярными терминами. Поэтому он счел бы понятие „референциальной непрозрачности“, опирающееся на определенные дескрипции, глубоко ошибочным. Кроме того, Рассел отстаивал тезис о подстановочности „логически собственных имен“ в контекстах мнения и других контекстах пропозициональной установки, поэтому для него эти контексты столь же прозрачны (в каком бы то ни было благопристойном философском смысле), сколь и функционально-истинностны. Независимо от взглядов Рассела многое можно сказать в защиту того тезиса, что, с философской точки зрения, принадлежность контекста к классу „шекспировских“ куда важнее — даже для того большого количества задач, ради которых Куайн и ввел свое собственное понятие прозрачных *vs*, непрозрачных контекстов.

в данной статье, — которые доказывают, что различия в ассоциированных с именами свойствах не объясняют всех проблем в любом случае. Если принять во внимание все эти соображения, а также то, что парадокс делает понятие „содержания“ в этой области расплывчатым и туманным, то становится не вполне ясным, какое отношение имеет подстановочность к спору между последователями учений Милля и Фреге.

Повторим наши выводы: философы нередко утверждали, имея в виду случай с Джоунзом и ему подобные, что контексты мнения почти безоговорочно являются „нешекспировскими“. Мне представляется, что делать такой определенный вывод сейчас несколько преждевременно и, быть может, ошибочно. Скорее случай с Джоунзом, равно как и с Пьером, лежит в той области, где наша общепринятая практика приписывания мнений испытывает огромное напряжение и может его даже не выдержать. Еще менее оправданным представляется в настоящее время — когда нет достаточно хорошего понимания природы парадоксов типа тех, о которых идет речь в данной работе, — делать какие-то важные теоретические заключения о собственных именах, исходя из утверждений о нарушении принципа подстановочности в этих контекстах. Благие законы на трудных случаях не построить.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Kripke S. Naming and necessity. — In: „The Semantics of Natural Languages“. (Davidson D. and G. Harman (eds.)). Dordrecht: Reidel, 1971.
- [2] Kripke S. Identity and Individuation. (M. Munitz (ed.)). New York: New York University Press, 1971.
- [3] Dummett M. Frege. Duckworth and Harper and Row, 1973.
- [4] Frege G. Thoughts. — In: „Logical Investigations“. Oxford: Blackwell, 1977.
- [5] Peacocke Ch. Proper names, reference, and rigid designation. — In: „Meaning, Reference, and Necessity“ (S. Blackburn (ed.)). Cambridge, 1975.
- [6] Quine. Word and Object. M.I.T. Press, 1960.
- [7] Geach P. Reference and Generality. Cornell, 1962.
- [8] Plantinga A. The Boethian Compromise. — „The American Philosophical Quarterly“, 15, 1978.
- [9] Searle J. Proper Names. — „Mind“, 67, 1958.
- [10] Mates B. Synonymity. — „University of California. Publications in Philosophy“, 25, 1950.
- [11] Mates B. Synonymity. — In: „Semantics and the Philosophy of Language“ (L. Linsky (ed.)): University of Illinois Press, 1952.
- [12] Putnam H. The Meaning of 'Meaning'. — In: „Language, Mind, and Knowledge“ (Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 7).
- [13] Davidson D. On saying that. — In: „Words and Objections“. (D. Davidson and J. Hintikka (eds.)). Dordrecht: Reidel, 1969.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ*

Пока что** мы рассмотрели один простой вариант теории иллокутивных актов, в соответствии с которым большая часть элементарных иллокутивных актов состоит из пропозиционального содержания, выражаемого некоторой иллокутивной силой, а иллокутивная сила может быть разделена на семь компонентов. Основная задача данной главы заключается в том, чтобы определить в теоретико-множественных терминах формальную природу иллокутивных сил и их компонентов и объяснить эти компоненты. Чтобы подготовить почву для этого, мы начнем с формулировок некоторых общих свойств множества контекстов произнесения и множества пропозиций.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ КОНТЕКСТОВ ПРОИЗНЕСЕНИЯ

Контекст, в котором посредством произнесения совершается иллокутивный акт, мы будем называть *контекстом произнесения*. Это понятие нужно нам в первую очередь в связи с тем, что одно и то же предложение может быть произнесено в различных контекстах, так что посредством этих произнесений будут совершены различные иллокутивные акты. Например, в одном контексте произнесение предложения „Я вернусь через пять минут“ может оказаться предсказанием, а в другом — обещанием. Более того, поскольку это предложение индексальное, вместе с его контекстом будет меняться и его пропозициональное содержание, поскольку в различных контекстах оно будет указывать на различных говорящих и на различные отрезки времени. Таким образом, контекст является одним из факторов, детерминирующих иллокутивный акт, совершаемый посредством того или иного произнесения. Контекст

* Searle J., Vanderveken D. The Foundations of Illocutionary Logic. Cambridge, 1984, Ch. 2: „Basic notions of a calculus of speech acts“.

© Cambridge University Press, 1984.

** В главе I. — Прим. перев.

произнесения с точки зрения его формализации состоит из пяти различных элементов и множеств элементов: говорящий, слушатель, время, место и, кроме того, некоторые другие характеристики говорящего, слушателя, времени и места, связанные с совершением речевых актов. Особенно существенны в данной связи психологические состояния — намерения, желания, верования и т. д. — говорящего и слушателя.

Будем называть эти дополнительные характеристики *миром произнесения*; технический язык „миров“ мы выбрали потому, что он даст нам впоследствии возможность говорить о „возможных мирах“, то есть о том, как могли бы обстоять дела, а не только о „действительном мире“, то есть о том, как обстоят дела на самом деле. Эти пять аспектов позволяют нам говорить все, что нам нужно будет сказать о контекстах произнесения. Возможные миры нужны нам в иллокутивной логике по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, для того чтобы установить точную природу иллокутивной силы произнесения, нам нужна определенная информация о говорящем, слушателе и объектах референции в мире произнесения, представление о котором удобно объяснять с помощью понятия возможного мира. Например, если говорящий, слушатель, время и место произнесения предполагаются неизменными, произнесение предложения „Выйдите из комнаты!“ может быть приказом (в некотором мире произнесения, где говорящий имеет право приказывать слушателю и апеллирует к этому своему праву при данном произнесении), а в некотором другом мире произнесения (где говорящий не обладает полномочиями отдавать распоряжения) оно может быть просто просьбой. Кроме того, попытка отдать приказание может быть успешной в одном мире произнесения и неудачной в другом мире, в зависимости от наличествующих в этих двух мирах отношений между говорящим и слушателем. С другой стороны, знание различных характеристик мира произнесения дает слушателю возможность устранить неоднозначности в понимании иллокутивных сил того или иного произнесения. Например, в ситуации, типичной для общения за обедом, слушатель будет знать, что произнесение предложения „Не можете ли вы передать соль?“ на самом деле не просто вопрос о способности собеседника передать соль, но прежде всего обращение к нему просьба. Во-вторых, пропозициональное содержание удобно объяснять с помощью понятия возможных миров потому, что пропозиция идентифицируется условиями, при которых она является истинной (или ложной) в произвольном возможном мире.

Пусть I_1, I_2, I_3, I_4 — четыре (разумеется, не пустых) множества, элементами которых являются соответственно все возможные говорящие, слушатели, моменты времени и места произнесения, и пусть W — множество всех возможных миров, в которых могли

бы быть произнесены предложения и другие выражения языка; будем называть элементы множества W *возможными мирами произнесения*. Тогда множество I всех возможных контекстов произнесения есть собственное подмножество декартова произведения этих пяти множеств. $I \subset I_1 \times I_2 \times I_3 \times I_4 \times W$. Каждый контекст произнесения $i \in I$ состоит из пяти компонентов, которые будем называть *координатами* контекста: говорящий a_i , слушатель b_i , время t_i , место l_i и мир w_i . Таким образом, $i \stackrel{\text{def}}{=} \langle a_i, b_i, t_i, l_i, w_i \rangle$. Если мы хотим рассмотреть такой контекст произнесения, который, если и отличается от контекста $i \in I$, то только тем, что он имеет место в мире произнесения $w \neq w_i$, мы часто будем сокращенно писать $i[w/w_i]$ вместо $\langle a_i, b_i, t_i, l_i, w \rangle$.

Множество I имеет следующую формальную структуру. Задано рефлексивное и симметричное бинарное отношение совместимости \succsim между возможными контекстами произнесения. Если i и $j \in I$, то „ $i > j$ “ означает, что имеется такой возможный контекст произнесения, в котором одновременно совершаются все иллокутивные акты, совершаемые в i , и все иллокутивные акты, совершаемые в j . Таким образом, говорящий мог бы совершить все эти акты в другом контексте. Отношение совместимости требуется нам в иллокутивной логике для того, чтобы задать условия успешного совершения сложных иллокутивных актов. Кроме того, на множестве I_3 временных координат контекстов из I задан линейный порядок \leq . Если $t_1, t_2 \in I_3$, то „ $t_1 \leq t_2$ “ означает, что момент времени t_1 либо предшествует моменту t_2 , либо совпадает с ним. Временное предшествование и обратное ему отношение определяются обычным образом:

$$t_1 < t_2 \quad (t_1 \text{ предшествует } t_2) \stackrel{\text{def}}{=} t_1 \leq t_2 \text{ и } t_1 \neq t_2;$$

$$t_1 > t_2 \quad (t_1 \text{ позже, чем } t_2) \stackrel{\text{def}}{=} t_2 < t_1.$$

(Линейный порядок \leq на некотором множестве — это бинарное отношение, определенное для любой пары элементов множества и обладающее свойствами (1) рефлексивности, (2) антисимметричности: если $t_1 \leq t_2$ и $t_2 \leq t_1$, то $t_1 = t_2$; и (3) транзитивности.)

Понятие возможного мира мы принимаем в качестве неопределяемого понятия иллокутивной логики. (Кстати, в точности такая же ситуация и в модальной логике, где это понятие также не определяется.) Множество W всех возможных миров содержит выделенный элемент w_0 , который является действительным миром. Можно считать, что возможный мир — это такой мир, в котором объекты действительного мира (действительные объекты) имеют иные свойства, и/или такой мир, в котором есть объекты, отличные от действительных. Действительные объекты могли бы быть иными, чем они есть, а объекты, которые не существуют, могли

бы существовать. Кроме того, наш мир мог бы развиваться в будущем многими несовместимыми друг с другом альтернативными возможными способами. Эти возможные будущие линии развития событий соответствуют различным возможным мирам, которые, как обычно говорят в модальной логике, являются „достижимыми“ из действительного мира. Поэтому на множестве \mathcal{W} , рассматриваемом в иллокутивной логике, задается бинарное отношение достижимости R . Возможный мир ω' *достижим* из мира ω (в символической записи: $\omega R \omega'$), если все законы природы, действующие в ω , действуют также и в ω' , то есть если ни одно состояние дел мира ω' не нарушает никаких физических законов мира ω . Достижимость рефлексивна: каждый мир достижим из самого себя. Физическую, или причинную, достижимость следует отличать от логической, или универсальной, достижимости. Некоторое положение дел *универсально возможно*, если имеется хотя бы один возможный мир, в котором оно имеет место. С другой стороны, положение дел *физически возможно* в мире ω , если есть хотя бы один возможный мир, достижимый из ω , в котором имеет место это положение дел. По определению, каждое положение дел, физически возможное в некотором мире, универсально возможно; однако обратное неверно, так как в различных мирах могут действовать несовместимые друг с другом законы природы. Понятие физической возможности требуется нам в иллокутивной логике потому, что способности и возможности говорящего и слушателя часто входят составной частью в предварительные условия иллокутивного акта.

Хотя нам и требуется понятие возможных миров, однако для установления иллокутивной силы произнесения и для выяснения того, является ли простой иллокутивный акт данного вида успешно совершенным, нам хватит довольно скудной информации. Нам нужно знать лишь, каких иллокутивных целей намерен достичь и фактически достигает в данном мире говорящий, какими способами достижения и с какой интенсивностью совершаются пропозициональные акты, какие при этом делаются пресуппозиции и какие психологические состояния и с какой интенсивностью выражаются в данном мире.

С каждым возможным миром $\omega \in \mathcal{W}$ связано множество $U(\omega)$, содержащее все объекты, принадлежащие данному миру. Это множество индивидов $U(\omega)$ называется *предметной областью мира ω* . Предметная область действительного мира $U(\omega_0)$ состоит из всех *действительных объектов*. Поскольку объекты, вообще говоря, существуют во времени, индексами для каждого множества $U(\omega)$ служат элементы множества I_3 времен произнесения.

Для каждого момента времени $t \in I_3$ имеется множество $U_t(\omega) \subseteq U(\omega)$, содержащее все объекты мира ω , существующие в

данное время. По определению, $U(\omega) = \bigcup_{t \in I_3} U_t(\omega)$. Каждый отдельный объект, принадлежащий предметной области одного мира, существует в данном мире в какой-то момент времени. Объединение $U = \bigcup_{\omega \in W} U(\omega)$ предметных областей всех возможных ми-

ров есть *универсум рассуждений* иллокутивной логики. Это множество, содержащее все бывшие, настоящие и будущие индивиды, существование которых возможно. По определению, говорящий и слушатель некоторого возможного контекста произнесения, мир произнесения которого есть ω , принадлежат предметной области $U(\omega)$ данного мира. Это попросту значит, говоря иными словами, что индивид, который является возможным говорящим или слушателем в некотором мире произнесения, есть объект данного мира. Следовательно, $I_1 \cup I_2 \subset U$. Множество всех возможных говорящих и слушателей, относящихся к некоторому естественному языку, входит в универсум рассуждений. I есть собственное подмножество декартова произведения $I_1 \times I_2 \times I_3 \times I_4 \times W$ именно потому, что для всех $i \in I$ выполняется условие $\{a_i, b_i\} \subset U_{t_i}(\omega_i)$. Упорядоченная пятерка $\langle a, b, t, l, \omega \rangle$ принадлежит множеству I лишь в том случае, если говорящий a и слушатель b существуют в ω в момент времени t , и a в это время находится в данном мире в месте l .

II. НЕКОТОРЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МНОЖЕСТВА ВСЕХ ПРОПОЗИЦИИ

В этом и следующем разделах мы сформулируем некоторые формальные свойства множества Pgor (пропозиций) и множества Φ (иллокутивных сил). Мы и далее будем использовать буквы $F, F_1, F_2, \dots, F', F'_1, F'_2, \dots$ в качестве переменных для иллокутивных сил, а буквы $P, P_1, P_2, \dots, P', P'_1, P'_2, \dots, Q, Q_1, Q_2, \dots, Q', Q'_1, Q'_2, \dots$ в качестве переменных для пропозиций. Иллокутивные акты вида $F(P)$ состоят из иллокутивной силы $F \in \Phi$ и пропозиции $P \in \text{Pgor}$. Таким образом два иллокутивных акта $F_1(P), F_2(Q)$ тождественны в том случае, когда и $F_1 = F_2$ и $P = Q$.

Задание общей характеристики логической формы пропозиций является основной задачей интенциональной логики, но для наших целей мы можем считать понятие пропозиции исходным неопределяемым понятием¹. И все же для построения иллокутивной логики нам нужно эксплицировать некоторые свойства пропозиций.

Во-первых, каждая пропозиция репрезентирует некоторое положение дел и имеет истинностное значение. Понимать пропози-

¹ Более подробное обсуждение этой задачи интенциональной логики см. в Van der Veken, 1982.

цию — значит знать ее условия истинности, то есть знать, какие положения дел должны иметь место, чтобы она была истинной. Пропозиция P истинна в мире ω , если положение дел, репрезентируемое ею, имеет место в данном мире. Так же, как мы говорим: «пропозиция (,что) P », мы будем также говорить и о положении дел, репрезентируемом пропозицией P : «положение дел, что P ». Пропозиция безотносительна ко времени в том смысле, что она не может быть истинной в один момент времени и ложной в другой: если она истинна, она истинна всегда; а если она ложна, то ложна всегда. Поэтому пропозиция P делит множество W всех возможных миров на два дополняющих друг друга подмножества: множество возможных миров $W_1 \subseteq W$, в котором она истинна, и множество возможных миров $W_2 \subseteq W$, в котором она ложна. Пропозиция P просто истинна, если она истинна в действительном мире ω_0 . Мы будем использовать множество $2 = \{1, 0\}$ двояким образом: во-первых, для репрезентации множества истинностных значений (1 — истинность, 0 — ложность), и, во-вторых, множества значений успешности (1 — успех, 0 — неудача). Если все пропозиции Q , принадлежащие множеству $\Gamma \subseteq \text{Pror}$, истинны в мире ω , то мы иногда будем писать $\Gamma/\omega/$. Таким образом, $\Gamma/\omega/$ в том и только в том случае, если для всех $Q \in \Gamma$ Q истинно в ω .

Некоторые пропозиции предполагают в качестве предварительного условия истинность других пропозиций. Рассмотрим известный пример: „Нынешний король Франции лыс“. Пропозиция, которую выражает произнесение этого предложения, предполагает существование в мире произнесения одного и только одного короля Франции. Символом „ $\sigma(P)$ “ будем обозначать множество всех пропозиций, которые являются пресуппозициями пропозиции P . Из всех пропозиций строго следуют их пресуппозиции, то есть если пропозиция P истинна в мире ω , то все ее пресуппозиции должны быть истинны в этом мире. Таким образом,

$$\{\omega/P \text{ истинна в } \omega\} \subseteq \{\omega/\sigma(P)/\omega/\}.$$

Для удобства будем трактовать пресуппозиции следующим образом: если пресуппозиция некоторой пропозиции ложна, то и эта пропозиция также ложна. С формальной точки зрения из этой трактовки следует, что все пропозиции либо истинны, либо ложны, а это позволяет нам использовать классическую двужначную пропозициональную логику, в которой к истинности и ложности применим закон исключенного третьего. Таким образом, каждой пропозиции $P \in \text{Pror}$ соответствует единственная (всюду определенная) функция из множества возможных миров во множество истинностных значений. Для каждого мира $\omega \in W$ P либо истинна, либо ложна в ω .

Вторая важная для нашего исследования особенность пропозиций заключается в том, что пропозициями являются содержаниями иллокутивных актов, то есть содержаниями утверждений, приказаний, обещаний, заявлений и т. д. Говорящий, совершающий иллокутивный акт с тем или иным пропозициональным содержанием, выражает тем самым некоторую пропозицию.

Этим двум свойствам пропозиций соответствуют два условия тождественности пропозиций в иллокутивной логике.

1. Условие строгой эквивалентности.

Из $P=Q$ следует, что для всех $w \in W$ P истинно в w в том и только в том случае, если Q истинно в w . Тождественные пропозиции имеют тождественные истинностные значения в одних и тех же мирах.

2. Условие иллокутивной взаимозаменяемости.

$P=Q$ только в том случае, если для всех $F \in \Phi$ иллокутивные акты $F(P)$ и $F(Q)$ имеют одни и те же условия успешного совершения.

Заметьте, что поскольку строго эквивалентные пропозиции не обязательно должны удовлетворять критерию иллокутивной взаимозаменяемости, пропозиции в теории речевых актов нельзя отождествлять, как это делается в модальной логике, с функциями из множества возможных миров в множество истинностных значений. К примеру, попросту неверно, будто бы утверждение, что два плюс два равно четырем, тождественно утверждению, что все треугольники имеют три стороны, так как несмотря на то, что оба они утверждают необходимые истины, их пропозициональные содержания различны, и мы в нашей трактовке пропозиций учитываем это различие. В нашей трактовке две пропозиции, каждая из которых необходимо истинна, могут тем не менее быть различными пропозициями. Из того, что для всех w , $P(w) = Q(w)$, не следует $P=Q$.

Наконец, еще одно свойство пропозиций, существенное для нашего исследования, заключается в том, что множество всех пропозиций замкнуто относительно некоторого ряда операций, соответствующих правилам построения сложных предложений в естественных языках (но не тождественных этим правилам). Множество Pgor содержит элементарные пропозиции и все остальные пропозиции, получающиеся в результате применения (быть может, неоднократно) тех операций, относительно которых множество Pgor замкнуто. Одна из задач интенциональной логики заключается в том, чтобы охарактеризовать логическую форму элементарных пропозиций и формальные свойства всех операций, порождающих сложные пропозиции. По определению, каждому возможному миру w соответствует одно и только одно множество w элементарных пропозиций, истинных в этом мире. Таким образом,

$w_1 = w_2$ в том и только в том случае, если $w_1 = w_2$. Многие, хотя и не все, элементарные пропозиции являются временными в том смысле, что они истинны в том и только в том случае, если определенные индивидные объекты имеют определенные свойства в определенный момент времени $t \in I_3$. Но поскольку указание на время включено в состав самой пропозиции, ее истинностное значение безотносительно ко времени.

Зададим теперь некоторые существенные для логического анализа иллокутивных актов операции над пропозициями.

Если P и Q — пропозиции, t — момент времени, а u — индивид, принадлежащий универсуму рассуждений, то $\sim P$, $(P \rightarrow Q)$, $\Box P$ и $*\diamond P$ — новые сложные пропозиции, которые являются функциями от P и Q (если Q входит в них). Условия истинности этих новых пропозиций задаются обычным образом:

(i) *Операция функционально-истинностного отрицания* \sim .

Пропозиция $\sim P$ истинна в мире w в том и только в том случае, если P ложно в данном мире.

(ii) *Операция материальной импликации* \rightarrow .

Пропозиция $(P \rightarrow Q)$ истинна в мире w в том и только в том случае, если P ложно в w или Q истинно в w .

(iii) *Операция универсальной необходимости* \Box .

Пропозиция $\Box P$ истинна в мире w в том и только в том случае, если P истинна во всех возможных мирах $w' \in W$.

(iv) *Операция физической возможности* $*\diamond$ ².

$*\diamond P$ истинно в мире w в том и только в том случае, если P истинно хотя бы в одном мире w' , достижимом из w .

(v) *Понятия действия и (субъективных) оснований.*

² Далее из соображений удобства мы будем использовать следующие сокращения:

$$(P \& Q) \stackrel{\text{def}}{=} \sim (P \rightarrow \sim Q)$$

$$(P \vee Q) \stackrel{\text{def}}{=} \sim (\sim P \& \sim Q)$$

$$(P \leftrightarrow Q) \stackrel{\text{def}}{=} (P \rightarrow Q) \& (Q \rightarrow P); (P \rightarrow *Q) \stackrel{\text{def}}{=} \Box (P \rightarrow Q)$$

$$(P * \leftrightarrow *Q) \stackrel{\text{def}}{=} (P \rightarrow *Q) \& (Q \rightarrow *P)$$

$$\diamond P \text{ ('универсально возможно, что } P') \stackrel{\text{def}}{=} \sim \Box \sim P.$$

$$\boxed{P} \text{ ('физически необходимо, что } P') \stackrel{\text{def}}{=} \sim * \diamond \sim P.$$

В соответствии с этими определениями, $\&$ — это операция конъюнкции, \vee — операция дизъюнкции, \leftrightarrow — операция материальной эквивалентности, а $\rightarrow *$ и $* \leftrightarrow *$ — операции строгой импликации и строгой эквивалентности.

Наконец, нам необходимо ввести в иллокутивную логику два новых понятия: понятие *действия* и понятие (*субъективного*) *основания* — „теоретического“ или „практического“. Совершая действие, агент намеренно причиняет то или иное положение дел, репрезентируемое некоторой пропозицией; имея для этого (субъективное) основание, агент имеет тем самым „оправдание“ (адекватное или неадекватное) либо для самого действия (практическое основание), либо для предположения, что соответствующая пропозиция истинна (теоретическое основание). Оба эти понятия нужны нам в иллокутивной логике постольку, поскольку речевые акты и сами являются действиями и находятся в различных отношениях к другим действиям, а кроме того, речевой акт может как создавать основания, так и требовать предъявления оснований, то есть оправданий. Мы выражаем эти два понятия следующим образом. Для каждого индивида u и пропозиции P мы задаем две сложных пропозиции δutP и ρutP со следующими условиями истинности: δutP истинно в мире w в том и только в том случае, если u в момент времени t в w делает нечто такое, в результате чего P оказывается истинным в w , а ρutP истинно в мире w в том и только в том случае, если u в момент времени t в w имеет либо (теоретические) основания предполагать, что P истинно в w , либо (практические) основания совершить действие, в результате которого P будет истинно в w .

(vi) *Операции, соответствующие определенным психологическим состояниям: пропозициональные установки.*

Некоторые психологические состояния, обладающие пропозициональным содержанием, например верования, желания, намерения, сожаления и т. п., то есть так называемые пропозициональные установки, важны для иллокутивной логики, поскольку они играют существенную роль в совершении речевых актов. Эти психологические состояния имеют вид $m(P)$, где m — тип психологического состояния, а P — пропозициональное содержание. Поэтому в дополнение к перечисленным выше операциям над пропозициями мы введем еще одно множество операций, соответствующих типам психологических состояний, содержанием которых являются пропозиции. Если M — множество всех типов таких психологических состояний, то каждому типу $m \in M$ и каждой пропозиции P соответствует для каждого индивида u и момента времени t некоторая новая пропозиция $mutP$, истинная в мире w в том и только в том случае, если u в момент времени t в w имеет психологическое состояние типа m с пропозициональным содержанием P . Учитывая центральную роль верований, намерений и желаний, введем три специальных константы — „Bel“, „Int“ и „Des“, — обозначающие

соответственно типы верования, намерения и желания. Таким образом, в нашей системе обозначений $BelutP$ есть пропозиция со следующим содержанием: лицо u в момент времени t полагает, что P ; $IntutP$ — пропозиция с содержанием: u в момент времени t намеревается, что(бы) P , и $DesutP$ — пропозиция с содержанием: u в момент времени t желает, чтобы P . Формальное определение условий истинности для таких пропозиций — это задача логики пропозициональных установок.

Поскольку каждой паре вида $m(P)$ соответствует пропозициональная установка типа m с пропозициональным содержанием P , декартово произведение $M \times Prop$ репрезентирует множество всех психологических состояний с пропозициональными содержаниями. Некоторые психологические состояния обязывают говорящего к другим психологическим состояниям; например, если говорящий полагает, что P , и полагает, что $(P \rightarrow Q)$, то он „обязан“ полагать, что Q . Если некоторое множество Γ таково, что всякий раз, когда говорящий выражает все психологические состояния из множества Γ , он в силу этого „обязан“ обладать всеми психологическими состояниями из некоторого другого множества Δ , мы часто будем ради краткости писать: $\Gamma \triangleright \Delta$. Наиболее сильные обязательства, вытекающие из пропозициональных установок, возникают в тех случаях, когда говорящий, обладающий всеми психологическими состояниями Γ , необходимым образом обязан обладать также и всеми психологическими состояниями Δ , например, если говорящий a желает, чтобы P и Q , он также желает, чтобы P . В подобных случаях сильных обязательств, вытекающих из пропозициональных установок, будем писать $\Gamma \triangleright \Delta$.

III. НЕКОТОРЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИЛЛОКУТИВНЫХ СИЛ

В иллокутивной логике нам требуется определение компонентов иллокутивной силы, адекватное с содержательной и формальной точек зрения. Прежде чем сформулировать это определение, введем несколько условных обозначений. Каждый перформативный или иллокутивный глагол f естественного языка именуется некоторую иллокутивную силу F или некоторый тип речевого акта. Будем обозначать эту иллокутивную силу или тип речевого акта следующим образом: $\|f\|$. Так, например, ‘‘предсказывать’’ является теперь именем иллокутивной силы предсказывания, а ‘‘сообщать’’ — именем иллокутивной силы сообщения.

Как говорилось в главе I, иллокутивную силу можно разделить на семь компонентов: иллокутивная цель, способ достижения иллокутивной цели, интенсивность иллокутивной цели, условия пропозиционального содержания, предварительные условия, условия

искренности и интенсивность условий искренности. Определим теперь в теоретико-множественных терминах формальную природу этих компонентов иллокутивной силы, и по ходу дела будем давать экспликацию (в смысле Карнапа: Carnap, 1947) этих понятий.

1) Иллокутивная цель³

Понятие иллокутивной цели — фундаментальное неопределяемое исходное понятие иллокутивной логики. В предыдущей главе мы дали неформальное объяснение этого понятия, сказав, что цель того или иного типа иллокутивного акта — это замысел, внутренне присущий ему как акту данного типа. Так, например, цель утверждения состоит в том, чтобы сказать, как обстоят дела; цель приказа — в том, чтобы попытаться заставить кого-то сделать нечто; цель извинения — выразить раскаяние в том или ином действии со стороны говорящего. Мы полагаем, что формальное определение этого понятия могло бы быть дано в теории интенциональности, но, поскольку построение такой теории выходит за рамки нашей книги, мы просто перечислим здесь различные иллокутивные цели возможных произнесений и таким образом определим это понятие путем полного перечисления.

Существует пять и только пять иллокутивных целей: (см. Searle, 1979):

- (1) *Ассертивная* цель состоит в том, чтобы сказать, как обстоят дела. Более громоздко, но точнее: в произнесениях, преследующих ассертивную цель, говорящий имеет в виду, что пропозиция репрезентирует действительное состояние дел в мире произнесения.
- (2) *Комиссивная* цель состоит в том, чтобы обязать говорящего сделать нечто. Опять же более громоздко, но более точно: в произнесениях, имеющих комиссивную цель, говорящий принимает на себя обязательство реализовать линию действий, репрезентированную пропозициональным содержанием.
- (3) *Директивная* цель состоит в том, чтобы попытаться заставить кого-то другого (других) сделать нечто: в произнесениях, имеющих директивную цель, говорящий пытается побудить слушателя реализовать линию действий, репрезентированную пропозициональным содержанием.
- (4) *Декларативная* цель состоит в том, чтобы изменить (внешний) мир посредством данного произнесения: в произнесе-

³ Мы используем здесь формализацию иллокутивных сил, изложенную в Vanderveken (в печати).

ниях, имеющих декларативную цель, говорящий каузирует положение дел, репрезентируемое пропозициональным содержанием, исключительно в силу успешного совершения им данного речевого акта.

- (5) *Экспрессивная* цель состоит в том, чтобы выразить чувства или установки. В произнесениях, имеющих экспрессивную цель, говорящий выражает ту или иную психологическую установку относительно положения дел, репрезентированного пропозициональным содержанием.

Различным иллокутивным целям соответствуют разные условия их достижения. Вследствие этого каждую иллокутивную цель можно отождествить с отношением Π , однозначно определенным на $I \times R_{\text{гор}}$, которое детерминирует условия достижения данной иллокутивной цели. $i\Pi P$ выполняется в том и только в том случае, если говорящий a_i в контексте произнесения i добивается успеха в достижении данной иллокутивной цели в соответствии с пропозициональным содержанием P . Если Π репрезентирует условия достижения иллокутивной цели, присущей иллокутивной силе F , мы далее часто будем писать $\Pi = \Pi_F$. Таким образом $i\Pi_F P$ выполняется в том и только в том случае, если говорящий a_i в контексте произнесения i добивается успеха в достижении иллокутивной цели, присущей иллокутивной силе F в соответствии с пропозициональным содержанием P . Стало быть, в иллокутивной логике иллокутивные цели репрезентированы отношениями, детерминирующими условия их достижения.

Условия достижения ассертивных, комиссивных, директивных, декларативных и экспрессивных иллокутивных целей задаются соответственно следующими отношениями: $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ и Π_5 на $I \times R_{\text{гор}}$:

- а) *Ассертивная иллокутивная цель Π_1 .*

Говорящий a_i добивается успеха в достижении ассертивной иллокутивной цели в соответствии с пропозицией P в контексте i (короче: $i\Pi_1 P$) в том и только в том случае, если в данном контексте он репрезентирует положение дел P в качестве действительного положения в мире произнесения w_i . Будем называть иллокутивные силы, имеющие ассертивную цель, *ассертивными иллокутивными силами*, а перформативные и иллокутивные глаголы, именующие ассертивные иллокутивные силы, — *ассертивами*. Вот некоторые русские* ассертивы: „утверждать“, „заявлять“, „уверять“, „предсказывать“, „сообщать“, „рассказывать“, „докладывать“, „извещать“, „осведомлять“, „информировать“, „признавать“.

* В подлиннике здесь и далее в пп. (б)—(д), разумеется, „английские“. — Прим. перев.

„допускать“, „напоминать“, „свидетельствовать“, „подтверждать“, „удостоверять“, „доказывать“, „признаваться“, „предполагать“, „догадываться“, „констатировать“, „выдвигать гипотезу“, „клясться“ и „настаивать“.

б) *Комиссивная иллокутивная цель Π_2 .*

Говорящий a_i добивается успеха в достижении комиссивной иллокутивной цели в соответствии с пропозицией P в контексте i (короче: $i\Pi_2P$) в том и только в том случае, если в данном контексте он принимает на себя обязательство реализовать в будущем линию действия, репрезентированную пропозицией P . Будем называть иллокутивные силы, имеющие комиссивную цель, *комиссивными силами*, а перформативные и иллокутивные глаголы, именующие комиссивные иллокутивные силы, *комиссивами*. Вот некоторые русские комиссивы: „обязываться“, „обещать“, „угрожать“, „быть согласным“, „давать торжественное обещание“, „присягать“, „давать зарок“, „ручаться“.

в) *Директивная иллокутивная цель Π_3 .*

Говорящий a_i добивается успеха в достижении директивной иллокутивной цели в соответствии с пропозицией P в контексте i (короче: $i\Pi_3P$) в том и только в том случае, если в данном контексте при данном произнесении он совершает попытку побудить слушателя b_i реализовать в будущем линию действий, репрезентированную пропозицией P . Будем называть иллокутивные силы, имеющие директивную цель, *директивными иллокутивными силами*, а перформативные и иллокутивные глаголы, именующие директивные иллокутивные силы, *директивами*. Вот некоторые русские директивы: „просить“, „предписывать“, „требовать“, „приказывать“, „предлагать“, „ходатайствовать“, „побуждать“, „подстрекать“, „склонять“, „соблазнять“, „умолять“, „советовать“, „рекомендовать“ и „подавать прошение“.

г) *Декларативная иллокутивная цель Π_4 .*

Говорящий a_i добивается успеха в достижении декларативной иллокутивной цели в соответствии с пропозицией P в контексте i (короче: $i\Pi_4P$) в том и только в том случае, если в данном контексте он посредством своего произнесения реализует в мире произнесения ω_i положение дел P . Иллокутивные силы, имеющие декларативную цель, мы будем называть *декларативными иллокутивными силами*, а перформативные и иллокутивные глаголы, именующие декларативные иллокутивные силы, *декларативами*. Вот некоторые русские декларативы: „объявлять“, „провозглашать“, „утверждать“, „санкционировать“, „выносить приговор“, „визировать“, „отлучать (например от церкви)“, „давать имя“, „нарекать“, „сдаваться“, „вводить аббревиатуру“ и „благословлять“.

д) *Экспрессивная иллокутивная цель Π_5 .*

И, наконец, говорящий a_i достигает *экспрессивной иллокутивной цели Π_5 в соответствии с пропозицией P* в контексте i (кратко: $i\Pi_5P$) в том и только в том случае, если в данном контексте он выражает в произнесении свои чувства (или установки) относительно положения дел, репрезентированного пропозицией P . Будем называть иллокутивные силы, имеющие экспрессивную цель, *экспрессивными иллокутивными силами*, а перформативные и иллокутивные глаголы, именующие экспрессивные иллокутивные силы, *экспрессивами*. Так, „извиняться“ — это экспрессив, поскольку иллокутивная цель извинения за положение дел (что) P , состоит в том, чтобы выразить сожаление или раскаяние говорящего в связи с данным положением дел. Вот еще несколько русских экспрессивов: „поздравлять“, „благодарить“, „хвалить“, „говорить комплименты“, „сожалеть“, „соболезновать“ и „приветствовать“.

Эта классификация иллокутивных целей содержательно адекватна в том смысле, что нет нужды апеллировать к другим целям, чтобы эксплицитно определить все те иллокутивные силы, которые имеют синтаксическую реализацию или наименование в русском* языке. В главе 9 мы приведем некоторые доказательства этого утверждения, проанализировав большое число английских иллокутивных глаголов с помощью введенных нами понятий. Кроме того, в главе 3 мы дадим философское обоснование этой классификации, показав, что этими пятью типами иллокутивных целей исчерпываются все возможные „направления соответствия“ между пропозициональным содержанием иллокуции и миром произнесения. И, наконец, в главах 5 и 6 мы введем многообразные определения и аксиомы, предназначенные для дополнительных пояснений понятия иллокутивной цели.

2) Способ достижения иллокутивной цели

В большинстве случаев иллокутивной цели можно достичь разными способами, так что при этом изменится и иллокутивная сила произнесения. Некоторые иллокутивные силы имеют особый (фиксированный) способ достижения своих целей. Так, например, отдавая приказание, говорящий достигает директивной иллокутивной цели тем, что апеллирует к своему служебному или иному положению, дающему ему власть над слушателем. Умоляя слушателя сделать нечто, говорящий достигает той же самой иллокутивной цели посредством своего унижения перед слушателем.

С формальной точки зрения способ достижения иллокутивной цели Π определяется в иллокутивной логике функцией $\mu(\Pi)$ из

* В подлиннике: „английском“. — *Прим. перев.*

множества $I \times P_{гор}$ в множество значений истинности, задающей истинностное значение 1 для пары (i, P) , в том и только в том случае, если говорящий a_i в контексте i добивается успеха в достижении или в принятии на себя обязательства достичь иллокутивной цели Π в соответствии с пропозицией P именно таким способом. Следовательно, по определению, $\mu(\Pi)(i, P) = 1$ только в том случае, если a_i принимает на себя обязательство достичь Π в соответствии с P в i . Если μ является характерным способом достижения иллокутивной цели F , то мы по преимуществу будем писать $\mu = \text{mode}(F)$. Таким образом, $\text{mode}(F)(i, P) = 1$ в том и только в том случае, если a_i в i достигает или принимает на себя обязательство достичь иллокутивной цели Π_F в соответствии с пропозицией P способом, требуемым иллокутивной силой F . Например, $\text{mode}(\|\text{приказывать}\|)(i, P) = 1$ в том и только в том случае, если говорящий a_i в контексте i достигает директивной иллокутивной цели в соответствии с P посредством апелляции к своему служебному или иному положению, дающему ему власть над слушателем b_i . $\text{Mode}(\|\text{свидетельствовать}\|)(i, P) = 1$ в том и только в том случае, если a_i в контексте i достигает или связывает себя обязательством достичь асертивной иллокутивной цели в соответствии с P в качестве свидетеля. Такой способ достижения иллокутивной цели, который ограничивает условия ее достижения или обязательства ее достигнуть, мы будем называть *особенным способом достижения*. Например, способ достижения цели, присущий приказанию, является особенным. Если иллокутивная сила F не имеет особенного способа достижения соответствующей иллокутивной цели, то во многих случаях запись будет таковой: $\text{mode}(F) = \Pi_F$, где обозначение $\text{mode}(F)$ не несет никакой дополнительной информации.

3) Интенсивность иллокутивной цели

Большинство иллокутивных целей таковы, что их можно достичь с большей или меньшей интенсивностью; например, в следующих двух парах первый иллокутивный акт слабее второго: *Посоветовать, чтобы слушатель вышел из комнаты* ~ *Приказать, чтобы он вышел из комнаты*; *Констатировать, что идет дождь* ~ *Поклясться, что идет дождь*. В иллокутивной логике такие факты можно репрезентировать приписыванием больших или меньших целых чисел различным степеням интенсивности, с которыми может быть достигнута при совершении иллокутивного акта иллокутивная цель. Пусть для каждой иллокутивной силы F $\text{degree}(F)$ будет целым числом, репрезентирующим соответствующую интенсивность, с которой достигается иллокутивная цель Π_F при совершении данного акта иллокутивной силы F . По определению,

для любых двух иллокутивных сил F_1, F_2 с одной и той же иллокутивной целью ($\Pi_{F_1} = \Pi_{F_2}$), $\text{degree}(F_1) < \text{degree}(F_2)$ в том и только в том случае, если иллокутивная цель Π_{F_1} достигается с большей интенсивностью в случае успешного совершения иллокуции силы F_2 , чем в случае успешного совершения иллокуции силы F_1 . Так, например, $\text{degree}(\|\text{приказывать}\|) > \text{degree}(\|\text{просить}\|)$, то есть говорящий, отдающий приказание, предпринимает более сильную попытку сделать нечто, чем говорящий, который просто высказывает просьбу. Точно так же $\text{degree}(\|\text{утверждать}\|) > \text{degree}(\|\text{предполагать}\|)$, то есть интенсивность утверждения сильнее, чем интенсивность предположения.

Выбор нижней точки последовательности степеней интенсивности — дело более или менее произвольное. Важно, чтобы отношения большей и меньшей интенсивности были правильно согласованы друг с другом, то есть так, чтобы множество Z целых чисел можно было использовать для характеристики отношения „больше — меньше“. Разумеется, непосредственные сравнения степеней интенсивности имеют смысл лишь в рамках одной и той же иллокутивной цели. Среди иллокутивных целей есть одна — декларативная цель Π_4 , которая всегда достигается с одной и той же степенью интенсивности, и, стало быть, всем иллокутивным силам, имеющим эту цель, присуща одна и та же интенсивность. Все остальные иллокутивные цели могут достигаться с различными степенями интенсивности.

Будем употреблять сокращенную запись „ $i\Pi^kP$ “ для фразы: «говорящий a_i в контексте i достигает иллокутивной цели Π в соответствии с P с интенсивностью k ». В каждом контексте произнесения, где достигается та или иная иллокутивная цель, имеет место возможный речевой акт, достигающий ее с максимальной интенсивностью. Таким образом, если $i\Pi P$, то для некоторого $k \in Z$ $i\Pi^k P$ и для всех $n > k$ неверно, что $i\Pi^n P$. Мы используем для измерения степеней интенсивности, с которыми достигаются иллокутивные цели, бесконечное множество Z целых чисел, потому что для большинства иллокутивных целей не существует теоретического конечного нижнего или верхнего предела интенсивности. Конечно, если $\Pi = \Pi_4$, то только для одного $k \in Z$ $\Pi_4^k \neq \emptyset$, поскольку, как мы только что отметили, декларативная иллокутивная цель всегда достигается с одной и той же степенью интенсивности.

В следующем постулате формулируется транзитивность степеней интенсивности иллокутивных целей:

Если $i\Pi^{k+1}P$ и $\Pi \neq \Pi_4$, тогда $i\Pi^k P$. Достичь иллокутивной цели иллокуции с некоторой интенсивностью — значит достичь ее с любой меньшей интенсивностью. Например, если человек требует, чтобы кто-то что-то сделал, то он уже достиг директивной иллоку-

тивной цели с интенсивностью, соответствующей просьбе, и с интенсивностью, соответствующей совету.

Способ достижения и интенсивность иллюкутивной цели, присущие данной иллюкутивной силе, часто логически взаимосвязаны. Некоторые способы достижения — например, способ достижения, присущий свидетельскому показанию, — требуют, чтобы интенсивность иллюкутивной цели была высокой (т. е. ≥ 1). Если говорящий достигает ассертивной иллюкутивной цели в качестве свидетеля, дающего показания под присягой, то он в высокой степени ручается за истинность пропозиционального содержания. Поскольку каждый возможный способ достижения требует некоторого минимума интенсивности, с которой должна достигаться иллюкутивная цель, если ее вообще хотят достичь этим способом, то должно существовать наибольшее целое число k , обозначающее эту минимальную интенсивность. Эту наименьшую интенсивность, с которой должна достигаться определенная иллюкутивная цель, если ее вообще собираются достичь данным возможным способом μ , мы будем обозначать $|\mu|$. Интенсивность иллюкутивной цели, присущей иллюкутивной силе $\text{degree}(F)$, всегда больше или равна интенсивности $|\text{mode}(F)|$, детерминируемой ее способом достижения.

4) Условия пропозиционального содержания

Как отмечалось в предыдущей главе, некоторые иллюкутивные силы накладывают ограничения на пропозициональные содержания. Будем называть эти ограничения условиями пропозиционального содержания данных иллюкутивных сил. С формальной точки зрения, условие пропозиционального содержания задается функцией θ из множества I в множество $\mathbf{P}(\text{Pror})$, связывающей с каждым возможным контекстом произнесения некоторое множество пропозиций, обладающих определенным свойством. Так, например, функция θ_{fut} , связывающая с каждым контекстом произнесения i множество всех пропозиций, относящихся к будущему с точки зрения момента времени t_i , задает некоторое условие пропозиционального содержания. Если функция θ из I в $\mathbf{P}(\text{Pror})$ выдает для каждого контекста i в качестве своего значения множество всех пропозиций, удовлетворяющих условиям пропозиционального содержания для некоторой иллюкутивной силы F по отношению к данному контексту, будем писать $\theta = \text{Pror}_F$. Так, например, $\theta_{fut} = = \text{Pror} \parallel \text{предсказывать} \parallel$, поскольку θ_{fut} задает условия пропозиционального содержания для предсказания. Поскольку пропозиция P может относиться к будущему с точки зрения момента t_i и к прошлому с точки зрения момента t_j для различных t_i, t_j , таких, что $t_i < t_j$, постольку $\text{Pror} \parallel \text{предсказывать} \parallel (i) \neq \text{Pror} \parallel \text{предсказывать} \parallel (j)$ для некоторых $i,$

$j \in I$. Одна и та же пропозиция может быть содержанием предсказания в одном контексте, но не может быть таковым в другом. Если F не имеет условий пропозиционального содержания, то $\text{Pror}_F(i) = \text{Pror}$. Так, например, $\text{Pror}_{\| \text{утверждать} \|}(i) = \text{Pror}$. Любая пропозиция P может быть содержанием утверждения в некотором подходящем контексте произнесения. Такие силы имеют *пустые* условия пропозиционального содержания.

5) Предварительные условия

Чтобы определить предварительные условия иллокутивной силы F для каждого контекста произнесения i и пропозиции P , зададим, какие положения дел говорящий должен предварительно предполагать имеющими место в мире произнесения w_i , если он совершает иллокуцию $F(P)$ в i . Предполагать, что имеет место некоторое положение дел, — значит предполагать, что истинна пропозиция, репрезентирующая данное положение дел. С формальной точки зрения предварительное условие, таким образом, задается в иллокутивной логике функцией $\Sigma \in (\mathbf{P}(\text{Pror}))^{I \times \text{Pror}}$ из декартова произведения множества возможных контекстов произнесения и множества пропозиций в множество множеств пропозиций, обладающих определенным свойством. Так, например, функция Σ , связывающая каждую пару $\langle i, P \rangle$ с одноэлементным множеством $\{*\diamond P\}$, задает предварительное условие, общее для таких иллокутивных сил, как распоряжения, приказания и просьбы. Предварительное условие распоряжения, приказания или просьбы с пропозициональным содержанием P в контексте произнесения i состоит в том, что P является физически возможным, то есть слушатель способен реализовать в будущем линию действий, репрезентированную пропозициональным содержанием P . Если говорящий предварительно предполагает определенные пропозиции, то это может обязывать его предполагать одновременно некоторые другие пропозиции. Например, если говорящий предполагает, что за данное положение дел несет ответственность грузчик, то он также предполагает, что это положение дел имеет место. Мы далее будем употреблять символ „ $[\Gamma]$ “ в качестве имени множества всех пропозиций, которые говорящий с необходимостью предполагает в некотором контексте произнесения, если он в данном контексте предполагает все пропозиции из множества Γ . Будем также говорить, что предварительное условие Σ_1 есть замыкание предварительного условия Σ_2 , если для всех i и P $\Sigma_1(i, P) = \Sigma_2(i, P)$. По определению, любая иллокутивная сила F , обладающая некоторым предварительным условием, имеет в качестве предварительного условия также и замыкание этого условия. Если функция Σ из $I \times \text{Pror}$ в $\mathbf{P}(\text{Pror})$ задает предварительные условия иллоку-

тивной силы F , мы запишем далее: $\Sigma = \Sigma_F$. Так, например, $\Sigma_{\parallel \text{утверждать} \parallel} —$ это такая функция, что $\Sigma_{\parallel \text{утверждать} \parallel}(i, P) = = \{\{\rho a_i; t_i P\}\}$. Предварительные условия для утверждения (что) P в контексте произнесения i состоят в том, что говорящий a_i в момент t_i в w_i имеет (субъективные) основания или фактические подтверждения истинности пропозиции P . $\Sigma_{\parallel \text{торжественно обещать} \parallel}(i, P) = = \Sigma_{\parallel \text{обязываться} \parallel}(i, P) = \{\{*\diamond P\}\}$. Предварительные условия торжественного обещания или обязательства реализовать в будущем линию действий, репрезентированную пропозицией P , состоят в том, что говорящий в состоянии реализовать данную линию действий.

6) Условия искренности

Чтобы определить условия искренности для иллокутивной силы F для каждого контекста произнесения i и пропозиции P , зададим, какие психологические состояния выражает говорящий a_i , совершая $F(P)$ в i . С формальной точки зрения, условие искренности задается в иллокутивной логике функцией $\Psi \in (\mathbf{P}(M \times \times \text{Prop}))^{I \times \text{Prop}}$ из декартова произведения множества контекстов произнесения и множества пропозиций в множество психологических состояний определенных типов. Так, например, функция Ψ , связывающая с каждой парой (i, P) множество $\{\text{Bel}(P)\}$, задает условие искренности для утверждений, свидетельских показаний и догадок. Говорящий, который утверждает, подтверждает как свидетель или выдвигает догадку, что P , выражает с различными степенями интенсивности полагание, что P . Если говорящий выражает те или иные психологические состояния, то он выражает вместе с тем и все те психологические состояния, к которым его сильным образом обязывают эти первые. Например, если говорящий выражает сожаление в связи с некоторым положением дел, он выражает вместе с тем и веру в наличие данного положения дел, потому что он не может сожалеть, если у него нет данной веры. Далее в качестве имени множества всех психологических состояний, которыми с необходимостью обладает говорящий, если он обладает всеми психологическими состояниями Γ , мы будем употреблять символ „ Γ “. Будем также говорить, что условие искренности Ψ_1 есть замыкание условия искренности Ψ_2 в том и только в том случае, если $\Psi_2(i, P) = = [\Psi_1(i, P)]$. По определению, любая иллокутивная сила F с условием искренности Ψ имеет также и замыкание данного условия искренности. Если функция $\Psi \in (\mathbf{P}(M \times \times \text{Prop}))^{I \times \text{Prop}}$ задает условия искренности для иллокутивной силы F , будем далее писать $\Psi = \Psi_F$. Так, например, $\Psi_{\parallel \text{обязываться} \parallel}(i, P) = \Psi_{\parallel \text{обещать} \parallel}(i, P) = = \{\{\text{Int } P\}\}$. Говорящий искренне обязуется или обещает сделать

нечто в том и только в том случае, если он намерен сделать это: $\Psi_{\text{побуждать}}(i, P) = \{\text{Des}(P)\}$. Говорящий, побуждающий слушателя сделать нечто, искренен в том и только в том случае, если он хочет, чтобы тот сделал это.

7) Интенсивность условий искренности

Психологические состояния выражаются в речевых актах с большей или меньшей интенсивностью в зависимости от соответствующей иллокутивной силы. Так, например, говорящий, который дает торжественное обещание сделать что-то, выражает более сильное намерение, чем говорящий, который просто принимает на себя обязательство сделать это. Интенсивность условий искренности, характерную для данной иллокутивной силы F , $\eta(F)$, можно — как и интенсивность ее иллокутивной цели — представить некоторым целым числом $k \in Z$. Для большинства иллокутивных сил F интенсивность иллокутивной цели совпадает с интенсивностью условий искренности. Так, например, $\eta(\text{утверждать}) = \text{degree}(\text{утверждать})$ и $\eta(\text{обязываться}) = \text{degree}(\text{обязываться})$.

Интенсивность иллокутивной цели зависит от двух факторов: интенсивности условий искренности и интенсивности, связанной со способом достижения. Поэтому интенсивность иллокутивной цели $\text{degree}(F)$ будет совпадать с интенсивностью условий искренности $\eta(F)$, за исключением тех случаев, когда способ достижения $\text{mode}(F)$ задает интенсивность иллокутивной цели $|\text{mode}(F)|$ более высокую, чем $\eta(F)$. Это происходит, например, в случае свидетельского показания $\text{degree}(\text{свидетельствовать}) > \eta(\text{свидетельствовать})$, потому что способ достижения, присущий свидетельскому показанию, увеличивает интенсивность ассертивной иллокутивной силы, но при этом не обязательно увеличивает интенсивность выражаемого полагания. Вследствие этого для каждой иллокутивной силы F $\text{degree}(F) \geq \eta(F)$. Интенсивность, с которой выражается психологическое состояние данного иллокутивного акта, не может быть выше интенсивности его иллокутивной цели. Может случиться так, что $\text{degree}(F) > \eta(F)$, как, например, в случае приказаний. Причина этого в том, что повышение интенсивности психологического состояния может происходить не только в результате повышения интенсивности иллокутивной цели.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛЛОКУТИВНОЙ СИЛЫ

Теоретико-множественные определения иллокутивной цели Π_F , способа достижения иллокутивной цели $\text{mode}(F)$, интенсивности иллокутивной цели $\text{degree}(F)$, условий пропозиционального содержа-

ния Pgor_F , предварительных условий Σ_F , условий искренности Ψ_F и интенсивности условий искренности $\eta(F)$ иллокутивной силы F позволяют нам *определить* эту иллокутивную силу теоретико-множественным образом. Каждая иллокутивная сила $F \in \Phi$ представляет собой упорядоченную последовательность этих семи элементов. Таким образом, две иллокутивные силы F_1, F_2 совпадают друг с другом в том случае, когда $\Pi_{F_1} = \Pi_{F_2}$, $\text{mode}(F_1) = \text{mode}(F_2)$, $\text{degree}(F_1) = \text{degree}(F_2)$, $\text{Pgor}_{F_1} = \text{Pgor}_{F_2}$, $\Sigma_{F_1} = \Sigma_{F_2}$, $\Psi_{F_1} = \Psi_{F_2}$ и $\eta(F_1) = \eta(F_2)$.

По определению, иллокутивная цель Π_F — это отношение на $I \times \text{Pgor}$; способ достижения $\text{mode}(F)$ — это функция из множества $I \times \text{Pgor}$ в множество значений истинности; интенсивности $\text{degree}(F)$ и $\eta(F)$ — это целые числа; условия пропозиционального содержания Pgor_F — это функция из множества I в $\mathbf{P}(\text{Pgor})$; предварительные условия Ψ_F — это функция из множества $I \times \text{Pgor}$ в множество $\mathbf{P}(\text{Pgor})$; и, наконец, условия искренности Ψ_F — это функция из множества $I \times \text{Pgor}$ в множество $\mathbf{P}(M \times \text{Pgor})$. Из этих определений следует, что множество всех иллокутивных сил есть подмножество множества $\mathbf{P}(I \times \text{Pgor}) \times \times 2^{I \times \text{Pgor}} \times Z \times (\mathbf{P}(\text{Pgor}))^I \times (\mathbf{P}(\text{Pgor}))^{(I \times \text{Pgor})} \times (\mathbf{P}(M \times \text{Pgor}))^{(I \times \text{Pgor})} \times Z$. Для того чтобы задать множество иллокутивных сил Φ , нам не понадобилось никаких иных сущностей, кроме тех, которые принадлежат множествам I, Pgor, Z и M .

Конечно же, не любое отношение на $I \times \text{Pgor}$ задает некоторую иллокутивную цель, не любая функция из $I \times \text{Pgor}$ в 2 , из I в $\mathbf{P}(\text{Pgor})$, из $I \times \text{Pgor}$ в $\mathbf{P}(\text{Pgor})$ или из $I \times \text{Pgor}$ в $\mathbf{P}(M \times \text{Pgor})$ задает способ достижения иллокутивной цели, пропозициональное содержание, предварительное условие или условие искренности. Так, например, существуют пять и только пять отношений на $I \times \text{Pgor}$, которые задают условия достижения иллокутивных целей. Кроме того, способ достижения иллокутивной цели задается не всякими функциями из $I \times \text{Pgor}$ в 2 , а лишь такими функциями μ , что $\{(i, \mathbf{P})/\mu(i, P) = 1\} \neq \emptyset$, потому что каждый способ достижения, являющийся компонентом некоторой иллокутивной силы, есть один из *возможных* способов достижения ее цели. Множество всех иллокутивных сил — это, стало быть, *небольшое собственное подмножество* множества $\mathbf{P}(I \times \text{Pgor}) \times 2^{I \times \text{Pgor}} \times Z \times (\mathbf{P}(\text{Pgor}))^I \times (\mathbf{P}(\text{Pgor}))^{I \times \text{Pgor}} \times (\mathbf{P}(M \times \text{Pgor}))^{I \times \text{Pgor}} \times Z$.

Более того, не всякая произвольно взятая упорядоченная семерка, состоящая из элементов перечисленных выше семи типов, является иллокутивной силой, потому что различные компоненты возможной иллокутивной силы связаны определенными логическими отношениями, накладывающими ограничения на возможные комбинации элементов. Например, способ достижения $\text{mode}(F)$,

присущий иллокутивной силе F , должен быть способом достижения ее иллокутивной цели Π_F , и он требует, чтобы интенсивность иллокутивной цели $\text{degree}(F)$ имела определенную величину; $\text{degree}(F)$ должна быть максимумом величин $\eta(F)$ и $|\text{mode}(F)|$. Точно так же и определенные иллокутивные цели Π требуют определенных условий пропозиционального содержания $\theta \in \mathbf{P}(\text{Prop})^I$, определенных предварительных условий $\Sigma \in \mathbf{P}(\text{Prop})^{I \times \text{Prop}}$ и определенных условий искренности $\Psi \in \mathbf{P}(M \times \text{Prop})^{I \times \text{Prop}}$, то есть всякий раз, когда выполняется $i\Pi_F P$, должно выполняться и $\text{Prop}_F(i) \subseteq \theta(i)$, $\Sigma(i, P) \subseteq \Sigma_F(i, P)$ и $\Psi(i, P) \subseteq \Psi_F(i, P)$. Например, все иллокутивные силы с директивной иллокутивной целью должны иметь такое пропозициональное содержание, которое репрезентирует некоторую будущую линию действий слушателя; предварительное условие, заключающееся в том, что слушатель в состоянии реализовать эту будущую линию действий; и условие искренности, состоящее в том, что говорящий хочет, чтобы слушатель совершил данное действие. Точно так же определенные способы достижения μ и определенные условия искренности Ψ задают определенные предварительные условия Σ , поскольку невозможно достичь данной цели способом μ или выразить условия искренности Ψ , не придерживаясь при этом данных предварительных условий. Так, например, иллокутивная сила со способом достижения, соответствующим распоряжению, должна иметь следующее предварительное условие: говорящий обладает властью над слушателем. Иллокутивная сила с условием искренности, состоящим в том, что говорящий недоволен наличием положения дел, репрезентированным данным пропозициональным содержанием, должна иметь следующее предварительное условие: данное положение дел плохо. Упорядоченная семерка может быть возможной иллокутивной силой лишь в тех случаях, когда выполнены такого рода логические отношения между ее компонентами.

ЛИТЕРАТУРА

Сарнар, 1947 = Sarнар R. Meaning and Necessity. University of Chicago Press, 1947.

Сарле, 1979 = Searle J. R. A taxonomy of illocutionary acts. — In: Searle J. R. Expression and Meaning. Cambridge University Press, 1979.

Вандервекен, 1982 = Vanderveken D. Some philosophical remarks on the theory of types in intensional logic. — „Erkenntnis“, 1982, vol. 17, no. 1, p. 85—112.

Вандервекен, в печати = Vanderveken D. What is an illocutionary force? — In: „Dialogue: An Interdisciplinary Study“ (M. Dascal (ed.)).

ПРИЧИННЫЕ ОТНОШЕНИЯ*1

I.

Много лет назад, когда я впервые обратился к проблеме причинных отношений, меня интересовало прежде всего языковое оформление отдельных причинных утверждений². Упомянутая статья профессора Дэвидсона посвящена в первую очередь онтологическим предпосылкам таких утверждений. Поскольку, как мне представляется, два данных вопроса— это не что иное, как две стороны одной медали, то при обсуждении позиции Дэвидсона мне хотелось бы одновременно уточнить и собственную позицию. Дело в том, что точка зрения Дэвидсона, не совпадающая с моей, сформулирована достаточно четко, тогда как моя собственная нуждается в уточнении.

Я всецело присоединяюсь к предположению Дэвидсона, что *события* (events) следует относить к первичным элементам онтологии причинных отношений. В то же время мне бы хотелось сделать и следующий шаг в этих метафизических построениях, добавив к первичным элементам еще один, а именно *факт* (fact). Языковое выражение причинных отношений, подобно многим другим языковым сферам, заставляет предположить, что *факты*, наряду с объектами и событиями, также составляют первичную категорию нашей естественной онтологии. Многим из нас, привыкшим к строгим пустынным пейзажам, такое размножение первичных элементов покажется отталкивающим. К сожалению, джунгли есть джунгли, нравятся нам это или нет.

Я согласен с Дэвидсоном в том, что именно события имеют причины. Однако при этом следует иметь в виду, что слово „событие“ в данном случае следует трактовать как технический термин. Многое из того, что имеет причины, в повседневной речи опи-

* Zeno Vendler. Causal relations. — „The Journal of Philosophy“, 1967, 21, p. 704—713.

¹ Данная статья, представленная на проводимый АРА симпозиум „Причинные отношения“, содержит комментарии к статье Д. Дэвидсона (см. настоящий номер журнала, с. 691—703).

² См. статью Z. Vendler. Effects, results and consequences. — In: „Analytical Philosophy“ (by ed. R. J. Butler). New York: Barnes and Noble, 1962, p. 1—15. Пересмотренный вариант этой статьи содержится в моей книге „Linguistics in Philosophy“. Ithaca, N. Y.: Cornell, 1967, p. 147—171.

сывается с помощью других слов, таких, как *процесс, действие, условие, ситуация, положение дел* и т. п. Иметь причину могут не только события, например взрыв бомбы, но и такие вещи, как процесс инфляции, тяжелая ситуация во Вьетнаме, ухудшение жизненных условий в больших городах, — можно сказать, что все это обусловлено теми или иными причинами. С лингвистической точки зрения все слова такого рода попадают в класс „событий“, то есть в класс существительных, которые могут замещаться или описываться полностью номинализованными группами (perfect nominals)³.

Мои расхождения с позицией Дэвидсона начинаются тогда, когда от того, что имеет причину, мы переходим к самой причине. Несмотря на доводы Дэвидсона, равно как и на высказанные ранее доводы профессора Шортера, я по-прежнему убежден, что причина — это не событие, а факт, причем факт, подобно событию, понимается здесь в расширенном техническом смысле, что будет пояснено ниже. Если использовать терминологию, которой пользуется Дэвидсон в заключительной части своей статьи, то моя точка зрения сводится к следующему: так называемые „объясняющие истории“ (causal story) или „объяснения причины“ (causal explanation) являются типичными случаями причин, а то, что Милль называет „производящими причинами“ (producing cause), то есть такие случаи, когда первое событие присоединяется ко второму в силу того, что оба события происходят в результате действия общего закона, к причинам не относятся; напротив, следует считать, что второе событие является следствием (effect) первого.

Последнее предложение может вызвать удивление у тех, кто еще не расстался с мыслью, что причина и следствие — это наименования двух членов одного и того же отношения, иначе говоря, что следствие есть следствие некоторой причины. Я считаю, что выражение „*X* есть причина *Y*-а“ (*X is the cause of Y*) и выражение „*Y* есть следствие *X*-а“ (*Y is the effect of X*) не относятся к одному и тому же отношению⁴. Более того — и здесь нам надо вспомнить, что мы пробираемся сквозь джунгли, — выражение „*Y* есть результат *X*-а“ (*Y is the result of X*) задает еще одно, третье, отношение. Будем обозначать буквой *e* именные группы, задающие события (это полностью номинализованные группы), а буквой *f* — именные группы, задающие факты (как будет пока-

³ Более подробно об этом см. в моей книге „Linguistics in Philosophy“, гл. 5.

⁴ Предложения типа The explosion caused the collapse of the house ‘Взрыв вызвал разрушение дома’, The explosion caused the house to collapse ‘Дом разрушен из-за взрыва’ и The explosion was the cause of the collapse of the house ‘Взрыв явился причиной разрушения дома’ являются всего лишь трансформационными вариантами, которые в этой статье я рассматривать не буду.

зано ниже, это не полностью номинализованные группы — *imperfect nominals*). Тогда, если мои рассуждения не содержат ошибки, упорядоченные пары, соответствующие трем названным отношениям, приобретут следующий вид⁵:

e_1 есть следствие e_2
 f_1 есть результат f_2
 f есть причина e .

Следовательно, соображения Дэвидсона независимо от того, в чем их суть, могут быть верными лишь для первого из этих отношений, но не для двух остальных. Я нисколько не возражаю против того, чтобы называть все три случая причинными отношениями. Однако тогда онтология причинных отношений не может быть выявлена с помощью рассмотрения лишь одного подкласса. Не говоря уже обо всем остальном, интересно понять, почему язык использует здесь три разных слова (причем, все эти слова весьма обычны и употребительны), а не одно или два.

Рассмотрение результатов не относится к теме наших размышлений. В моей упомянутой выше статье я показал, что результат — это факт, присоединенный к другому факту — тому, результатом которого первый факт является. Мне не приходилось слышать никаких серьезных возражений против такой точки зрения, поэтому я буду по-прежнему ее придерживаться. Что касается следствий, то здесь позиция Дэвидсона совпадает с моей: следствие — это событие, отнесенное к другому событию. Остается случай, самый естественный для причинных отношений, а именно: связь, соединяющая нечто, имеющее причину, с самой этой причиной. И именно в этом пункте концепция Дэвидсона вступает в противоречие с моей.

На первый взгляд моя позиция кажется весьма уязвимой. Предмет моего описания — это некий метафизический гибрид, *metasalliance* между полнокровным событием и худосочным фактом. Отношения „следование“ и „результат“ соединяют одноименные члены, событие и событие, факт и факт. Не так обстоит дело с причинами. Однако такого рода гибридные отношения ни в коей мере не являются необычными. Некоторые из подобных отношений приведены в следующей таблице, где наряду с уже упомянутыми используются два новых символа: *o* — объект и *p* — лицо.

1. *pRe*: The criminal resisted the arrest.
'Преступник противился аресту.'
2. *eRo*: The explosion demolished the house.
'Взрыв разрушил дом.'

⁵ Отношением *eXe* обозначаются случаи типа: The fire triggered the explosion 'Огонь вызвал взрыв', A short circuit started the fire 'Короткое замыкание привело к пожару', The fire followed upon the heat wave 'Пожар возник из-за тепловой волны'.

3. *pRf*: John knows that the cat is on the mat.
'Джон знает, что кот на матрасе.'
4. » : The accused stated that he never saw the victim.
'Обвиняемый утверждал, что он никогда не видел потерпевшего.'
5. » : The judge rejected the motion.
'Судья отклонил ходатайство.'
6. *fRp*: John's death surprised me.
'Смерть Джона меня удивила.'
7. » : His proposal shocked the audience.
'Его предложение возмутило присутствующих.'
8. *fRe*: The idea that the earth is flat blocked the progress of geography.
'Мнение, что Земля плоская, тормозило развитие географии.'
9. » : The theory of evolution stimulated much research.
'Теория эволюции стимулировала множество исследований.'

А теперь я добавлю такие случаи:

10. *fRe*: The fact that oxygen was present caused the explosion.
'Факт наличия кислорода вызвал взрыв.'
11. » : The presence of oxygen caused the explosion.
'Присутствие кислорода вызвало взрыв.'
12. » : The thought of failing his father caused Hamlet's agony.
'Мысль о гибели отца вызвала смертные муки Гамлета.'

Обратим внимание на то, сколь многообразны сущности, попадающие под категорию факта: идея, мнение, мысль, теория, предложение, ходатайство и т. д. Такая вариативность воплощений категории факта напоминает отмеченную выше вариативность воплощений категории события. Как я попытаюсь показать, сходны и мотивы отнесения сущностей к тому или иному классу, а именно: в класс фактов попадают существительные, которые могут замещаться или описываться не полностью номинализированными группами. Такая однотипность характерна и для базисного языкового поведения субстантивов, и потому философы вполне обоснованно применяют термин „объект“ к горам и животным, тучам и радугам, электронам и континентам. Однако нельзя безоговорочно относить к классу объектов и людей. В примерах (3)—(7) один из членов отношения должен скорее замещаться названием лица, чем каким-либо другим объектом. Лицо — это весьма своеобразный подкласс объекта. Аналогично и факты, если говорить строго, должны быть отделены от многообразия „фактоподобных“ сущностей, которые философы обычно называют пропозициями.

Примеры (3)—(5) показывают, что отношения, вводящие пропозиции и иллокутивные акты, также характеризуются гибридно-

стью своих членов — в данном случае это лицо и факт или пропозиция. Упражняясь в придумывании терминологии, можно было бы назвать случай, до некоторой степени обратный рассматриваемому и проиллюстрированный примерами (6) и (7), „пассивизацией пропозиции“. Так или иначе, но гибридные отношения вообще и гибридные отношения, одним из членов которых является факт, в частности — весьма обычное явление в мире метафизических джунглей. А потому не стоит недоверчиво относиться к моей теории только из-за этого.

II.

Однако вопрос о том, действительно ли моя теория верна, по-прежнему остается в силе. У меня нет возможности повторять здесь предпринятое в другом месте подробное лингвистическое обоснование того, что причины — это, скорее, не события, а факты. Основной аргумент состоит в следующем: слова *cause* ‘причина’ и *fact* ‘факт’ (а также *result* ‘результат’, *reason* ‘обоснование, причина’, *idea* ‘мысль’ и т. п.) могут быть описаны или замещены именными группами одного и того же типа и, следовательно, встречаться совместно с теми же глаголами и прилагательными, что и замещающие их именные группы. В то же время замещающие именные группы и набор совместимых прилагательных и глаголов для слова *event* ‘событие’ (а также *process* ‘процесс’, *action* ‘действие’ и т. п.) относятся к абсолютно несходному с ним типу и образуют собственную семью. Говоря более точно, именные группы, регулярно соотносимые с фактом, являются не полностью номинализованными, а группы, регулярно соотносимые с событием, — полностью номинализованы⁶.

Различие между двумя типами групп состоит в следующем. В не полностью номинализованных группах глагол сохраняет некоторые из своих глагольных признаков: он может управлять прямым дополнением, иметь временные показатели, соединяться с модальными глаголами и наречиями, конструкция в целом может подвергаться отрицанию. В полностью номинализованных группах глагол утрачивает все свои глагольные признаки и ведет себя как существительное: он может соединяться с относительными придаточными, прилагательными, артиклями и предлогами.

Имеются две основные поверхностные структуры, в которых

⁶ Р. Б. Лиз весьма удачно назвал два рассматриваемых типа групп именами фактов и именами действий („factive“ nominal и „action“ nominal); см. R. B. Lees. The grammar of English nominalization. — Supplement to „International Journal of American Linguistics“, XXVI, 1960, p. 59—69. [На самом деле не полностью номинализованные группы можно назвать именными лишь метафорически. — *Прим. перев.*]

встречаются не полностью номинализованные группы. Первая — это известные придаточные с *that*, например:

that he sang the song 'то, что он пел песню'.

Пример второй структуры:

his having sung the song (букв.) 'спение им песни'.

Отметим, что глагол сохраняет показатели времени и управляет прямым дополнением. Очевидно, что в обоих случаях глагол может управлять наречием (например: *beautifully* 'прекрасно') или отрицаться. Полностью номинализованные группы имеют такой вид:

his singing of the song 'его пение песни'.

Форма *singing* здесь не может иметь показателей времени и сочетаться с наречием или отрицанием; именной характер этой формы подтверждает следующее преобразование:

the beautiful singing of the song we heard

'прекрасное исполнение песни, которое мы слышали'.

Назначение номинализации состоит в порождении именных групп, которые могут входить в состав новых предложений. При этом на выбор остальных слов этих предложений накладываются определенные ограничения. Эти ограничения связаны с только что приведенным противопоставлением не полностью/полностью номинализованных групп. Не полностью номинализованные группы могут выступать в роли дополнений при таких глаголах, как *mention* 'упоминать', *deny* 'отрицать', *recall* 'припоминать', *forget* 'забывать', и в роли подлежащих при глаголах типа *surprise* 'удивлять', *shock* 'возмущать', *indicate* 'указывать' и при присвяточных прилагательных типа *probable* 'вероятный', *possible* 'возможный' или *unlikely* 'маловероятный'. Представляется, что во всем этом семействе есть нечто пропозициональное. Набор слов, встречающихся совместно с полностью номинализованными группами, включает, с одной стороны, такие глаголы, как *watch* 'наблюдать', *observe* 'обозревать', *listen to* 'слушать', *imitate* 'изображать', а с другой стороны, такие, как *occur* 'происходить', *take place* 'иметь место', *begin* 'начинаться', *last* 'длиться', *end* 'заканчиваться'. Что же касается прилагательных, то здесь встречаются такие слова, как *slow* 'медленный', *fast* 'быстрый', *sudden* 'внезапный', *gradual* 'ступенчатый', *prolonged* 'длительный'. Черты пропозициональности уступили место перцептуальным и темпоральным признакам.

Теперь уже нетрудно заметить, что слово „fact“ и сходные с ним подчиняются тем же ограничениям на сочетаемость, что и не полностью номинализованные группы, тогда как сочетаемостные ограничения слова „event“ (и его семьи) совпадают с ограничениями, характерными для полностью номинализованных групп. Это неудивительно, поскольку соответствующие слова сами по себе тяготеют к тем же группам. Группа *that he sang the song* и

группа his having sung the song — это факты, а не события, тогда как группа his beautiful singing of the song — событие, но не факт.

В этом месте внимательный и критически настроенный читатель может возразить, что последний пример вполне можно отнести к фактам. Более того, продолжит он, многие члены набора предикатов, который соотнесен с не полностью номинализованными группами, могут сочетаться и с полностью номинализованными группами. Я вынужден согласиться с этими возражениями, однако они не затрагивают сути моих рассуждений. Нерегулярности поведения некоторых членов этого набора не сопровождаются симметричными нерегулярностями во втором. Хотя можно сказать: His singing of the song is unlikely 'Пение им песни маловероятно', однако нельзя сказать: His having sung the song is loud 'То, что он пел песню, является громким'. Уже этого различия достаточно для того, чтобы два исследуемых случая были разграничены. Сходным образом, тот, кто говорит: Joe's sudden death is a fact 'Внезапная смерть Джо — это факт', вряд ли сочтет допустимой перифразой этого предложения следующее: That Joe died suddenly is a fact 'То, что Джо умер внезапно — это факт'. В то же время, тот, кто говорит: I watched Joe's sudden death 'Я видел внезапную смерть Джо', не согласится с тем, что это то же самое, что сказать: I watched that Joe suddenly died 'Я видел, что Джо внезапно умер'. Поэтому моя уступка воображаемому оппоненту сводится только к признанию того, что словосочетания singing of the song или Joe's death могут быть неоднозначными, и на поверхностном уровне эта неоднозначность выявляется недостаточно четко. Однако исследование совместной встречаемости и перифраз позволяет решить эту проблему, и потому концептуальное противопоставление фактов и событий остается в силе. Смерть Джо может быть фактом, и смерть Джо может быть внезапной, однако из этого не следует, что существуют внезапные факты.

Собрав предварительный языковой материал, мы можем теперь вернуться к причинам. Из моих рассуждений следует, что причины — это факты, а не события тогда и только тогда, когда, во-первых, слово „cause“ может описываться или замещаться не полностью номинализованными группами, во-вторых, сочетаемость этого слова совпадает с сочетаемостью слова „fact“ (и слов его семьи) и, в-третьих, оно не сочетается с предикатами, которые встречаются вместе со словом „event“ (и словами его семьи). Для иллюстрации первого условия я приведу без каких-либо дальнейших комментариев следующие примеры:

His having crossed the Rubicon caused the war.

'Переход им Рубикона вызвал войну.'

The fact that the insulation failed caused the fire.

'Тот факт, что изоляция была повреждена, вызвал пожар.'

His not being able to stop the cavalry caused the defeat.

‘То, что он не сумел остановить кавалерию, вызвало поражение.’

Отметим, кстати, что для всех этих примеров попытка перифразировать предложение вида „X caused Y“ с помощью предложения вида „Y is the effect of X“ заканчивается неудачей. Уродливость предложения

The war was the effect of his having crossed the Rubicon.

‘Война была следствием перехода им Рубикона.’

и двух остальных, переделанных по тому же способу, наглядно показывает, что причины и следствия не являются членами одного и того же отношения.

Второе условие может быть эксплицировано с помощью построения парадигмы случаев, которые встречаются вместе со словом „cause“. Что может вызывать причины, что может из-за них происходить, каковы их типичные атрибуты? Ученые и авторы детективов могут выявлять или выводить (find, deduce), упоминать или устанавливать (mention, state) причины точно так же, как они могут выявлять или выводить, упоминать или устанавливать факты. Сами причины, подобно фактам, могут указывать на другие вещи, вести к ним или объяснять их (indicate, lead to, explain). Наконец, также аналогично фактам, причины могут быть скрытыми или явными (hidden, obvious), вероятными или маловероятными (probable, unlikely), правдоподобными или неправдоподобными (plausible, unbelievable). Легко заметить, что такую же дистрибуцию имеет и слово result ‘результат’.

Наиболее убедительные подтверждения моей гипотезы вытекают из третьего условия. Я обращаюсь к Дэвидсону и Шортеру со следующим вопросом: если причины, подобно следствиям, являются событиями или слово cause хотя бы иногда обозначает событие, то тогда почему же нельзя и помыслить о том, чтобы причины происходили или имели место, о том, чтобы они в определенное время начались, сколько-то длились и внезапно закончились? Почему ни один мудрец не может наблюдать или выслушивать (watch, listen to) причины, ни один ученый не может смотреть на них в телескоп (observe them through a telescope) или регистрировать посредством сейсмографа (register with a seismograph) и никому не удавалось записать причины на магнитофон или заснять их на кинолентку (produce a tape recording or a moving picture of a cause)? Почему не бывает ни медленных, ни быстрых причин (slow, fast), почему они не могут быть внезапными, неистовыми или продолжительными (sudden, violent, prolonged)? На это можно возразить, что причину можно расположить (locate), что она может быть тайной или отдаленной (hidden, remote), а это указывает на то, что причины могут располагаться в про-

странстве. Однако подобное возражение некорректно, поскольку оно не учитывает метафоричности соответствующих выражений. Прятать причину на чердаке можно с таким же успехом, как находить факт под диваном. Метафоры, подобные приведенным выше, помещают факты, причины и результаты в логическое, но не физическое пространство.

III.

Эдип знал, что он женат на Иокасте. Не знал же он того, что он женат на собственной матери. Все же на самом деле брак Эдипа с Иокастой равнозначен браку Эдипа с собственной матерью. Следовательно, если верно, что его трагедию вызвал брак с собственной матерью, то должно быть верным и то, что его трагедию вызвал брак с Иокастой (хотя первое из двух утверждений менее информативно). Поэтому я согласен с тем, как Дэвидсон трактует примеры с первым человеком на Луне и пожаром в самом старом доме на улице Вязов; действительно, контексты, вводящие причину, в отличие от контекстов, вводящих пропозицию, обладают референционной прозрачностью. Конечно, в типичном случае причины — это факты, а не просто пропозиции. В связи с этим встает очень сложный вопрос о том, в чем состоит различие между фактом и пропозицией. Как показывает пример с Эдипом, просто сказать, что факт — это истинная пропозиция, недостаточно. Суть различия глубже: факты референционно прозрачны, тогда как пропозиции, даже истинные, референционно непрозрачны.

Эта точка зрения связана еще с одной. Пропозиции принадлежат людям — тем, кто их продуцирует или принимает. Люди имеют мнения (*have opinions*), они могут *поверить, сохранить веру или утратить ее* (*conceive, nurture, entertain, give up belief*), они *делают* утверждения (*make statements*), *дают* описания (*give descriptions*) и *выносят* приговоры (*issue verdicts*). Так, мы говорим об утверждении свидетеля (*the witness's statement*), мнении судьи (*judge's opinion*) и приговоре присяжных (*the jury's verdict*). Факты судебного дела не принадлежат никому, они объективированы; их можно обнаружить и раскрывать, с ними можно столкнуться (*the facts are to be found, discovered, arrived at*). В общем виде пропозиции — это либо объекты вводящих их пропозициональных отношений, либо продукты иллокутивных актов. Так, судья может поверить показаниям свидетеля или согласиться с приговором присяжных. Факты же предшествуют всем подобным мнениям; то, во что мы верим, или то, что говорим, может соответствовать фактам, и в этом случае наша вера или наши слова истинны. Как мы знаем, далеко не всегда отношения, вводящие пропозиции и иллокутивные акты, уменьшают достоверность этих

пропозиций и иллокутивных актов. Желания и приказы не могут быть истинными или ложными. Я думаю, что и пропозиции *per se* [‘сами по себе’] не могут быть ни истинными, ни ложными. Истинным или ложным может быть то, что мы полагаем (*мнение, вера*), *высказываем* — с большей или меньшей степенью ответственности (сообщение, приговор) или *думаем* по определенному поводу.

Но тогда что же такое пропозиция? Это не просто предложение или предложение, использованное в том или ином случае. Если я знаю (или говорю), что Эдип женился на Иокасте, то предполагается, что я знаю и то, что Иокаста вышла замуж за Эдипа и что Эдип и Иокаста вступили в брак. Естественно, что эти варианты образуют перифрастический набор для одной и той же пропозиции. Говоря более точно, оказывается, что пропозиция — это результат абстрагирования от конкретных членов этого перифрастического набора. Как представляется, к нашему случаю может оказаться применимым средневековое понятие „полная абстракция“⁷. Пропозиция — это абстрактная сущность, подчиняющая все члены перифрастического набора для не полностью номинализованных групп.

Подобно тому как пропозиция характеризуется интенциональной эквивалентностью, факты характеризуются экстенциональной эквивалентностью. При перифразах пропозиция сохраняется, сходным образом сохраняется и факт, описанный с помощью разных словесных выражений. Утверждение, что Эдип женился на Иокасте, не является перифразой утверждения, что Эдип женился на своей матери. Следовательно, они относятся к разным пропозициям, хотя констатируют один и тот же факт. Конечно, утверждение в устах одного человека (даже в „продукционном“ смысле) никогда не является в точности тем же самым, что это же утверждение в устах другого. То, что утверждается, может быть фактом, но чье-либо утверждение не может быть фактом, а может только соответствовать факту. Отсюда следует, что факты индифферентны к вариативности референционно эквивалентных средств. Подобно тому как пропозиции являются результатом абстрагирования от разнообразия перифрастических форм, факты являются результатом дальнейшего абстрагирования — от разнообразия референционно эквивалентных выражений. Таким образом, факт — это абстрактная сущность, подчиняющая все референционно эквивалентные истинные пропозиции.

Люди, имеющие веру, делающие утверждения и т. п., как предполагается, должны знать свой язык. Таким образом, они не мо-

⁷ См., например: Thomas Aquinas. — In: „Boethium de Trinitate“. — „Quest“, V, Art. 3.

гут не ощущать единства пропозиции: перифразы узнает всякий. В то же время единство факта зависит от референционно эквивалентных средств. И для овладения этими средствами требуется нечто большее, чем простое знание языка. А потому, хотя бедный Эдип, зная, что он женат на Иокасте, не мог не знать одновременно и того, что он состоит в браке с Иокастой [равно как и остальные перифразы этого предложения], для него могло явиться откровением то, что он состоит в браке с собственной матерью.

Трудность заключается в том, что факт нельзя сообщить *абстрактно*, без обращения к некоторому перифрастическому набору словесных выражений и даже без использования некоторого предложения на естественном языке, относящегося к соответствующему набору. Отсюда следует двойная неоднозначность словосочетания *what one said 'to, что некто сказал'*. Например, вы сказали, что французы любят де Голля. Сказали ли вы, что французы любят своего президента? И да, и нет. Ответить „да“ — это значит сконцентрировать внимание на факте, то есть предположить, что вам (как и французам) известна соответствующая референционная эквивалентность. Ответить „нет“ — это значит сконцентрировать внимание только на самой пропозиции. А сказали ли вы, что де Голль любим французами? Опять-таки и да, и нет. Да, если имеется в виду пропозиция, нет (возможно), если имеются в виду те конкретные слова, которые вы произнесли. Глагол *state* 'утверждать' лишен неоднозначности второго рода. Такое различие между глаголами *say* и *state* объясняется тем, что говорить могут слова и предложения, но не факты, а утверждаться могут факты, но не слова и предложения. Глагол *believe* и другие глаголы, вводящие пропозицию, в этом отношении подобны глаголу *state*. Они обладают неоднозначностью первого рода, но не второго.

Теперь предположим, что на самом деле французы де Голля не любят. Тогда ваше утверждение не может быть фактом. Тем не менее я не буду всецело не прав, сказав: *You stated that the Frenchmen love their president* 'Вы утверждали, что французы любят своего президента'. Значит, возможно произвести абстрагирование от референционно эквивалентных средств даже и в том случае, когда предположительные пропозиции оказываются ложными. В английском языке нет слова для обозначения „фактоподобной“ сущности, которая является результатом такого абстрагирования. Не говорить же, что предмет вашего утверждения — это „ложный“ факт! Ощущается потребность в подобном родовом термине, обозначающем единство референционно эквивалентных пропозиций независимо от того, истинны они или ложны, однако я не могу подобрать приемлемый термин.

Когда мы рассуждаем о судебных случаях, фактах или причинах того или иного события, мы оставляем в стороне человеческий

фактор. Эти вещи не относятся к продуктам человеческой деятельности, они существуют сами по себе, объективно; их можно обнаружить или раскрыть. Тем самым, вообще говоря, они индифферентны к способу языкового выражения, то есть к тому, какое именно из референционно эквивалентных средств выбрать. Однако как только речь заходит о людях, втянутых в те или иные причинные отношения, такой способ выражения сразу оказывается значимым, и мы ощущаем предпочтительность одних вариантов по сравнению с другими. Высказывание о том, что трагедию Эдипа вызвал его брак с матерью, объясняет больше, чем высказывание о том, что трагедию Эдипа вызвал его брак с Иокастой. Сходным образом лучше сказать, что страдания Гамлета вызваны мыслями о гибели его отца, чем предшествующего короля Дании⁸. Факт может показаться особенно отвратительным (или привлекательным), если он соответствующим образом описан. Сравним словосочетания *оскорбление де Голя* и *оскорбление президента Франции*. Одна идея хуже другой, хотя, если бы такое случилось, это были бы те же самые удары, то же самое событие, тот же самый факт.

Понимание причинных отношений требует такого расширения нашей онтологии, чтобы в нее наряду с локативно-временной областью объектов и событий включалась и описанная нами сфера. Если заданы мир, язык и все факты, то эта сфера состоит из научно обоснованных соотношений событий с их причинами.

IV.

Итак, причины — это факты. Однако мы не ответили на вопрос о том, какой факт или какие факты следует считать причиной или причинами определенного события.

Обратимся к примеру Дэвидсона. На улице Вязов был пожар. В поисках его причины следователь из страховой компании отверг такие версии, как поджог, утечка газа, брошенная сигарета, и, наконец, установил, что пожар вызван коротким замыканием в подвале. Ни один следователь не будет объяснять возгорание дома присутствием кислорода в атмосфере. Сравним этот случай с таким, когда возгорание происходит в тех или иных контролируемых условиях, например в специально отведенном месте или при соответствующем лабораторном эксперименте. В этом случае присутствие кислорода в атмосфере вполне может быть названо в числе причин пожара. Более того, если представить себе, что пожар на улице Вязов исследуют марсиане, то они могут счесть присутствие кислорода в атмосфере главной причиной пожара. Наконец, нельзя забывать и о той тривиальной истине, что до открытия кислорода никто не мог бы объяснять его присутствием что

⁸ Это один из сравнительно редких случаев, когда нечто, отличное от факта, — в данном примере — некая мысль — функционирует как причина.

бы то ни было.

Для того чтобы обобщить все случаи, я выдвигаю следующую гипотезу. Для каждого события существует набор фактов, каждый из них является необходимым условием его реализации, а вся их совокупность формирует достаточное условие его реализации. Сформулированный принцип я называю *трансцендентальным принципом причинности*; в связи с этим перед нами встает задача полного описания условий реализации каждого события с привлечением соответствующих научных законов.

Таким образом, выбор каузально релевантных фактов для определенного события будет опираться на совокупность научных знаний, которыми мы располагаем. Эта зависимость причинных отношений должна беспокоить нас не более, чем зависимость фактов от языка (включая язык науки). Поиски фактов, не отягощенных языком, или выяснение причин без обращения к науке так же перспективны, как поиски Ding an Sich [‘вещь в себе’].

Конечно же, никто не может перечислить все причины, которые сделают неизбежным наступление того или иного события. Абсолютная всеобщность всех релевантных условий, идея полного объяснения причин — это регулирующая идея в смысле Канта, которая побуждает нас двигаться по намеченному, хотя и заведомо бесконечному пути. Тут поневоле приходится выбирать, и для нашей задачи первостепенную роль играют прагматические соображения. Несомненно, мы знали, что в атмосфере присутствует кислород, что температура на улице Вязов во время пожара была „нормальной“, что в домах имеются воспламеняющиеся предметы и т. п. Не знали же мы того, что в подвале интересующего нас дома произошло короткое замыкание. Если же существует целый ряд причин, которые не замечены до возникновения события, то стоит перечислить их все — я все еще помню приведенные в школьных учебниках пять причин первой мировой войны. В любом случае приведенная причина должна быть необходимым условием: короткое замыкание нельзя трактовать ни как *единственную* причину, ни как *одну из причин этого* пожара, если бы он мог возникнуть и без короткого замыкания.

Законы науки, простые или сложные, имеют универсальную форму. Если они призваны послужить источником для единичных причинных утверждений, то они должны связывать определенный тип события с определенным типом факта. Поэтому, в какую бы форму они ни облекались, они должны задавать факты, равно как и события. Моя статья посвящена тому, что Дэвидсон назвал „скромной задачей“, и я не буду даже пытаться рассматривать вопросы логической формы причинных законов. Я могу только попросить логиков узаконить существование фактов, введя факт в число тех единиц, которыми они оперируют.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ BUT*

BUT 'НО, А'

Английский союз *but* 'но' демонстрирует большее разнообразие в употреблении по сравнению с союзом *and* 'и'. В ряде словарей и лингвистических работ отмечается несколько различных, часто слабо связанных между собой значений слова *but*. Я ставлю перед собой задачу свести все многообразие использования этого союза к одному, приложимому ко всем случаям диалогическому правилу¹.

Для этого полезно иметь перед глазами примеры различного использования союза *but*. Для их классификации имеет смысл поставить им в соответствие лишённые многозначности адвербиальные слова, которые помогли бы четко определить особенности значения союза *but*, ибо эти особенности составляют отличительную черту каждого отдельно взятого слова, которое может выступать в роли субститута².

Можно сказать, что существование таких лишённых многозначности слов служит основанием для выделения значений союза *but*, что будет сделано нами в дальнейшем. И хотя возможность подобного метода не является сама по себе достаточным аргументом для утверждения, что слово *but* является многозначным (ведь на самом деле для его описания достаточно одного правила), но она, по крайней мере, подтверждает существование различных значений противительных союзов. Наличие таких лишённых много-

* Lauri Carlson. Dialogue Games. An Approach to Discourse Analysis. Part II, ch. 2. „Connectives“, § 4—7, § 9, § 10 (p. 162—173, 178—183). Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1985.

© 1985. by D. Reidel Publishing Company. Dordrecht, Holland.

¹ Мы не будем заниматься здесь рассмотрением употребления союза *but* в значении 'only' ('только'), 'except' ('за исключением'), и 'instead' ('вместо'). Последнее из отмеченных значений можно, по-видимому, описать с помощью правила (D. but). Но мы не ставим перед собой эту задачу, так как для ее разрешения потребовался бы анализ эллиптических предложений.

² Рассмотрению различных значений союза *but* посвящены следующие работы: Abraham [1], Bellert [2], Dascal and Katriel [3], Halliday and Hasan [4], R. Lakoff [5], Spencer [6].

значности слов не только в английском, но и в других языках делает настоящее исследование особенно актуальным. Если знание правил построения диалога помогло бы нам предсказать, какие случаи употребления союза *but* должны встретиться в английском языке и иметь аналоги в других языках (что могло послужить основанием для создания типологии противительных союзов), то это явилось бы хорошим свидетельством универсальности разрабатываемого подхода.

Имея все это в виду, давайте обратимся к фактам языка.

Пожалуй, наиболее часто слово *but* используется как *but*, фиксирующее „обманутое ожидание“ (*the contrary-to-expectation but*). В этом значении его синонимом является слово *yet* ‘однако, все же, несмотря на то, что...’:

- (1) *My name is Sue**, *but I am a boy.*
‘Меня зовут Сью, но я мальчик.’
- (2) *She is busy, but she helps us all the same.*
‘Она занята, но все-таки помогает нам.’

Указанное значение слова *but* может быть также передано союзами *although* ‘хотя’ или *despite* ‘несмотря на то...’, которые соединяют две части предложения. В рассматриваемых примерах первая часть предложения содержит индуктивный аргумент, направленный против содержания второй части, что и объясняет термин *but*, фиксирующее „обманутое ожидание“.

Однако, как уже отмечалось многими авторами, логическая зависимость между предложениями, соединенными союзом *but*, не является обязательной; ср.:

- (3) *I like it, but I cannot afford it.*
‘Мне нравится это, но я не могу этого себе позволить.’
- (4) *Mary is intelligent, but she is ugly.*
‘Мэри умна, но некрасива.’
- (5) *He tried, but he failed.*
‘Он пытался сделать это, но ему не удалось.’

Для того чтобы принять (3)—(5) как правильные высказывания, нет необходимости считать, что людям может понравиться только то, что им по средствам, что существует прямая зависимость между умственными способностями человека и его красотой или что большинство попыток бывает удачным. Этот смысл союза *but* может быть передан также при помощи слова *however* ‘однако’ и выражения *on the other hand* ‘с другой стороны’. Союзы *although* и *yet* здесь употреблены быть не могут.

* *Sue* — уменьшит. от женских имен *Susann* и *Susanna* ‘Сьюзен, Сюзанна’. — *Прим. перев.*

У носителей языка легко может возникнуть ощущение, что в примерах (3)—(5) как бы взвешиваются факты за и против некоторого несформулированного в явном виде положения: автор (3) мог бы обсуждать стоимость покупки, автор (4) — прикидывать, каковы шансы Мэри на успех у мужчин, автор (5) — размышлять о том, удалось кому-то что-то сделать или нет. Во всех этих случаях присутствует некоторое невысказанное *tertium comparationis** (если воспользоваться термином Абрахама [1]), которое и придает каждому примеру эффект контрастности. Дадим этому употреблению союза *but* название „*tertium comparationis*“ *but*.

И, наконец, еще одно значение союза *but*, которое Робин Лаккофф [5] классифицировала как *but* „семантического противопоставления“ („*semantic opposition*“ *but*):

- (6) John hates ice cream, but I like it.
'Джон не любит мороженое, а я люблю.'
- (7) John turned left, but Bill turned right.
'Джон свернул налево, а Билл — направо.'
- (8) He spoke Spanish, but she spoke Italian.
'Он говорил по-испански, а она — по-итальянски.'

Здесь различие между *and* и *but* минимальное: при замещении *but* союзом *and* смысл меняется незначительно. Другие возможные в данном случае перифразы — *whereas* 'тогда как', *while* 'тогда как', 'в то время как', 'несмотря на то...'

Итак, что общего существует между всеми отмеченными употреблениями союза *but*? Суть моего ответа заключается в формулировке следующего правила диалогической игры для этого слова:

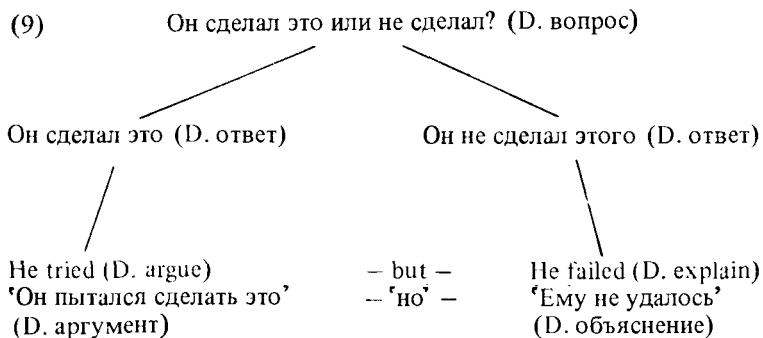
- (D. *but*) После того как говорящий выскажется по данной теме (*topic*), любой другой человек может присоединиться к разговору, произнеся предложение, которое начинается со слова *but* и содержит сведения, связанные с той же темой, но в какой-то степени противоречащие сказанному ранее.

Здесь необходимы дополнительные разъяснения. Под связанностью высказывания с темой я имею в виду то, что можно было бы назвать нанесением и ответным парированием удара: так, если в роли темы выступает вопрос, то следующая за вопросом реплика адресата должна быть не чем иным, как полным или частич-

* *tertium comparationis* (логич.) — 'третье в сравнении', то есть то общее, что служит основанием для сравнения. — *Прим. перев.*

ным ответом на него (причем необходимая информация может быть получена не только прямым способом, но и путем логического вывода).

Что подразумевается под связанностью тем в правиле (D. but) проще всего показать на конкретных примерах. Давайте проанализируем предполагаемую диалогическую структуру одного из них:



На схеме (9) объяснение употребления союза *but* представлено графически. Здесь тема (вопрос) допускает два противоречащих друг другу ответа, с которыми связаны две части высказывания (5), причем первая часть содержит информацию в пользу положительного ответа, а вторая — в пользу отрицательного. Структурное условие правила (D. but) соблюдено, и все предложение является правильным.

Приведенное объяснение легко распространить и на другие случаи использования *tertium comparationis but* в примерах (3)—(4). Для (4) можно предложить следующую тему:

(10) Is she a first-rate secretary?

'Она хороший секретарь?'

а для (3):

(11) Will you buy it?

'Ты будешь покупать это?'

На схеме (9) показано, что подразумевается под связанностью тем в правиле (D. but): две темы связаны, если они представляют собой функционально одинаковые шаги по отношению к некоторой теме более высокого порядка.

Похоже, что сформулированные нами правила (D. and)* и (D. but) подтверждают предположение Лейбница относительно использования союза *but* как противопоставленного союзу *and*³, изложенное Годдаром [7] следующим образом:

«Основная идея может быть сформулирована так: когда за одним предложением следует другое, которое начинается словом *and*, это означает, что второе предложение дополняет первое, является его продолжением.

Если, однако, в качестве соединительного используется слово *but*, то при этом подразумевается, что второе предложение *не является* продолжением или дополнением к сказанному ранее.»

Правила (D. and) и (D. but) подтверждают эту мысль: союз *and* связывает высказывания, относящиеся к одной теме, а союз *but* — высказывания, относящиеся к связанным между собой, но в определенной степени противопоставленным темам.

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛА (D. BUT)

Отличительной чертой примеров с „обманутым ожиданием“ является то, что части высказывания по обе стороны от союза *but* находятся между собой в логическом противоречии. Чем это объясняется? Предположим, что темами для (1) — (2) являются соответственно (12) — (13):

(12) Who are you? Are you a boy or a girl?

‘Ты кто? Ты мальчик или девочка?’

(13) What did she say? Can we count on her?

‘Что она сказала? Мы можем рассчитывать на ее помощь?’

Эти тематические вопросы имеют одну важную общую особенность. Исчерпывающими ответами на них являются именно предложения, которые начинаются союзом *but*. Это убедительно подтверждается тем синтаксическим фактом, что в случае замены *but* на *although* или *despite* предложение, присоединяемое в исходном варианте союзом *but*, становится главным.

Диалогическая структура (1) может быть представлена в следующем виде:

* Рассмотрению правила (D. and) посвящен не вошедший в настоящий сборник § 1 гл. 2 „Connectives“, с. 152—155. — *Прим. перев.*

³ Leibniz. Chap. VII, § 5. [Русск. пер. в кн.: Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии. (Кн. 3. гл. 7, § 5). — В кн.: Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х томах. Том 2. М.: „Мысль“, 1983.]

- (19) How do you people like ice cream? Do you like it or not?
'Как вы относитесь к мороженому? Вы любите его или нет?'
- (20) Which way did they go? Did they turn left or right?
'Как они пошли? Они свернули налево или направо?'
- (21) What language did they speak? Was it Spanish?
'На каком языке они говорили? На испанском?'

В примерах (19) — (21) наличествует пресуппозиция общности вкусов, выбора пути или языка для нескольких индивидов: левая часть *but*-предложения согласуется с пресуппозицией вопроса, а правая опровергает ее. Интересно сравнить вопросы (19) — (21) со следующими:

- (22) Who hates ice cream and who likes it?
'Кто из вас любит мороженое, а кто нет?'
- (23) Who turned where?
'Кто куда свернул?'
- (24) Who spoke what language?
'Кто на каком языке говорил?'

В отличие от (19) — (21), в вопросах (22) — (24) нет пресуппозиции общности указанных выше моментов, поэтому в ответах использование союза *but* необязательно; ср.:

- (25) John hates ice cream and I like it.
'Джон любит мороженое, а я не люблю.*'
- (26) John turned left and Bill turned right.
'Джон свернул налево, а Билл — направо.'
- (27) He spoke Spanish and she spoke Italian.
'Он говорил по-испански, а она — по-итальянски.'

С логической точки зрения разница между (19) — (21) и (22) — (24) совсем незначительна; она связана главным образом с последовательностью кванторов. В (19) — (21) задача вычленения индивидов из классов *you* 'вы' и *they* 'они' стоит перед адресатом, в то время как в (25) — (27) соответствующее разбиение уже задано в самих вопросах. Вопросы (19) — (21) содержат более сильную пресуппозицию, ибо ответы на них не предполагают вычленения индивидов из класса, как в случаях (25) — (27). Употребление союза *but* в примерах, где присутствует „семантическое противопоставление“, связано именно со спецификой содержания соответствующей пресуппозиции.

Если это объяснение правильно, мы должны ожидать, что

* В русском языке, в отличие от английского, ответы на вопросы (19) — (21) и (22) — (24) совпадают. И в том и в другом случае в качестве соединительного используется союз *а*. — *Прим. перев.*

but „семантического противопоставления“ окажется ненужным в том случае, когда указанная пресуппозиция будет отсутствовать. Рассмотрим следующий пример:

(28) This is Wimbledon, the final in men's singles.

The finalists are Björn Borg and Jim Connors.

Borg is playing from left to right but Connors from right to left.

‘Уимблдон — финальные соревнования среди мужчин в одиночном разряде.

Финалисты — Бьёрн Борг и Джим Коннорс.

Борг играет слева от вас, но (but) Коннорс справа’.

Общеизвестно, что в одиночном разряде теннисисты играют на противоположных площадках. Для того чтобы подчеркнуть это, слово *but* не требуется. Выдвинутое выше предположение оправдалось: союз *but* в рассмотренном примере действительно выглядит весьма странно.

ИМПЛИКАЦИЯ ПРАВИЛА (D. BUT)

Заслуживает внимания следующая особенность союза *but*, отличающая его от *and*. В то время как некоторое количество предложений легко может быть соединено союзом *and*, последовательность предложений, соединенных союзом *but*, встречается крайне редко и не производит впечатления правильного употребления. Ниже приводятся несколько показательных примеров подобного рода, взятых из романа Мэрлин Фрэнч „The Bleeding Heart“ (‘Сердце, истекающее кровью’):

(29) No, if we were together all the time, I'd get to resent quitting my work whenever he decided to come home: *And* he'd get to resent my resenting quitting my work. *And* besides, if we lived together all the time, he wouldn't quit early. *And* I'd get to resent that he worked late. *And* then, if we were together all the time, it wouldn't be a holiday *and* he'd expect me to cook him dinner. *And* I'd resent cooking dinner every night, *and* he wouldn't be happy with a cheese sandwich, as I am. *And* of course, he'd expect me to do the marketing.

‘Нет, если бы мы были все время вместе, мне было бы неприятно уходить с работы, как только он решит прийти домой. *И* ему было бы неприятно, что мне не хочется уходить с работы. *И*, кроме того, если бы мы жили все время вместе, он бы и сам не стал рано кончать работать. *И* мне бы не нравилось, что он работает допоздна. *И* потом, если бы мы были все время вместе, у меня не было бы ни одной свободной минуты, *и* он непременно бы хотел, чтобы я готовила. *И* мне было бы неприятно заниматься этим

каждый вечер, и он, конечно, не стал бы довольствоваться бутербродом с сыром, как я. И, конечно, он бы настаивал, чтобы я сама делала покупки.'

(30) I don't want to burden you, but it's a terrible marriage, but I can't leave because of the kids (...).

'Мне бы не хотелось обременять тебя своими заботами, но это ужасный брак, но я не могу уйти из-за детей.'

(31) And I love Edith, but I love the kids more, but I love you more than that.

'Да, я люблю Эдит, но детей я люблю больше, но тебя я люблю больше всех.'

В примере (29) чувствуются повторы, но они воспринимаются как следствие сконцентрированности на одной теме, тогда как примеры (30) и (31) дают ощущение перескока с одной темы на другую. Правило (D. but) объясняет это явление: каждое употребление союза *but* в (30) и (31) требует формулировки новой темы.

Вопрос, который стоит в романе перед автором (31), может быть сформулирован следующим образом:

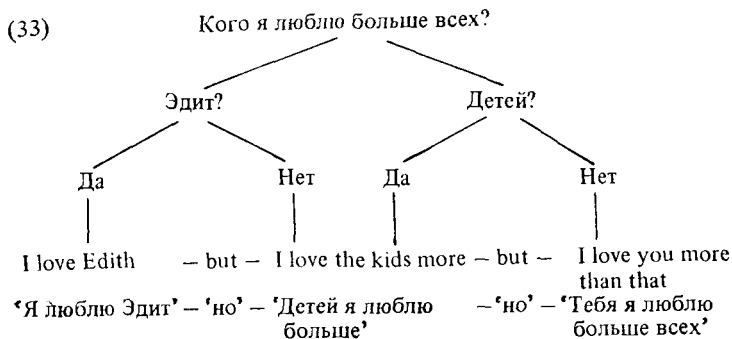
(32) Who do I love most?

'Кого я люблю больше всех?'

В (31) последовательно приведены три ответа, состоящие в указании на Эдит (жену говорящего), его детей и собеседницу.

Структурное условие употребления союза *but* не позволяет организовать фразу (31) в виде конъюнкции трех ответов на вопрос (32). Правило (D. but) требует, чтобы три альтернативы, отраженные на схеме (33), были сгруппированы в две пары, каждая из которых содержала бы еще по две дополнительные альтернативы.

Так, приемлемой (и вполне вероятной) диалогической реконструкцией для (31) является следующая:



На схеме (33) графически показано, почему пример (31) имеет оттенок неуверенности или отсутствия четкости: серединное предложение, в котором происходит изменение темы, покрывает одновременно две темы.

Интересно, что высказывание (31) не может быть изменено просто путем опущения первого *but*, что вполне возможно в случае многократного употребления союза *and*:

(34) I love Edith, I love the kids more, but I love you more than that.

‘Я люблю Эдит, детей я люблю больше, но тебя я люблю больше всех.’

Высказывание (34) тоже не может выполнять функцию одновременного сопоставления трех положений. Поскольку в рассматриваемом примере главным соединительным средством является союз *but*, то два первых предложения составляют единый аргумент, а предложение, вводимое союзом *but*, — контраргумент. Если бы потребовалось первую запятую заменить союзом, то в этой роли вполне мог бы выступить союз *and*. В этом случае темой для (34) был бы вопрос

(35) How about divorce?

‘Как насчет развода?’

а семейные узы и новая любовь являлись бы противоположными аргументами при принятии того или иного решения.

Сформулированное нами правило (*D. but*) может объяснить также такую особенность союза *but*, как подразумеваемый при его употреблении контраст. Рассмотрим следующий пример:

(36) This man is black, but that man is Polish.

‘Один из них чернокожий, а другой поляк.’

На первый взгляд, кажется, что в (36) в качестве исходного положения принято, что характеристики „быть чернокожим“ и „быть поляком“ противоречат друг другу: поляк не может быть чернокожим. Эта импликация действительно имеет место, если (36) является не вполне утвердительным ответом на один из следующих вопросов:

(37) Are those men black?

‘Они чернокожие?’

(39) Are those men Polish?

‘Они поляки?’

Легко, однако, включить (36) в такой контекст, где указанная импликация будет отсутствовать, например:

(39) Is this man black and that man Italian?

‘Один из них чернокожий, а другой итальянец?’

Очевидно, что левая часть примера (36) является утвердительным ответом на вопрос (39), а правая часть — отрицательным. Здесь между частями высказывания (36) нет никакой логической связи, как нет ее и в примере (39).

СОЮЗ BUT В ДИАЛОГЕ

Последний из приведенных выше примеров со всей ясностью указывает на то, что правила употребления союза *but* должны занимать особое место в диалогической грамматике. Уместность слова *but* не может быть определена без учета диалогического контекста употребления того или иного предложения, содержащего этот союз. При соответствующих допущениях оправдано соединение предложений любого семантического содержания. Рассмотрим следующий пример:

(40) Two and two is four but Russell was an Englishman.

‘Дважды два четыре, а Рассел был англичанином.’

Это высказывание, взятое изолированно, звучит довольно странно. Однако, если рассматривать (40) как реплику преподавателя, анализирующего контрольные работы студентов, все становится на свои места. Один из студентов правильно произвел арифметическую операцию, но ошибся в определении национальности Рассела. Темой высказывания (40) мог бы быть следующий вопрос:

(41) Is everything right here?

‘Все ли здесь правильно?’

Давайте рассмотрим функционирование слова *but* в диалоге более внимательно. В отличие от союза *and*, союз *but* не может присоединять высказывания, которые продолжают начатую тему. Предложения, начинающиеся с *but*, используются для выражения сомнения или несогласия с содержанием предшествующей реплики⁴, ср.:

(42) A: He is extremely good.

B: But he is slow.

A: ‘Он очень хороший работник.’

B: ‘Но он очень медлительный.’

Из (42) неясно, разделяет В мнение своего собеседника или нет. В может быть убежден, что хороший работник не должен быть

⁴ Согласно Piaget [8], французский союз *mais* (англ. *but*, русск. *а, но*) встречается главным образом в возражениях.

медлительным; в этом случае его реплика может считаться противоположным (по сравнению с высказыванием А) ответом на вопрос

- (43) Is he extremely good or not?
'Он хороший работник или нет?'

С другой стороны, В может рассматривать квалификацию работника и быстроту выполнения им заданий как независимые характеристики, имеющие отношение к некоторой третьей теме, например:

- (44) Should we give him tenure?
'Стоит ли назначать его на должность?'

В этом случае соображения А и В могут иметь одинаковый статус.

При эллипсисе рассмотренный выше диалог утрачивает свою неоднозначность. Эллиптический диалог

- (45) A: He is extremely good.
B: But slow.
A: 'Он хороший работник.'
B: 'Но медлительный.'

может быть проинтерпретирован только последним из двух указанных способов. Высказывания, вводимые словом *yet* 'однако; все же; несмотря на это', всегда будут иметь такую же интерпретацию. Это служит еще одним доказательством сходства и различия союзов *but* и *yet*.

But-предложение может быть также возражением на предыдущую реплику:

- (46) A: Nobody can do that.
B: But he did it.
A: 'Никто не может сделать этого.'
B: 'Но ведь он сделал.'

Полное отрицание союз *but* вводит крайне редко:

- (47) A: He is dead.
B: But he is not dead!
A: 'Он мертв.'
B: 'Но ведь он жив!'

Похоже, что союз *but* используется здесь для выражения глубочайшего удивления, негодования или недоумения. Чем это объясняется?

Сопоставление примеров (46) и (47) показывает, что разница между ними состоит не в том, что в одном случае имеет место логическое противоречие между самими репликами, а в другом

случае — между суждениями, полученными из исходных путем логического вывода. Различие между (46) и (47) связано скорее с направленностью аргументов.

Я считаю, что выделенность союза *but* в примере (47) объясняется возможностью более простого построения диалога, который уже не будет удовлетворять структурному описанию правила (D. *but*). Диалог (47) легко превратить в простой обмен утвердительными репликами:

(48) A: He is dead.

B: He is not dead. (D. *reply*)

A: 'Он мертв.'

B: 'Он жив.' (D. *ответ*)

Здесь высказывания А и В упорядочены не параллельно, а последовательно, как утверждение и ответная реакция на него.

И все же в примере (47) появляется союз *but*, выражающий удивление. Как это возможно? Мне кажется, что автор *but*-предложения удивлен не содержанием сообщения собеседника, а самим фактом произнесения заведомо ложного высказывания. Употребление союза *but* в примере (47) мотивировано не тем, что *but*-предложение якобы является ответом на вопрос *Он мертв?*, а тем, что оно связано со стратегическим вопросом *Может ли кто-нибудь говорить (считать истинным), что он мертв?* То, что А делает это, является прямым свидетельством того, что это возможно (при условии, что А не нарушает коммуникативных правил). В, который располагает более полной информацией, удивлен ошибкой А и показывает это, раскрывая собеседнику глаза на действительное положение дел. В предваряет свое сообщение союзом *but*, употребление которого удовлетворяет правилу (D. *but*).

Это объяснение может быть также применено для описания различия между (46) и (47). Диалог (46) является совершенно правильным, ибо здесь реплику В нельзя считать прямой реакцией на высказывание А. Вероятнее всего, темой для реплики А явля-

(49)

Он сделал это или не сделал?

He did not do it.
'Он не сделал этого.'

B: He did it.
'Он сделал это.'

A: No one can do that — but —
(D. *explain*)
'Никто не может сделать это' — 'но' —
(D. *объяснение*)

ется вопрос, удалось ли человеку, о котором идет речь, проявить свое мастерство или нет:

Правило (D. but) не накладывает ограничений на возможность употребления глагола в *but*-предложении в том или ином наклонении. А вот требование того, чтобы части высказывания слева и справа от союза *but* относились к противоречащим темам, делает невозможным ряд употреблений. Так, предложения, темы которых координированы, не могут быть соединены союзом *but*:

(50) Who are you but who is he?

‘Кто ты, а (но) кто он?’

(51) Did he try but did he fail?

‘Он пытался сделать это, а (но) ему не удалось?’*

Ситуация меняется, если вопросы задаются отдельно, с временным интервалом для ответа:

(52) A: Who are you?

B: I am Jack.

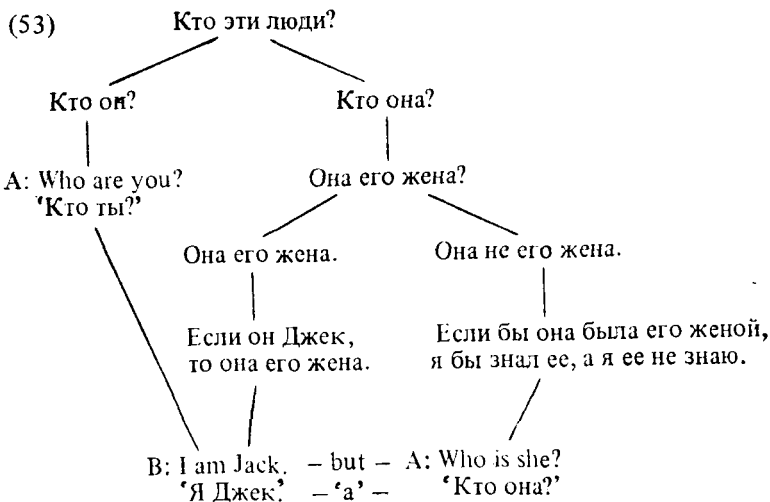
A: But who is she?

A: ‘Ты кто?’

B: ‘Я Джек.’

A: ‘А кто она?’

Очевидно, что диалог (52) является совершенно правильным. Но какое значение имеет здесь союз *but*? Ниже приводится возможная реконструкция этого диалога:

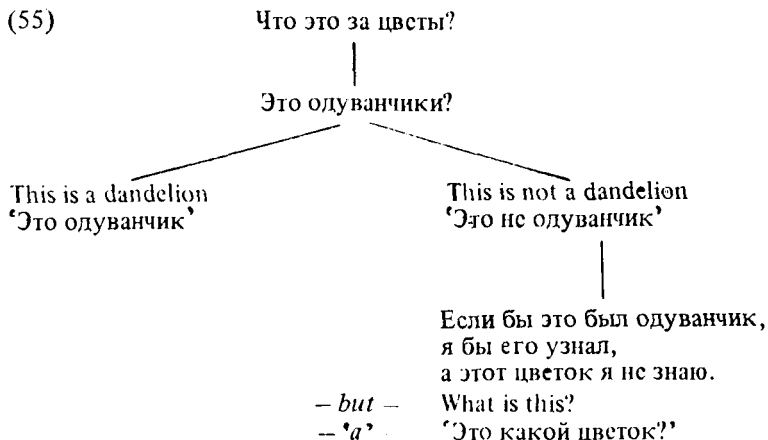


* Русский перевод примера (51) не передает неправильности соответствующей английской фразы. — *Прим. перев.*

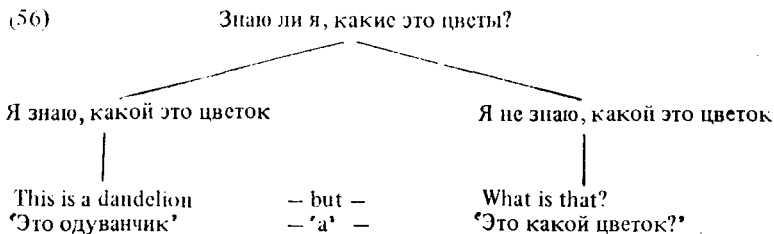
Тот факт, что А должен как бы допытываться, чтобы узнать, что это за женщина, бросает тень недоверия на ответ В. Рассмотрим пример, слегка отличающийся от предыдущего:

- (54) This is a dandelion, but what is that?
 'Это одуванчик, а это какой цветок?'

Здесь анализ можно представить в следующем виде:



Реконструкция показывает, почему на первый взгляд кажется, что в (54) содержится предположение, что другие цветы не могут быть одуванчиками. Эта импликация, однако, полностью исчезает при другой реконструкции:



Здесь союз *but* служит уже не для противопоставления одуванчиков другим цветам, а для противопоставления знания незнанию.

ЛОГИЧЕСКОЕ BUT

Чрезвычайно интересное диалогическое использование союза *but* было отмечено Джоном Локком:

- (57) All Animals have Sense; But a Dog is an animal.
 ('Все животные ощущают, а собака — животное').

Здесь *but* означает примерно то, что второе предложение связано с первым как меньшая посылка силлогизма⁵.

Подобное употребление союза *but* часто встречается в современных изложениях логических доказательств.

Каким образом это использование слова *but* может быть подведено под общее правило (D. *but*)? Нами было установлено, что союз *but* фиксирует изменение темы. Для того чтобы не было опровергнуто требование противоречивости, содержащееся в правиле (D. *but*), необходимо найти две *противоречащие* друг другу темы, к которым относятся суждения, соединенные союзом *but*. Заметим, что противоречие между посылками необязательно должно быть выражено явно: в примере Локка этого нет. Это лишний раз указывает на то, что здесь мы имеем дело с диалогическим использованием союза *but*.

Мне кажется, что слово *but* используется в логике для соединения двух на первый взгляд несвязанных шагов рассуждения, которые, как оказывается при ближайшем рассмотрении, все-таки ведут к некоторому общему заключению: союз *but* служит сигналом неожиданного поворота в ходе рассуждения.

Это предположение выявляет скрытую тему для слова *but*. Вопрос, который требует рассмотрения, заключается в следующем: действительно ли из таких посылок может следовать данный вывод? В ряде случаев это совсем не очевидно: обнаружить связь между посылками и заключением бывает очень трудно. *But*-предложение помогает разрешить сомнение путем воссоздания нарушенной связи: вывод все-таки следует из посылок!

Конечно, элемент неожиданности и удивления в тривиальном примере Локка минимален. Он более заметен тогда, когда посылки удалены друг от друга, как, например, в отрывке, посвященном описанию свойств больших кардинальных чисел, взятом из книги Шенфилда „Математическая логика“:

«Предположим, что EC есть изоморфизм между I и J . В силу (14) и определения U_I нам необходимо лишь доказать, что

$$(15) \quad x \in_I y \leftrightarrow EC(x) \in_J EC(y)$$

Импликация слева направо очевидна. Предположим, что $EC(x) \in_J EC(y)$. Тогда $EC(x) = EC(x')$, $EC(y) = EC(y')$, и $x' \in_I y'$. Согласно (14), $x = {}_I x'$ и $y = {}_I y'$. Таким образом, нам нужно только доказать, что

$$x = {}_I x' \ \& \ y = {}_I y' \ \& \ x' \in_I y' \rightarrow x \in_I y.$$

⁵ Локке [9], кн. 3, гл. 7, § 5, ср. прим. 3.

А это уже переформулировка теоремы ZF.» (But this is the interpretation of a theorem of ZF). (Shoenfield. Mathematical Logic, p. 310).

Последняя строка должна, несомненно, принести чувство облегчения читателям Шенфилда.

С исторической точки зрения интересно, почему именно такое использование союза *but* стало излюбленным стилистическим приемом при построении силлогизмов. Следующее предположение, возможно, будет далеко от простой занимательности.

В своем произведении „Толика“ Аристотель дает совет диалектику, который хочет, чтобы критически настроенный собеседник правильно воспринял ход его рассуждений. Аристотель предупреждает, что ошибочно сразу требовать от собеседника, чтобы тот принял посылки, необходимые для вывода (крайним проявлением чего является „*считать спорный вопрос решенным*“, не требующим доказательств). Ибо велика вероятность того, что «отвечающий не согласится с ними (посылками. — М. Д.), поскольку они близки к [положенному] вначале, и он предвидит все, что из них воспоследует»⁶.

В числе прочих средств, позволяющих избежать этого, Аристотель отмечает, что «полезно также брать те положения, из которых исходят силлогизмы, не непрерывно, а попеременно, то для одного заключения, то для другого, ибо если приводят подходящие положения одно за другим, то яснее становится то, что из них вытекает»⁷.

Теперь давайте посмотрим, как можно приложить это предписание к примеру Локка. Представляется, что темой силлогизма можно считать вопрос об истинности значения заключения, сформулированного в качестве вывода, к которому приводит рассуждение; в примере Локка это вопрос:

(58) Does a dog have sense?

‘Собаки ощущают?’⁸

Человек в обычной ситуации не будет излагать посылки доказательства перед выводом, он, скорее всего, построит силлогизм следующим образом:

(59) A dog does have sense, for dogs are animals, and all animals have sense.

‘Собаки ощущают, ибо собаки — животные, а все животные ощущают.’

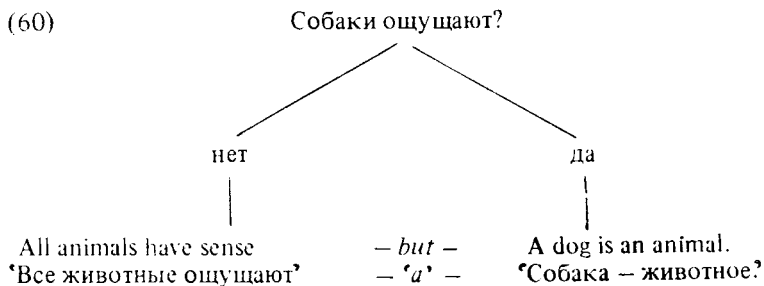
⁶ Aristotle [10], кн. 8, 1.

⁷ См. сноску 6.

⁸ Заключение силлогизма было даже названо „вопросом“; ср. Robinson [11].

Аристотелевский диалектик, напротив, не стал бы сразу вскрывать весь ход рассуждения, излагая посылки, соединенные союзом *and*. Он бы действовал постепенно: выдвинул бы сначала большую посылку, как будто совершенно не имеющую отношения к делу, и только потом ввел бы меньшую посылку, предваряя ее союзом *but*:

(60)



Когда большая посылка следует за первой, у слушающего могут возникнуть сомнения относительно темы разговора: каким образом информация о животных как о классе связана с сообщением о качествах, присущих собакам? С первого взгляда не совсем очевидно, что здесь может быть какое-то общее заключение. *But*-предложение воссоздает нарушенную логическую связь, вследствие чего становится понятно, что, несмотря на первое впечатление, из посылок все-таки следует вывод.

Две особенности использования союза *but* в силлогизмах подтверждают правильность нашего анализа. Во-первых, две посылки, соединенные в примере (57) союзом *but*, могут быть интонационно оформлены как независимые фразы, что отражено на письме при помощи точки с запятой. Эти приемы нужны для того, чтобы представить посылки как внешне независимые шаги рассуждения. Во-вторых, заметим, что порядок следования посылок и заключения в примере (57) не может быть изменен на обратный, как в примере (59): вывод появляется в ходе рассуждения как нечто совершенно непредвиденное.

РУССКИЕ ПРОТИВИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

В разделе „Импликация правила (D. *but*)“ было отмечено, что союз *but* не может служить для соединения более чем двух предложений, связанных одной темой. С точки зрения лингвистической типологии интересно, что в русском языке есть союз, который может выполнять эту функцию. Это союз *a* (англ. *and, yet, whereas*).

Кроме того, в русском языке есть союз *но*, который близок к английскому *but*. Похоже, что союз *но* подчиняется той же системе ограничений, что и союз *but*, поэтому в качестве правила (*D. но*) может использоваться правило (*D. but*), взятое без изменений.

Чтобы получить представление об употреблении союза *a*, давайте рассмотрим несколько примеров.

(61) *Это его карандаш, а не твой.*

(62) *Она придет не сегодня, а завтра.*

(63) *Она занята, а помогает нам.*

(64) *Это мой сын, а это моя дочь.*

(65) *Детей в семье было трое: Саша учился в политехникуме, Тоня — в консерватории, а Лиля заканчивала школу.*

Из приведенных примеров видно, что союз *a* имеет области пересечения с английскими союзами *but* (*instead*), *yet* и *and* (*whereas*).

Примеры, подобные (63), нам уже встречались. В высказывании (63) союз *a* означает то же самое, что и *but*, фиксирующее „обманутое ожидание“.

Еще больший интерес представляют примеры, где союз *a* подобен английскому союзу *and*. В отличие от *and*, союз *a* в примерах (61) — (62) симметричен. В примерах (64) — (65) он соединяет координированные ответы на такие вопросы, каждый из которых мог бы быть представлен в виде серии вопросов — о каждом представителе класса отдельно (*multiple questions*). В (64) имплицитный вопрос можно сформулировать так: кто есть кто?, а в (65) — кто чем занимается?

Однако союз *a* не встречается в ряде контекстов, естественных для английского *but*. В этих случаях должен быть употреблен союз *но*.

Чем же отличаются союзы *a* и *but*? Мне кажется, что различие между ними проходит по трем пунктам. Во-первых, понятие противоречивости (контрадикторности) тем должно быть заменено более слабым понятием разобщенности или расчлененности тем (*disjointness of topics*). Мы будем называть два вопроса *расчлененными*, если на них нельзя дать общий ответ; в этом случае и сами ответы являются расчлененными. Так, высказывание (64) отвечает на два расчлененных вопроса:

(66) *Кто есть кто? Кто это? А кто это?*

Сказанное выше приложимо и к примеру (65).

Для того чтобы сформулировать правило диалогической игры для союза *a*, нам нужно только слегка изменить правило (*D. but*):

(*D, a*) Говорящий всегда может присоединить к своему высказы-

ванию на определенную тему еще одно предложение, которое начинается с союза *a* и относится к связанной, но расчлененной — по отношению к предыдущей — теме,

Введение условия разобщенности тем приводит к тому, что предложения, соединенные союзом *a*, оказываются в определенной степени контрастивными по отношению друг к другу, чего нельзя сказать о предложениях, соединенных союзом *и* (англ. *and*); ср. примеры:

(67) *Я люблю тебя, и ты любишь меня.*

I love you and you love me.

(68) *Я люблю чай, а ты любишь кофе.*

I love tea, but you love coffee.

Если бы в примере (67) был употреблен союз *a*, он звучал бы довольно странно, а вот в примере (68) его использование совершенно естественно. Причина этого ясна: союз *a* в (68) указывает на то, что объекты любви разобщены, в то время как союз *и* в (67) допускает их пересечение. Союз *a* в высказывании (67) должен бы был означать, что мы не любим самих себя, подобно тому как в примере (68) подразумевается, что мы любим разное. Аналогичная импликация имеет место при употреблении *but* „семантического противопоставления” в английской версии высказывания (68).

Редукция понятия противоречивости тем к понятию расчлененности тем позволяет правильно интерпретировать способность союза *a* соединять несколько ответов на такие вопросы, каждый из которых мог бы быть представлен в виде серии вопросов. Противоречивых тем может быть не больше двух, в то время как количество расчлененных вопросов не фиксировано.

Второе отличие между союзами *but* и *a* уже отмечено в правиле (D. a): союз *a* продолжает тему. Вследствие этого союз *a*, подобно английским союзам *and* или *yet* и в отличие от *but* и его русского эквивалента *но*, предполагает принятие всей прежней информации как истинной. Например, в диалоге

(69) А: *Я покушался на убийство.*

В: *А тебя не арестовали?!**

ответ В фиксирует его удивление, но никак не сомнение в истинности слов А. При употреблении союза *но* появилась бы возможность интерпретировать ответ В как контраргумент, возражение или опровержение.

* Ср. у А. П. Чехова: [Войницкий]: «Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим». („Дядя Ваня“, действ. IV). — *Прим. перев.*

Третья черта, отличающая союзы *but* и *a*, касается невозможности для союза *a* употребляться в значении *tertium comparationis*. Следующее добавление к правилу (D. a) должно объяснить это различие:

(70) *Предложение, начинающееся с союза a, должно являться исчерпывающим ответом на вопрос.*

Это ограничение признает правильными ответы на вопросы, каждый из которых мог бы быть представлен в виде серии вопросов, как в примерах (64) — (65), а также высказывания, подобные высказываниям (61) — (62), где сообщаемая информация подвергается корректировке. Что же касается примера (63), то здесь надо просто вернуться к описанию *but*, фиксирующего „обманутое ожидание“.

Добавление к правилу (D. a) запрещает использование союза *a* в том случае, когда говорящий взвешивает независимые аргументы *pro* и *con* (за и против) при ответе на некоторый общий вопрос, как в следующем примере:

(71) *Я люблю Наташу, это правда, но иногда она кажется мне удивительно пошлой.**

I love Natasha, it's true, but sometimes she seems terribly banal to me.

Автор высказывания (71) использует союз *no*, а не союз *a*, так как у него и в мыслях нет, что он, любя Наташу, должен не замечать ее недостатков. Скорее, два предложения в примере (71) представляют собой независимые аргументы при ответе на вопрос, счастлив ли он с ней. Поскольку предложения, соединенные союзом *no*, не вступают в противоречие друг с другом, то этот союз звучит здесь менее импульсивно и не так сильно, как союз *a*.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Abraham, W. Some semantic properties of some conjunctions. — In: „Some Implications of Linguistic Theory for Applied Linguistics“. (Ed. by S. Corder and E. Roulet). Brussels and Paris: Aimav and Didier, 1975, p. 7—31.

[2] Bellert, I. On certain syntactical properties of the English connectives *and* and *but*. — „Transformations and Discourse Analysis Papers“, N. 64, Univ. of Pennsylvania, Dept. of Linguistics, 1966.

[3] Dascal, M. and T. Katriel. Between semantics and pragmatics: the two types of „but“ — Hebrew „aval“ and „ela“. — „Theoretical Linguistics“, vol. 4, 1977, p. 143—172.

* Пример взят из пьесы А. П. Чехова „Три сестры“ (IV действ., слова Андрея Прозорова). — *Прим. перев.*

[4] Halliday, M. and R. Hasan. Cohesion in English. London: Longman, 1976.

[5] Lakoff R. Ifs, ands and buts about conjunction. — In: „Studies in Linguistic Semantics“. (Ed. by Ch. Fillmore and D. Langendoen). New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971, p. 115—150.

[6] Spencer, A. Functional Sentence Perspective and Contrastivity (Ph. D. diss.), Univ. of Essex, 1980.

[7] Goddard, C. On the Semantics of Conjunctions. Thesis. Australian National University, November 1976.

[8] Piaget, J. Thought and Judgement in the Child. London: Routledge and Kegan Paul, 1952.

[9] Locke, J. An Essay Concerning Human Understanding. London, 1775. Русский перевод см.: Локк Дж. Опыт о человеческом разуме. — В кн.: Локк Дж. Избранные философские произведения в двух томах. Том 1, М.: Изд-во соц.-экон. лит-ры, 1960.

[10] Aristotle. Topics. — In: Aristotle in 23 volumes. Vol. 2. Cambridge: Harvard UP, London: William Heinemann LTD, 1976. Русский перевод см.: Аристотель. Топика. — В кн.: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Том 2, М.: „Мысль“, 1978.

[11] Robinson, R. Regging the question. — „Analysis“, 1971, vol. 31, N 4, p. 113—117.

СЕМАНТИКА ИМПЕРАТИВОВ И ДЕОНТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА¹

I.

В одном из своих последних очерков, „Мораль и наука“, Анри Пуанкаре приводит известный аргумент в пользу того, что наука не может лежать в основе нравственности (Poincaré, 1913, р. 36). Пуанкаре разъясняет, что если посылки некоторого рассуждения даны в изъявительном наклонении, то и его заключение должно быть сформулировано в изъявительном наклонении. Научные утверждения суть индикативы*, а суждения этики — императивы** (или по крайней мере должны рассматриваться как императивы); поэтому последние не могут быть выведены из первых. Этические выводы не могут обосновываться научными рассуждениями.

В конце 30-х — начале 40-х годов нашего века многие представители логического эмпиризма выражали гораздо более глубокие сомнения в возможности обоснования императивов; например, датский философ Йорген Йоргенсен доказывал, что повелительные предложения не только не могут быть выведенными из посылок, выраженных в изъявительном наклонении, но вообще «не могут входить составной частью в какое бы то ни было логическое рассуждение» (Jørgensen, 1937—1938, р. 289). Эта точка зрения вытекает из двух следующих тезисов:

(I) Понятие логически правильного умозаключения определяется в терминах понятия истинности: умозаключение логически правильно в том и только в том случае, если его вывод не может быть ложным, когда истинны посылки.

¹ Hilpinen, Risto. The semantics of imperatives and deontic logic. University of Turku. Preprint. Эта статья с некоторыми изменениями была опубликована в работе „Mérites et limites des méthodes logiques en philosophie“. Paris. Librairie philosophique J. Vrin (Fondation Singer-Polignac) в 1986 г. под названием „The logic of imperatives and deontic logic“.

© 1985 by Risto Hilpinen.

* То есть формулируются в изъявительном наклонении. — *Прим. перев.*

** То есть формулируются в повелительном наклонении. — *Прим. перев.*

(II) Понятие истинности не приложимо к рассуждениям, включающим императивы: императивы не являются ни истинными, ни ложными.

В соответствии с (I) и (II) императивы и нормативные рассуждения вообще лежат за пределами логики. Но этот вывод парадоксален. Сам Йоргенсен отмечает, что, хотя оба тезиса ((I) и (II)) кажутся бесспорными, «представляется столь же очевидным, что можно построить такие логические выводы, в которых [по меньшей мере одна из посылок] и заключение будут императивными предложениями» (J ø r g e n s e n, 1937—1938, p. 290). Соотечественник Йоргенсена Альф Росс (R o s s, 1941, p. 55) назвал этот парадокс или проблему „дилеммой Йоргенсена“: «В соответствии с общепринятым определением логического вывода его посылками или заключениями могут быть лишь такие предложения, которые способны быть истинными или ложными; тем не менее представляется очевидным, что из двух посылок, из которых одна или обе стоят в повелительном наклонении, может быть выведено заключение, выражаемое повелительным наклонением». (J ø r g e n s e n, 1937—1938, p. 290)².

II.

Существует несколько возможных подходов к решению этой дилеммы. Решение самого Йоргенсена состоит в следующем.

Йоргенсен исходит из допущения, что в императивном предложении можно вычленить два фактора, которые он называет императивным и индикативным факторами. Согласно Йоргенсену, императивный фактор состоит «попросту в выражении психологического состояния говорящего (то есть факта его волеизъявления, желания, приказа и т. д.), и поэтому он лишен какой-либо логической значимости», тогда как индикативный фактор «можно выразить в некотором изъявительном предложении, описывающем содержание императивного предложения, и поэтому он способен иметь значение и подчиняться обычным правилам логики». (J ø r g e n s e n, 1937—1938, p. 296)³.

Йоргенсен называет предложение, выражающее „индикативный фактор“ данного императива, индикативом, „производным“

² Эта проблема с конца 30-гг. до настоящего времени продолжает оставаться одним из центральных вопросов философии, относящихся к деонтической логике. Ее современное обсуждение см. в Wolenski, 1977, von Wright, 1982

³ Подобного же взгляда придерживается и Вальтер Дубислав (Dubislav, 1937, p. 341).

от рассматриваемого императива. Быть может, предпочтительнее было бы назвать его индикативом, связанным с данным императивом. Решение дилеммы Йоргенсенем основано на допущении о том, что то, что мы считаем логическими отношениями между императивами, является на самом деле отношениями между изъявительными предложениями, связанными с данными императивами. Так, если индикатив, связанный с императивом (I), обозначить символом $f(I)$, то нам кажется, что из I_1 логически следует I_2 в том и только в том случае, если из $f(I_1)$ логически следует $f(I_2)$. $f(I_1)$ и $f(I_2)$ — это обычные изъявительные предложения, способные быть истинными или ложными, так что для них отношение логического следования может быть определено обычным образом.

Теперь встает следующий вопрос: что представляет собой предложение $f(I)$? Философы, занимавшиеся дилеммой Йоргенсена, предложили два различных способа преобразования императивов в индикативы. Во-первых, $f(I)$ можно рассматривать как утверждение, описывающее содержание предложения I ; например, если

I = Петр, открой дверь,

то в соответствии с данной интерпретацией, связанный с ним индикатив (назовем его f_1) имеет вид:

$f_1(I)$ = Петр открывает дверь.

Другая возможность заключается в том, чтобы рассматривать $f(I)$ как утверждение о приказании I . Обозначим перевод этого типа f_2 .

$f_2(I)$ не только выражает содержание предложения I , но и констатирует, что было отдано соответствующее приказание, например:

$f_2(I)$ = Приказано, чтобы Петр открыл дверь.

Первый перевод $f_1(I)$ является утверждением с тем же самым содержанием, что и I , тогда как $f_2(I)$ — это утверждение о нормативном статусе положения дел, описываемого в $f_2(I)$. В соответствии с первым переводом, нормативные рассуждения основываются на обычной классической логике (пропозициональной логике и теории квантификации). Утверждение о нормативном статусе некоторого действия или положения дел можно рассматривать как *модальное* утверждение; таким образом, вторая интерпретация превращает логику императивов в один из разделов логики нормативных модальностей, стало быть — в один из разделов модальной логики.

Точка зрения самого Йоргенсена в отношении логики императивов ближе к первой интерпретации, чем ко второй. Согласно этой точке зрения, нет какой-то особой логики императивов: логические свойства императива полностью обусловлены его „индикативным фактором“. (Jørgensen, 1937—1938, p. 296).

Дилемма Йоргенсена касается не только императивов, но и норм вообще: о нормах нельзя сказать, что они истинны или ложны; поэтому логические отношения между ними нельзя определить обычным образом в терминах понятия истинности. Большинство исследователей в области логики норм (деонтической логики), занимавшихся этой дилеммой, выбрали второй вариант перевода. Это позволило трактовать деонтическую логику как один из разделов модальной логики. Стало обычным различать *нормы* и *нормативные утверждения*⁴ и рассматривать деонтическую логику как логику нормативных утверждений. Эту точку зрения, принятую, например, Георгом фон Вригтом, Эриком Стениусом и Бенгтом Ханссоном, иногда называют „дескриптивной интерпретацией“ деонтических предложений (см.: von Wright, 1982; Stenius, 1972; Hansson, 1981).

В основе обоих этих подходов (то есть обоих способов перевода императивов в индикативы) лежит взгляд, согласно которому приложение логики к анализу пропозиций возможно лишь в том случае, если пропозиции переданы изъявительным наклонением — то есть, другими словами, строить логику удобнее всего для изъявительного наклонения.

Чарльз Пирс, который одним из первых среди философов ввел четкое различие между пропозицией и речевым актом, в котором пропозиция употреблена тем или иным образом, так выразил этот взгляд или умонастроение (см. Peirce, 1976, p. 248)⁵: «Я исхожу из того, что нормальное употребление пропозиции состоит в ее утверждении; и ее основные логические свойства относятся к следствиям, связанным с ее утверждением. Поэтому в логике удобно в большинстве случаев выражать пропозиции

⁴ См. Bulygin, 1982, p. 128—130. Это различие было сформулировано шведским представителем моральной философии Ингемаром Хедениусом в качестве дистинкции между „настоящими“ и „мнимыми“ правовыми предложениями (Hedenius, 1941, p. 66). Хедениус принимает второй способ (f_2) перевода норм и императивов в индикативы.

⁵ Согласно Пирсу, «с помощью одной и той же пропозиции можно утверждать, отрицать, оценивать, выражать сомнение, можно выяснять ее суть, она может выражать вопрос, желание, просьбу, приказание, поучение; кроме того, пропозиция может быть просто высказана — и от этого она не становится каким-то иным высказыванием». (Peirce, 1976, p. 248). О концепции речевых актов у Пирса см. Brock, 1981a и Brock, 1981b.

в изъявительном наклонении». В данной статье я хочу доказать, что этот общий взгляд не обоснован и что семантику императивов можно понять, не сводя их к индикативам и не переводя их в изъявительные предложения. Интересно отметить, что построенную самим Пирсом семантику для изъявительного наклонения нетрудно видоизменить таким образом, чтобы она стала приложимой непосредственно к императивам.

III.

Осуществленный Пирсом анализ значения сложных пропозиций базируется на их употреблении в утвердительном речевом акте. Согласно Пирсу, значение сложного предложения можно понять с помощью языковой игры, в которой участвуют два игрока, именуемые „высказывающий“ и „интерпретирующий“ или „говорящий“ и „слушатель“. В ходе игры, соответствующей некоторому сложному предложению *A*, игроки шаг за шагом разлагают *A* на более простые предложения, пока не достигнут уровня элементарных предложений. Полученное таким образом элементарное предложение рассматривается как *интерпретация*, или *экспликация*, исходного предложения; оно есть то, что „значит“ исходное предложение в соответствии с интерпретацией, полученной говорящим и слушателем в данной партии игры.

Согласно Пирсу, самое важное свойство утвердительного речевого акта, или *утверждения*, заключается с логической точки зрения в том, что, утверждая некоторую пропозицию, говорящий принимает на себя ответственность за ее истинность и подлежит определенному наказанию, если данная пропозиция окажется ложной (см. Peirce, 1976, p. 249—250 и Hilpinen, 1982, p. 182—188). Поэтому говорящий заинтересован в такой интерпретации произнесенной им пропозиции, при которой она «не оказалась бы ложной», то есть он хочет играть в соответствующую игру так, чтобы она привела к некоторому истинному элементарному предложению. Слушатель же заинтересован выяснить, произнес ли говорящий ложную пропозицию, и ищет такую интерпретацию, которая выявила бы это (см. Hilpinen, 1982, p. 185). Таким образом, мы можем сказать, что говорящий «побеждает» в данной партии игры *G* (то есть избегает наказания) в том и только в том случае, если полученное в конце данной партии элементарное предложение истинно, а слушатель «побеждает» (например, получает от говорящего какой-то штраф), если это элементарное предложение ложно. Теперь можно предложить следующий прагматический анализ понятия истинности в приложении к сложным предложениям:

(G. T.) Сложное предложение A истинно в том и только в том случае, если в распоряжении говорящего имеется выигрышная стратегия в $G(A)$, то есть если говорящий, независимо от того, как играет слушатель, имеет возможность играть в $G(A)$ таким образом, что игра приводит к истинному элементарному предложению.

Теоретико-игровую семантику для сложных предложений, напоминающую семантику, предложенную Пирсом, разработал недавно Яакко Хинтикка. Хинтикка представил игровые правила в систематической, эксплицитной форме, и правила, приведенные здесь, основаны на варианте Хинтикки (общее описание теоретико-игровой семантики Хинтикки см. в его статье: Hintikka, 1979a в Saarinen, 1979 и в других статьях Хинтикки в Saarinen, 1979). У Пирса, например, отсутствует эксплицитная формулировка „правила выигрыша“ в терминах понятия стратегии.

В соответствии с этим анализом сложные предложения приобретают стандартные условия истинности, если дизъюнктивные и конъюнктивные предложения интерпретируются с помощью следующих правил (см. Hintikka, 1979a, p. 34—35. Описание этих правил у Пирса см. в: Gosc, 1980, особенно pp. 61—63):

- (G. \vee) Говорящий определяет интерпретацию дизъюнкции, выбирая один из дизъюнктов, и затем игра продолжается по отношению к выбранному дизъюнкту.
- (G. $\&$) Слушатель определяет интерпретацию конъюнкции, выбирая один из конъюнктов, и затем игра продолжается по отношению к выбранному конъюнкту.

Правило для отрицания имеет следующий вид:

- (G. \sim) $G(\sim A)$, игра, связанная с отрицанием предложения A , есть игра $G'(A)$, в которой слушатель принимает на себя роль, принадлежавшую в исходной игре говорящему.

Правила для кванторов и модальностей являются очевидными обобщениями правил (G. \vee) и (G. $\&$). Экзистенциальный квантор разрешает говорящему, по кванторному выражению, выбирать подходящий индивид, а универсальному квантору соответствует выбор, совершаемый слушателем. Правила для модальностей аналогичны, если не считать того, что здесь игрок должен выбирать некоторый возможный мир (или возможный ход развития событий), по отношению к которому и продолжается затем игра (см. Hilpinen, 1982, p. 185—187, и Gosc, 1980, p. 58—61).

Приведенные выше правила предназначены для ситуации, в которой говорящий сделал некоторое *утверждение* (assertion); это правила для *ассерторической игры*. Однако нетрудно видоизменить эти правила так, чтобы они стали применимы к императивам, или приказаниям, а не к утверждениям⁶.

Коммуникативная ситуация, в ходе которой говорящий произносит некоторый императив, в корне отличается от ситуации, в которой произносится утверждение: в этом случае ответственность за истинность произнесенного предложения, по-видимому, ложится не на говорящего, а на слушателя. Игровые правила для императивов — в особенности правило выигрыша в императивной игре — должны отражать это различие между императивами и утверждениями. Джон Сёрль в своей таксономии иллокутивных актов дал характеристику речевых актов в терминах нескольких факторов, один из которых он называет „направлением соответствия“ между словами и миром. Согласно Сёрлю, «одни иллокуции включают в свою иллокутивную цель требование привести слова (точнее говоря, пропозициональное содержание слов) в соответствие с миром, другие — требование привести мир в соответствие со словами. Утверждения относятся к первой категории, обещания и просьбы — ко второй». (Searle, 1979, p. 3—4). В случае утверждения говорящий несет ответственность за соответствие между миром и словами, но в императивных контекстах эта ответственность перелagается на слушателя: он должен своими собственными действиями обеспечить это соответствие, а если это ему не удастся, то понести наказание. Слова говорящего являют собой в данном случае тот стандарт, с которым следует сравнивать и оценивать действия слушателя. Следовательно, естественно считать *слушателя* победителем императивной игры, если его действия соответствуют данному императиву, то есть если элементарное предложение, получаемое в конце игры, истинно. В случае императивов соответствие между словами и миром обычно называют не „истинностью“, а „выполнением“; таким образом, мы получаем аналог определения (G. T) для императивов⁷:

⁶ Яакко Хинтикка в своей статье „Парадокс Рoсса как свидетельство реальности семантических игр“ (см. Hintikka, 1979b в Saarinen, 1979) сформулировал игровые правила для деонтической логики, аналогичные приведенным выше правилам для пропозициональных связей и модальностей. Эти правила отражают „модальную“ интерпретацию деонтической логики, о которой говорилось в разделе II; это правила для индикативных (модальных) рассуждений, и — в соответствии с принятым нами взглядом — они не применимы непосредственно к императивному дискурсу или к приказаниям.

⁷ Эрик Стениус (см. Stenius, 1967, p. 268) предлагает следующее семантическое правило для императивного дискурса, или для „игры в приказания“:

(G. Sat) Императив I выполнен в том и только в том случае, если слушатель имеет выигрышную стратегию в игре, связанной с предложением I ,

и следующее правило выигрыша:

(G. w) Слушатель выигрывает в императивной игре $G(I)$ в том и только в том случае, если его действия выполняют элементарное предложение, получаемое в конце игры.

Как правило, предложение, получаемое в конце игры, содержит частичное описание действий слушателя. (Выполнение элементарного предложения действием рассматривается здесь в качестве неопределяемого семантического понятия.)

Чтобы получить конкретные условия выполнения для сложных императивных предложений, нужно видоизменить правила (G. \vee) и (G. $\&$) так же, как мы изменили (G. T):

(G. \vee . O.) Когда императивная игра дошла до предложения вида $A \vee B$, слушатель выбирает один из дизъюнктов, и затем игра продолжается по отношению к выбранному дизъюнкту.

(G. $\&$. O.) Когда императивная игра дошла до предложения вида $A \& B$, говорящий выбирает один из конъюнктов, и затем игра продолжается по отношению к выбранному конъюнкту.

В императивной игре дизъюнкции соответствует ход слушателя, а конъюнкции — ход говорящего. Но это не значит, что „значение“ дизъюнкции (или конъюнкции) в императивной игре отличается от их значений в ассерторической игре: в обоих случаях дизъюнкция предоставляет право выбора *тому игроку, который несет ответственность* за истинность рассматриваемого предложения (или за соответствие между словами и миром) и поэтому заинтересован в его защите, а конъюнкция передает право выбора игроку, заинтересованному в опровержении предложения. Правило для отрицания остается тем же, что и в ассерторических играх: оно означает,

(R4) В ответ на предложение в повелительном наклонении сделай радикал этого предложения истинным.

Согласно Стениусу, модальное правило для императивов (сообщающее значение повелительному наклонению) относится к слушателю, тогда как соответствующее правило для изъявительного наклонения является правилом для говорящего. В этом отношении сформулированные выше игровые правила напоминают правила Стениуса. Но, в отличие от последних, они касаются не только модального элемента предложения: благодаря им мы узнаем также о том, что значит „сделать радикал предложения истинным“. Кроме того, игровые правила для императивов снимают возражение Энтони Кенни против формулировки правила (R4) у Стениуса, заключающееся в том, что, согласно этой формулировке, неповиновение приказанию является, по-видимому, нарушением языкового правила; см. Кенни, 1975, р. 87.

что игроки должны поменяться игровыми ролями. Стало быть, правило выигрыша (G. w) относится к тому игроку, который в данный момент играет роль слушателя: если императивная игра доходит до предложения вида «~ А», то субъект нормы (или субъект приказа) для того, чтобы выиграть, должен попытаться опровергнуть А на оставшихся стадиях игры.

В семантической игре для императива дело идет о соответствии между предложением (то есть императивным предложением), произнесенным говорящим, и действиями, совершаемыми слушателем. „Мир“, по отношению к которому разыгрывается эта игра, состоит из действий слушателя. Мы, таким образом, можем допустить, что первый ход в каждой такой игре состоит в действии слушателя — в выборе того „возможного мира“, по отношению к которому разыгрывается вся остальная игра. Это выражается в следующем правиле:

(G. O) В начале императивной игры слушатель выбирает некоторую последовательность действий или „возможный мир“, по отношению к которому разыгрывается вся остальная игра.

„Выбор“ мира не означает в данном случае выбора, совершаемого лишь в воображении говорящего или слушателя (как в модальной логике), но действительное *построение* или создание „мира“ посредством действий деятеля⁸. Таким образом, „истинность“ элементарного предложения, определяющая результат игры в соответствии с правилом (G. w), состоит в выполнении этого предложения действиями, совершаемыми деятелем на начальном шаге игры.

Правило (G. O) (как правило интерпретации) согласуется с концепцией значения императивов, которой придерживался Чарльз Пирс. Пирс называет значение знака его *интерпретантом* и различает в своей теории знаков несколько видов интерпретантов. Постольку поскольку „собственно сигнификативный результат“ знака (например, императива) проявляется во внешнем действии интерпретатора, Пирс называет его „энергетическим интерпретантом“. С другой стороны, интерпретацию, осуществляемую в терминах общих понятий, Пирс называет „логическим интерпретантом“ знака⁹. Мы могли бы сказать, что первый ход игры, связан-

⁸ Правило (G. O) было предложено (в частном разговоре) г-ном Антти Коура.

⁹ О понятии интерпретанта у Пирса см. Z e t a n, 1977. Различие между энергетическим и логическим интерпретантом обсуждается на с. 32—33 этой работы Земана.

ной с данным императивом (то есть действие слушателя), является частью его энергетического интерпретанта, а остальная часть игры относится к его логическому интерпретанту.

V.

Стандартный модальный подход к деонтической логике — который, как мы видели, основан на переводе норм в утверждения определенного типа, именно в нормативные утверждения, — часто подвергается критике за то, что он приводит к принятию многих, противоречащих интуиции парадоксальных теорем. Причина этих парадоксов иногда усматривалась в только что упомянутой особенности, то есть в том, что данная система основана на дескриптивной интерпретации деонтических предложений и не может поэтому правильно отразить особенности прескриптивного дискурса. Ниже я остановлюсь на одном таком парадоксе — парадоксе Росса, или парадоксе дизъюнктивного приказа. Этот парадокс впервые сформулировал датский юрист-философ Альф Росс в своей статье „Императивы и логика“ в 1941 г. (Ross, 1941, p. 62 и Ross, 1968, p. 160—161).

Согласно стандартной (модальной) системе деонтической логики и обычной „изъявительной“ интерпретации логики императивов (основанной на упоминавшемся выше переводе f_1), из простой нормы, или императива 'OA', где 'O' — символ, обозначающий повелительное наклонение, или соответствующую нормативную модальность, следует дизъюнктивная норма 'O(A∨B)'; другими словами,

$$(R) OA \rightarrow O(A \vee B)$$

является теоремой стандартной деонтической системы. Например, в соответствии с (R) из императива „Опусти это письмо в почтовый ящик!“ следует „Опусти это письмо в почтовый ящик или сожги его!“. Росс поэтому считает следование (R) резко расходящимся с интуицией и доказывает, что корректная логика императивов (или норм) не должна признавать его правильным.

Нетрудно видеть, что изложенная в данной статье семантика императивов (в основе которой не лежит перевод императивов в индикативы) не устраняет парадокс Росса¹⁰. Понятие следования

¹⁰ Яакко Хинтикка (см. Hintikka, 1979b) утверждает, что парадокс объясняется присущей нам тенденцией ошибочно принимать „реальные“ действия, совершаемые тем, к кому обращено приказание, то есть слушателем, — за ходы, совершаемые в семантической игре; таким образом, реальный выбор слушателем дизъюнкта принимается за выбор в семантической игре, что, в соответствии с хинтикковскими игровыми правилами, придает дизъюнктивной норме эффект конъюнктивного предложения (Hintikka, 1979b, p. 334—335). Это объяснение правомерно лишь в том случае, если императивы интерпретируются с помощью правил (G. V) и (G. &), уместных для *индикативного* дискурса (то есть правил,

для императивов можно определить, например, следующим образом:

(D1) Из I_1 следует I_2 в том и только в том случае, если любое действие, выполняющее I_1 , выполняет также и I_2 .

Иными словами, любое действие (или „возможный мир“, выбранный слушателем), дающее слушателю выигрышную стратегию в игре, связанной с I_1 , предоставляет ему выигрышную стратегию и в $G(I_2)$. Ясно, что в соответствии с (D1) из ОА следует $O(A \vee B)$. Действие, выполняющее первый императив, выполняет и второй. Парадокс Росса не является просто результатом приложения логики индикативов к практическому или императивному дискурсу — его нужно объяснять иначе¹¹.

VI.

Росс в своей статье „Императивы и логика“ отмечает, что (R) имеет место в логике выполнения, и это, на его взгляд, свидетельствует о том, что наши интуитивные суждения о логической правильности практических следований зависят не от условий выполнения императивов, а от их, по его выражению, „законности“ (Ross, 1941, p. 61): «Когда практические следования представляются нам явно очевидными, то мы, несомненно, имеем в виду не [логику выполнения]. Непосредственное впечатление очевидности связано не с выполнением императива, а скорее с чем-то вроде „законности“ или „существования“ императива, что бы эти выражения ни значили». Росс предполагает, что „законность“ императива в некоторой данной ситуации зависит от воли законодателя или „повелителя“ (Ross, 1941, p. 62). В более общем смысле мы могли бы говорить здесь не о „законности“ (в смысле Росса), а о корректности (или уместности) императива относительно данной *нормативной ситуации*. Различение Россом понятий выполнения и законности позволяет исследовать семантику императивов с двух разных точек зрения: с точки зрения действия соответствующего деятеля и с точки зрения той нормативной ситуации, в которой произнесен данный императив. Таким образом, мы можем задать здесь два различных вопроса о соответствии между словами и миром: во-первых, соответствуют ли императиву действия

репрезентирующих дизъюнкцию как ход говорящего, а конъюнкцию — как ход слушателя в семантической игре); это противоречит семантике императивов, изложенной в разделе IV. Анализ парадокса Росса у Хинтикки подробно обсуждается мной в *Hilpinen* (в печати).

¹¹ Иногда „парадоксы“ деонтической логики принимают за свидетельство того, что стандартный подход к деонтической логике не может адекватно отразить семантические особенности *практического* дискурса; см. Castañeda, 1981.

данного деятеля и, во-вторых, соответствует ли императив данной нормативной ситуации? Второй вопрос касается „законности“, или „корректности“, императива. Энтони Кенни описал отношение между императивом и нормативной ситуацией в терминах понятия *удовлетворительности*: императив, удовлетворяющий требованиям данной нормативной ситуации (или *выражающий* эти требования удовлетворительным образом), является *удовлетворительным* в этой ситуации (см. Кенни, 1975, р. 80—86). Это понятие удовлетворительности можно следующим образом определить в терминах понятия *выполнения*:

(D2) I удовлетворителен относительно S в том и только в том случае, если любое действие, выполняющее I , удовлетворяет требованиям ситуации S .

Здесь удовлетворительность императива определяется в терминах отношений „удовлетворительности“ между действием и нормативной ситуацией.

Согласно Кенни, правила логики удовлетворительности должны гарантировать, что мы никогда не перейдем от императива, удовлетворительного относительно некоторой данной ситуации, к императиву, неудовлетворительному относительно той же самой ситуации. Это приводит к такому определению следования (для логики удовлетворительности):

(D3) Из I_1 следует I_2 в том и только в том случае, если нет ни одной (возможной) нормативной ситуации S , такой, что I_1 удовлетворителен в S , а I_2 неудовлетворителен в S .

Как замечает Кенни, полученная таким образом логика удовлетворительности является зеркальным отражением логики выполнения: если в логике выполнения G следует из F , то в логике удовлетворительности F следует из G . Например, согласно этой логике, из $O(A \vee B)$ следует OA , то есть формула

$$(CR) O(A \vee B) \rightarrow OA$$

является общезначимой (Кенни, 1975, р. 82). Однако Росс, говоря о „законности“, имел в виду не это: он явным образом отвергает (CR) (см. Росс, 1941 и Росс, 1968, р. 168). Императив может быть „корректным“, или „уместным“ (или, пользуясь выражением Росса, „законным“) в данной ситуации, не будучи при этом „удовлетворительным“ в смысле определения (D2).

VII.

Вернемся к формуле Росса (R). Чем плох дизъюнктивный императив $O(A \vee B)$ в ситуации, в которой корректен OA ? (Далее я буду вместо выражения „законный“ употреблять выражение „корректный“.) Как заметил Яакко Хинтика в своем недавнем обсуждении парадокса Росса, дизъюнктивное приказание некорректно потому, что оно *позволяет* и A и B в такой ситуации, где второе из этих двух действий может быть запрещено или неприемлемо (Hintikka, 1979b, p. 334). Как мы видели, приведенные в разделе IV игровые правила для императивов, подтверждают этот диагноз: дизъюнкция соответствует ходу слушателя (деятеля), а слушатель может выиграть семантическую игру, связанную с $O(A \vee B)$, выбрав A или выбрав B . „Позволение“ означает здесь не только согласованность с обязательствами деятеля (как это имеет место в стандартной системе деонтической логики), но еще и *эксплицитное*, или *сильное*, позволение: в $O(A \vee B)$ и A и B *эксплицитно выделены* в качестве приемлемых действий, то есть в качестве возможных средств выигрывания соответствующей семантической игры¹².

В отличие от понятия слабого позволения, задаваемого стандартной системой деонтической логики, я назову сильное позволение „поддержкой“. Так, я буду полагать, что императив *поддерживает* любое действие, которое (i) упоминается в данном императиве и которое (ii) деятель *должен* выполнить, чтобы выиграть игру, связанную с данным императивом, или которое *гарантирует* (то есть является достаточным) победу деятеля в данной игре. Например, $O(A \vee B)$ поддерживает и A и B , но OA поддерживает лишь A . Таким образом, мы можем сказать, что первый императив *сильнее* второго (и поэтому не следует из него) вот в каком смысле: он поддерживает действие (а именно B), не поддерживаемое императивом OA .

Здесь важно заметить, что употребленное выше выражение „действие“ относится к действиям, определяемым теми или иными предложениями действия (например, *Петр опускает письмо в ящик*), или, как я выразился в другой статье, «действиями в пропозициональном смысле» (Hilpinen, 1981, p. 155—156). В императивных играх игроки выбирают между предложениями дейст-

¹² В литературе по деонтической логике содержится несколько попыток определить „сильное“ понятие позволения, то есть некое „позитивное“ понятие позволения, которое значило бы больше, чем просто отсутствие противоречия с обязательными нормами; ср. Alchourrón and Bulygin, 1971, p. 121—122 и von Wright, 1963, p. 86—89. Введенное нами понятие поддержки можно связать с понятиями сильного позволения, уже рассматриваемыми в литературе, однако оно не совпадает ни с одним из них.

вия или описаниями действий — за исключением первого хода, на котором деятель (слушатель) совершает некоторое конкретное действие (или некоторую последовательность таких действий).

По ходу каждой партии игры игроки в конце концов доходят до некоторого простого предложения действия, то есть до элементарного предложения или отрицания элементарного предложения. Исход игры зависит от того, имеют ли действия, совершенные слушателем на *первом* ходу игры, характер, выраженный таким простым предложением. Иными словами, в семантических играх лишь простые предложения «сравниваются непосредственно с действительностью». Ниже мы ограничим понятие поддержки действиями, задаваемыми простыми предложениями действия¹³.

Эти замечания приводят к следующему определению поддержки (или сильного позволения):

(DSO) Пусть A — простое действие. I поддерживает A в том и только в том случае, если: (i) A появляется в $G(I)$ и (ii) выполнение действия A на первом ходу игры необходимо или достаточно для того, чтобы слушатель имел в $G(I)$ выигрышную стратегию.

Однако это определение выглядит неудовлетворительным в тех случаях, когда никакое взятое в отдельности простое действие (которое мог бы выполнить слушатель) не является ни необходимым, ни достаточным для выполнения императива I . Для таких случаев предпочтительнее, по-видимому, следующее определение:

(DS1) Пусть A — простое действие. I поддерживает A в том и только в том случае, если (i) совершение действия A на первом ходу игры является частью минимального множества условий, которые в своей совокупности достаточны для того, чтобы слушатель имел в $G(I)$ выигрышную стратегию.

Стало быть, в данном случае считается, что императив I поддерживает A тогда и только тогда, когда A является, по выражению Джона Макки, INUS-условием выполнения императива I , то есть

¹³ Семантическую игру для императива I можно удобно репрезентировать в „развернутой форме“ с помощью *дерева игры* для $G(I)$; ср. L u c e and R a i f f a, 1957, p. 39—51 или O w e n, 1982, p. 1—4. Дерево игры для I есть связанный граф, репрезентирующий структуру игры $G(I)$, то есть система точек (называемых *узлами*) и дуг, содержащая выделенную начальную точку (начальный ход игры), от которой начинаются ветви, и не содержащая циклов. Каждая ветвь, тянущаяся от начальной до конечной точки, репрезентирует одну из возможных *партий* игры, а конечные точки ветвей репрезентируют ее возможные исходы. В семантической игре конечные точки, или „терминальные узлы“ дерева, соответствуют элементарным предложениям, которых игроки могут достичь в конце игры. Условие (i) может быть сформулировано следующим образом: A встречается в некотором узле дерева игры для I (или просто в дереве игры для I).

когда деятель совершением действия A может вызвать (или „причинить“) выполнение императива I ¹⁴.

Согласно (DS1), дизъюнктивный императив $O(A \vee B)$ поддерживает как A , так и B , если они являются простыми действиями, точно так же, как и конъюнктивный императив $O(A \& B)$. Но если A и B суть сложные действия, то $O(A \vee B)$ и $O(A \& B)$ не обязательно поддерживают все простые действия, встречающиеся в A и B . Например, $A \& B$ не является *минимально* достаточным для выполнения императива

$$(1) O((A \& B) \vee (A \& \sim B)),$$

поскольку для этого достаточно одного A : если слушатель совершит A , то он в состоянии выиграть $G(O((A \& B) \vee (A \& \sim B)))$. Таким образом, (1) не поддерживает B , и нельзя сказать, что (1) „позволяет“ (в сильном смысле позволения) совершение действия B наряду с действием A .

Точно так же конъюнктивный императив

$$(2) O((A \vee B) \& (A \vee \sim B))$$

поддерживает только A (если A — простое действие), но не поддерживает ни B , ни $\sim B$.

Правдоподобно было бы предположить, что дизъюнктивный императив должен поддерживать все простые действия, совершение которых необходимо для выполнения дизъюнктов, поскольку императив ' $O(A \vee B)$ ' полагает как A , так и B в качестве возможных средств выполнения императива. Этот результат можно получить, если убрать из (DS1) требование минимальности и определить понятие поддержки в терминах условий, *релевантных* для выполнения данного императива:

(DS2) Императив I поддерживает (простое действие) A в том и только в том случае, если совершение действия A на первом ходу игры $G(I)$ является частью некоторого множества *релевантных* условий, которых в совокупности достаточно для выполнения императива I .

Для простоты здесь можно допустить, что „релевантность“ действия A для императива I означает, что A встречается (или упоминается) в I . Согласно (DS2), (1) поддерживает как B , так и $\sim B$, и можно сказать, что (1) „позволяет“ (в рассматриваемом здесь смысле) совершение действия B и действия $\sim B$ наряду с дейст-

¹⁴ Джон Макки проанализировал сингулярные каузальные утверждения в терминах понятия INUS-условия (недостаточная, но необходимая часть условия, которое не необходимо, но достаточно для некоторого исхода); см. Maskie, 1965 и Maskie, 1974, p. 62.

вием A — — однако OA не поддерживает ни B , ни $\sim B$, несмотря на то что A эквивалентно формуле $(A \& B) \vee (A \& \sim B)$.

Теперь понятие следования (для императивов) можно определить следующим образом:

(DE) Из I_1 следует I_2 в том и только в том случае, если (i) I_1 поддерживает любой акт, поддерживаемый императивом I_2 , и (ii) любое действие, выполняющее I_1 , выполняет также и I_2 .

Заметьте, что используемые в этом определении термины „акт“ и „действие“ имеют разное значение. Условие (ii) касается конкретных действий, которые слушатель может совершить на первом ходу игры, а выражение „акт“ в условии (i) относится к характеристике действий деятеля (или к действиям в пропозициональном смысле).

Понятие следования, определяемое в (DE), во многих отношениях согласуется с интуитивными впечатлениями об отношениях следования для императивов, на которые ссылается Росс. Согласно (DE), ни (R), ни (CR) не являются логически правильным следованием (независимо от того, как определять понятие поддержки — согласно (DS1) или согласно (DS2)), но из ' $OA \& B$ ' следует и ' OA ' и ' OB ', если A и B — простые предложения.

Если выбрать для понятия поддержки определение (DS2), то получающееся понятие следования напоминает введенное Парри и Гёделем понятие „аналитической импликации“: в своем комментарии к построенной У. И. Парри системе аксиом для аналитической импликации Курт Гёдель высказал мысль, что «между p и q существует отношение аналитической импликации в том и только в том случае, если q следует из p и логических аксиом и не содержит концептов, не встречающихся в p » (см. Раггу, 1935, р. 5—6)¹⁵.

Определения (DS1) — (DS2) и (DE) и теоретико-игровой анализ императивов, на которых эти определения основаны, ясно показывают, почему формула Росса (R) кажется парадоксальной. Наша интуиция, касающаяся логических отношений между императивами, базируется отчасти на логике выполнения, а отчасти —

¹⁵ Можно получить более сильные понятия следования, определив понятие поддержки для конъюнкций или для множеств простых актов. Этими замечаниями я обязан проф. Киту Файну, подсказавшему мне также (в частной беседе), что следование между императивами можно определить в терминах „релевантных условий“ вместо „минимальных условий“.

на логике поддержки; именно поэтому нам кажется, что $O(A \vee B)$ не следует из OA , хотя ясно, что это следование имеет место в логике выполнения. Таким образом, представленный здесь анализ согласуется с предположением Росса о том, что парадокс дизъюнктивного приказа возникает в результате „комбинации“ интуиций, относящихся к различным семантическим характеристикам императивов (см. Ross, 1941, p. 64—65).

Парадокс Росса и другие парадоксы логики норм вовсе не свидетельствуют о том, что нормативные рассуждения в чем-то „алогичны“, — эти парадоксы являются результатом семантической разнородности норм и императивов. Таким образом, нормативные рассуждения представляются совершенно естественной областью изучения разнообразных понятий следования.

ЛИТЕРАТУРА

Alchourrón and Bulygin, 1971=Alchourrón C., Bulygin E. Normative Systems. Wien and New York: Springer Verlag, 1971.

Brock, 1980=Brock J. Peirce's anticipation of game-theoretic logic and semantics. — In: „Semiotics 1980“ (M. Herzfeld and M. D. Lenhart eds.), New York and London: Plenum Press, 1980, p. 55—64.

Brock, 1981a=Brock J. An introduction to Peirce's theory of speech acts. — „Transactions of the Charles S. Peirce Society“, vol. 17, 1981, p. 319—326.

Brock, 1981b=Brock J. Peirce and Searle on assertion. — In: „Proceedings of the C. S. Peirce Bicentennial International Congress, Texas Tech. University Graduate Studies“, No. 23. Lubbock, 1981, p. 281—288.

Castañeda, 1981=Castañeda H.-N. The paradoxes of deontic logic: the simplest solution to all of them in a fell swoop. — In: „New Studies in Deontic Logic“ (R. Hilpinen ed.). Dordrecht: D. Reidel, 1981.

Dubislav, 1937=Dubislav W. Zur Unbegründbarkeit der Forderungssätze. — „Theoria“, 1937, vol. 3, p. 330—342.

Hansson, 1981=Hansson B. An analysis of some deontic logics. — In: „Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings“ (R. Hilpinen (ed.)). Dordrecht: D. Reidel, 1981, p. 121—147.

Hedenius, 1941=Hedenius I. Om rätt och moral. Stockholm: Tidens förlag, 1941.

Hilpinen, 1981=Hilpinen R. On normative change. — In: „Ethics: Foundations, Problems, and Applications“ (E. Morscher and R. Stranzinger eds.). Wien: Hölder — Pichler — Tempsky, 1981, p. 155—164.

Hilpinen, 1982=Hilpinen R. On C. S. Peirce's theory of the proposition: Peirce as a precursor of game-theoretical semantics. — „Monist“, 1982, vol. 65, p. 182—188.

Hilpinen, в печати=Hilpinen R. On Ross' paradox. — „The Social Sciences Review“, в печати.

Hintikka, 1979a=Hintikka J. Quantifiers in logic and quantifiers in natural languages. — In: „Game-Theoretical Semantics“ (E. Saarinen ed.). Dordrecht: D. Reidel, 1979, p. 27—47.

Hintikka, 1979b=Hintikka J. The Ross paradox as evidence for the reality of semantical games. — In: „Game-Theoretical Semantics“ (E. Saarinen ed.). Dordrecht: D. Reidel, 1979, p. 329—345.

Jørgensen, 1937—1938=Jørgensen J. Imperatives and logic. — „Erkenntnis“, 1937—1938, vol. 7, p. 288—296.

Kenny, 1975=Kenny A. Will, Freedom, and Power. Oxford: Basil Blackwell, 1975.

Luce and Raiffa, 1957=Luce R. D., Raiffa H. Games and Decisions. New York, London, 1957.

Mackie, 1965=Mackie J. Causes and conditions. — „American Philosophical Quarterly“, 1965, vol. 2, p. 245—264.

Mackie, 1974=Mackie J. The Cement of the Universe: A Study of Causation. Oxford: Clarendon Press, 1974.

Owen, 1982=Owen G. Game Theory (2nd ed.). New York: Academic Press, 1982.

Parry, 1935=Parry W. T. Ein Axiomensystem für eine neue Art von Implikation (analytische Implikation). — In: „Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums“ (K. Menger ed.), Heft 1—5, 1928—1933. Leipzig, Wien: F. Deuticke, 1935; Heft 4, 1931—1932, p. 5—6.

Peirce, 1976=„The New Elements of Mathematics by Charles S. Peirce. C. Eisele ed. Vrt. IV: Mathematical Philosophy“. The Hague—Paris: Mouton Publishers, 1976.

Poincaré, 1913=Poincaré H. Dernières pensées (1913). Paris: Flammarion, 1963.

Ross, 1941=Ross A. Imperatives and logic. — „Theoria“, 1941, vol. 7, p. 53—71.

Ross, 1968=Ross A. Directives and Norms. London: Routledge and Kegan Paul, 1968.

Saarinen, 1979=„Game-Theoretical Semantics“ (E. Saarinen ed.). Dordrecht: D. Reidel, 1979.

Searle, 1979=Searle J. A taxonomy of illocutionary acts. — In: Searle J. Expression and Meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 1—29.

Stenius, 1967=Stenius E. Mood and language-game. — „Synthese“, 1967, vol. 17.

Stenius, 1972=Stenius E. The principles of a logic of normative systems. — In: Stenius E. Critical Essays. — „Acta Philosophica Fennica“, 25. Amsterdam, 1972, p. 112—128.

Wolenski, 1977=Wolenski J. Jørgensen's dilemma and the problem of the logic of norms. — „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities“, 1977, vol. 3, p. 265—276.

von Wright, 1963=von Wright G. H. Norm and Action. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.

von Wright, 1982=von Wright G. H. Norms, truth and logic. — In: „Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems“, vol. II (A. A. Martino (ed.)). Amsterdam: North-Holland, 1982, p. 3—20.

Zeman, 1977=Zeman J. J. Peirce's theory of signs. — In: „A Perfusion of Signs“ (Th. A. Sebeok (ed.)). Bloomington: Indiana University Press, 1977, p. 22—39.

ИЛИ*

Грайс (1968) подверг критике популярную точку зрения на взаимоотношение обычных слов — союзов естественного** языка *если*, *и* и *или*, с одной стороны, и логических связок „ \supset “ „ \cdot “, „ \vee “ — с другой. Эта общепринятая точка зрения состояла в том, что между союзами и логическими связками — в том случае, когда последним дается стандартная двузначная интерпретация, — имеются существенные различия по значению. Стратегия Грайса заключается в том, чтобы разработать теорию очень общих указаний, или правил ведения разговора, с помощью которых можно было бы понять „импликатуры разговора“. Далее утверждается, что в силу ряда причин такие импликатуры не являются частью смысла предложения (в частности, из-за того, что их всегда можно „отменить“, тогда как прямой смысл предложения остается неизменным). Сейчас обычно приводят следующие аргументы против общепринятой точки зрения: а) очевидные расхождения в значении между словами естественного языка и символическими связками объясняются тем, что слова употребляются в разговоре, в рамках которого действуют определенные импликатуры, тогда как связки передают только часть смыслового содержания (то есть „значения“) тех слов, которые являются „связующим звеном“ между словами и миром; б) различия в условиях правильного употребления союзов и связок (например, $p \supset q$ — правильно построенная формула для любых p и q , тогда как предложение „Если p , то q “ обычно употребляется в случае, когда, по мнению говорящего, наблюдается нефункционально-истинностная „связь“ между p и q) должны объясняться общей теорией импликатур дискурса и потому не могут рассматриваться в качестве компонента значения слов. Грайс видит свою цель в «создании теории, которая дала бы нам возможность отличить тот случай, когда

* Francis Jeffrey Pelletier. *Op.* Статья напечатана в журнале „*Theoretical Linguistics*“ (vol. 4, N 1/2, 1977, p. 61—74), выпускаемом издательством „Walter de Gruyter“ (Berlin).

© by Francis Jeffrey Pelletier.

** В оригинале здесь и далее — „английского языка“. — *Прим. перев.*

высказывание неправильно потому, что оно ложно, или не может быть истинным, или вообще неадекватно отражает мир, от случая, когда высказывание неприемлемо по каким-то другим причинам».

Лично мне симпатичен такой общий подход, но здесь хочется указать на одну его особенность — на его чересчур радикальный, даже разрушительный, характер в том смысле, что несостоятельность „популярной точки зрения“ можно было бы установить более традиционным способом, не прибегая к построению совершенно новой теории разговора. Все, что нам нужно сделать, — это пройти часть пути по этой дороге и провести различие (как это делают все противоборствующие стороны) между ожиданиями, мнениями и т. д., которые может иметь говорящий в момент произнесения высказывания, и значением, которым обладает данное высказывание (в этом случае). Не все эти мнения, ожидания и т. д. имеют отношение к значению. Так, интересный социологический факт представляет то, что очень часто, когда человек произносит

(1) I had a book stolen ‘У меня украли книгу’,

он хочет сообщить, что кто-то украл его книгу, но отсюда вовсе не вытекает, что поверхностная форма (1) не может также значить, что кому-то заплатили, чтобы тот украл книгу. И то, что люди зачастую успешно общаются между собой, пользуясь «полупредложениями», также не означает, что в формальной грамматической теории эти «полупредложения» следует учитывать наравне с предложениями грамматически абсолютно правильными. Не надо впадать в крайность, утверждая, что *никакие* из намерений, предположений, мнений и т. п. говорящего не имеют отношения к значению высказывания (в каком-то частном случае), для того чтобы показать, что не имеют отношения лишь некоторые (в действительности — многие).

Давайте в течение короткого промежутка времени рассмотрим, что является релевантным для теории, призванной дать адекватное семантическое описание некоторого фрагмента естественного языка. При построении такой теории нам прежде всего следует освободиться от представлений, навязанных нам конкурирующими теориями, и вернуться к интуиции, которой мы обладали до каких бы то ни было концепций. И та теория, которая полностью согласуется с нашими интуитивными представлениями и которая не должна «объяснять, почему на самом деле некоторые из представлений ложны», безусловно, предпочтительнее той, которая постоянно должна давать такое объяснение. По той же причине теория, содержащая лишь несколько таких «объяснений», лучше той, которая содержит их в большом количестве. Например, семантическая теория, в соответствии с которой отдельные, ощущаемые нами как истинные, выводы трактуются как семантически обще-

значимые, предпочтительнее той, которая отрицает их общезначимость, в каждой ситуации сводя «объяснение» очевидной общезначимости выводов к «простой прагматике» (при прочих равных условиях). Аналогично, концепция, которая, согласно с нашими (дотеоретическими) интуитивными представлениями, приписывает, например, статус „не“ глагольной группе, стоящей под отрицанием, предпочтительнее той концепции, которая трактует каждое отрицание как сентенциальное. Конечно, некоторые теоретические соображения могут заставить нас принять решение, что наши интуитивные представления были ложными, безнадежно запутанными и даже противоречивыми. Но начать мы должны именно с них — больше неоткуда. Далее я снова и снова буду возвращаться к этому тезису.

Я утверждаю, что значение английского союза *or* 'или' инклюзивное. В действительности, Грайс не оспаривает этого утверждения, хотя косвенно, быть может, с ним не согласен (когда говорит, что связкам дается их стандартная двузначная интерпретация). Против чего он непосредственно возражает — так это против суждения, что всегда есть какая-то нефункционально-истинностная причина или основание для произнесения дизъюнкции, которая и должна быть признана компонентом значения союза. (Например, «популярная точка зрения», помимо прочего, гласит, что при произнесении дизъюнкции говорящий не знает истинностного значения ни одного из ее членов.) Представления Грайса вполне согласуются со взглядом на союз *или* либо как на „инклюзивный“ (включительный), либо как на „экслюзивный“ (исключительный), или, в конечном счете, с любой функционально-истинностной интерпретацией этого союза.

Авторы учебников по элементарной логике¹ (см. работы [1] — [21]), некоторые авторы руководств по нормативному употреблению языка (Follett, 1966) и отдельные лингвисты (Мак Коли, 1968, Харфорд, 1974) полагают, что в языке есть два *или* — инклюзивное и экслюзивное. Большинство лексикографов (см. OED, UED, WN12, WN13), по крайней мере один логик [22], несколько экспертов в области правильного языкового употребления (Fowler, 1971, Nicholson, 1957) и лингвист (Lakoff, 1971) придерживаются крайнего взгляда: «Альтернативное, *или*, *иначе*, *ИЛИ*-суждение, содержит два утверждения; принятие одного из них ведет к отрицанию другого..; с каждым из них можно согласиться.., но не с обоими (OED)»; «за очень редким исключением,

¹ Для простоты отсылки к учебникам логики последние в списке литературы отделены от остальных работ. Хотя и верно, что все авторы учебников по логике заявляют, что в английском языке имеются два союза *или*, было бы несправедливо не упомянуть, что все авторы, начиная с [1] и кончая [4], подчеркивают, что экслюзивное *или* встречается крайне редко.

или должно быть исключительным» (Lakoff, 1971, p. 142).

Сказанное, конечно, не означает, что, когда люди произносят такое предложение, как:

(2) I'll either be with Arlene or with Suzi tonight.

‘Сегодня вечером я буду либо с Арлен, либо с Сьюзи’², они не предполагают, что только один из дизъюнктивных членов будет истинным. Однако, как мы уже видели выше, такие ожидания не имеют отношения к значению высказывания даже в частном случае его произнесения. Единственный способ продемонстрировать то, что в данное предложение входит эксклюзивное *или*, — это предположить, что оба дизъюнктивных члена истинны, и посмотреть, сможет ли такое положение дел логически повлечь за собой ложность всего дизъюнктивного предложения. Тут важно подчеркнуть слова „логически влечет“: а) если предложение действительно содержит эксклюзивное *или*, то описание предполагаемого положения дел должно логически повлечь за собой ложность дизъюнкции: б) если можно найти *хоть какую-нибудь* ситуацию (не имеет значения, насколько неестественной она будет — ведь у нас достаточно сильная интуиция, чтобы высказывать „истинные и ложные“ суждения и делать из посылок логические выводы), при которой оба дизъюнктивных члена будут истинны, а дизъюнкция все же не является ложной, то *или* не может быть эксклюзивным. Обратимся к предложению (2). Если я провожу вечер и с Арлен и с Сьюзи, влечет ли это логически за собой ложность

² Я рассматриваю здесь предложения типа (2) как результат „сокращений“ языковых цепочек типа (i) *Либо я сегодня вечером буду с Арлен, либо я сегодня вечером буду с Сьюзи*. Такая трактовка принята во всех цитируемых нами работах. Вообще, здесь предполагается, что от ‘или’ является „сентенциальной связкой“, которая на поверхностном уровне может быть представлена многими разными вариантами, например: именной связкой, глагольной связкой, адъективной связкой и т. д. Очевидно, столь общее утверждение не переносится на союз *and* и ‘и’ (Лаккофф и Петерс, 1969). Больше того, оно непосредственно не применимо и к таким употреблением союза *или*, как в (ii) *Кати весит меньше, чем Арлен или Сьюзи*, где условия истинности для *или* более похожи на условия истинности для союза *и*. Заметим, что предложение (ii) перефразируется как (iii) *Кати весит меньше, чем Арлен, и Кати весит меньше, чем Сьюзи*, однако если в (iii) и заменить на *или*, то получим некорректную перифраза предложения (ii). Тем не менее такое сокращение применимо к таким именным группам, как субъект предложения:

(iv) *Служащим мужчинам и женщинам должны платить поровну*.

Субъект этого предложения восходит к (v):

(v) *|служащие||служащие являются мужчинами|или*

|служащие являются женщинами| |.

Попытки истолковать поверхностное *и* в предложении (iv) как полученное из глубинного *и*, а не из глубинного *или* в (v), делают даже невозможным систематическое описание условий, при которых предложения с такого рода именными группами могли быть истинными. Ср. МакКолл, 1968, где предпринята такая некорректная попытка.

предложения (2)? Бесспорно, если бы я рассчитывал провести вечер как с той, так и с другой девушкой, я, очевидно, не произнес бы (2), поскольку говорящий, как правило, всегда делает как можно более „сильное“ утверждение, совместимое с его представлениями (beliefs). (Здесь я следую постулату, сходному с максимальной количества Грайса: делай свой вклад в разговор как можно более информативным.) Но фактически дело было так, что я отправился в бар с Арлен, мы встретили Сьюзи, а затем все трое провели оставшуюся часть вечера вместе. Очевидно, что в этой ситуации мы не скажем, что предложение (2) ложно, что я, говоря (2), лгал или что я в каком-то смысле был безответственен, утверждая (2), даже при том, что обе альтернативы истинны. Следовательно, предложение (2) не содержит эксклюзивного *или*.

Важно различать отдельные виды „инклюзивности vs. эксклюзивности“. В предыдущем абзаце я определил один интересующий меня вид „эксклюзивности“, когда из истинности обоих дизъюнктивных членов следует ложность дизъюнкции. Именно об этой разновидности „эксклюзивности vs. инклюзивности“ идет речь, как они об этом сами заявляют, в работах логиков, лингвистов, лексикографов и специалистов по нормативному языковому употреблению. Между тем, видимо, можно указать на еще по меньшей мере два других смысла дизъюнкции: (а) когда оба *vs.* не оба члена дизъюнкции истинны (или могут быть истинными); (б) когда говорящим предполагается *vs.* не предполагается реализация обоих членов дизъюнкции. Очевидно, что одно и то же вхождение *или* в предложение будет „инклюзивным“ или „эксклюзивным“ в зависимости от того, какое принимается определение дизъюнкции. Определение (а), хотя на него иногда и ссылаются (как, например, при обсуждении закона исключенного третьего; см. ниже разбор примеров (4) и (5)), не имеет достаточно широкой сферы применения и не охватывает большого числа случаев употребления *или*; таковы, например, эмпирические утверждения типа (2), относящиеся к будущему времени. Определение (б) по своему характеру не является семантическим: обращение к предположениям или ожиданиям говорящего выводит это определение за пределы семантики в другую область (прагматику?).

В качестве примера языка, где „инклюзивное“ и „эксклюзивное“ *или* различаются лексически, часто называют латынь. Утверждают, что в латинском языке есть две разные лексемы *vel* и *aut* для „инклюзивного“ и „эксклюзивного“ *или*. Хотя из-за недостатка носителей латинского языка трудно говорить об этом со всей определенностью, но все же, судя по дошедшей до нас литературе на латыни, создается впечатление, что союзы *vel* и *aut* маркируют различие (б). А именно, они употребляются в соответствии с тем, предполагает ли говорящий истинность одного или не

обязательно только одного из членов дизъюнкции. Если перевод предложения (2) на латинский содержит союз *aut*, то это означает, что я не предполагал, что проведу вечер и с Арлен и с Сьюзи. Даже если бы события развивались так, как в той рассказанной нами короткой истории, латинское предложение по-прежнему было бы истинно, несмотря на присутствие в нем союза *aut*, поскольку во время произнесения (2) я не думал, что буду вечером с двумя девушками. Напротив, если бы предложение (2) было переведено на латинский язык с помощью союза *vel*, оно было бы ложным (даже если бы я проводил вечер с обеими девушками), так как во время высказывания я не предполагал быть с ними обеими. Таким образом, латинские союзы *vel* и *aut* не передают различия по „инклюзивности *vs.* эксклюзивности“, служащее предметом дискуссии у наших современных авторов. По всей видимости, дать семантическое объяснение поведению этих слов очень трудно, поскольку, как нам представляется, условия истинности предложений с этими словами опираются на предположения (*beliefs*) говорящего. (Альтернативным решением было бы признать, что у *vel* и *aut* одни и те же семантические условия истинности, а выбор между ними регулируется „прагматическими факторами“, как это предлагалось для положительных *vs.* отрицательных — вопросительных предложений в английском.) В настоящей статье речь идет о семантике союза *или*; есть ли в английском языке такое *или*, которое можно было бы считать „эксклюзивным“ в смысле, определенном двумя абзацами выше. Другие смыслы „эксклюзивности“ остаются за пределами данной работы.

Рассмотрим следующий пример (из [18]):

(3) Taxpayers must file exactly one return, but it may be a single or a joint return.

‘Налогоплательщики должны подать ровно одну декларацию, но она может быть либо на одного человека, либо на нескольких’.

Признаю, что это предложение было бы ложным, если бы налогоплательщики могли заполнить и подать одновременно как декларацию на одного человека, так и совместную, но это, конечно, вовсе не потому, что *или* в нем эксклюзивное. Скорее, причина ложности (3) — в его первой части, где говорится, что налогоплательщиками должна подаваться только одна декларация. Второй конъюнктивный член сам по себе ничего не говорит о количестве деклараций, которые нужно подать (за исключением разве того, что по крайней мере одна декларация должна быть подана).

Аналогичную ошибку совершают те авторы, которые приводят примеры, в которых истинность обоих членов дизъюнкции *невозможна*. В работах [19] и [20] к случаям „эксклюзивного“ *или* от-

несены следующие предложения:

- (4) Today is either Monday or Tuesday.
'Сегодня понедельник или вторник'.
(5) I was born in either Nebraska or New Mexico.
'Я родился в штате Небраска или в Нью-Мехико'.

Эти же примеры в работах [19] и [20] квалифицируются как частные проявления „закона исключенного третьего“. Могут ли они считаться контрпримерами, опровергающими, что в английском языке нет эксклюзивного союза *или*? Ясно, что нет. Ведь тут невозможно, чтобы оба члена дизъюнкции были одновременно истинны, а потому из них нельзя составить контрпример. Напомню: чтобы построить контрпример, следует допустить, что оба члена дизъюнкции истинны и при этом вся дизъюнкция была бы ложной.

Что касается других примеров, приводимых в цитированных работах как случаи употребления эксклюзивного *или*, то можно показать, что в них союз *или* также инклюзивный, если рассмотреть какую-нибудь необычную ситуацию. См. пример из [17]:

- (6) Either you eat your dinner or I'll spank you!
'Или ты съешь свой обед, или я тебя отшлепаю!'

«Очевидно, — говорится в [17], — что это *или* должно быть эксклюзивным. Только вообразите себе последствия того, что ребенок съел свой обед и был вместе с тем наказан!» Какова бы ни была риторическая сила такого заявления, оно явно несостоятельно. Во-первых, точно так же, как тогда, когда вам предлагают чай или кофе, не *требуется*, чтобы подали и то и другое: предлагающему (или угрожающему) достаточно выполнить лишь одно из обязательств — это и есть его совокупное обязательство (или угроза). Люди, будучи, по сути дела, довольно жадными (ленивыми и вообще какими угодно в конкретном предложении), выполняют, как правило, только то, что *обещано* одним из членов дизъюнкции. Именно по этой причине ребенок полагает, что колья скоро ему говорят что-то вроде (6), то его не отшлепают, если он съест обед. Но само предложение не служит ему гарантией от наказания — просто таков его прошлый опыт. Во-вторых, для того чтобы союз *или* в предложении (6) был эксклюзивным, необходимо, чтобы невозможно было создать такую ситуацию, при которой оба дизъюнктивных члена были бы истинными, но мы бы, тем не менее, склонны были считать и все дизъюнктивное предложение истинным. Если после того, как я говорю (6) своему сыну, он съедает свой обед, а затем бросает тарелки на пол, то я смело могу отшлепать его и при этом не бояться вступить в противоречие со своим прежним предупреждением (6). Можно предпринять соблазнительную попытку установить некоторую „связь“ между

членами дизъюнкции в (6), чтобы исключить ситуацию типа той, которую я только что привел, демонстрируя, что в (6) *или* инклюзивное. Если вы попытаетесь это сделать, то полезно вспомнить, что предложения, иллюстрирующие действие „закона исключенного третьего“, здесь не помогут. Вот, например, два способа прочтения предложения (6):

- (7a) Either you eat your dinner or I'll spank you if you don't!
'Или ты съешь свой обед, или я отшлепаю тебя, если ты не съешь!'
- (7б) Either you eat your dinner or I'll spank you for not eating it!
'Или ты съешь свой обед, или я отшлепаю тебя за то, что ты его не ешь!'

Однако предложения (7a) и (7б) тоже не являются примерами употребления эксклюзивного *или*. Если союз *если* в предложении (7a) — это логическая материальная импликация, то, коль скоро здесь выполнен первый член дизъюнкции, второй член тоже будет истинен. Если же *если* здесь понимается как-то по-другому (например, как контрфактическое *если*, проанализированное в работе Lewis, 1974), то оно тем более будет инклюзивным, поскольку верно, что когда мой сын ест свой обед в тех возможных мирах, которые принадлежат классу ближайших возможных миров, в которых он не ест свой обед, я шлепаю его. И предложение (7б), как ни огорчительно это для нашего гипотетического оппонента, также не может иметь оба дизъюнктивных члена истинными. Действительно, если мой сын съедает свой обед (и тем самым первый член дизъюнкции становится истинным), то второй член истинным быть не может, и наоборот. Поэтому нельзя ручаться, что в этом предложении употреблено эксклюзивное *или*, равно как нет эксклюзивного *или* и в примерах на „закон исключенного третьего“.

Вот еще несколько предложений, содержащих, как утверждается в работах [4, 9, 16, Lakoff, 1971], откуда они заимствованы, эксклюзивное *или*:

- (8) Give me liberty or give me death!
'Дайте мне свободу или дайте мне умереть!'
- (9) Arlene wants a marguerita or a grasshopper.
'Арлен хочет маргаритку или кузнечика.'
- (10) Coffee or tea comes with the meal.
'Кофе или чай подадут вместе с едой.'
- (11) Either John eats meat or Harry eats fish.
'Или Джон ест мясо, или Гарри ест рыбу.'

В качестве доказательства того, что в примерах (8) — (11) нет эксклюзивного *или*, можно привести те же аргументы и при-

меры, которые приводились нами ранее (см. (2) — (7)). Но вместо этого я выскажу более общие соображения. Во-первых, я буду считать, что предложение истинно, если и только если его отрицание ложно. Это допущение, как я полагаю, составляет неотъемлемую часть нашего дотеоретического интуитивного представления об отрицании и ложности. (Если, однако, среди логиков найдутся представители, относящие себя к интуиционистам, то мы можем ограничиться рассмотрением только „конечных“ случаев, когда даже интуиционисты признают наши доводы; см. Heyting, 1966.) Мы снова обращаемся к интуиции и обнаруживаем, что отрицанием *либо... либо* является *ни... ни*, в связи с чем следующие предложения соответственно будут отрицаниями предложений (8) — (10) (оставим в стороне (11)):

(12) I demand neither liberty nor death.

‘Я не требую ни свободы, ни смерти’.

(13) Arlene wants neither a marguerita nor a grasshopper.

‘Арлен не хочет ни маргаритки, ни кузнечика’.

(14) Neither coffee nor tea comes with the meal.

‘Вместе с едой не подадут ни чая, ни кофе’.

Очевидно, что предложения (12) — (14) истинны при тех же условиях, при которых истинны предложения (12a) — (14a)³:

(12a) I do not demand liberty and I do not demand death.

‘Я не требую свободы, и я не требую смерти’.

(13a) Arlene does not want marguerita and Arlene does not want a grasshopper.

‘Арлен не хочет маргаритки, и Арлен не хочет кузнечика’.

(14a) Coffee does not come with the meal and tea does not come with the meal.

‘Кофе не подадут вместе с едой, и чай не подадут вместе с едой’.

Теперь, когда отрицание ложно именно в тех случаях, когда истинно утверждение, а предложения (12) — (14) являются отрицаниями предложений (8) — (10) и ложны в точности тогда, когда ложны предложения (12a) — (14a), можно заключить, что предложения (8) — (10) ложны, *только* когда (12a) — (14a) ис-

³ Интерпретация примеров зависит от того, как отрицание распределяется по конъюнкции, и, в частности, от того, действуют ли законы де Моргана. Если мы ограничимся рассмотрением одного только союза *и*, оставив в стороне конъюнкции типа *но, если не*, и будем интересоваться лишь условиями, при которых сложное предложение такой структуры будет истинным или ложным, то предполагаемое распределение отрицания, по всей видимости, всегда будет иметь место.

тинны. Иными словами, предложения (8) — (10) ложны *тогда и только тогда*, когда оба члена дизъюнкции ложны, то есть *или* в этих предложениях инклюзивное. Если бы *или* в них было эксклюзивным, то они также были бы ложны и тогда, когда оба члена дизъюнкции истинны. Отсюда вытекало бы, что предложения (12) — (14) истинны в следующих случаях (ведь должны же мы каким-то образом объяснить, почему предложения (12) — (14) интуитивно ощущаются как отрицания предложений (8) — (10), каково бы ни было наше решение по поводу союза *или*):

(12в) I demand liberty and I demand death.

‘Я требую свободы, и я требую смерти’.

(13в) Arlene wants a marguerita and Arlene wants a grasshopper.

‘Арлен хочет маргаритку, и Арлен хочет кузнечика’.

(14в) Coffee comes with the meal and tea comes with the meal.

‘Көфе подадут вместе с едой, и чай подадут вместе с едой’.

Но очевидно, что эти факты доказывают *ложность* предложений (12) — (14); они, конечно, не подтверждают их истинности. Поэтому *или* в (8) — (10) не может быть эксклюзивным. В самом деле, если бы эти предложения содержали эксклюзивное *или*, их отрицания не образовывались бы с помощью союза *ни ... ни*, а скорее имели бы вид:

(12в) I demand liberty if and only if I demand death.

‘Я требую свободы, если и только если я требую смерти’.

(13в) Arlene wants a marguerita just in case she wants a grasshopper.

‘Арлен хочет маргаритку только в том случае, если она хочет кузнечика’.

(14в) Coffee comes with the meal exactly when tea does.

‘Көфе появится вместе с едой в точности тогда, когда появится чай’.

Между тем абсолютно ясно, что предложения (12в) — (14в) не являются отрицаниями (8) — (10).

Сколько же разных *или* в английском языке? Ровным счетом ничего из того, что я говорил до сих пор, не доказывает, что *или* только одно, инклюзивное. Все, что до сих пор утверждалось, — это что обычно приводимые в литературе примеры так называемого „эксклюзивного“ *или* явным образом неубедительны. Если логики правы и на самом деле есть два союза *или*, то либо этот факт должен быть отражен в соответствующем словаре при лингвистическом описании языка, либо (если *или* вводятся с помощью трансформаций) в трансформационном описании следует предус-

мотреть разные трансформации, вводящие эти разные *или*. По крайней мере очевидно, что адекватный семантический анализ должен как-то различать эти лексемы. С другой стороны, не исключена возможность, что в действительности в языке имеется только одно *или*, а другое „употребление“ *или* является производным от основного и, скажем, появилось в результате синтаксической омонимии, порожденной трансформацией опущения узла в структуре исходного предложения. Можно было бы, например, считать, что есть, в сущности, лишь одно эксклюзивное *или* (вводимое лексически или трансформационно), а предложения, которые нам кажутся содержащими другое, инклюзивное, *или*, являются эллиптическими.

Глубинное НС-дерево для

(15) I'll be with Arlene tonight or I'll be with Suzi tonight or
I'll be with both Arlene and Suzi tonight.

‘Сегодня вечером я буду с Арлен, или сегодня вечером я буду с Сьюзи, или сегодня вечером я буду и с Арлен и с Сьюзи’.

под действием трансформации эллиптического сокращения или опущения узла становится НС-деревом, глубинным для (16):

(16) I'll be with Arlene or Suzi tonight.

‘Сегодня вечером я буду с Арлен или с Сьюзи’,

но само предложение в целом при этом воспринимается как „инклюзивное“. Следует, однако, осознать, что «в действительности» нет двух *или*; напротив, мы сначала порождаем (15), а из него путем эллипсиса или опущения узла получаем (16). Результирующие предложения заставляют нас думать, будто существуют два *или*, но это иллюзорное впечатление создается благодаря эллипсису⁴.

⁴ Приводимые здесь предложения (15) и (17) уже „редуцированы“, хотя и в результате последующей трансформации. Трансформация, о которой идет речь, действует на нередуцированных (несокращенных) НС-показателях:

T (ИЛИ):	S ₁		<i>или</i>	S ₂	<i>или</i>	[S ₃ и S ₄] _s
SD	1		2	3	4	5
SC	1	и	+2	3	нужь	нужь

Условия на T (ИЛИ) сформулировать не очень легко. Очевидно, нам нужно, чтобы S₁=S₂ и S₂=S₄, но мы, кроме того, хотим, чтобы референты всех узлов в S₁ были такими же, как и референты узлов в S₃ (аналогично для S₂ и S₄). Поэтому, помимо тождества структур предложений, требуется кореферентность всех соответствующих фрагментов. Узел *и*+2 в SC — это, конечно, *и/или*, которое позже станет *или*.

Альтернативным было бы считать, что основное *или* — инклюзивное, а эксклюзивные „употребления“ *или* возникают благодаря эллипсису или опущению. Тогда НС-дерево, глубинное для

- (17) Arlene wants a marguerita or Arlene wants a grasshopper but Arlene doesn't want both a marguerita and a grasshopper.

‘Арлен хочет маргаритку, или Арлен хочет кузнечика, но Арлен не хочет одновременно и маргаритку и кузнечика’,

становится таковым для

- (18) Arlene wants a marguerita or Arlene wants a grasshopper. Арлен не хочет одновременно и маргаритку и кузнечика’,

где все предложение в целом понимается „эксклюзивно“. И вновь можно утверждать, что „в действительности“ двух *или* не существует; напротив, есть трансформация опущения, порождающая языковую цепочку, которую можно породить и другим способом и которая тем самым имеет разные значения в зависимости от своей трансформационной истории. Просто нам *кажется*, будто есть два разных *или*.

Какую же из этих трех альтернатив следует предпочесть?

Одна из причин неприятия «двух или» заключается в том, что существует легко устанавливаемое соотношение между инклюзивным и эксклюзивным „употреблениями“ *или*, которое наша лингвистическая теория должна непосредственно отразить. Любая из двух оставшихся альтернатив позволяет установить это соотношение непосредственно в грамматике и тем самым избежать появления омографов. Возможно, что выдвинутый довод не вполне убедителен, поскольку имеется также легко устанавливаемое соотношение между двумя бинарными функциями истинности, однако связь, существующая между двумя *или* (если их два), несомненно, очень тесная. И то, что в естественном языке эти *или* — омофоны и омографы, должно подкрепить и усилить нашу интуицию на этот счет.

Мне представляется, что нечто вроде аргумента „простоты“ делает более привлекательной третью альтернативу (инклюзивное *или* — основное). Одна из причин, по которой мы рассматривали все взятые из литературы примеры, где, как это предполагалось их авторами, наличествует эксклюзивное *или*, состояла в том, что мы хотели показать, что в действительности таких примеров значительно меньше, чем можно предположить с первого взгляда. Если за основное мы примем эксклюзивное *или*, то тогда большинство предложений с *или* должны будут подвергнуться трансформации, преобразующей (15) в (16). Но если мы примем за основное инклюзивное *или*, то тогда лишь очень немногие предло-

жения должны будут пройти через трансформацию, обращающую (17) в (18). Поэтому, если признать, что инклюзивное *или* — основное, деривация предложений с союзом *или* будет проще⁵.

Существуют, конечно, еще две альтернативы. (а) Следуя за [22], а также Fowler, 1971, Nicholson, 1957, Lakoff, 1971, OED UED, WN12, WN13, можно было бы сказать, что вообще нет никаких „употреблений“ *или*, кроме как эксклюзивных. (б) Можно было бы утверждать и обратное, что нет никаких других „употреблений“ *или*, кроме как инклюзивных. Каждая из этих возможностей устраняет необходимость введения в грамматику трансформации „опущение *или*“, ибо ее выход (как при выборе альтернативы (а), так и при выборе (б)) пустой. Альтернатива (а), очевидно, некорректная, так как предложения (19) и (20) не избыточны и должны быть проанализированы как содержащие инклюзивное *или*⁶:

(19) A citizen of the U. S. who is not a naturalized citizen is a person born in the U. S. or a person born of U. S. citizens.

‘Житель США, который не является натурализованным гражданином США, — это либо человек, родившийся в США, либо рожденный гражданами США’.

(20) You may choose either proposal (a) or proposal (b), but not both.

‘Вы можете принять либо предложение (а), либо предложение (б), но не оба сразу’.

Теперь я хотел бы в какой-то момент обсудить и развить предложение (б), не опираясь, однако, на положение Грайса, согласно которому явную эксклюзивность, свойственную отдельным предложениям с *или*, следует объяснять другими причинами (а именно — действием имплицатур дискурса). Вместо этого я хочу высказать утверждение, что, за исключением тех высказываний, где

⁵ Я вполне сознаю, что довод, касающийся „простоты“ описания, выпадает из круга обычно приводимых аргументов такого рода, когда пытаются ухватить «лингвистически значимые обобщения» с помощью коротких правил или удобных основных обозначений и приемов нотации, позволяющих более непосредственным путем извлекать из правил содержательные утверждения. Приводимый мною аргумент „простоты“ предназначен лишь для того, чтобы исключить выбор подхода „два различных *или*“. Эту „меру простоты“, вероятно, лучше всего рассматривать как метод интерпретации поверхностных цепочек: если даны две в других отношениях сравнимые друг с другом грамматики, выбери ту из них, которая обеспечивает порождение высказывания с данной трансформационной историей из данного класса высказываний кратчайшим путем.

⁶ Джек Макинтош указывает также, что бутылочки со специями на обратной стороне имеют надпись «1 унция, или 28,375 граммов».

речь идет о предполагаемых событиях, которые могут реально произойти в будущем, никто на самом деле не думает, что всякое предложение с *или* — „экслюзивное“ (в том смысле, о котором говорилось выше: если бы оба члена дизъюнкции были истинными, то вся дизъюнкция в целом была бы ложной).

Соблазнительно считать, что в примере

(21) You may have salami or pastrami, or both.

‘Вы можете заказать салями, или бастурму, или и то и другое’.

„употребление *или* — экслюзивное“ на том основании, что добавление дизъюнктивного члена [*или и то и другое*] имеет смысл только, если до этого он из предложения каким-то образом исключался. Но это, конечно, не верно, ибо если выполняется последний член дизъюнкции, то выполняются и первые два, а потому первое вхождение *или* — инклюзивное. Отсюда следует единственно лишь то, что последний член избыточен, о чем свидетельствует, если к ней внимательно прислушаться, интонация предложения (21). Нормальный интонационный контур этого предложения таков, что последний дизъюнктивный член эмфатически выделен как мысль, пришедшая в голову с опозданием, — тем самым привлекается внимание к готовности говорящего принести и салями и бастурму. Этим данное предложение отличается от предложения (10), в котором ресторан рассматривает свои обязанности полностью выполненными, если клиенту подают только кофе или только чай (и обычно неохотно приносят и то и другое).

Рассматривая предложения типа (21), такие, как:

(22) Ivan is an American or a Russian.

‘Иван американец или русский’.

(23) That painting is of a man or a woman.

‘Эта картина мужчины или женщины’.

(24) *John is an American or a Californian.

*‘Джон американец или калифорниец’.

(25) *That painting is of a man or a bachelor.

*‘Эта картина мужчины или холостяка’.

Харфорд делает следующее «общее заключение» (см. Hurford, 1974):

(G) Два предложения не могут быть соединены союзом *или*, если одно из них следует из другого; в противном случае союз *или* допустим.

Поскольку очевидно, что из *Вы можете заказать и то и другое* следует *Вы можете заказать салями или бастурму*, можно утверждать, что если бы это *или* было инклюзивным, то тогда бы пер-

вое вхождение *или* в примере (21) было некорректным, а само предложение (21) — грамматически неправильным. Между тем оно абсолютно правильное, а тогда *или* в нем должно быть эксклюзивным.

Правило G не выглядит безупречным. Во-первых, отметим, что, хотя предложения (24) и (25) *странные*, это еще не дает оснований относить их в разряд неграмматичных. Их „неприемлемость“ можно было бы, например, объяснить действием коммуникативного постулата Грайса: «избегай избыточных высказываний, кроме тех случаев, когда без них нельзя обойтись» — или (более традиционно) психологическим трюизмом, согласно которому люди обычно повторяются, выделяют особые случаи и т. д. только тогда, когда вынуждены это делать, либо когда не осознают, что они это делают. Если бы правило G было корректным, то студент, начинающий изучать теорию множеств, сказав

(26) Either Zorn's Lemma or the Axiom of Choice will allow me to prove exercise 12.

‘Либо лемма Цорна, либо аксиома выбора дадут мне возможность доказать утверждение 12’,

произнес бы грамматически неправильное предложение. И ни один человек не знал бы, является ли высказывание

(27) I believe in the Continuum Hypothesis or the Axiom of Choice.

‘Я верю в истинность гипотезы континуума или в аксиому выбора’.

грамматически правильным, если бы в 1963 г. Коэн не доказал их независимость друг от друга. Далее благодаря ассоциативности связки *или* предложение (21) можно перифразировать (хотя и с трудом; я попытаюсь облегчить перифразирование, добавив в предложение несколько слов, не меняющих смысла) в виде

(28) You may have salami, or else pastrami or even both.

‘Вы можете заказать салями или же бастурму или даже и то и другое’.

Замечу здесь, что по правилу G нужно было бы признать предложение (28) некорректным, так как второе *или* в нем неуместно: *Вы можете заказать и то и другое* логически влечет за собой *Вы можете заказать бастурму*. Отсюда следует, что предложение (28) бессмысленно, и тем не менее оно значит то же, что и (21). Более того, правило G говорит, что всякое предложение вида „Это либо A, либо B, либо C, либо D, ..., либо все из ранее перечисленных“ не имеет смысла, поскольку последний дизъюнктивный член имплицитно включает все предшествующие. Таким образом, G как грам-

матическое правило представляется не вполне обоснованным. По всей вероятности, его надо рассматривать (наряду с вышеупомянутыми коммуникативными постулатами Грайса или психологическими обоснованиями) как утверждение о том, какие предложения люди обычно употребляют в своей речевой практике.

Наиболее трудным для меня является, видимо, анализ предложений выбора. Эти предложения кажутся опровергающими мою точку зрения на союз *или* как на „всегда инклюзивный“; ср.:

(29) *Mommy, can I have some cake and cookies?*

You may have cake or cookies, make a choice.

‘Мам, можно я возьму пирожное или печенье?’

Возьми либо пирожное либо печенье, выбери сам’.

Однако, прежде чем на основании такого рода примеров мы примем решение о том, что есть отдельные „экслюзивные употребления“ союза *или*, следует обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, даже если бы это было „инклюзивное употребление“, ребенок мог бы не иметь достаточно оснований считать, что мать легко согласится дать ему и пирожное и печенье. Как мы видели выше, такие предположения делаются исходя из прошлого опыта, а этот опыт может оказаться таковым, что у ребенка не будет уверенности, что мать даст ему и то и другое. Во-вторых, даже если бы это было „инклюзивное употребление“ *или* и даже если бы ребенок имел основания считать, что он может получить от мамы пирожное вместе с печеньем, от нее вовсе не требуется, чтобы она дала и то и другое: обязательство, данное ею в (29), можно считать выполненным, если она разрешит ребенку взять что-нибудь одно. В-третьих, даже если мы признаем, что высказывания (29), произнесенные в этой ситуации вполне искренне, содержат „экслюзивное употребление“ союза *или*, нельзя исключить, что реплика матери не что иное, как просто небрежность речи. На самом деле она хочет сказать:

(30) *You may have either cake or cookies, but not both.*

‘Можешь взять либо пирожное, либо печенье, но не то и другое вместе’.

Ясно, что грамматика не должна нести ответственности за коммуникативно неудачные высказывания говорящих. В-четвертых⁷, давайте рассмотрим, что произойдет, если пирожное и печенье, разумеется, без ведома матери, будут отравлены. Тогда было бы истинным предложение

(31) *If you have either cake or cookies, you will get sick.*

‘Если ты возьмешь пирожное или печенье, то заболеешь’.

⁷ Этот аргумент был подсказан мне Дж. Макинтошем.

А отсюда, в полном согласии с логикой, вытекает, что если ребенок воспользуется данным ему в (29) разрешением, то он заболеет, то есть условия истинности для *или* в (29) вместе с (31) гарантируют истинность предложения *Ребенок заболевает*. Но заметим, что если ребенок взял, скажем, пирожное, то этот аргумент не является обоснованным. В качестве непосредственного шага на пути к использованию правила *modus ropens* необходимо иметь еще правило „добавления“ („или — введение“, которое гласит „*p*, следовательно *p или q*“). Но „добавление“ требует, чтобы *или* понималось инклюзивно. Поэтому истинностные условия для *или* в (29) должны быть инклюзивными. Наконец, в-пятых, вовсе не очевидно, что не существует также условий, при которых оба дизъюнктивных члена были бы истинными, и вся дизъюнкция тем не менее тоже была бы истинна. Представим себе ребенка, который, в соответствии с данным ему в (29) разрешением, выбирает пирожное, и предположим, что он за рекордно малое время выполнил домашнюю работу. Что мешает маме дать ему в награду печенье? Или она удерживается от этого? Если бы *или* в (29) было эксклюзивным, она (из-за боязни оказаться противоречивой), конечно, удержалась бы. Но это же явная нелепость, или я абсолютно неправ.

ЛИТЕРАТУРА

- Follett, 1966=Follett W. Modern American Usage (словарная статья „И/или“). New York, 1966.
- „Fowler's Modern English Usage“ (словарная статья „Или“). London, 1971.
- Grice, 1968=Grice H. P. Logic and conversation. Ditto copy of 1967 William James lectures, Harvard University, 1968.
- Heyting, 1966=Heyting A. Intuitionism (2nd. ed.). Amsterdam: North Holland. Pub. Co., 1966.
- Hurford, 1974=Hurford J. R. Exclusive or inclusive disjunction. — „Foundations of Language“, 11, 1974, p. 409—411.
- Lakoff-Peters, 1969=Lakoff G., Peters S. Phrasal conjunction and symmetric predicates. — In: „Modern Studies in English“ (Reidel & Shane (eds.)). N. J.: Prentice-Hall. Inc., 1966, p. 113—142.
- Lakoff, 1971=Lakoff R. It's, and's, and but's about conjunction. — In: „Studies in Linguistic Semantics“ (Fillmore & Langendoen (eds.)). New York: Holt, Reinhart & Winston, 1971.
- Lewis, 1974=Lewis D. K. Counterfactuals. Oxford: Blackwell, 1974.
- McCawley, 1968=McCawley J. D. The role of semantics in grammar. — In: „Universals in Linguistic Theory“ (Bach & Harms (eds.)). New York: Holt, Reinhart & Winston, 1968.
- McCawley, 1971=McCawley J. D. Meaning and the description of languages. — In: „Readings in the Philosophy of Language“ (Rosenberg & Travis (eds.)). New York: Prentice-Hall Inc., 1971, p. 514—533.
- Nicholson, 1957=Nicholson M. A Dictionary of American English Usage (словарная статья „Или“). Oxford: Oxford University Press, 1957.
- „The Oxford English Dictionary“ (OED) (словарные статьи „Или“, „Альтернатива“). Oxford: Oxford University Press.

„The Universal English Dictionary“ (UED) (словарные статьи „Или“, „Альтернатива“). London: George Routledge & Sons Ltd.

„Webster's New International Dictionary“, 2nd ed. (WN 12) (словарная статья „Или“). Springfield, Mass.: Merriam, G.M.C.

„Webster's Third New International Dictionary“, (WN 13) (словарные статьи „Или“, „Таблица истинности“, „Изменение“).

Учебники по логике

- [1] Quine W. V. *Methods of Logic*, 3d ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1972.
- [2] Jeffrey R. C. *Formal Logic*. New York: McGraw-Hill, 1967.
- [3] Copi I. M. *Introduction to Logic*, 4th ed. New York: Macmillan, 1972.
- [4] Tarski A. *Introduction to Logic*, 3d ed. New York: Galaxy, 1965.
- [5] Ackermann R. J. *Modern Deductive Logic*. London: Macmillan, 1970.
- [6] Carnap R. *Introduction to Symbolic Logic and its Applications*. New York: Dover, 1958.
- [7] Iseminger G. *An Introduction to Deductive Logic*. New York: Appleton Century-Crofts, 1968.
- [8] Reichenbach H. *Elements of Symbolic Logic*. New York: Free Press, 1947.
- [9] Mates B. *Elementary Logic*. Oxford: University Press, 1965.
- [10] Mendelson E. *Introduction to Mathematical Logic*. Princeton, New Jersey: Van Nostrand, 1964.
- [11] Kleene S. C. *Introduction to Metamathematics*. New York: Van Nostrand, 1952.
- [12] Hilbert D. and W. Ackermann. *Principles of Mathematical Logic*. New York: Chelsea, 1950.
- [13] Copi I. M. *Symbolic Logic*, 3d ed. New York: Macmillan, 1967.
- [14] Hacking I. A. *Concise Introduction to Logic*. New York: Random House, 1972.
- [15] Lambert K. and B. C. van Fraassen. *Derivation and Counterexample*. Encino, California: Dickenson, 1972.
- [16] Purtil R. I. *Logic for Philosophers*. New York: Harper & Row, 1971.
- [17] Thomason R. H. *Symbolic Logic*. London: Macmillan, 1970.
- [18] Resnik M. *Elementary Logic*. New York: McGraw-Hill, 1970.
- [19] Kupperman J. and A. S. McGrade. *Fundamentals of Logic*. Garden City, New York: Doubleday, 1966.
- [20] Searles H. L. *Logic and Scientific Methods*, 3d ed. New York: Ronald Press, 1968.
- [21] Strawson P. F. *Introduction to Logical Theory*. London: Methuen, 1952.
- [22] Rosser J. B. *Logic for Mathematicians*. New York: McGraw-Hill, 1953.

ВОСПРИЯТИЕ: СЕМАНТИКА АБСТРАКТНОГО СЛОВАРЯ*

Восприятию посвящено целое море философской литературы, но едва ли наберется хоть капля лингвистической литературы, посвященной восприятию. Однако связанные с восприятием проблемы, которые рассматривались философами, являются в значительной мере лингвистическими: они или формулируются, или могут быть сформулированы как вопросы о значении, поскольку философы, пишущие о восприятии, уделяют основное внимание тому, чтобы установить, сколько значений имеют такие слова, как *видеть*, *слышать* или *ощущать*, что это за значения и как они связаны друг с другом.

Но чтобы установить, сколько значений имеет лингвистическое выражение и какие это значения, необходим язык, семантическая запись. Установить значение выражения — это перевести данное выражение на язык семантической репрезентации. Если формальная и в то же самое время обнажающая суть дела семантическая репрезентация вообще может быть когда-либо достигнута, то только с помощью адекватного языка семантической репрезентации. Построить такой язык и показать его действенность, испытывая его, в частности, на проблемах восприятия, — обязанность лингвистики, а не философии.

В настоящей главе я попытаюсь сделать шаг в этом направлении.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 'ВОСПРИНИМАТЬ'

На первый взгляд задача описания значения по крайней мере некоторых слов, обозначающих восприятие, может показаться легкой. Возьмем, например, слова *видеть*, *слышать*, *ощущать на вкус* (*taste*), *обонять* и *осязать* (*feel*). Интуитивно чувствуется, что у них есть что-то общее. Может показаться естественным назвать этот общий компонент, или „признак“, „восприятием“ или „±восприятием“. Чтобы описать различия между элементами этого на-

* Anna Wierzbicka, *Lingua Mentalis*. (В переводе публикуются разделы 1—6 главы 4-й: Perception: The semantics of abstract vocabulary.) Sydney, 1980. Переведено с разрешения издателей: Anna Wierzbicka, Academic Press, Sydney.
© 1980 by Anna Wierzbicka, Academic Press, Sydney.

бора, можно было бы постулировать еще некоторое число таких признаков: очевидными кандидатами являются „±зрительное“, „±слуховое“, „±обонятельное“, „±вкусовое“, „±осязательное“. Характерное свойство этого описания, как и соответствующего семантического метода, состоит в том, что оно может немедленно решить все мыслимые проблемы: так как нет никакого изначально-го, исчерпывающего набора признаков, всякий раз, когда возникает видимое затруднение, все, что следует сделать, — это изобрести новый признак, и проблема «разрешится». Адекватность (validity) постулируемых признаков не может быть проверена эмпирически, так как ярлыки типа „зрительное“ или „слуховое“ произвольны и лишены какого-либо эмпирического содержания. Сказать, что „видеть“ отличается от „слышать“ потому, что одно «+зрительное» и «—слуховое», а другое — «—зрительное» и «+слуховое», является, как мог бы выразить это Джордж Лаккофф, не более информативным, чем сказать, что „видеть“ (see) — это «+САЙМОН», «—ХИЛАРИ», а „слышать“ (hear) — это «—САЙМОН», «+ХИЛАРИ»*.

Другой анализ на языке признаков был предложен Джефффри Грубером (G r u b e r, 1967), который считает, что и глаголу see ‘видеть’, и глаголу look ‘смотреть’ должен быть приписан признак... „Двигательное“ и что они должны быть разграничены как „Агентивный“ (look) и „Неагентивный“ (see).

Есть два способа рассмотрения предложений такого рода: английское слово *notional* ‘двигательное’, используемое для идентификации предполагаемого признака, должно считаться или означающим то, что оно означает в английском языке, или чисто произвольным символом. Если мы будем считать его чисто произвольным символом, то не будет никакой разницы между признаками „двигательное“ и „зрительное“: и тот и другой не более информативен, чем „ХИЛАРИ“ и „САЙМОН“. Если же слово *notional* мы будем принимать всерьез, то есть если его следует понимать как означающее то, что оно означает в английском языке, то предпринятый анализ глагола *видеть* на основе этого компонента должен быть нами отвергнут. Какое же движение участвует в видении? Может иметь смысл ‘говорить о некотором участии’, участвующем в „смотре“ (движение глаз), но, конечно, не в видении. Люди действительно используют такие метафорические выражения, как *John’s gaze went to the cat* ‘Взгляд Джона устремился к кошке’ по отношению к „смотре“, но не по отношению к видению. Утверждение Грубера о том, что пред-

* Это английские имена людей, одно из которых начинается на S- в соответствии с глаголом see ‘видеть’, а другое — на H- в соответствии с глаголом hear ‘слышать’. — *Прим. перев.*

ложение John sees a cat 'Джон видит кошку' представляет собой метафорическое развитие предложения John goes to a cat 'Джон идет к кошке', совершенно необоснованно. Его пример замечательным образом показывает, как метод семантических признаков освобождает воображение аналитика от всех ограничений: так как предлагаемые признаки не должны быть обоснованы возможными перифразами, то можно совершенно безнаказанно постулировать самые фантастические варианты анализа.

В сфере восприятия один автор недавно попытался обойтись без анализа по признакам, вводя осмысленные формулы, подобные следующей: *видеть* значит 'воспринимать зрением' (см. Joshi, 1974). Можно легко представить себе, что описание других глаголов из этого набора выглядело бы так: *обонять* значит 'воспринимать обонянием'; *ощущать на вкус* — 'воспринимать вкусом'; *осязать* — 'воспринимать осязанием'; *слышать* — 'воспринимать слухом'.

Хотя даже такое решение предпочтительнее, нежели решения ad hoc на языке произвольных признаков, однако ясно, что анализ такого рода не очень продвигает нас вперед. Остаются все те же проблемы: каковы значения слов *зрение*, *обоняние*, *вкус* и т. д.?

Более привлекательный анализ был предложен мне одним из моих знакомых лингвистов, посоветовавшим мне ввести следующую систему равенства:

видеть — воспринимать глазами

слышать — воспринимать ушами

обонять — воспринимать носом

ощущать на вкус — воспринимать языком

осязать — воспринимать телом.

Это выглядит достаточно обещающим, хотя требует подтверждения. Интересно, что другой лингвист, пишущий относительно восприятия, заявил — не приводя никаких оснований для своего утверждения, — что анализ слов, обозначающих восприятие, при помощи указания на соответствующие части тела неправилен и что эти слова вместо того должны быть разграничены на основе качественно различных типов соответствующих чувственных данных (Rogers, 1971: 206—207):

«Физический механизм, посредством которого происходит восприятие, с лингвистической точки зрения более или менее безразличен, лишь бы он реагировал на правильный стимул правильным образом... Важно не то, посредством чего происходит восприятие, а то, что вы воспринимаете».

Было бы весьма интересно знать, как этот исследователь формулирует качественное различие между видением, слышанием, обонянием и т. д. Однако все, что он предлагал до сих пор, — это такого рода формулы: «„слышать“ — это воспринимать чувствен-

ные входные данные *определенного типа* и фиксировать их как *соответствующий тип* чувственных данных» (с. 207; курсив мой. — А. В.). В другом месте в своей статье Роджерс представляет голы see, hear, smell и т. д. соответственно как „воспринимать“, „воспринимать“ и т. д. Я полагаю, что возражения Роджерса против анализа терминов восприятия, использующего ссылки на соответствующую часть тела, лишены оснований, и я бы согласилась с упомянутым мною ранее лингвистом в том, что именно такой анализ является действительно наиболее обещающим. Чтобы показать, что он не только перспективен, но также удовлетворителен, следует продемонстрировать его действенность, а также интуитивную приемлемость его результатов. Прежде всего необходимо доказать, что значения таких слов, как „глаза“, „уши“, „нос“ и т. п., могут быть описаны независимо от соответствующих чувств: если „видеть“ должно быть представлено как ‘воспринимать посредством глаз’, то „глаза“ не могут быть представлены как ‘части тела, используемые, чтобы видеть’. Я надеюсь, что в другом месте (см. гл. 3 настоящей книги) я доказала, что это затруднение *может* быть разрешено: в предложенном там семантическом описании слова, обозначающие соответствующие части тела, толкуются без обращения к ощущениям¹. Но есть еще одна, более серьезная проблема — проблема статуса понятия „воспринимать“. Часто полагают, что „воспринимать“ — это простое понятие. Из недавних исследований распространению этого мнения особенно способствовал известный анализ Пола Посталя, в соответствии с которым $X \text{ reminds } Y \text{ of } Z$ ‘X напоминает Y-у Z’ = $=X \text{ perceives a similarity of } Y \text{ to } Z$ ‘X воспринимает сходство Y-а с Z-ом’ (см. Postal, 1970). Характерно также, что Кей и Сэмюэлз (Kay — Samuels, 1975), попытавшиеся составить исчерпывающий, хотя, естественно, пробный список универсальных семантических элементов, включили в него и „воспринимать“. В действительности мысль о том, что „воспринимать“ является семантически простым, была высказана еще Лейбницем: «Восприятие относится к роду того, что скорее воспринимается, чем определяется» (Couturat, 1903b: 68)².

Я хочу доказать, что убеждение, в соответствии с которым „воспринимать“ является простым, ошибочно, и, кроме того, оказывает парализующее воздействие на семантический анализ. Хорошим примером такого парализующего воздействия служит анализ глагола remind ‘напоминать’ у Посталя. Обычно считается, что remind имеет несколько разных значений. Так как только одно из них может быть сколько-нибудь удовлетворительно описано через глагол „воспринимать“, то принятие соответствующего анализа для этого одного значения исключает возможность показать, каким образом различные значения данного глагола свя-

заны друг с другом (дальнейшее рассмотрение этого момента см.: Wierzbicka, 1972).

Допущение того, что „воспринимать“ представляет собой простое понятие, имеет самые неблагоприятные последствия. Считалось, по крайней мере со времени Беркли, что поверхностно сходные предложения, относящиеся к восприятию, могут иметь весьма различные логические структуры (см. Berkeley, 1709 и 1713). Сравним, например, следующие два предложения:

I see a star. ‘Я вижу звезду’.

I see a silvery speck in the sky. ‘Я вижу серебряное пятнышко в небе’.

Представляется интуитивно очевидным, что между ними есть значительное структурное различие — возможно, сопоставимое с различием между членами знаменитой пары:

John is eager to please.

‘Джону (безумно) хочется угодить’.

John is easy to please.

‘Джону легко угодить’*.

Однако анализ через „воспринимать“ приписал бы этим обоим предложениям одну и ту же глубинную структуру:

Я воспринимаю глазами звезду.

Я воспринимаю глазами серебряное пятнышко в небе.

Признав „воспринимать“ простым понятием, мы не сможем продвинуться дальше. Не сможем мы уйти и от интуитивно неверных результатов. Например, мы не в состоянии объяснить следующие факты:

I saw your wife but I didn't know it was her.

‘Я видел твою жену, но не знал, что это она’.

I saw your wife but I thought it was someone else.

‘Я видел твою жену, но думал, что это кто-то еще’.

I saw your wife but I didn't recognise her.

‘Я видел твою жену, но не узнал ее’.

I saw your wife but I thought it was your sister.

‘Я видел твою жену, но думал, что это твоя сестра’.

*I saw a silvery speck but I didn't know it was it (a silvery speck).

‘Я видел серебряное пятнышко, но не знал, что это оно (серебряное пятнышко)’.

*I saw a red spot but I thought it was something else (not a red spot).

‘Я видел красное пятно, но думал, что это что-то еще (не красное пятно)’.

* Ср. русск. Ване легко нравиться: 1) Ваня легко нравится всем; 2) Ване легко нравятся все. — Прим. перев.

*I saw a yellow circle but I thought it was a green line.

‘Я видел желтый круг, но думал, что это зеленая линия’.
Как и в случае с глаголами говорения, предложения, описывающие восприятие, с глаголом в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения ведут себя иначе, нежели остальные:

I saw your wife but I didn't recognize her.

‘Я видел твою жену, но не узнал ее’.

*I see your wife but I don't recognize her.

‘Я вижу твою жену, но не узнаю ее’.

Стоит, между прочим, отметить, что в этом отношении наблюдается интересное различие между предложениями с определенным и неопределенным объектом:

I saw your wife but I didn't recognize her.

‘Я видел твою жену, но не узнал ее’.

?I saw an elephant but I didn't recognize it (I didn't know what it was).

‘Я видел слона, но не узнал его (Я не знал, что это)’.

На самом деле, даже в настоящем времени может иметь место различие между предложениями с определенным и неопределенным объектом:

I (can) see her, but I would never have guessed it was her.

‘Я вижу ее, но никогда бы не догадался, что это она’.

?I (can) see a girl but I would never have guessed it was a girl.

‘Я вижу девушку, но никогда бы не догадался, что это девушка’.

Таким образом, возникает впечатление, что прославленное лингвистическое ухо Остина, возможно, изменило ему, когда он утверждал, что люди могут иметь в виду и имеют в виду одну и ту же внеязыковую реальность, пользуясь предложениями, подобными следующей паре:

I see a huge star. ‘Я вижу огромную звезду’.

I see a silvery speck. ‘Я вижу серебряное пятнышко’.

«То, что я вижу, — пишет Остин (Austin, 1962:98), — в том единственном, „обычном“ смысле, который имеет это слово, может быть описано как серебряное пятнышко или идентифицировано как очень большая звезда, ибо рассматриваемое пятнышко *есть* очень большая звезда».

Дело в том, что предложение *Я вижу огромную звезду* не только „идентифицирует“ звезду как большую, оно также „описывает“ ее как большую, — другими словами, элемент *огромная* находится здесь в сфере „видения“.

В действительности оказывается, что элементы, которые по семантическим причинам не могут находиться в сфере „видения“ (то есть элементы, указывающие на свойства, которые нельзя уви-

деть), чувствуют себя неуютно на месте прямого дополнения глагола „видеть“ в настоящем времени. Так, предложение Остина

I saw a man born in Jerusalem.

‘Я видел человека, родившегося в Иерусалиме’.

звучит лучше, чем его аналог в настоящем времени:

?I see a man born in Jerusalem.

‘Я вижу человека, родившегося в Иерусалиме’.

Некоторая странность последнего предложения связана именно с тем, что оно внушает мысль, что прошлое место рождения этого человека все же может быть каким-то образом доступно зрению. Заслуживает внимания также, что такие поверхностно сходные предложения, как:

I saw a huge star.

и

I saw a man born in Jerusalem.

были бы скорее всего интерпретированы различным образом (то есть как происходящие из различных глубинных структур). Приблизительно так:

I saw a man + this man was born in Jerusalem.

‘Я видел человека + этот человек родился в Иерусалиме’.

I saw a star + I saw that it was huge.

‘Я видел звезду + я видел, что она огромная’.

Таким образом, имеет значение не только определенность/неопределенность объекта видения, но также видимость/невидимость („доступность зрению“ *vs.* „недоступность зрению“) рассматриваемого положения дел.

Есть и другие доказательства семантической сложности понятия „воспринимать“. Рассмотрим следующую группу предложений:

I feel something hot. ‘Я ощущаю что-то горячее’.

I feel hot. ‘Мне жарко’.

I feel hungry. ‘Я ощущаю голод’.

I am hungry. ‘Я голоден’.

I feel tired. ‘Я чувствую себя усталым’.

I feel depressed. ‘Я чувствую себя подавленно’.

I am depressed. ‘Я подавлен’.

I feel sad. ‘Я чувствую себя печальным’.

I feel betrayed. ‘Я чувствую себя обманутым’.

I feel a failure. ‘Я ощущаю провал’.

I feel that you don't like me. ‘Я чувствую, что вы не любите
меня’.

I feel that we should go. ‘Я чувствую, что нам следует идти’.

Если „воспринимать“ является простым элементом, то оно должно или присутствовать, или отсутствовать в каждом конкретном предложении; оно не может частично присутствовать, а частично от-

существовать. Однако где следует провести границу, разделяющую предложения, содержащие этот элемент, и предложения, не содержащие его? Недавно утверждалось (Givón, 1972:45), что в таких предложениях, как I feel we should go 'Я чувствую, нам следует идти', feel представляет собой не глагол восприятия, а „ослабленное думать“. Но, по-видимому, существуют разные степени возможной „ослабленности“ такого рода. (Гилберт Райл (Ryle, 1959) в своей знаменитой статье о чувствах разграничил по крайней мере семь таких различных «степеней» и «оттенков» чувств.) Задача семантики показать, как эти различные употребления feel связаны друг с другом. Если воспользоваться таким грубым инструментом, как „воспринимать“, то становится просто невозможно уловить тонкие сходства и различия, о которых идет речь. Если feel действительно многозначно, то подобная многозначность [соответствующих глаголов] так широко распространена в различных языках, что это должно иметь какое-то объяснение, то есть различные употребления feel должны быть связаны друг с другом. Но нельзя показать, каким образом они связаны, если сказать, что некоторые из значений содержат элемент „воспринимать“, а другие не содержат.

Я делаю вывод, что „воспринимать“ представляет собой сложное понятие, бесполезное для анализа слов, относящихся к восприятию, и само подлежащее анализу. (Тот же вывод относится также к „чувствовать“, ошибочно постулированному мною в качестве элементарного в: Wierzbicka, 1972. К этому вопросу я вернусь ниже.)

В действительности анализ понятия „воспринимать“ может быть хорошей исходной точкой для анализа всего семантического поля.

ВОСПРИЯТИЕ И ЗНАНИЕ

Я бы предложила следующее направление анализа. То, что мы „воспринимаем“, — это то, что наши тела сообщают нам о мире. То, что мы слышим, — это то, что наши уши сообщают нам о мире. То, что мы воспринимаем обонянием, — это то, что наш нос сообщает нам о мире. И так далее. Приблизительно так:

What do you see? 'Что ты видишь?'

= что твои глаза сообщают тебе о мире?

What do you hear? 'Что ты слышишь?'

= что твои уши сообщают тебе о мире?

Мне кажется, этот анализ вполне подтверждается эмпирическими данными. В конце концов, люди часто говорят об ощущениях именно в этих выражениях. Сошлемся наугад на популярную книгу, озаглавленную „Чувства животных и людей“ „The Senses

of Animals and Men" (Milne and Milne, 1965)): «Что наши уши сообщают нам?» (с. 46); «сообщения, принимаемые при помощи чувства осязания» (с. 29); «наши уши, должно быть, сообщают нам что-то чрезвычайно существенное» (с. 58); «внутреннее ухо могло бы информировать мозг только о шуме» (с. 59); «те из нас, у кого более умелые носы, могут натренировать их так, чтобы распознавать поразительно большое число запахов» (с. 139); «сообщения по нервам из глаза, носа и других частей тела все однотипны» (с. 118); «сообщения от кожи» (с. 37); «наша кожа позволяет нам узнать, влажный или сухой воздух» (с. 13); «осязание сообщает нам о наличии и о форме камня в темноте» (с. 13); «шок от удара по голове может дать глазам механическое возбуждение, достаточное для того, чтобы они сообщили, что видят „звезды“» (с. 118).

Хотя „сообщать“ („telling“) семантически проще, нежели „воспринимать“ [„receiving“], тем не менее это понятие также не является простым: оно может быть проанализировано через слова *сказать* и *причинность* приблизительно так³:

*Мои глаза сообщают мне нечто о данном месте =
я могу сказать нечто о данном месте по причине
чего-то происходящего у меня в глазах.*

„Сказать“, я полагаю, семантически элементарно, и, возможно, таковым является и „место“. „Причинность“ определенно не элементарно, но может рассматриваться как таковое в настоящем контексте. Следует отметить, что ни одно из понятий в данном анализе не было предложено специально в целях решения проблемы восприятия и ни одно не ограничено сферой восприятия.

Мне представляется, что, избавившись от сложного и сверхспециального компонента „воспринимать“ и заменив его небольшим набором базовых понятий, необходимых для семантической системы в целом, мы сможем охватить тончайшие семантические различия, отмечаемые в обширной философской литературе, посвященной восприятию.

Однако, хотя описанная выше в общих чертах простая схема кажется эффективным средством моделирования простейших понятий, связанных с восприятием, может оказаться желательным, с точки зрения описательной адекватности, добавить к ней еще одно усложнение. Одна из наиболее устойчивых интерпретаций явлений восприятия — это так называемая „каузальная теория восприятия“ в ее различных вариантах. Хотя в последнее время эта теория, по-видимому, приобрела дурную репутацию, тем не менее трудно отрицать, что в ней есть что-то интуитивно убедительное. В простых терминах эта проблема может быть сформулирована таким образом: откуда и как происходят процессы восприятия? Могут ли они быть ограничены тем, что происходит

между глазом (или другими частями тела) и разумом, или они должны брать начало в чем-то во внешнем мире?

Интуитивно правильный ответ на этот вопрос, по-видимому, состоит в том, что процессы восприятия должны на самом деле брать начало в чем-то во внешнем мире. Парафраза типа

I see a dog. 'Я вижу собаку'.=

мои глаза сообщают мне о собаке

не вполне удовлетворительна, так как она каким-то образом ограничивает процесс видения видящим лицом и не указывает на внешний мир как на источник зрительного впечатления. Потребность в таком указании на внешний мир кажется даже более ясной в случаях других чувств:

I (can) hear the sea. 'Я слышу море'.

I (can) hear the children playing in the backyard. 'Я слышу, как дети играют во дворе'.

Как могут мои уши сообщить мне что-либо о море или о детях, играющих во дворе? Они могут сделать это, если море (дети), то есть что-то, что может быть сказано о море (о детях), возбуждает мой слух. Таким образом, по-видимому, для того чтобы точно репрезентировать значение слов, связанных с восприятием, необходимо упомянуть о начальном стимуле, привходящем из внешнего мира и заставляющем некоторую часть тела посылать сообщение владельцу этого тела, что тем самым и будет причиной наличия у него некоторых сведений о той части мира, которая действовала как начальный стимул. Все это может показаться сложным, но это можно выразить в простых толкованиях:

I (can) see something. 'Я вижу нечто'.=

нечто происходит у меня в глазах

по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте я могу сказать нечто об этом месте по этой причине

I (can) hear a dog. 'Я слышу собаку'.=

нечто происходит у меня в ушах

*по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте я могу сказать нечто об этом месте по этой причине:
в этом месте есть собака.*

Введение компонента *Я могу сказать нечто об этом месте* может быть спорным, поскольку он, по-видимому, исключает галлюцинации, оптические иллюзии и т. п. Например, можно ли из предложения

The patient reached the stage of seeing white mice.

'Пациент дошел до такого состояния, что видел белых мышей'. заключить, что пациент мог сказать нечто об окружающей обстановке на основании того, что происходило в его глазах? Не исключено, что он думал, что может сделать это, но в действительности он, конечно, этого не мог.

Лингвистические аспекты проблемы „ложного восприятия“ обсуждались недавно в статье Кирснер и Томпсон (Kirsner—Thompson, 1976). Они подошли к этой проблеме с точки зрения того, выводится ли из предложений типа

We heard them come up the stairs.

‘Мы слышали, что они поднимаются по лестнице’.

истинность их дополнения. И их ответ состоял в том, что, хотя кажется, что истинность дополнения представляет собой необходимое следствие подобных предложений, в действительности речь идет лишь о высокой степени вероятности этой истинности: соответствующее заключение будет, скорее всего, сделано из прагматических соображений, но оно не выводится из предложения в строгом смысле. Приводимое ими в пользу этого вывода доказательство основано на существовании таких предложений, как:

The delirious patient saw the room spinning around him, but we know it wasn't spinning.

‘Находящийся в бреду пациент видел, как комната кружится вокруг него, но мы знаем, что она не кружилась’.

When the neurologist stimulated that particular area of the brain, Susan saw the light turn red thought it really did not.

‘Когда невролог возбудил эту особую зону мозга, Сьюзен увидела, что свет стал красным, хотя на самом деле он не покраснел’.

Однако аргументация Кирснер и Томпсон не кажется убедительной. Прежде всего, можно было бы сказать, что see ‘видеть’ употреблено в этих предложениях в особом смысле, отличном от обыкновенного, и допустить для этого особого смысла несколько другую семантическую репрезентацию. (Тот факт, что данное значение глагола to see допускает — в отличие от другого значения — употребление в форме прогрессива, дал бы дополнительное свидетельство в пользу этой точки зрения.) Можно было бы также утверждать, что глаголы, связанные с восприятием, используются в подобных предложениях только в кавычках, на самом деле функционируя как сокращения:

the patient saw... ‘пациент видел...’=
пациент думал, что видит...

Хотя Кирснер и Томпсон рассматривают и отвергают эту последнюю возможность, однако причины, по которым они это делают, не ясны.

Возможно, самый сильный аргумент против позиции Кирснер и Томпсон дает наблюдение Гилберта Райла (Ryle, 1959), касающееся очевидной синонимичности таких предложений, как I see ‘Я вижу’ и I can see ‘Я могу видеть’ в английском языке. Нет надобности говорить, что если слова, связанные с восприяти-

ем, анализируются через „воспринимать“, то эта синонимичность остается совершенно непостижимой. Но на основе предложения Кирснер и Томпсон эта непостижимая вещь также не может быть объяснена. С другой стороны, если мы введем в семантическую структуру предложений, связанных с восприятием, компонент *я могу сказать нечто о данном месте по этой причине*, загадка разрешается: в тех предложениях, где *can* появляется в поверхностной структуре, оно, во всяком случае, присутствует и в глубинной структуре. Появляется ли оно в поверхностной структуре или нет, не релевантно с точки зрения значения предложения, поскольку значение определяется глубинной структурой. То, что оно появляется в поверхностной структуре английского языка, есть факт идиосинкратический (так как во многих других языках этого нет), но не загадочный.

Кроме того, отмеченная Райлом синонимия *see* и *can see* не распространяется на *все* предложения, в которых употребляется *see*. Например, *could see* ‘мог видеть’ не может заменить *saw* ‘видел’ в приведенных ранее предложениях Кирснер и Томпсон:

*The delirious patient could see the room spinning around him.
but we know it wasn't spinning.

*When the neurologist stimulated that particular area of the brain, Susan could see the light turn red though it really did not.

Это свидетельствует о том, что в данных предложениях *see* действительно используется в значении, отличном от того, которое оно имеет в предложениях, где оно *может* быть заменено на *can see*⁴.

ВИДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ВИДЕНИЕ ЦВЕТА

Рассмотрим теперь введенное Беркли разграничение между видением материальных объектов, с одной стороны, и видением зрительных образов, цветов и т. п. — с другой.

(1) *Я видел вашу жену.*

Я видел луну.

(2) *Я видел нечто красное.*

Я видел серебряное пятнышко.

Философы пролили множество чернил, обсуждая, возможно ли видеть — «действительно» видеть, «прямо» видеть, «непосредственно» видеть — чью-то жену, луну, и т. п. С семантической точки зрения это псевдопроблема. Важное различие между такими предложениями, как первые два и как следующие два из приведенных выше, состоит в том, что в первых двух говорящий не пытается описать образ жены, что он не пытается сказать, что его глаза говорят ему, тогда как в случае вторых двух он пытается сделать

это. Первые два предложения представляют собой род умозаключения, как утверждал Беркли, но не в том смысле, что говорящий делает выводы из того, что он видел (положение, против которого убедительно возражал Остин), а в том смысле, что он делает выводы из того, что происходит у него в глазах (по причине чего-то, находящегося в его окружении), приблизительно так:

I saw (the moon).

'Я видел (луну)' =

нечто произошло у меня в глазах

*по причине чего-то, что могло быть сказано о некоем месте
я мог сказать нечто по этой причине о чем-то, находящемся
в этом месте*

это что-то — луна

Во втором случае говорящий пытается сообщить о своих зрительных ощущениях, о том, что произошло у него в глазах. Конечно, непросто описать зрительные ощущения на словах. Однако есть ловкий и достаточно эффективный путь для говорящего, желающего сделать по крайней мере попытку: он может обратиться к воображению адресата.

I saw something red.

'Я видел нечто красное' =

нечто произошло у меня в глазах

*по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто об этом месте по этой причине
желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии
вообразить это,*

*я бы сказал: вообрази, что у тебя перед глазами кровь и
что нечто происходит у тебя в глазах по этой причине*

I saw a silvery speck.

'Я видел серебряное пятнышко' =

нечто произошло у меня в глазах

*по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я мог сказать нечто об этом месте по этой причине
желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии
вообразить это,*

*я бы сказал: вообрази, что у тебя перед глазами кусочек
серебра и что нечто происходит у тебя в глазах по этой
причине*

I see a white dot. It is my house.

'Я вижу белую точку. Это мой дом' =

нечто происходит у меня в глазах

*по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о чем-то,
находящемся в этом месте*

это что-то — мой дом

*желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии
вообразить это,*

*я бы сказал: вообрази, что у тебя перед глазами капля
молока и что нечто происходит у тебя в твоих глазах
по этой причине*

Если эти толкования в своей основе правильны, то понятие видения, поскольку оно предусматривает какое-то описание самих зрительных впечатлений, а не только упоминание видимых естественных объектов, основано на понятии воображения⁵. Это положение противоположно едва ли не общепринятому представлению, согласно которому „воображение“ должно толковаться как „видение в уме“ или что-то в этом роде. Однако „видение“ не может быть более простым, чем „воображение“, и включаться в него хотя бы потому, что воображение не всегда предусматривает видимые объекты: можно воображать звуки, запахи, вкус, а также отвлеченные ситуации. С другой стороны, зрительные — и, очевидно, все прочие чувственные впечатления — могут быть переданы другому лицу посредством обращения к воображению этого лица.

I (can) smell the scent of violets.

‘Я чувствую запах фиалок’. =

нечто происходит у меня в носу

*по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте
я могу сказать нечто об этом месте по этой причине*

*желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии
вообразить это,*

*я бы сказал: вообрази, что ты где-то, где есть фиалки, и что
нечто происходит у тебя в носу по этой причине.*

I (can) hear a rustling noise.

‘Я слышу шелест’. =

нечто происходит у меня в ушах

*по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте,
я могу сказать нечто об этом месте по этой причине*

*желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии
вообразить это,*

*я бы сказал: вообрази, что ты находишься где-то, где при-
ходят в соприкосновение сухие листья, и что нечто про-
исходит у тебя в ушах по этой причине*

(Я не разделяю мнения Адриенны Лерер о том, что значение слов, связанных со звуками, можно адекватно отразить через такие акустические категории, как громкость, высота, длительность, и такие качественные характеристики, как „резонирующий“, „резкий“, „звучный“, „повторяющийся“ (см. Lehgger, 1974: 35—41). Кроме

того, если бы это и было возможно, сопоставление общепонятных слов, указывающих на звуки, с такими сложными специальными терминами едва ли может рассматриваться как семантический анализ естественного языка. По моему мнению, семантическая структура большинства слов, обозначающих звуки, основана на некотором указании на типичную ситуацию. В случае шелеста эта типичная ситуация, по-видимому, включает движение и соприкосновение сухих листьев.)

Таким образом, представляется, что, пытаясь передать содержание чувственных данных, говорящий бывает вынужден обращаться к воображению адресата. Но он также может указать на чувственные данные, не пытаясь передать их содержание, а лишь формулируя выводы, которые он делает на их основе.

I (can) see the sky.

'Я вижу небо'. =

*нечто происходит у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о чем-то,
находящемся в этом месте
это что-то есть небо*

I (can) see my wife.

'Я вижу мою жену'. =

*нечто происходит у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о ком-то,
находящемся сейчас в этом месте
этот кто-то — моя жена*

I (can) see a dog.

'Я вижу собаку'. =

*нечто происходит у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о чем-то,
находящемся сейчас в этом месте
вот одна вещь, я могу сказать об этом что-то: это собака*

I saw (could see) your wife (but I didn't recognize her).

'Я видел твою жену (но не узнал ее)'. =

*нечто случилось у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о ком-то,
находившемся тогда в этом месте
этот кто-то была твоя жена*

I saw (could see) a dog.

‘Я видел собаку’. =

*нечто случилось у меня в глазах
по причине чего-то, что могло быть сказано о некоем месте
Я мог сказать нечто по этой причине о чем-то,
находящемся в этом месте
вот одна вещь, которую я мог сказать об этом чем-то:
это собака.*

В предложениях с определенным объектом (*Я видел твою жену*) говорящий утверждает, что он получил доступ к информации относительно объекта вследствие данных, полученных его глазами, но он ничего не говорит о выводах, фактически сделанных им в это время на основании этих данных: определенное описание объекта представлено не как основанное на этих выводах; поэтому он волен продолжать: *но я не узнал (ее)*. В случае предложений с неопределенным объектом (*Я видел собаку*) говорящий снова утверждает, что он получил доступ к некоторой информации относительно объекта на основе данных, полученных его глазами, но он приводит также одно заключение, сделанное им на основании этих данных, используя его в своей (неопределенной) дескрипции этого объекта.

Если видимый объект представляет собой ситуацию, говорящему открыты две возможности:

I saw them blow up the bridge.

‘Я видел, что они взорвали мост’. =

*нечто случилось у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:
они взорвали мост (там).*

I saw them blowing up the bridge.

‘Я видел, как они взрывали мост’* =

*нечто случилось у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о чем-то,
что было тогда в этом месте
это что-то были они
я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:
они взрывали там мост.*

* Более точным эквивалентом английского предложения было бы: ‘Я видел их, взрывающих мост’. (или: ‘Я видел их взрывающими мост’). Хотя такой перевод недостаточно идиоматичен, он в большей степени соответствует предлагаемому автором толкованию (см. ниже). — *Прим. перев.*

Кирснер и Томпсон доказывают, что субъект комплемента* при сенсорном глаголе представляет собой грамматический прямой объект сенсорного глагола в случае предложений с формами прогрессива (типа I saw them blowing up the bridge), но не в случае предложений с простыми формами (типа I saw them blow up the bridge). Приводимые ими в поддержку этого утверждения данные убеждают. (См. Kirsner and Thompson, 1976:211.) Предложенные выше толкования отражают рассматриваемое различие. Однако я думаю, что следует добавить одно уточнение к выводу Кирснер и Томпсон: «есть ситуации и события, которые могут и должны восприниматься „глобально“, без того, чтобы воспринимался и индивидуальный референт субъекта комплемента».

Мне кажется, что мы не можем «видеть событие глобально», не видя кого-либо из его участников, если мы не видим по крайней мере место, где происходит это событие. Грубо говоря, мы не видим бесплотные события, мы всегда видим людей, вещи или по крайней мере места. Видимое событие представлено в глубинной структуре в качестве предиката, приписанного некоторому месту. По этой причине элемент *там* кажется мне необходимой частью глубинной структуры всех таких предложений, как:

I saw them blow up the bridge.

We saw the invisible nerve gas kill all the sheep.

‘Мы видели, что невидимый нервный газ убил всех овец’.

I have seen faith accomplish miracles.

‘Я увидел, что вера творит чудеса’.

Это последнее предложение не является исключением или контр-примером. Я бы реконструировала его глубинную структуру по следующему типу (не учитывая вид, который здесь не релевантен; для простоты я использую простое прошедшее вместо present perfect):

I saw faith accomplish a miracle.

‘Я видел, что вера сотворила чудо’. =

нечто произошло у меня в глазах

*по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:*

вера сотворила там чудо.

Кроме того, я думаю, что неблагоприятно говорить о „сенсорных глаголах“ и их „дополнениях“ в общих чертах. Предположение о том, что все „сенсорные глаголы“ ведут себя семантически

* „Комплементом“ (complement) здесь называется все выражение справа от глагола saw (соответствующее „придаточному предложению“ русского перевода), то есть, в иной терминологии, „пропозициональный объект“ сенсорного глагола. Мы не переводим англ. complement как ‘дополнение’ во избежание смещения с „термовым“ объектом (в данном случае — them), то есть — „прямым дополнением“ в русской терминологической традиции. — *Прим. перев.*

одинаковым образом, необоснованно и, я думаю, в действительности ошибочно. В частности, „видение“ отличается, по-видимому, в некоторых отношениях от других видов восприятия. Такие пары предложений, как:

I (can) see a dog. 'Я вижу собаку'.
I (can) hear a dog. 'Я слышу собаку',

только поверхностно сходны, как показывают следующие толкования:

I (can) see a dog (piano — car — saw — child).

'Я вижу собаку (фортепьяно — повозку — пилу — ребенка)' =
*нечто происходит у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать нечто по этой причине о чем-то, находящемся
в этом месте.*

*Одно, что я могу сказать об этом чем-то по этой
причине, — это: это собака (фортепьяно —
повозка — пила — ребенок).*

I (can) hear a dog (piano — car — saw — child).

'Я слышу собаку (фортепьяно — повозку — пилу — ребенка)' =
*нечто происходит у меня в ушах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:
в этом месте есть собака (фортепьяно — повозка —
пила — ребенок), о которой можно сказать что-то, по причине
чего нечто может происходить в ушах у кого-то, находящегося
в этом месте.*

Эти толкования предназначены для того, чтобы указать что с интуитивной точки зрения мы слышим не объекты, а звуки (шумы), тогда как, с другой стороны, мы „видим“ объекты, а не только цвета. Здесь не важно, оправданно ли это разграничение с логической точки зрения, так как мы говорим об интуиции рядовых носителей повседневного языка, отраженной в естественных языках⁶.

I (can) hear someone playing the piano.

'Я слышу, как кто-то играет на фортепьяно' =
*нечто происходит у меня в ушах
по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте
я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:
кто-то играет на фортепьяно в этом месте.*

I (can) feel sand under my hand.

'Я ощущаю песок под рукой' =
нечто происходит у меня в руке

по причине того, что моя рука касается чего-то (что находится в этом месте)

*я могу сказать вот что об этом месте по этой причине:
под моей рукой есть песок.*

I (can) taste honey (in my mouth).

'Я ощущаю вкус меда (во рту)' =

нечто происходит у меня во рту

по причине чего-то, что может быть сказано о чем-то, находящемся там

я могу сказать вот что об этом месте (у меня во рту) по этой причине:

там есть мед.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Многие философы доказывали, что Беркли ошибался, полагая, что «все остальное в описании того, что мы видим, все, кроме расположения цветных пятен в зрительном поле, представляет собой умозаключение и [логическое] построение» (Anscombe, 1965: 175). Анскомб возражает (с. 175—176): «Это неприемлемо. Существуют впечатления, например относительно расстояния и размера, независимые от предположений о том, что представляет собой тот или иной предмет... Описания зрительных впечатлений могут быть очень богаты и разнообразны. Могут быть впечатления, касающиеся глубины, расстояния, относительного положения, размера; типа предметов и типа вещества, его строения и даже температуры; выражения лица, чувств, настроения, мыслей и характера».

Я полагаю, было бы легко поместить наблюдения Анскомб в пределы, по существу, берклианского представления о семантике восприятия. Возьмем один из ее собственных примеров. Анскомб говорит, что, если кто-то внезапно видит черную поверхность спичечной коробки в нескольких дюймах от своих глаз, он с успехом может описать свои впечатления, сказав: «Я вижу нечто черное и прямоугольное, находящееся в нескольких футах от меня и на высоте в несколько футов». Мне кажется, что тот, кто не хотел бы брать на себя ответственность за правильность описания, скорее сказал бы: «Я вижу нечто, выглядящее как если бы оно было в нескольких футах от меня и на высоте в несколько футов». Но это несущественно. Даже допустив, что предложение Анскомб могло бы быть употреблено так, как она предлагает, можно было сформулировать его значение следующим образом:

Я вижу нечто (черное) в нескольких футах от себя, на высоте в несколько футов. =

нечто происходит у меня в глазах по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте я могу сказать нечто по этой причине о чем-то, находящемся в этом месте

желая сказать нечто об этом чем-то по этой причине, я бы сказал:

это находится в нескольких футах от меня, на высоте нескольких футов.

Различие между выражениями „черное“ и „на высоте в несколько футов“ продолжало бы существовать: слово „черное“ могло бы быть представлено как попытка описать содержание зрительного впечатления говорящего путем обращения к воображению слушающего; выражение „на высоте в несколько футов“ могло бы быть представлено только как изложение того, что говорящий сказал бы вследствие своего зрительного впечатления, а не того, что происходит в его глазах. Анскомб, несомненно, права в том, что проводит разграничение между суждением говорящего, основанным на зрительных впечатлениях, и самими этими впечатлениями. Но можно было бы сказать, что один из способов описания зрительного впечатления состоит в том, чтобы показать, какое суждение могло бы быть сделано на основании этого впечатления, если бы нужно было составить суждение только исходя из этого. А это не то же, что пытаться описать зрительное впечатление непосредственно, как, очевидно, можно сделать в случае цветов.

Однако мы должны рассмотреть следующую возможность. Нельзя ли в виде гипотетических заключений описать также цвета? А если можно, следует ли их так описывать? Мы бы смогли тогда устранить весь анализ через предполагаемое обращение к воображению слушающего и распространить на все сообщения о чувственных данных одно общее правило. Изучим эту возможность.

I see a red spot (there).

‘Я вижу (там) красное пятно’. = (?)

нечто происходит у меня в глазах по причине чего-то, что может быть сказано о некоем месте

желая сказать нечто об этом месте по этой причине,

я бы сказал: там пятно крови.

Этот анализ может показаться не хуже, чем анализ через обращение к воображению адресата, и поэтому выбор между тем и другим может казаться произвольным.

В случае звуков, вкуса и запахов положение оказывается еще более трудным. Вполне можно было бы задаться вопросом, говорим ли мы вообще о том, что мы воспринимаем обонянием или ощущаем на вкус или каким-либо иным образом, нежели на языке гипотетических заключений?

I have the taste of pineapple in my mouth.

‘У меня во рту вкус ананаса’.

Не означает ли это, что если бы я должен был судить только на основании того, что я ощущаю на вкус, я бы сказал, что у меня во рту кусок ананаса?

С другой стороны, рассмотрим следующее предложение:

I have the taste of heaven in my mouth.

‘У меня во рту вкус небес’.

Конечно, это не означает, что, только основываясь на своем вкусовом впечатлении, я сказал бы, что у меня во рту небеса; это, скорее, означает: если ты хочешь получить представление о вкусе, который я ощущаю, вообрази, что у тебя во рту небеса.

Этот пример искусствен, но он, по-видимому, несколько проясняет дело: гипотетические умозаключения должны быть правдоподобными, рациональными, разумными; воображать можно что-то дикое и неразумное. Предположим, у вас во рту что-то, чего вы не видите и вкус чего вы ощущаете как вкус ананаса; предположим далее, что вам нужно создать гипотезу относительно того, что помещено в ваш рот, исходя из этого ощущения. Более чем вероятно, что вы бы предположили, что предмет, находящийся у вас во рту, *есть* кусок ананаса, и это, по-видимому, разумная гипотеза.

С другой стороны, допустим, что вы внезапно видите у себя перед глазами красное пятно. Предположили ли бы вы, что этот объект представляет собой пятно крови? Вы могли бы предположить это, но я сомневаюсь, чтобы вы это сделали, и предположение о том, что это *есть* кровь, не кажется особенно разумным. Это могла бы быть кровь, но это могло бы быть и все, что угодно.

Если нужно передать силу своего зрительного впечатления кому-то еще, ссылка на каплю крови может быть самой эффективной. Но, по-видимому, эта ссылка принимает форму не гипотетического заключения, а, скорее, приглашения проявить воображение:

если ты хочешь получить представление о том, что происходит у меня в глазах...

вообрази, что у тебя перед глазами немного крови и что нечто происходит у тебя в глазах по этой причине.

ВНЕШНИЙ ВИД, СРАВНЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Различие между внешним видом и цветом тесно связано с рядом других интересных различий, в частности с различиями, иллюстрируемыми следующими предложениями:

He looks like a gentleman. 'Он выглядит, как джентльмен'.

He looks a gentleman. 'Он выглядит джентльменом'.

He is a gentleman. 'Он джентльмен'.

It is red. 'Оно красное'.

It looks red. 'Оно выглядит красным'.

По-видимому, все такие различия можно естественным образом отразить в рамках предлагаемых здесь представлений. Начнем с того, что рассмотрим различие между первыми двумя из вышеприведенных предложений. В первом предложении говорящий хочет описать внешний вид, и он делает это посредством гипотетического суждения, высказываемого кем-то, кто видит рассматриваемый объект, почти не опознавая его. Ограничение „почти“ в последнем предложении может показаться избыточным. Чтобы видеть, что в действительности оно не избыточно, сравним следующие предложения:

He looks like a gentleman.

'Он выглядит, как джентльмен'.

He looks like a woman.

'Он выглядит, как женщина'.

He looks like a spider.

'Он выглядит, как паук'.

He looks like a stick.

'Он выглядит, как палка'.

Гипотетические суждения неосведомленного наблюдателя различаются допущениями относительно субъекта:

этот человек мог бы быть джентльменом

это лицо (это некто) могло бы быть женщиной

это могло бы быть пауком (палкой).

Подобным же образом рассмотрим следующие пары предложений, (правильно, я думаю) противопоставляемых Остином (A u s t i n, 1962 : 40—41):

They look like ants.

'Они выглядят, как муравьи'.

They look like Europeans.

'Они выглядят, как европейцы'.

That cloud looks like a horse.

'Это облако выглядит, как лошадь'.

That animal looks like a horse.

'Это животное выглядит, как лошадь'.

Я бы считала, что гипотетические суждения, содержащиеся в глубинной структуре этих предложений, представляют собой, соответственно:

Those things could be ants. 'Это могли бы быть муравьи'.

They could be Europeans. 'Они могли бы быть европейцами'.

That thing could be a horse. 'Это могла бы быть лошадь'.

That animal could be a horse. 'Это животное могло бы быть лошадью'.

Но это различие в допущениях относительно неизвестного видимого объекта, я полагаю, является единственным различием между разными предложениями вида „X выглядит, как Y“. В остальном они разделяют одну и ту же глубинную структуру:

X выглядит, как Y. =

=желая сказать нечто об X по причине того, что происходит у кого-то в глазах, когда нечто происходит в них по причине чего-то, что может быть сказано об X, сказали бы: это мог бы быть Y.

Теперь разберем различие между предложениями рассмотренного выше вида и предложениями вида „X выглядит Y-м“, например:

He looks a gentleman. 'Он выглядит джентльменом'.

She looks a Gypsy. 'Она выглядит цыганкой'.

It looks bent. 'Это выглядит изогнутым'.

Если в этих предложениях есть гипотетическое суждение, допущения относительно субъекта не могут быть различными от случая к случаю, как показывают следующие неправильности:

*He looks a woman. 'Он выглядит женщиной'.

*She looks a spider. 'Она выглядит пауком'.

*He looks a stick. 'Он выглядит палкой'.

По-видимому, связь между описательным и выводимым компонентами здесь противоположна той, которая была в предыдущем случае. Там гипотетическое суждение использовалось как средство описания внешнего вида. Здесь, наоборот, внешний вид используется как исходный пункт для гипотетического суждения. Приблизительно так:

X выглядит, как Y =

*желая дать тебе представление о виде X-а,
я бы сказал: он мог бы быть Y-м*

X выглядит Y-м =

*судя по виду X-а,
я бы сказал: он есть Y.*

Более точно:

This stick looks bent. 'Эта палка выглядит изогнутой'.

(This man looks a gentleman) =

*желая сказать нечто об этой палке (человеке)
по причине того, что происходит у меня в глазах:
по причине чего-то, что может быть сказано об этой палке
(человеке),
я бы сказал: она изогнута (он джентльмен).*

Обе эти конструкции („X выглядит, как Y“ и „X выглядит Y-м“) имеют отношение к тому, что было названо „epistemic appearance“ [‘умопостигаемое явление’] (в отличие от „optical appearance“) [‘непосредственно наблюдаемое явление’] (Vesey, 1971, p. 19).

«Умопостигаемое явление может быть идентифицировано посредством указания на то, каково было бы суждение („предполагаемое суждение“) о мире, если делать суждение, исходя из того, как вещи тебе представляются, и если не иметь оснований судить о вещах иначе, нежели так, как они представляются.»

Но ссылка на предполагаемое суждение строится в каждой конструкции различным образом.

В случае цветов (и других „sensibilia“) различие между „быть“ и „выглядеть“ („X красный“ — „X выглядит красным“) может показаться весьма незначительным, особенно философу; однако, с точки зрения неиспорченного семантического чутья обычного носителя языка, по-видимому, справедлива пропорция:

$$\frac{\text{This stick looks bent.}}{\text{This stick is bent.}} = \frac{\text{This stick looks red.}}{\text{This stick is red.}}$$
$$\frac{\text{‘Эта палка выглядит изогнутой’}}{\text{‘Эта палка изогнута’}} = \frac{\text{‘Эта палка выглядит красной’}}{\text{‘Эта палка красная’}}$$

Конечно, между ‘быть изогнутой’ и ‘быть красным’ есть различие, которое связывает „красное“ с „выглядеть“: и „красное“ и „выглядеть“ имеют отношение к видению, тогда как „изогнутое“ не имеет к нему отношения. Тем не менее связь между „выглядеть изогнутым“ и „быть изогнутым“ интуитивно ощущается как та же самая, что и между „выглядеть красным“ и „быть красным“.

*X выглядит красным. =
желая сказать нечто об X
по причине того, что происходит у меня в глазах
по причине чего-то, что может быть сказано об X,
я бы сказал: он красный.*

*X красный. =
желая быть причиной того, чтобы ты был в состоянии
вообразить, что происходит в наших глазах
по причине чего-то, что может быть сказано
об X,
я бы сказал:
вообрази, что у тебя перед глазами кровь и что
нечто происходит у тебя в глазах по этой причине.*

Конечно, конструкция „X выглядит Y-ом“ связана с „выглядит так, как будто X есть Y“ и вообще с „выглядит так, как будто p“.

Предложение

It looks as if he is a gentleman. ['Похоже, что он джентльмен', букв.: 'Выглядит так, как будто он джентльмен'] передает то же гипотетическое суждение, что и предложение

He looks a gentleman.,

хотя оно может быть основано на иных признаках, нежели на данных глаз:

судя по тому, что можно наблюдать.

Другими словами:

желая сказать нечто

по причине того, что можно наблюдать.

Другое различие заключается в отождествлении наблюдаемого объекта, лежащего в основе гипотетического суждения: в одном случае это субъект суждения (лицо, о котором идет речь), в другом — нечто неопределенное.

He looks a gentleman.=

желая сказать о нем нечто

по причине того, что происходит в глазах,

по причине чего-то, что может быть сказано о нем,

сказали бы: он джентльмен.

It looks as if he is a gentleman.=

желая сказать о нем нечто

по причине того, что можно наблюдать,

сказали бы: он джентльмен.

Наконец, предложения типа it looks as if [~ 'похоже, что', букв. 'выглядит так, как будто'] весьма интересным образом связаны с такими предложениями, как:

I see that he is a gentleman.

'Вижу, что он джентльмен'.

(I see that you are going to have a garden-party.

'Я вижу, вы собираетесь устроить прием в саду'.),

которые с первого взгляда могут показаться предложениями, описывающими то, что кто-то видит. Однако в действительности предложение вида

I see that... 'Вижу, что...'

фактически никогда не может быть уместным ответом на вопрос

What can you see? 'Что вы видите?'

Подлинные сообщения о том, что кто-то видит, представляют собой репортажи, сообщения какой-то информации, то есть их можно рассматривать как вставленные в такие структуры, как:

я информирую тебя, что я вижу (собаку)

*(желая быть причиной того, чтобы ты знал это,
я говорю: я вижу собаку).*

Предложения вида „*вижу, что...*“ являются не сообщениями, а совершенно иными речевыми актами. Ввиду отсутствия принятого названия, мы назовем их, скажем, „эвиденциальными [очевидностными] заключениями“. Так как в английском языке нет „перформативного“ глагола, который бы соответствовал данной иллюкативной функции, мы должны представить его через его компоненты:

I see that he is a gentleman.

(I see that you are going to have a garden-party.) =

желая сказать нечто

по причине того, что мои глаза сообщают мне (или: по причине того, что я наблюдаю),

я говорю: он джентльмен

(вы собираетесь устроить прием в саду).

Не „я бы сказал“, а „я говорю“. Очевидно, говорящий может доверять свидетельству своих глаз так, чтобы быть готовым действительно взять на себя ответственность за то, что он говорит, только на основании этого. Это „я вижу, что“ отличается от „выглядит так, как будто“:

I see that p. ‘Я вижу, что p.’ =

*желая сказать нечто по причине того, что мои
глаза сообщают мне,*

я говорю: p.

It looks as if p. ‘Выглядит так, как будто p.’ =

*желая сказать нечто по причине того, что мои
глаза сообщают мне,*

я бы сказал: p.

Интересно, что личной ответственности говорящий, по-видимому, не несет в случае аналогичных предложений, основанных на данных ушей:

I hear that John is leaving.

‘Я слышу, что Джон уезжает’.

It sounds as if John is leaving.

‘Звучит так, как будто (похоже, что) Джон уезжает’.

Заметим, между прочим, что в паре „я слышу“ — „звучит“ первый член должен относиться к идее молвы, тогда как второй не ограничен подобным образом:

I hear that John is leaving.

I hear people say that John is leaving. =

желая сказать нечто по причине того, что я слышу,

*что говорят люди (то есть по причине того,
что мои уши сообщают мне по причине того,
что говорят люди),
я бы сказал: Джон уезжает.*

It sounds as if John is leaving. =

*желая сказать нечто по причине того, что сообщают уши,
сказали бы: Джон уезжает.*

В случае третьей подобной пары „я чувствую, что“ — „чувствует-ся, что“ ответственность говорящего менее ясна:

I feel that he doesn't really love me.

‘Я чувствую, что он меня на самом деле не любит’.

Таким образом, менее ясно, какая из двух мыслимых семантических репрезентаций более адекватна:

*желая сказать нечто по причине того, что я ощущаю,
я говорю: он меня на самом деле не любит*

или:

*желая сказать нечто по причине того, что я ощущаю,
я бы сказал: он меня на самом деле не любит.*

Очевидно, что „feel“ (‘чувствую, ощущаю’), фигурирующее в предложениях этого типа, строго говоря, не то перцептуальное „feel“, которое было истолковано ранее, а более абстрактное „feel“, интерпретированное Гивоном как ‘ослабленное думать’ и в обиходе называемое „шестым чувством“. Но „шестое чувство“ общераспространенного мнения не может не быть связано с обычными пятью чувствами. Другими словами, следует отразить семантическую интуицию, которая у рядовых носителей языка выражается в том, что они называют ‘ослабленное думать’ „шестым чувством“.

Попытки установить значение конструкции „я чувствую, что“ обычно в конечном счете сводятся к весьма туманным метафорам. „Ослабленное думать“ Гивона представляет собой хороший пример этого. Еще более ярким примером такого рода является рассмотрение этой проблемы Гилбертом Райлом (Ryle, 1959: 59): «Если кто-то *думает*, что нечто имеет место, а это не так, то он ошибается. Но если он только *чувствует*, что нечто имеет место, а это не так, то, хотя его и привлекает ошибочная мысль, но он не поддается ей. Он склонен придерживаться определенной точки зрения, но он еще не поддался искушению. Его разум еще не закрыт; он еще открыт».

Казалось бы — исходя из этих метафор, — что Райл голосует за формулу типа „я бы сказал“ и против формулы типа „я говорю“. Но Райл сам впадает в замешательство и допускает, что различие между „чувствовать“ и „думать“ становится неясным (с. 60):

«Грани различия между „чувствовать, что“ и „думать, что“ не являются жесткими. Чувствовать, что нечто имеет место, незаметно переходит в думать, что это имеет место; и мы часто используем „чувствовать, что“ вместо „думать“ как вид вежливого лицемерия». То, что говорит Райл, несомненно, верно с психологической точки зрения, но с семантической точки зрения важно сохранить это разграничение.

Очевидно, следует попытаться вывести особый полуассертивный характер компонента „я чувствую, что“ из значения самого „чувствовать, ощущать“.

Я склонна думать, что хотя „чувствовать“ и имеет ряд различных значений, но существует один компонент, общий для всех этих значений, и именно этот один общий компонент отличает „ощущение“ от разнообразных понятий, с которыми оно связано (вроде видения, слышания и т. п., с одной стороны, и мышления — с другой). Этот общий компонент —

нечто во мне (нечто в моем теле) сообщает мне...

Соответственно я бы предложила следующий анализ предложений с „я чувствую, что“:

I feel that he doesn't really love me.

= нечто во мне сообщает мне, что он меня на самом деле не любит

= желая сказать нечто по причине того, что происходит во мне (когда я думаю о нем), я говорю: он меня на самом деле не любит.

Позитивисту данные, формулируемые в предложении такого рода, могут показаться довольно неубедительными. Тем не менее говорящий, по-видимому, трактует эти данные достаточно серьезно, чтобы быть готовым, исходя из них, составить суждение. Принимает ли он на самом деле суждение? Сравнение таких предложений, как:

I feel guilty. 'Я чувствую себя виноватым'.

I feel that I am guilty. 'Я чувствую, что я виноват',.

подтверждает это. В первом предложении говорится следующее:

желая сказать нечто

по причине того, что происходит во мне, когда я думаю об этом,

я бы сказал: я виноват.

Во втором предложении говорится о большем:

желая сказать нечто

по причине того, что происходит во мне, когда я думаю об этом,

я говорю: я виноват.

„Вежливый“ характер некоторых предложений с „я чувствую, что“, отмечаемый Райлом, вероятно, обусловлен тем, что, ссылаясь на свое „шестое чувство“ как на основание того, что он говорит, говорящий в известном смысле отказывается от какой бы то ни было ответственности за сказанное. Позднее я докажу, что этот отказ от ответственности гораздо более эксплицитен, нежели предполагают приведенные выше приблизительные толкования.

Различие между такими предложениями, как:

I feel that you are hostile.

‘Я чувствую, что ты настроен враждебно’,

и такими, как:

I feel your hostility.

‘Я чувствую твою враждебность’,

отмеченное у Кенни (Кенни, 1966), происходит, я думаю, из существенного различия в соответствующих глубинных структурах⁷:

I feel that you are hostile.=

желая сказать нечто

по причине того, что происходит во мне (когда я думаю об этом),

я говорю: ты настроен враждебно

I feel your hostility.=

желая быть причиной того, чтобы ты знал это,

я говорю: я могу сообщить, что ты настроен враждебно

по причине того, что происходит во мне (когда я общаюсь с тобой).

Реальность компонента „нечто происходит во мне“ подтверждается существованием таких идиом, как „I feel in my bones that...“ (‘Я совершенно уверен’, букв. ‘Я чувствую в своих костях, что...’), „I feel in my heart of hearts that...“ (‘Я чувствую в глубине сердца, что...’), „I have a gut feeling that...“ (‘У меня внутреннее чувство, что...’). По словам Райла (с. 69), «эти идиомы наводят на мысль, что, когда мы говорим о том, что чувствуется, что нечто имеет место, на нас иногда влияет перцептуальное использование „feel“». Это вызвано, полагает Райл, рядом аналогий между „чувствовать, что“ и физическими ощущениями.

Мне бы хотелось высказать предположение, что эти идиомы отражают более чем аналогию, а именно — общий понятийный компонент.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

¹ Мой анализ „видеть“ посредством „глаз“, „слышать“ посредством „ушей“ и т. д. вызывает одну трудность: можно сказать о маленьком насекомом, что оно слышало шум, без того, чтобы подразумевать, что у этого насекомого есть уши; кроме того, о людях можно сказать, что они слышат не только ушами, но

также и головой (при помощи костей головы). Вероятно, подобным образом можно расширить значение и других глаголов восприятия. (Может ли безглазое чудовище что-то видеть? Может быть, да? Например, порами кожи?) Однако на самом деле это, по-видимому, не составляет серьезной трудности. Сказать, что безглазое чудовище может видеть (или безухое насекомое — слышать), может означать только, что оно может испытывать ощущения того же рода, что и ощущения, которыми люди обязаны своим глазам (или ушам). Это означает, что для такого использования глаголов восприятия следует постулировать второе значение. Но допущение такого второго значения не равносильно открытию двери безграничной (незаконной) полисемии. В случае названий частей тела также необходимо постулировать два значения (напр., голова₁ = часть человеческого тела, находящаяся выше всех прочих частей; голова₂ = часть тела живого существа, являющаяся в теле этого живого существа тем же, чем голова является в теле человека: рассмотрение этого см. в гл. 3). Но это не означает, что следует постулировать разные значения для всякого типа голов или для всякого типа видения. Все, что требуется, — это именно два толкования для каждой части тела или для каждого слова, указывающего на восприятие, чтобы одно относилось к людям, а другое исходило из сравнения с тем, что относится к людям. Семантическая двойственность слов, относящихся к телу, отражает общую антропоцентрическую ориентацию естественного языка, представляющую собой один из самых его характерных признаков (см. Viso, 1944; Baudouin de Courtenay, 1929).

² Однако в другом случае он делает попытку проанализировать это понятие: «Мы воспринимаем, то есть мы ощущаем (?) с достоверностью» (Guia, 1948: 544).

³ Сообщают ли слышащему человеку его уши что-то о мире или об окружающей его обстановке (о месте, где он находится)? В течение многих лет я утверждала, что *место* означает просто 'часть мира'. (Wierzbicka, 1972; та же точка зрения выражается в работе Kay — Samuels, 1975). По этой причине в моем рассмотрении слов, указывающих на восприятие, я могла свободно переплетать ссылки на „часть мира“ со ссылками на „место“. К сожалению, теперь я усомнилась в обоснованности этого толкования и начинаю подозревать, что „место“ (или „находиться в некоем месте“) может оказаться еще одним элементарным смыслом. Вероятно, некоторые пассажи в настоящей главе выдают имеющиеся у меня сомнения относительно статуса понятий „мир“ и „место“.

⁴ Я никоим образом не считаю предложенные в этой главе толкования понятий, относящихся к восприятию, полностью удовлетворительными, хотя мне кажется, что они представляют собой шаг в правильном направлении. Один из главных недостатков всех толкований, предложенных в этой главе, состоит в их очевидной неспособности отразить однозначным образом непосредственную связь между физиологическим событием и его результатом — знанием. Все разнообразные компоненты, которые я постулировала, кажутся мне обоснованными, но их, по-видимому, недостаточно. Чего-то в моих толкованиях недостает — они являются слишком общими для того, чтобы исключить все иное, чем то, что они предназначены отразить. Рассмотрим, например, толкование обоняния:

I can smell violets here.

'Я чувствую здесь запах фиалок'. =

*вследствие чего-то, что может быть сказано об этом месте,
нечто происходит у меня в носу,
я могу сказать нечто об этом месте вследствие этого:
(здесь есть фиалки).*

Все это кажется мне справедливым, и, однако, это, по-видимому, не определяет обоняние однозначным образом. Например, если у меня аллергия к фиалкам, и только к фиалкам, и если я знаю, что фиалки, и только фиалки, вызы-

вают у меня в носу раздражение и желание чихнуть, то определенные события у меня в носу могут информировать меня относительно наличия фиалок вокруг меня. Но это не значит, что я *ощущала запах фиалок!* Однако мое толкование обоняния, по-видимому, наводит на эту мысль!

Или возьмем другой пример. Для врача определенные явления у него в носу, (вызываемые какими-то особенностями окружающей обстановки), могут быть симптомами опознаваемой болезни. Так, доктор может узнать, что у него именно эта болезнь, заметив, каким образом его нос реагирует на наличие каких-то веществ вокруг него. С другой стороны, какое отношение это имеет к обонянию? И тем не менее мое толкование обоняния, кажется, подходит также и для этого случая.

Основное различие между обонянием и теми другими видами знания, получаемого с помощью носа, заключается, вероятно, в отсутствии или наличии процесса умозаключения. Если мое знание о наличии фиалок рядом со мной обусловлено некоторой аллергической реакцией, то это знание *выводится* из наблюдаемых явлений в моем носу. Если, однако, я *ощущаю запах* фиалок, то мое знание о наличии фиалок *не выводится* из того, что происходит у меня в носу — качество явления, имеющего место у меня в носу (то есть ощущения), непосредственно сообщает мне, что вокруг есть фиалки. Но как отразить то, что это происходит непосредственно в эксплицитной семантической репрезентации? (Если, конечно, мы не отразим ее посредством каких-то „абстрактных признаков“, репрезентируемых заглавными буквами — скажем, „D“ или „+D“.)

В течение многих лет я считала, что у меня есть ответ на этот вопрос. Ответ заключался в том, что идея о том, что органы чувств посылают нам «сообщения» об окружающем, понималась буквально. Я думала, что если я *ощущаю запах* фиалок, то явление у меня в носу, информирующее меня о наличии фиалок, может быть обозначено единственным образом: мой нос (или что-то у меня в носу) *говорит* нечто, что является причиной моего знания о том, что вокруг фиалки. Это направление анализа понятий, относящихся к восприятию, отличает их от понятий всех других видов и не подвержено возражениям, которым подвержен анализ, принятый мною в настоящее время. Толкования понятий, относящихся к восприятию, основанные на «говорении», конечно, не были слишком широкими, и казалось, что они определяют эти понятия однозначно и адекватно.

К сожалению, будучи, как мне представлялось, точными и эмпирически адекватными, эти толкования оказались настолько шокирующими и настолько решительно неприемлемыми для всех слушателей и читателей, которым они предьявлялись, что, наконец, я утратила веру в них и почувствовала себя вынужденной отказаться от них и искать какие-то другие решения. То, что я говорю теперь (в данной главе), не является шокирующим, но этого, понятно, недостаточно. Вероятно, это могло бы быть сделано адекватным способом посредством добавления каких-то компонентов, которые бы ограничили формулы, являющиеся — в настоящем виде — слишком общими, чтобы быть эмпирически адекватными.

Не имея возможности подробно заниматься здесь этой проблемой, я бы хотела кратко указать на одну или две (напрашивающиеся, как кажется) возможности такого ограничения. Первая возможность такова. Когда я чувствую запах фиалок, у меня в носу происходит нечто, о чем у меня есть личное и неотчуждаемое знание. Кто же еще может знать, что именно я испытываю? У аллергии есть внешне наблюдаемые симптомы, но у ощущения запаха их нет. Это наводит на мысль о следующем направлении анализа:

I can smell violets here.

'Я чувствую здесь запах фиалок'.=

по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте, нечто происходит у меня в носу никто, кроме меня, не может знать, что это я могу сказать нечто об этом месте по этой причине

(здесь есть фиалки).

Однако я вынуждена отвергнуть анализ такого рода, хотя бы потому, что он не может быть согласован с верой в то, что бог знает все (а предложение *Я чувствую здесь запах фиалок*, конечно, может вполне быть употреблено равным образом как неверующим, так и верующим человеком).

Другая возможность, которая напрашивается сама собой, заключается в эксплицитном отрицании того, что необходим какой-либо процесс умозаключения от физиологического явления к получаемому знанию:

I can smell violets here.

'Я чувствую здесь запах фиалок'.=

по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте,

нечто происходит у меня в носу

я могу сказать нечто об этом месте по этой причине

не по той причине, что кто-то что-то сказал

не по той причине, что я что-то сказал (себе)

(здесь есть фиалки).

Мне кажется, что эта формула исключает все, кроме обоняния. В известном отношении она без хлопот достигает того же результата, которого мои предыдущие формулы (в которых носы, уши и т. п. могли что-то «говорить») достигали необычным образом: если я знаю нечто не по той причине, что кто-либо еще сказал что-либо, и не по той причине, что я сказал себе что-либо, то откуда я знаю это? Кто мне это сказал? По-видимому, мои ощущения.

Еще одна напрашивающаяся возможность заключается в том, чтобы утверждать (в самом толковании), что то, что происходит в органах чувств, является единственным источником последующего знания:

I can smell violets here.

'Я чувствую здесь запах фиалок'.=

по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте,

нечто происходит у меня в носу

я могу сказать нечто об этом месте только по этой причине

(здесь есть фиалки).

В настоящее время я не вижу каких-либо убедительных аргументов против этих двух (тесно связанных) направлений анализа. С другой стороны, я недостаточно исследовала их для того, чтобы чувствовать себя полностью уверенной в отношении хотя бы одного из них. Я предложила их для рассмотрения в этом примечании, не пересматривая (то есть не расширяя) толкований в основном тексте. Это может быть легко сделано. Но, возможно, существует лучший путь достижения той же цели?

Наконец, я позволю себе упомянуть еще один способ анализа понятий, связанных с восприятием, который заслуживает рассмотрения и который может составить более удовлетворительный вариант анализа на основе „говорения“. Этот анализ предполагает, что понятия, связанные с восприятием, основаны на метафоре, или уподоблении. Так, возможно, следует рассматривать толкование следующего типа:

I smelled something burning.

'Я почувствовал запах чего-то горящего'.=

по причине чего-то, что может быть сказано о том месте, где я был,

нечто произошло у меня в носу

я могу сказать нечто об этом месте по этой причине

(что там нечто горело),

как если бы мой нос сообщил мне что-то об этом месте.

Если отстаивать этот подход, придется утверждать, что понятия, связанные с восприятием, по своей природе метафоричны. Это же должно относиться *mutatis mutandis* ко всем физическим ощущениям. Так, сказать: „Я голоден“ будет равносильно тому, что мы скажем примерно следующее: „Это как если бы мой живот сказал: я хочу есть“. У этого подхода тоже есть свои сложности, но

он, по-видимому, не лишен известной интуитивной привлекательности и, конечно, должен быть исследован наряду с другими.

⁵ Обычно полагают, что понятие цвета является простым, не поддающимся анализу. (Примечательным исключением являются „Logical Papers“ Лейбница). Следует заметить, что в моих объяснениях слова, указывающие на цвет, истолкованы без использования слова „цвет“; другими словами, понятие „цвет“ само было подвергнуто анализу и истолкованию. Лейбниц пытался анализировать понятие цвета двумя различными способами (Parkinson, 1966: 50—51):

«... „цветной“ — это термин, объяснимый через свое отношение к нашим глазам; но поскольку это отношение нельзя точно выразить в немногих словах и сам глаз как своего рода машина также требует пространный толкования, „цветное“ можно было бы считать элементарным простым термином, добавив к которому некоторые дифференцирующие признаки, можно обозначить различные цвета. Возможно, однако, что „цветное“ может быть определено через восприятие поверхности без физического соприкосновения. Но какая из этих возможностей лучше, будет видно в дальнейшем».

⁶ Это различие, по-видимому, ведет к интересному следствию касательно места, которое является источником восприятия. Как представляется, когда бы мы ни видели объект, мы видим его где-либо (в некотором месте). Так, предложение „Я вижу собаку“, вероятно, является сокращением предложения „Я вижу в этом месте собаку“. Но когда мы слышим или воспринимаем обонянием что-либо, мы не слышим и не ощущаем запаха *где-либо*: звук или запах должны достигать того самого места, где происходит ощущение (даже если мы можем определить направление, откуда они приходят). Предложения типа „Я слышу собаку“ или „Я чувствую запах фиалок“, по-видимому, не являются сокращениями предложений „Я слышу в этом месте собаку“ или „Я чувствую здесь (в этом месте) запах фиалок“. Я пыталась отразить это различие в моих объяснениях.

⁷ Следующие два предложения:

1. I feel that you are hostile.

‘Я чувствую, что ты недоброжелателен’.

2. I feel your hostility.

‘Я чувствую твою недоброжелательность’.

имеют различные „иллокутивные цели“: второе имеет целью *информировать* адресата, первое — *выразить* мысль. Таким образом:

Я чувствую твою недоброжелательность. =

я информирую тебя, что чувствую твою недоброжелательность.

Я чувствую, что ты недоброжелателен. ≠

я информирую тебя, что я чувствую, что ты недоброжелателен.

Предложение „Я чувствую твою недоброжелательность“ может быть передано посредством глагола *inform* „информировать“:

John informed Mary that he felt her hostility.

‘Джон (про)информировал Мэри, что он чувствует ее недоброжелательность’.

Но предложение, заключенное в рамку „Я чувствую, что...“, не может быть передано таким образом.

ЛИТЕРАТУРА

Anscombe, 1965. = Anscombe, E. The intentionality of sensation: a grammatical feature. — In: Butler, R. J. (ed.). Analytical Philosophy. Oxford: Blackwell, 1965.

Austin, 1962. = Austin, J. L. Sense and Sensibilia. Oxford: Oxford University Press, 1962.

Baudouin de Courtenay, 1929.=Baudouin de Courtenay, J. Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung. — „Prace Filologiczne“, 1929, 14, S. 184—255.

Berkeley, G. 1709 (1965).=Berkeley, G. An essay towards a new theory of vision. — In: Armstrong, D. (ed.). George Berkeley's Philosophical Writings. New York: Macmillan, 1965. (Русск. перев.: Беркли Д. Сочинения. М.: „Мысль“, 1978).

Berkeley, 1713 (1965).=Berkeley, G. Three dialogues between Hylas and Philonous. — In: Armstrong, D. (ed.). George Berkeley's Philosophical Writings. New York: Macmillan, 1965. (Русск. перев.: Беркли Д. Сочинения. М.: „Мысль“, 1978).

Couturat, 1903.=Couturat, L. (ed.). Opuscules et Fragments inédits de Leibniz. Paris, 1903.

Givón, 1972.=Givón, T. Forward implications, backward presuppositions, and the time axis of verbs. — In: Kimball, J. (ed.). Syntax and Semantics, vol. 1. New York: Academic Press, 1972.

Grua, 1948.=Grua, G. (ed.). Gottfried Wilhelm Leibniz. Textes inédits. Paris: Presses Universitaires de France, 1948.

Gruber, 1967.=Gruber, J. Look and see. — „Language“, 1967, 43, N 4, p. 937—948.

„Linguistics“, 1979.=The semantics of three Russian verbs of perception: *vosprinimat'* '(to) perceive', *oščuščat'* '(to) sense' and *čuvstvstvovat'* '(to) feel'. — „Linguistics“, 1979, 17, p. 825—842.

Joshi, 1974.=Joshi, A. K. Factorization of verbs. — In: Heidrich, C. (ed.). Semantics and Communication. Amsterdam: North Publishing Co, 1974.

Kay—Samuels, 1975.=Kay, C., Samuels, M. L. Componential analysis in semantics: its validity and applications. — In: Transactions of the Philological Society, 1975, p. 49—82.

Kenny, 1966.=Kenny, A. Action, Emotion and Will. London, 1966.

Kirsner—Thompson, 1976.=Kirsner R., Thompson S. The role of pragmatic inference in semantics: a study of sensory verb complements in English. — „Glossa“, 1976, 10, N. 2, p. 200—241.

Lehrer, 1974.=Lehrer, A. Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam: North—Holland Publishing Company, 1974.

Milne—Milne, 1965.=Milne L., Milne M. The Senses of Animals and Men. Harmondsworth: Penguin, 1965.

Parkinson, 1966.=Parkinson, G. H. R. (ed.). Leibniz, Logical Papers. Oxford: Clarendon Press, 1966.

Postal, 1970.=Postal, P. On the surface verb 'Remind'. — „Linguistic Inquiry“, 1, N 1, p. 37—120.

Rogers, 1971.=Rogers, A. Three kinds of physical perception verbs. — CLS, 7, p. 206—223.

Ryle, 1959.=Ryle, G. Feelings. — In: Elton, W. (ed.). Aesthetics and Language. Oxford: Blackwell, 1959.

Vesey, 1971.=Vesey, G. Perception. London: Macmillan, 1971.

Vico, 1744 (1966).=Vico, Giovanni Batista. Principi di Una Scienza Nuova. Torino: Utet, 1966.

Wierzbicka, 1972.=Wierzbicka, A. Semantic Primitives. Frankfurt: Athenäum Verlag, 1972.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрахам (Abraham W.) 277, 279, 298
 Айсминджер (Iseminger G.) 320, 335
 Аккерман (Ackermann R. J.) 320, 335
 Альчуррон (Alchourrón C.) 312сн.,
 316
 Анрэп (Anrep G. V.) 52сн., 96
 Анскомб (Anscombe E.) 354, 355, 368
 Аристотель 88сн., 144, 294, 295, 299
 Арутюнова Н. Д. 6сн.

 Бар-Хиллел (Bar-Hillel Y.) 119
 Барвайс (Barwise J.) 19, 123, 136
 Басс (Bass M. J.) 52сн., 96
 Бах (Bach E.) 191
 Бейкер (Baker G.) 126, 136
 Беллерт (Bellert Irena) 298
 Беркли (Berkeley G.) 25, 340, 347,
 348, 354, 369
 Бессонов А. В. 17сн.
 Бет (Beth E.) 119
 Биро (Biro J.) 173сн.
 Блинов А. Л. 19сн.
 Блумфилд (Bloomfield L.) II, 58сн.,
 96
 Биркхофф (Birkhoff G. D.) 44сн., 96
 Бодуэн де Куртенэ И. А. 365, 369
 Брок (Brock J.) 303сн., 305, 316
 Броу (Brough J.) 32сн., 58сн., 97
 Брэйзуэйт (Braithwaite R. V.) 39сн.,
 96
 Булыгин (Bulygin E.) 301сн., 303,
 312сн., 316
 Быстрицкий Е. К. 144сн.

 Ван Дейк (van Dijk T.) 21сн.
 Вандервекен (Vanderveken D.) 22,
 242, 264сн., 252сн., 263
 Вежбицка (Wierzbicka Anna) 23, 336,
 340, 343, 369
 Вендлер (Vendler Z.) 23, 264
 Вико (Vico G. B.) 365, 369
 Виси (Vesey G.) 359, 369
 Витгенштейн (Wittgenstein L.) 27, 89,
 98, 126, 130, 158
 Воленский (Wolenski J.) 301сн., 317
 фон Вригт (von Wright G. H.) 301сн.,
 303, 312сн., 317
 Вуджер (Woodger J. H.) 59сн., 98

 Гадамер (Gadamer H. G.) 158
 Гёдель (Gödel K.) 315
 Гемпель (Hempel C. G.) 34сн., 39сн.,
 97
 Гераклит 87
 Гивон (Givón T.) 343, 362, 369
 Гильберт (Hilbert D.) 320, 335
 Гич (Geach P. T.) 88сн., 97, 201сн.,
 202сн., 237, 241
 Годдар (Goddard C.) 281, 299
 Горский Д. П. 17
 Грайс (Grice H. P.) 129—131, 137,
 318, 320, 322, 330, 332, 334
 Грангер (Granger G. G.) 139сн., 158
 Груа (Grua G.) 365, 369
 Грубер (Gruber J.) 337, 369
 Грэнди (Grandy R. E.) 131, 137
 Грязнов А. Ф. 15сн.

- Гудмэн (Goodman N.) 52 сн., 60 сн., 71сн., 97
- Гуссерль (Husserl E.) 141, 143, 146
- Даммит (Dummett M.) 10, 14, 15, 124, 125, 131, 136, 192, 196сн., 241
- Даскаль (Dascal M.) 277, 298
- Декарт (Descartes R.) 48
- де Морган (DeMorgan) 326сн.
- Джекендофф (Jackendoff R.) 192
- Джеффри (Jeffrey R. C.) 320, 335
- Джонсон (Johnson S.) 26, 47, 40, 41
- Джонсон-Леерд (Johnson-Laird Ph.) 8сн., 124, 129, 137
- Дильтей (Dilthey W.) 140
- Дубислав (Dubislav W.) 301сн., 316
- Дэвидсон (Davidson D.) 5, 6, 10, 15, 52сн., 79сн., 99, 118, 124, 125, 131, 136, 146, 151, 157, 158, 173сн., 175сн., 185, 187, 192, 200сн., 206сн., 235, 241, 264—266, 271, 272, 275, 276
- Дюэм (Duhem P. M. M.) 143
- Есперсен (Jespersen O.) 60сн., 71сн., 97
- Звегинцев В. А. 8
- Зиман (Zeman J. J.) 308сн., 317
- Зифф (Ziff P.) 140, 159
- Йоос (Joos M. A.) 58сн., 97
- Йоргенсен (Jørgensen J.) 11, 300—303, 317
- Йоси (Joshi A.) 338, 369
- Кангер (Kanger S.) 19
- Канеман (Kahneman D.) 146, 159
- Кант (Kant I.) 276
- Капперман (Kupperman J.) 320, 323, 324, 335
- Карлсон (Carlson L.) 21, 125, 136, 182 сн., 192, 277
- Карнап (Karnap R.) 19, 39сн., 42сн., 52сн., 97, 113, 119, 252, 263, 320, 335
- Кассирер (Cassirer E.) 95сн., 97
- Кастаньеда (Castañeda H.-N.) 131, 132, 136, 310сн., 316
- Катриэль (Katriel T.) 277, 298
- Катц (Katz J. J.) 12сн., 121, 134, 137, 165сн., 171сн., 174, 175, 177, 182, 192, 193
- Кей (Kay C.) 339, 365, 369
- Кемени (Kemeny J. G.) 43сн., 97
- Кенни (Kenney A.) 307сн., 311, 317, 364, 369
- Кинш (Kinsh W.) 21сн.
- Кирснер (Kirsner R.) 346, 347, 352, 369
- Клини (Kleene S. C.) 320, 335
- Кожибский (Korzybski A.) 88, 97
- Копи (Copi I.) 320, 335
- Коура (Koura A.) 300сн., 308сн.
- Крессуэлл (Cresswell M. J.) 175сн., 178, 181, 191, 192
- Крипке (Kripke S. A.) 19, 23, 179, 192, 194, 195сн., 199сн., 202сн.—204сн., 207сн., 209, 210сн., 232 сн., 229сн., 240, 241
- Куайн (Quine W.) 5, 11—13, 20, 21, 24, 35сн., 59сн., 60сн., 88сн., 90сн., 98, 106, 109, 119, 120, 143сн., 151, 152сн., 159, 167, 187, 201сн., 232сн., 234—236, 237сн., 240сн., 241, 335
- Кутюра (Couturat L.) 339, 369
- Лазерович (Lazerowitz M.) 91сн., 97
- Лайонз (Lyons J.) 124, 192
- Лакофф (Lakoff G.) 192
- Лакофф (Lakoff Robin) 277, 279, 299, 325, 330, 334
- Ламберт (Lambert K.) 320, 335
- Лейбниц (Leibniz G. W.) 88, 281, 339, 368, 369
- ЛеПор (LePore E.) 20, 122, 137, 173, 176, 192
- Лерер (Lehrer Adrienne) 349, 369
- Лиз (Lees R. B.) 268сн.

- Ликан (Lycan B.) 173сн.
 Локк (Locke J.) 292—294, 299
 Лувер (Loewer B.) 122, 129, 137, 176, 192
 Льюис (Lewis C. I.) 69, 87сн., 97
 Льюис (Lewis D. K.) 122, 123, 137, 175сн., 179, 181, 192, 325, 334
 Лэнджер (Langer Susanne K.) 49сн., 97
 Лус (Luce R. D.) 313сн., 317

 МакГрэйд (McGrade A. S.) 320, 323, 324, 335
 МакДоуэлл (McDowell J.) 143, 159
 Макинтош (McIntosh J.) 330сн., 333сн.
 Макки (Mackie J.) 313, 317
 МакКоли (McCawley J.) 192, 320, 321сн., 334
 Мандельброт (Mandelbrot B.) 57сн., 97
 Маркс (Marx K.) 5, 7
 Мартин (Martin R. M.) 59сн., 97
 Маршак (Marschak J.) 146, 158
 Мендельсон (Mendelson E.) 320, 335
 Миллер (Miller G. A.) 50сн.
 Милль (Mill J. S.) 59сн., 75сн., 97, 195, 196сн., 197—203, 208—211, 241, 265
 Милн (Milne L.) 344, 369
 Милн (Milne M.) 344, 369
 Монтею (Montague R.) 19, 20, 123, 137, 175сн., 179—181, 183, 186, 187, 189—193
 Моравчик (Moravcsik J.) 140, 159
 Мэйтс (Mates B.) 207сн., 241, 320, 335

 Нагель (Nagel R.) 182, 192
 Нейрат (Neurath O.) 26, 27, 96
 Николсон (Nicholson M.) 320, 330, 334
 Нил (Keane W.) 204сн.

 Олдрич (Aldrich V.) 35сн., 96
 Осгуд (Osgood C. E.) 97
 Остин (Austin J. L.) 6, 341, 342, 348, 357, 368
 Оуэн (Owen G.) 313сн., 317

 Павлённис Р. И. 6сн.
 Падучева Е. В. 6сн.
 Паркинсон (Parkinson G. H. R.) 368, 399
 Парри (Parry W. T.) 315, 317
 Парти (Partee Barbara Hall) 123, 137, 175сн., 181, 183, 187, 190, 193
 Патнэм (Putnam H.) 128, 137, 232, 241
 Пеано (Peano G.) 66сн., 88сн., 97
 Пеллетье (Pelletier F. J.) 318
 Перри (Perry J.) 19, 123, 136
 Перттил (Purtill R. I.) 320, 335
 Петерс (Peters S.) 126, 137, 321сн., 334
 Петров В. В. 10сн., 23
 Пиаже (Piaget J.) 288сн., 299
 Пикок (Peacocke C. A. B.) 125, 127, 135—137, 200сн., 241
 Пирс (Peirce C. S.) 46, 71сн., 97, 303—305, 308, 317
 Платинга (Platinga A.) 203сн., 241
 Постал (Postal P.) 121, 137, 174, 182, 192, 339, 369
 Поттс (Potts T.) 180, 193
 Прайор (Prior A. N.) 120
 Пуанкаре (Poincaré H.) 300, 317

 Райл (Ryle G.) 343, 346, 347, 362, 364, 369
 Райнин (Rynin D.) 47сн., 98
 Райффа (Raiffa H.) 313сн., 317
 Рассел (Russell B.) 71сн., 77, 98, 133, 196—199, 205—208, 216, 217, 224, 228сн., 229сн., 240
 Резник (Resnik M.) 320, 323, 335
 Рейхенбах (Reichenbach H.) 71сн., 98, 320, 335
 Ричардс (Richards I. A.) 32сн., 98
 Робинсон (Robinson R.) 294сн., 299
 Роджерс (Rogers A.) 338, 339, 369
 Розенберг (Rosenberg J. R.) 142, 159
 Росс (Ross A.) 301, 306сн., 309—311, 312, 315—317
 Россер (Rosser J. B.) 330, 335
 Роулз (Rawls J.) 143, 159

- Сааринен (Saarinen E.) 21, 121, 125, 126, 132, 137, 182сн., 193, 305, 306, 317
- Себеок (Sebeok Th. A.) 49сн., 97
- Сен (Sen Amartia) 154сн., 155, 159
- Сёрлз (Searles H. L.) 320, 323, 324, 335
- Сёрль (Searle J.) 6, 22, 205сн., 241, 242, 252, 263, 306, 317
- Сигель (Siegel S.) 158
- Сидвик (Sigdwick A.) 154, 159
- Скиннер (Skinner B. F.) 12, 49—51, 98
- Смирнова Е. Д. 6сн.
- Смит (Smith J.) 35сн., 98
- Спенсер (Spencer A.) 299
- Стениус (Stenius E.) 303, 306сн., 307сн., 317
- Степанов Ю. С. 6сн.
- Столнейкер (Stalnakker R.) 175сн., 193
- Стросон (Strawson P. F.) 59сн., 98, 160, 320, 335
- Суппес (Suppes P.) 146, 151, 158
- Сэмюэлз (Samuels M. L.) 339, 365, 369
- Тарский (Tarski A.) 10, 18, 20, 22, 47сн., 98, 105, 106, 110—112, 119, 124, 137, 185—187, 189, 215сн., 320, 335
- Тверский (Tversky A.) 146, 157, 159
- Томасон (Thomason R. H.) 183, 187, 188, 190, 191, 320, 335
- Томберлин (Tomberlin A.) 131
- Томпсон (Thompson Sandra) 346, 347, 352, 369
- Уайтхед (Whitehead A. N.) 89, 98
- Уивер (Weaver W.) 57сн., 98
- Уильямс (Williams D. C.) 92сн.
- Уоллес (Wallace J.) 118, 173сн.
- Файн (Fine K.) 300сн., 315сн.
- Фаулер (Fowler R.) 320, 330
- Фермазен (Vermazen B.) 193
- Филатов В. П. 144сн.
- Филд (Field H.) 186, 187, 193
- Фодор (Fodor J. A.) 127, 128, 136, 174, 192
- Фоконье (Fauconnier G.) 8сн.
- Фоллесдаль (Føllesdal D.) 139, 152, 158
- Фоллет (Follett W.) 320, 334
- Фома Аквинский 88сн., 273сн.
- ван Фраассен (van Fraassen B. C.) 179, 193, 320, 335
- Франк (Frank Ph.) 39сн., 97
- Фреге (Frege G.) 9, 16—18, 84сн., 88, 90сн., 97, 99—104, 112, 119, 135, 181, 182, 195—197, 201—208, 216, 217, 224, 228сн., 229сн., 240, 241
- Фрейд (Freud S.) 151
- Хазан (Hasan R.) 277, 299
- Халл (Hull C. L.) 52сн., 96
- Халле (Halle M.) 58сн., 97
- Ханссон (Hansson B.) 303, 316
- Харман (Hargman G.) 127—130, 137, 186, 192
- Харфорд (Hurford J. R.) 320, 331, 334
- Хедениус (Hedenius I.) 303сн., 316
- Хилпинен (Hilpinen R.) 10, 11, 300, 304, 305, 309сн., 316
- Хинтиikka (Hintikka J.) 19, 125, 132, 135, 137, 175сн., 179, 182сн., 192, 193, 305, 306сн., 310сн., 312, 316
- Ховланд (Hovland C. I.) 52сн., 97
- Холдкрафт (Holdcroft D.) 152, 158
- Хомский (Chomsky N.) 50сн., 97, 112, 119, 120, 162, 163, 165
- Хофстадтер (Hofstadter A.) 36сн., 97
- Хэйтинг (Heyting A.) 326, 334
- Хэккер (Hacker P.) 126, 137
- Хэккинг (Hacking I. A.) 320, 324, 335
- Хэллидей (Halliday M.) 277, 299
- Целищев В. В. 10сн., 20сн.
- Ципф (Zipf G. K.) 58сн., 98

Чёрч (Church A.) 119сн., 204сн.,
214сн.
Чисхольм (Chisholm R. M.) 26сн., 97

Шеннон (Shannon C. E.) 57сн., 98
Шенфилд (Shoenfield J. R.) 293, 294
Шёнфинкель (Schönfinkel M.) 83, 98
Шиффер (Schiffer S. F.) 129, 130, 137,
148, 159
Шортер (Shorter) 265, 271

Эйнштейн (Einstein A.) 39сн., 97
Элстер (Elster J.) 153сн., 158
Элстер (Elster J.) 153сн., 158

Ю (Yu P.) 173сн.
Юм (Hume D.) 15, 32, 88, 97, 154

Якобсон (Jakobson R.) 58сн., 97

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Адресат 279, 284
 алфавит 56, 58
 альтернатива 145, 146, 153, 155, 157, 244, 286, 335
 аналогия 37, 38, 46
 анафора, анафорическое выражение 21, 125, 126
 аномальность семантическая 174
 antecedent [местоимения] 84, 85
 антисимметричность 244
 антонимия 174
 антропоцентрическая ориентация естественного языка 365
 аргумент [в рассуждении] (argument) 278, 282, 283, 287, 298
 артефакт 140
 артикль 60, 74, 90, 268
 — неопределенный 59, 62, 66, 83, 85, 86, 90
 — определенный 59, 77, 82
 ассертивы 253
 ассоциация предварительная (tentative association) 63
 атрибутивное присоединение предложения-составляющей 85
 — — термов 75, 79, 81, 82
 — употребление прилагательных 73
 аффикс 167
 База данных 124, 134
 — — дотеоретическая 133
 билингв 238
 бихевиоризм 12, 150
- * Оригинальный (английский) термин указывается лишь в случаях возможной неоднозначности. Английские эквиваленты большинства наиболее употребительных терминов содержатся в Предметных указателях к предыдущим выпускам серии («Новое в зарубежной лингвистике», вып. 11, 12, 13, 16).
- Вера, верование (belief) 13, 130, 142—144, 243, 250, 251, 260, 272—274 (см. также *мнение, полагание*)
 вербализация 26
 верификация 47сн.
 вероятность 18, 145, 146
 взаимозаменяемость иллокутивная 248
 — salva significatione [=с сохранением смысла] 197, 238
 — salva veritate [=с сохранением истинности] 197—200, 202, 205, 207—209сн., 210, 217, 227, 237, 238, 240
 взаиможивление предложений (interanimation of sentences) 32, 40, 42
 видение (seeing) 337, 338, 341, 349
 — объектов 347
 — цвета 347
 владение языком 125, 162
 возможность 20, 198
 — метафизическая 202
 — универсальная 245
 — физическая 245, 249
 — эпистемическая 202
 возможный мир 19, 20, 123, 180, 181, 189, 191, 243—245, 247, 305, 308, 310, 325
 воображение [слушающего] 348—350, 355, 356
 вопрос (question) 29, 33, 40, 41, 54, 140, 176, 279, 283, 284, 296—298, 303сн.
 вопрос (topic) 280—282, 284, 286, 288
 воспоминание 26, 33, 57сн., 221
 восприятие (perception) 128, 143, 150, 336—347, 353, 365, 367, 368
 впечатление (impression) 15, 28, 29, 355
 — вкусовое 356
 — зрительное 345, 349, 354—356
 — чувственное 349

время [грамматическое] 116
— настоящее 341, 342
время [реальное] 129, 168, 242, 247
время [речевого акта, произнесения
высказывания] 116, 117, 243—246
выбор 16, 146, 150—155, 305, 307,
308, 312, 333
— рациональный 153, 157
вывод (inference, consequence, con-
clusion) 5, 7, 8, 17, 119, 182, 188,
215, 223, 227, 228, 293—295, 300,
319, 320, 351, 356
— логический 9, 10, 16, 18, 133, 150,
188, 227, 236сн., 280, 301, 321
— статистический 42
— этический 300
вывод [силлогизма] 145
выигрыш 305—307
выполнение (satisfaction) [императи-
ва] 306, 308, 310, 313, 314
выполнимость 176
высказывание (utterance) 5, 29, 119,
152, 173, 184, 290
— ложное 290, 304
— объективированное 6
— релятивизированное к говоряще-
му 6, 22
— утвердительное 175, 177
вычисление значения 124
— истинностного значения 125, 135

Герменевтика 142, 156
гипотеза 43, 45, 47, 142, 143, 150, 157
глаголы 6, 65, 66, 90, 91, 118, 161,
163, 165, 169, 268, 291, 337, 339,
342
— восприятия 343, 365
— говорения 341
— иллокутивные 251—255
— интенциональные 180
— модальные 76
— непереходные 65, 66
— переходные 76
— перформативные 251, 253—255,
361
— сенсорные 352
говoreние [на языке] 15, 16, 50, 107
говорящий 11, 14, 16, 22, 23, 29, 31,
83, 109, 116, 117, 130, 147, 176сн.,
184, 191, 195, 205сн., 213, 224, 242—
246, 248, 251—263, 279, 296, 304—
308, 310сн., 319, 320, 322, 331, 333,
347, 348, 351, 355, 357, 361, 363
грамматика 10, 113, 160—172, 329,
333
— вариативная 167—170

— глубинная 162, 166
— категориальная 180
— логическая 112—114
— Монтегю 19, 20, 123, 179—191
— поверхностная 162, 166
— порождающая 161
— сущностная=внутренняя 167—170
— трансформационная 162—166, 170,
171
— явная 171, 172
грамматические категории 163—165
— отношения 161, 163, 164

Данные (data) 40, 42, 45, 134, 351,
361
— дотeоретические 129, 131, 133
— зрительные 25
— косвенные 30
— семантические 129, 133, 135
— сенсорные/чувственные/чувст-
венно-наличичные (sense d.) 15, 25,
26, 33, 34, 41, 338, 339, 350, 355
— эмпирические 243
— языковые 171
de dicto 199—201сн., 213сн.
de re 132, 199, 200сн., 213сн.
дейктические выражения 6
— элементы 169
действие (act, action) 8, 16, 49, 50,
114, 128, 130, 139, 141, 144—146,
148—153, 156, 158, 168, 171, 220,
250, 252, 254, 260, 263, 265, 268,
302, 306—315
— говорящего 16
— простое 313, 314
— слушателя 307, 308
— целенаправленное 118
действительность [внешняя, внеязы-
ковая, объективная] 28, 122, 123,
183, 236сн.
декларативы 254
денотат 191, 202, 207сн.
денотация (denotation) 8, 9, 17, 119,
176, 184, 190, 191
— множественная (multiple d.) 59сн.
дерево игры 313 сн.
десигнатор твердый/строгий [=д. же-
сткий] (rigid designator) 199сн.,
200сн., 202, 203, 206, 209, 210, 238сн.
дескриптивная интерпретация деонти-
ческих предложений 303
дескрипция 199, 206, 225, 227, 228,
230, 240
— единичная 72, 77—79, 82, 85
— идентифицирующая 206, 225
— неопределенная 208, 351

— определенная 133, 195, 196сн., 198, 207, 226, 237сн., 240
дескрипция [= описание] 40, 132, 205
детерминатив 85
деятельность 8, 28, 140, 141, 157
диалог 278, 283, 288—291
дизъюнкция 249сн., 305, 307, 312, 320—326, 331, 334
дилемма Форгенсена 11, 301, 303
директивы 254
дискретность 54
дискурс 125
— императивный 306сн., 310
— практический 310
— прескриптивный 309
догадка (conjecture) 260
доказательство 16, 139, 293
дополнение 161, 165, 346
— прямое 86, 268, 269, 342
достижение иллюкативной цели 251, 253—258, 261—263
достижимость (accessibility) [отношение на множестве возможных миров] 245
— логическая = универсальная 245
— физическая = причинная 245

Желание (desire) 130, 144, 145, 147, 149, 150, 243, 250, 251, 273, 301, 303сн.
жест указательный 70, 72

Заключение [в выводе] (conclusion) 17, 293, 295, 300
заключение [= вывод] (inference) 351, 356
— гипотетическое 354—356
— эвиденциальное/очевидностное 361
закон естественный 42
— исключенного третьего 322, 324, 325
— каузальный = причинный 34, 147, 276
— логический 34
— минимального действия 42
— научный 276
— природы 245
законы [некоторого возможного мира] 245
— ДеМоргана 326сн.
залог активный 112
— страдательный = пассив 76, 83, 112
замыкание (closure) предварительного условия 259
— условия искренности 260
знак 88, 94, 308

знание 142, 198, 343, 365—367
— de re 132
— языка 14, 15, 274
знания 25, 188, 191, 221
— неязыковые 188
значение (sense, meaning) 6, 8, 9, 12, 13, 16, 26, 99, 102—106, 119, 124, 126—128, 134, 136, 139, 140, 175—180, 184, 188, 189, 232, 307, 336
— высказывания 319, 321
— говорящего 130
— знака 308
— предложения 99, 101—104, 106, 183, 190
— слова 99, 101, 102, 104, 106, 122
— стимульное (stimulus m.) 48, 61, 63
— эмпирическое 27
— эпистемически недоступное = трансцендентное 125
— языкового выражения 117, 128, 135
значения композициональность/композиционность (compositionality) 135, 181—183

Игра (game) 21, 22, 125, 140
— языковая 304—308, 313
— — ассерторическая (assertion g.) 306, 307
— — диалоговая/диалогическая (dialogue g.) 21, 279, 296
— — императивная 306, 307
— — семантическая 22, 308, 309сн., 310сн., 312, 313
игрок 22, 304—308, 313сн.
идентификация 70, 75, 103, 119, 167, 226, 341
идиолект 205сн., 208, 215—217, 229сн., 230, 234сн., 240
избыточность 174
извинение (apology) 252
иллокутивная сила (illocutionary force) 14, 242—246, 251, 252, 254—262, 263
— — ассертивная 253, 261
— — декларативная 254
— — директивная 254
— — комиссивная 254
— — экспрессивная 255
— цель (i. point) 245, 251, 252—258, 261—263, 306, 368
— — ассертивная 252, 253, 256
— — декларативная 252—254, 257
— — директивная 252—254, 256, 263

— — комиссивная 252—254
— — экспрессивная 253, 255
иллокутивный акт 242, 244, 246, 248,
249, 252, 256, 268, 273, 306
иллокуция 255, 257, 306
именная группа 161, 163, 268, 269,
321сн.
императив 10, 11, 300—316
— дизъюнктивный 312, 314
— конъюнктивный 314
имплицатуры разговора/дискурса
(conversational implicatures) 318,
330
импликация (implication) 285, 287,
292, 293, 297
— аналитическая 315
— логическая 325
— материальная 249, 325
— строгая 249
имя 17, 78, 80, 81, 100, 168, 184, 194,
196—200, 203сн.— 210, 215, 216,
218, 225, 226, 228, 229сн., 231, 232,
238—241
— логически собственное 196сн.,
197сн., 229сн.
— собственное 6, 70, 162, 194—202,
205, 206, 209, 210сн., 212, 216, 217,
227, 229сн., 230, 231, 233, 236—238
индексы, индексальные выражения
71сн., 211
индивид, индивидуальный объект 181,
245, 246, 249, 250
индикатив 11, 301, 302, 304
индикаторные слова (indicator words)
71сн.
инклюзивное vs. эксклюзивное зна-
чение союза *или* 320—334
интенсивность (degree of strength)
иллокутивной цели 251, 256—258,
261—263
интенционал 180, 181
интенциональная эквивалентность 273
интенциональное [=не экстенциональ-
ное] выражение 105
интенциональность 197
интенциональность 141, 143, 252
интерпретант [знака] 308
— логический 308
— энергетический 308
интерпретатор [знака] 308
интерпретация семантическая 104,
119, 123, 126, 142, 143, 162, 163,
180, 181, 184—191, 304, 305
— [формального языка] 9, 111, 190,
309
интуиция 134, 309, 315

— дотеоретическая 134, 320, 326
— носителей языка 353, 362
— семантическая 362
информационное множество 125
ирония 212
искренность 218, 221, 251, 252, 260—
263
искусственный интеллект 129
искусство 140
использование см. *употребление...*
истина 17, 18, 24, 44—47, 99, 105, 106,
110, 116, 119, 173, 186, 215сн.
— конвенциональная 201
— необходимая 201, 202, 240, 248
истинностное значение предложения
15, 22, 47сн., 101, 106—119, 125,
135, 178, 181, 191, 197, 198, 237
— — пропозиции 247—249, 256
истинность [предложения, высказы-
вания] 8—10, 17, 18, 20, 22, 65, 84,
103, 106, 108, 109, 114, 116—118,
120, 126, 175, 176, 178, 182—184,
187, 189, 190, 192, 212, 233, 236,
246, 247, 249, 300—304, 306, 308
— в действительном мире 124, 247
— в модели 124
— в некотором возможном мире 247,
248, 250
— логическая 115
— [сентенциального дополнения] 346
исчисление 16
— предикатов 17
— речевых актов 242

Кавычки (quotation marks) 240 (см.
также *принцип раскрытия кавы-
чек*)
категоризация 127
категории 171
— грамматические 163—165
— семантико-логические 170
— синтаксические 169, 170, 181, 187
качественное пространство (quality
space) 51—53
квантификация 16, 302
— модальных контекстов 20
квантор универсальный [=к. общно-
сти] 305
— экзистенциальный [=к. существо-
вания] 305
кванторы 111, 180, 284, 305
— игровые 126
кибернетика 149
когитология 129
кодесигнатувы, кодесигнативные име-

на/описании 199—202, 208, 217, 237, 238
коммуникативная неудача 333
— ситуация 306
— функция языка 13
коммуникативные постулаты Грайса 332, 333
— правила 290
коммуникация 51, 56, 109, 130, 155, 209
компетенция семантическая 180, 189
— языковая 176, 188, 189
компьютер 127, 129
компьютерная технология 7
конверсивы 76
коннотация 204
контекст 36, 37, 38, 40, 55, 59, 63, 77, 85, 103, 200, 272
— диалогический 288
— императивный 306
— мнения 23, 194, 198—203, 207—209, 216, 217, 225, 227, 237—241
— модальный 10, 20, 198—200сн., 202, 203, 209, 210
— непрозрачный (opaque) 201сн., 240
— прозрачный (transparent) 200сн., 240сн., 272
— произведения 242—244, 246, 253—260
— пропозициональной установки 10, 17, 202, 203, 210, 240сн.
— темпоральный 200сн.
— «шекспировский» 237, 240, 241
— эпистемический 198, 201—203
континуум 55
конфликтная ситуация [в игре] 21
концепт 180
концептуализация 12, 26, 28, 33, 57сн.
концептуальная схема 13, 24, 27, 34, 44, 61, 88, 96
конъюнкция 249сн., 305, 307, 310сн., 326сн.
координаты контекста 244
коррелативность 198, 216, 237сн., 328сн.
коэстенсивность 232
критерий 126
кросс-идентификация 132
кросс-референция 94
Лексикография 187
лингвистика 5, 6, 8, 23, 336
— текста 21, 126
линия действий 263
линия [=ход] развития событий 245, 305

лицо [грамматическое] первое 30, 132, 341
— третье 84, 85, 132
лицо [=человек] 113, 267, 268
логика 5—8, 16, 17, 21, 23, 65сн., 114—116, 122, 136, 320
— временная 179, 180
— двузначная 244
— действий 6
— демонстративная 179
— деонтическая 114, 300, 303, 306сн., 309, 310сн., 312
— динамическая 6
— иллюкативная 6, 22, 243—246, 248, 250, 255, 259, 260
— императивная=л. императивов 114, 309
— интенциональная 180, 246, 248
— классическая 302
— комбинаторная 83
— математическая 126
— многозначная 179
— многосортная 179
— модальная 6, 19, 23, 114, 179, 244, 245, 248
— предикатов 16, 17, 22
— пропозициональная 247, 302
— пропозициональных установок 251
— ситуационная 6
— событий 6
— формальная 6, 165
— эротическая 114
логическая связь/зависимость [между предложениями] 34, 278, 282, 283, 287, 295
— форма пропозиции 246, 248
логические связи 318
— слова 128, 187
логический анализ естественного языка 5, 6, 21, 22
ложь 212, 223

Маркеры семантические 121, 122, 174, 177, 178
массовое слово (mass word) 60сн. (ср. терм *массовый*)
математика 9, 16
— вычислительная 9
ментальное состояние 128, 154
меньшая посылка силлогизма (Minor of a Sillogism) 293
место [речевого акта, произнесения высказывания] 243, 246
местоимения 21, 72, 112, 116, 117, 120
— личные 115, 116, 120
— относительные 81—84, 90

— символические возвратные (token-reflexive) 71сн.
— указательные 69, 82, 87, 115, 116, 120
— 1 лица 30, 116
— 2 лица 30
— 3 лица 84, 85
метатеория семантическая, м. семантики 121, 133, 135
метафора, метафорическое выражение 38, 272, 337, 367
метаязык 105, 108, 110, 112, 114, 115, 119
мир [внешний, физический] 7, 12, 24, 25, 28, 35сн., 36, 45, 54, 62, 68, 70, 74, 122, 143, 150, 178, 183, 187, 189, 306, 307, 310, 319, 343, 345, 359
— возможный см. *возможный мир*
— говорящего 176
— действительный 186, 190, 191, 243, 244, 247
— произнесения 243, 246, 253—255, 259
— — возможный 244
— феноменологический [субъекта] 132
мир [=возможный мир] 179, 180, 184, 185, 190, 245—250, 275
мнение (belief, opinion) 13, 23, 147, 152, 154, 194, 198, 207, 208, 210сн., 211, 213, 214, 219—224, 227, 228, 231, 236, 237, 239—241, 267, 272, 273, 319
— de dicto 201сн., 213сн.
— de re 213сн.
модальность 305, 306сн.
— знания 198
— логическая 18
— мнения 198
— нормативная 302, 309
— эпистемическая 198
модель 19, 123, 130
модификатор глагола [=обстоятельство] 161
— подлежащего [=определение] 161
modus ponens 334
modus tollens 227
момент времени 153, 154, 179—181, 185, 243—247, 249—251, 258
мораль 155
мультипликация (cartooning) 56
мыслительный процесс 7, 8, 89, 128
мышление 5, 363

Наглядность (ostension) 71

наименование (naming) 195, 211
наклонение 291
— изъявительное 11, 300, 301сн., 303, 304, 307сн., 341
— повелительное 300, 301, 306сн., 307сн., 309
наложение [термов] (application) 77, 78, 80, 89
намерение (intention) 8, 130, 143, 144, 243, 250, 251, 261
— агента 131
— говорящего 16, 130, 189, 319
— коммуникативное 130
наречие 78, 118, 161, 268, 269
натуральные/естественные классы (natural kinds) 228, 231—233, 237, 238
научный метод 46, 48
невозможность имен 205, 208, 210, 217, 239сн. (см. также *взаимозаменяемость...*)
необходимость 20, 198
— метафизическая 203сн., 240сн.
— универсальная 249
— эпистемическая 198, 203сн., 240сн.
неоднозначность 55, 56, 110, 112, 132, 174, 189, 243, 270, 274
непрерывная символическая среда 55
непрерывность (continuity) 54, 56, 78
непротиворечивость [формальной системы] 179
номинализация 269
норма 53—57, 303, 308, 309, 316
— дизъюнктивная 309
— произнесения 57, 58
— фонетическая 53, 57, 58
— цветовая 54
— языковая=лингвистическая 55, 212
НС-грамматика 119
НС-дерево 328
НС-структура 182

Обещание 242, 248, 260, 261, 306
обозначение 8, 9
обратная связь 149
обучение языку 15, 33, 50, 51, 61, 63, 70, 71, 93, 99, 210
— — наглядное 63, 78
общение 7, 36, 130, 155
объекты (objects) 144, 264, 267
— абстрактные 80, 91—93, 95, 143
— возможного мира 20, 245
— действительного/реального мира, действительные (actual o.) 20, 117, 244, 245
— природные 140
— распределенные (scattered o.) 68, 69, 93

— физические, материальные, внешнего мира 12, 13, 17, 20, 24—27, 28, 38—40, 42, 44, 45, 60—62, 64, 67, 70, 75, 87—89, 94, 117, 143, 148, 347, 349

обязательство [речевой акт] 260
овладение языком 160, 161
ожидания говорящего 319, 321, 322
омонимия 103, 211
— синтаксическая 328
операторы пропозициональные 132
— сентенциальные 115
операции над пропозициями [теоретико-множественные] 248—250
опыт (experience) 31, 33, 134, 143, 156, 157, 171, 219, 324
— непосредственный 25, 53
— психический 128
— чувственный (sense e.) 25, 128, 143
определенность *vs.* неопределенность [объекта] 341, 342, 351
органы чувств=сенсорные органы 13, 24, 45, 46, 143, 150, 366, 367
осмысленность [предложения] 104, 160, 174
основание [действия] (reason) 250, 260, 320 (см. также *причина...*)
— практическое 250
— теоретическое 250
ответственность говорящего [за истинность предложения] 304, 306, 307, 361, 364
относительное местоимение 81—84, 90
— предложение-составляющая=
=о. придаточное (relative clause)
80—83, 89, 268
отношение 88, 89, 167—169
— достижимости см. *достижимость*
— совместимости [на множестве возможных миров] 244
отношения грамматические 161, 163, 164
— логические 11, 263, 303
— семантические 123, 165
— синтаксические 165, 169
— [теоретико-множественные] 244, 262, 263
— функциональные 166
отрицание 268, 269, 283, 289, 305, 307, 320, 326, 327
— функционально-истинностное 249
оценочные слова 113, 114
ощущение (sense, sensation) 24, 339, 363, 368
— зрительное 348
— физическое 364, 367

Память 57, 125, 132
парадокс 23, 224, 225, 230—233, 237—239, 241, 301, 310с., 315
— логический 224
— Росса 306сн., 309, 310, 312, 316
— семантический 110, 111
партия [в игре] 304, 312, 313сн.
первое лицо настоящего времени 341
перевод 12, 13, 109, 114, 120, 122, 151, 152, 174, 177, 179, 180, 183, 211сн., 214, 215, 218—220, 229—231, 233—235, 237—239
— автоматический 7
— на метаязык 114
— на язык маркеров 121, 122
— омофонный 215, 216, 218, 234сн., 235, 238
— радикальный/полный (radical translation) 61, 109
перевода неопределенность 13, 234, 236
переводимость 208сн., 209сн.
переменная 17, 184, 246
— семантическая 128
пиктографическое письмо 56
план действий 128
плеоназм 55, 57сн.
победитель [в языковой игре] 304, 306
поведение 12, 145, 151, 153, 154, 157
— рабочее (operant behaviour) 49, 50
— речевое 15, 16, 49, 160
— языковое=лингвистическое 12, 151, 219
поддержка [императива] (support): 312—315
подлежащее 161, 269
подстановочность [имен] (substitutivity) 195, 216, 237—241
— логически собственных имен 240сн.
подтверждение [истинности] 126, 142, 260
позволение (permission) 312
— сильное=поддержка 312, 313—315
— слабое 312
позиция [синтаксическая] 105
— атрибутивная 73, 74, 81
— предикативная=п. предиката 66, 69, 72, 80, 91
— субъектная=п. субъекта 67, 69, 81, 85
полагание (belief) 8, 128, 251, 260, 261
полностью *vs.* не полностью номинализованные группы [=полные *vs.* неполные номинализации] (perfect *vs.*

- nonperfect nominals) 265, 267—270, 273
- полнота [формальной системы] 179
- положение дел (state of affairs) 245—247, 250, 253—255, 259, 260, 263, 265, 302
- действительное в мире произнесения 253
- понимание (understanding) 26, 39, 139—143, 149, 150, 152
- действий 139, 144, 149, 150, 154
- мотивирующее (motivating insight) 25
- перцептивное 144сн.
- языка 8, 10, 14—16, 106—108, 111, 124, 163, 176, 180, 184—188
- языковых выражений, предложений 99, 139, 144, 161, 163, 165, 182, 183, 191
- пороги разграничения [в качественном пространстве] 51
- порядок слов 82, 83, 168
- посылка [в выводе, силлогизме, рассуждении] (premise) 17, 18, 144, 293, 295, 300, 301
- правила ведения разговора 318
- вывода 17
- игровые 22, 305—309сн., 312
- коммуникативные 290
- синтаксические 181, 212
- проекционные 182
- языковые 99, 160—164, 166, 248, 307сн.
- правило выигрыша 305, 307
- правильность vs. неправильность грамматическая 160, 319, 332
- прагматика, прагматический 23, 304, 320, 322, 323
- предикат 22, 99, 101, 105, 106, 113, 114, 119, 184, 212, 270, 352
- истинностный=п. истинности 108, 116, 118, 185
- трехместный 113
- предикативное присоединение термов 82
- употребление прилагательных 73
- предикация 6, 64—66, 73, 76, 91
- предлог 6, 37, 76, 161, 163, 169, 268
- предложение (sentence) 28—36, 99, 101—105, 113, 122, 160, 165, 167
- базисное 186—188, 190
- бытийное 6
- вневременное 35
- вопросительное 118, 323
- деонтическое 303, 309
- изъявительное=повествовательное 11, 301, 302, 304
- императивное 10, 301, 307, 308
- индексальное 6
- окказиональное 60, 61, 120
- оптативное 118
- осмысленное 160
- оценочное 113
- повелительное 118, 300
- полагания (belief s.) 103, 112, 113
- простое 197, 198, 304, 312, 313
- сложное 248, 304, 305, 307
- сложносочиненное (compound s.) 85
- тождества 6
- элементарное (atomic s.) 304—308, 312, 313
- эллиптическое 277сн.
- предметная область 17, 20
- некоторого возможного мира 245, 246
- предпочтения (preferences) 150—155
- выявленные (revealed p.) 150
- предрасположенность [субъекта к действию] (propensity) 148
- предсказание 41, 242, 251, 258
- представления [о мире] 28, 143, 149—157
- представления, предположения [говорящего] (beliefs) 319, 322, 323
- пресуппозиция, презумпция 83, 245, 247, 284, 285
- вопроса 284
- придаточное дополнительное 140
- признаки семантические 337, 338, 366
- синтаксические 167
- приказ, приказание (command, order) 243, 248, 252, 255, 257, 259, 261, 273, 301—303сн., 306—308
- приказание дизъюнктивное 309, 312, 316
- прилагательные 62—66, 72—76, 81—83, 90, 91, 93, 114, 118, 161, 162, 169, 268
- синкатегорематические 73, 78
- принцип доброжелательности (principle of charity) 158
- композициональности/композиционности=п. Фреге 135, 181—183
- перевода 211сн., 214—216, 218
- подстановочности/субституции 199, 200сн., 203, 217, 218, 240, 241
- причинности трансцендентальный 276
- [=правило] раскрытия кавычек (disquotational principle) 211—216, 218, 223, 229, 233—237

принятие решения 21, 41, 43, 145, 146, 149, 152, 287
— — рациональное 152, 156
причина [объективная, естественно-научная] (cause) 12, 114, 147, 148, 154, 264—266, 270, 271, 274, 320, 344, 345, 348—367
причина=субъективное обоснование [действия] (reason) 146—148, 151, 154
причинная связь [между предложениями] 34
причинность 276, 344
причинные отношения 264, 266
произнесение (utterance) [высказывания, предложения] 33, 242, 319, 320
— [слова] 57, 58
произнесение [=высказывание] (utterance) 116, 242—245, 247, 252—254
прогрессив 346
пропозициональная установка=п. отношение 6, 10, 20, 131, 202, 203, 210, 234—236сн., 240сн., 250, 251, 272
пропозициональное содержание иллокутивного акта 242, 243, 248
— — иллокутивной силы 251—253, 255, 258, 262, 263
— — предложения 197
— — психологического состояния 250, 251
— — слова 306
пропозиция (proposition) 6, 197, 198, 201, 206, 242, 243, 246—251, 254—259, 267, 268, 272, 273, 274, 303, 304
— сложная (complex p.) 248, 249, 304
— элементарная (atomic p.) 248, 249, 304
пространство 168, 272
— логическое 272
просьба (request) 243, 257—259, 303сн., 306
противоречивость тем (contradictory topics) 291, 293, 296, 297
противоречие 110, 213, 215, 217, 221—224, 227, 235, 236, 279, 293, 298, 324
— логическое 281, 283, 289
процесс 265, 268
психологическое состояние [говорящего, слушающего] 11, 243, 245, 250, 251, 260, 261, 301
психология 7, 129, 176сн.
— бихевиористская 12, 150
— стимула и реакции 40

Разговор (conversation) 318, 319
раскрытие кавычек (disquotation) 211—216, 218, 223, 229, 233—238
распоряжение 243, 259, 263
рассуждение (argument, reasoning, discourse) 5, 16, 17, 128, 293, 294, 300
— индикативное 306сн.
— нормативное 301, 302, 316
расчлененность/разобщенность тем (disjointness of topics) 296, 297
рациональность 139, 145, 152, 154
реакция [на стимул] (response) 34, 40, 54
— вербальная=вербальная ответная реакция=вербальный ответ (verbal r.) 33, 50, 51, 53, 54
— условная (conditioned r.) 34
результат 265, 266, 271
рекурсивное определение истинности 125, 126
реплика [в диалоге] 290
референт (referent, reference) 100—103, 196сн., 203сн., 204сн., 210, 227, 228
— местоимения 21
— предложения 101, 103
— уникальных 228
референциальная/референционная непрозрачность 201сн., 240
— прозрачность 200сн., 209, 237сн., 272
референции множественность 68
— неудача 79
референция 6, 8, 9, 14, 16, 17, 27, 48, 75, 77—80, 85, 92, 102, 116, 124, 130, 211, 226, 227, 238, 243
— имени 195, 196, 199сн., 202—206, 209—211сн., 234
— разделенная, разделение референции (divided reference) 59—64, 69, 70, 72, 75, 78, 86, 87
— уникальная 234
рефлексивность [отношения] 244
рефлексивное равновесие 143
речевая деятельность 161
речевой акт 6, 14, 116, 130, 139, 144, 152, 156, 242, 243, 245, 248, 250, 251, 253, 257, 261, 303, 306, 361
— — утвердительный 304 (см. также *утверждение*)
речь 7, 33, 55, 57, 58, 206, 210, 264
роль [в игре] 308

Самосознание (self-consciousness) 149

свойство 93, 94, 136, 168, 195, 199, 204, 210, 224, 225, 228, 239, 241, 341
— идентифицирующее 195, 205, 225—230, 240
— логическое 182, 303
— семантическое 174, 176
— синтаксическое 99
связки 66, 68, 69, 90, 188, 197, 318
— адъективные 321сн.
— глагольные 321сн.
— именные 321сн.
— логические 318
— пропозициональные 306сн.
— сентенциальные 105, 321сн.
связность [текста] (cohesion) 5, 36, 126
семантика 9—11, 14, 17, 68, 99, 102—104, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 129—131, 134—136, 161, 169, 175, 176сн., 178, 181, 187, 189, 300, 304, 309
— абстрактного словаря 336
— возможных миров 19, 20, 123
— императивов 300, 310
— интенциональная/интенционалистская 7, 129—131
— концептуальных ролей 19, 127, 129, 130
— критериальная 126, 127, 136
— лексическая 187, 188
— логическая 18
— процедурная 19, 129
— рекурсивная 103
— ситуационная 19, 123
— стандартная 11, 17, 18, 20
— структурная 127, 135, 176сн.
— теоретико-игровая 21, 125, 126, 305
— теоретико-истинностная 129
— теоретико-модельная 19—21, 122—130, 133, 135, 173, 176сн., 179—183, 185, 187—191
— формальная 112, 115, 116, 119
— эпистемическая 131
семантическая репрезентация, с. представление 121, 177, 336, 346, 362, 366
семантический компонент [грамматической теории] 162
— примитив, семантически простой элемент, элементарный смысл 118, 339, 342—344, 365
«**семантическое противопоставление**» [значение союза *but*] 279, 283—285, 297

силлогизм 293—295
— практический 144, 145
синонимия 102, 174, 207, 232, 346, 347
синтаксис 103, 104, 161, 162, 180, 181
— рекурсивный 103
синтаксический компонент [грамматической теории] 162, 163
система ценностей 141, 149, 151, 152, 157
ситуация 123, 168, 171, 183, 265, 311, 351
— контрфактическая 202, 203, 210сн.
— нормативная 310, 311
— типичная 350
следование, следствие (*consequence, entailment*) 12, 43, 115, 309, 311, 315—316
— логическое 115, 126, 182, 183, 189, 227, 302
— практическое 310
следствие (*effect*) 265, 266, 271
словарь 99, 103, 163, 164, 168, 169
— онтологический 168, 169
— семантический, логико-семантический 168, 170
— функциональный 168
слово 36—38, 99, 101—104, 122, 127, 136
словоизменение 168
слушатель 130, 243, 245, 246, 255, 256, 261, 263, 304—308, 310, 312—314
слушающий 11, 83, 355
смысл 6, 8, 9, 161, 162, 165, 180, 195, 196, 201—208, 210, 214, 216, 217, 229сн.
— конвенциональный 204, 238сн.
— предложения 105, 164, 165, 318
событие 114, 123, 264—270
совет 258
совокупная соотнесенность (*comulative refering*) 60
сожаление 250, 255, 260
сомнение (*disbelief*) 288, 297
сообщение [речевой акт] 251, 361
состояние 168
— ментальное 128, 154
— психическое 154
союз 21, 37, 76, 287, 318, 320
— *a* 284сн., 296—298
— *если* 318
— *и* 187, 318, 326
— *или* 187, 318, 320—325, 327—335
— *либо... либо* 326
— *ни... ни* 326, 327
— *но* 296, 298, 326

- противительный 277, 278, 295
- соединительный 277, 281, 284
- although ('хотя') 278, 281
- and ('и') 75, 277, 279, 281, 287, 288, 295
- but ('но') 277—298
- despite ('несмотря на') 278, 281
- or ('или') 75
- whereas ('тогда как') 279, 295
- while ('в то время как') 279
- yet ('однако') 278, 295
- сравнение 356
- стимул 12, 13, 29, 34, 40—42, 49, 50, 338
- вербальный 29, 33, 40
- невербальный 33, 34, 36, 54
- сенсорный 40, 46
- стимуляция 41, 51, 53, 54
- вербальная 33
- невербальная 33, 35, 42, 49, 51
- сенсорная, с. органов чувств 32, 35, 41, 45, 47
- стратегия 305
- выигрышная 305, 307, 310, 313
- говорящего 21
- слушающего 21, 310
- структура 13, 161, 162, 167
- базовая 162, 165, 170
- глубинная 162—165, 342, 347, 352, 357, 364
- логическая 340
- поверхностная 162, 165, 268, 347
- синтаксическая 119, 123
- субъективные факторы функционирования языка 7
- суждение (judgement, statement) 17, 198сн., 355, 359, 363,
 - альтернативное 320
 - гипотетическое 357, 358, 360
 - научное 300
 - этики 300
- существительные 65, 66, 72—74, 76, 82, 83, 90, 91, 161, 165, 169, 269
- неисчисляемые 118
- сфера действия 132, 199, 200

- Текст 5, 7, 21, 57, 122, 125, 126
- тема (topic) 279—281, 283, 286, 287, 289, 290, 295—297
- силлогизма 294
- теория 41, 43, 45—47, 100—102, 115, 124, 139
- восприятия каузальная 344
- грамматическая 169
- действий 16, 148, 149, 151, 152
- дескрипций 230
- доказательства 139сн.
- знаков 308
- значения 9, 10, 13, 14, 102, 103, 124, 127, 175, 177—179, 188, 189
- иллокутивных актов, иллокуции 14, 242
- истинности 10, 108, 116, 185, 186, 190, 236
- истины 10, 18
- квантификации 302
- логического вывода 17, 188
- моделей 19, 20, 123, 176, 179
- перевода 12
- принятия решений 145, 146, 156
- понимания 180
- референции 14, 102, 106, 107
- речевых актов 6, 248
- семантическая 8, 9, 99, 102—112, 116—119, 122, 128, 129, 133, 135, 136, 173—179, 183, 184, 187—189, 319
- структурно-семантическая 173, 184, 189
- Фреге — Рассела 197, 205—208, 216, 217
- языка 161, 162, 171
- терм (term) абсолютный 75—78
- единственный/сингулярный 59—61, 64—72, 75, 77, 79—85, 89—94, 100, 101, 102, 104, 196, 240сн.
- массовый (mass t.) 60, 61, 66—69, 74, 79, 80, 82, 93, 94
- неопределенный 80, 83—85, 87, 89, 90
- общий 59, 61, 62, 64—72, 74, 75—78, 80, 82—86, 91, 92, 96
- определенный 84—86, 89
- относительный 75—78, 80, 88, 91
- партиципный 60сн.
- производный 65, 71
- простой 88
- сложный (composite t.) 72—74, 77, 78, 82, 85, 87, 100, 101
- собирательный (collective t.) 60сн.
- совокупный (bulk t.) 60сн., 66
- составной (compound t.) 67
- указательный 69, 71, 72, 78, 79
- tertium comparationis 279, 280, 298
- тип референции 75, 78
- тождество 84, 86—89, 139сн., 202, 239сн.
- смыслов 229
- тривиальное 206
- транзитивность 244
- соотнесения 35, 36
- трансформация 327

— опущения 329, 330
— эллиптического сокращения 328
требование [речевой акт] 176, 306

Удивление 289, 290, 297
указание 12
указательные единичные термы 71, 72
— местоимения 69, 82, 87
— слова 71
— частицы 71
умозаключение (inference, argument)
128, 129, 300, 348, 366
универсалии языковые 171
универсум дискурса, у. рассуждений
(universe of discourse) 35сн., 246, 249
употребление/использование имени
собственного 108, 183, 201, 206, 215,
234сн.
— предложения 14, 32, 33, 38, 210,
— слова 30—33, 36, 37, 49, 51, 61—
64, 67, 70, 212, 232
— — атрибутивное 73
— — предикативное 67, 73
— союзов, связок 318
— языка, языковое 8, 14, 15, 92, 130
— — нормативное 320
условие 108, 265
— достаточное 114, 276
— необходимое 114, 276
условия достижения иллокутивной
цели 253
— искренности [иллокутивного ак-
та] 251, 252, 260—263
— истинности [предложения] 14, 15,
17, 22, 85, 106—108, 111—116, 124—
126, 133, 134, 173, 175, 177—179,
184—191, 305, 323, 334
— — абсолютные 191
— — относительные 191
— — пропозиции 243, 246, 249—251
— предварительные [иллокутивной
силы] 251, 259, 260, 262, 263
— пропозиционального содержания
[иллокутивной силы] 251, 258, 259,
261—263
— тождественности пропозиций 248
успешность [иллокутивного акта] 244,
247
установка [психологическая] 253, 255
утверждение (assertion, affirmation,
statement) 116, 184, 238, 272—274,
302, 320
— модальное 302
— нормативное 303, 309
— причинное 264
— составное (component s.) 47сн.

— существования 27, 84
— тождества 206
утверждение [речевой акт] 248, 252,
259, 260, 303, 306
участники коммуникации 56

Фазы референции 75, 79, 80, 87, 90,
93
факт 198сн., 264—276
феноменологический мир [субъекта]
132
философия 16, 27, 160, 171, 336
— моральная 303сн.
— языка 6, 11, 23, 99, 110, 113, 130,
165
флексия 167
фонема 58
фоновые знания о мире 7
фонологический компонент [грамма-
тической теории] 162
фонология 161
формальная система 179
формальный аппарат семантики 11
формативы 162
— лексические 162, 164
— нелексические 162
функция 180, 191, 247, 248, 255, 259,
260, 262

Ход [в игре] 308, 309сн., 312, 313,
315
холизм 104
холистический подход к значению 104

Цвет 25, 29, 31, 33, 51, 52, 54, 56, 93,
109, 347, 348, 355, 356, 368
цель 141
цепочка коммуникации 209, 210
цитата 117
цитация косвенная 176
цитирование 23, 234, 235

Частицы 6, 63, 68, 86, 89
— указательные 69, 71
человеческий фактор 7, 127, 275
число единственное 59, 62, 341
— множественное 59, 60, 62, 63, 66,
74, 75, 78, 90
члены предложения 168
чувства 154, 155, 253, 255, 354
чувственные данные см. данные:..

Шифтеры 71сн.
шкала диатоническая 54

ЭВМ 7

- эгоцентрические выражения 71сн.
- эквивалентность 115, 182
 - интенциональная 273
 - логическая 101, 115
 - материальная 249сн.
 - референционная 274, 275
 - строгая 248, 249сн.
 - экстенциональная 273
- эксклюзивное... см. *инклюзивное...*
- экспрессивы 255
- экстенционал 105, 119, 180, 185, 186
- экстраполяция 37, 42, 43, 80
- эллипсис 289, 328
- эпистемология 146, 228сн., 229сн.
- этика 143, 300

- Явление** непосредственно наблюдаемое (optical appearance) 359
- умопостигаемое (epistemic appearance) 359
- явность, явности условие (perspicuousness) 163—165
- язык (language) 5, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 27, 111, 113, 115, 121—124, 127, 130, 131, 140, 170, 226, 275

- естественный 5—10, 14, 19—22, 99, 107, 110—119, 123—125, 127, 132, 135, 165, 168, 173—179, 182—185, 189—191, 231, 246, 248, 251, 274, 318, 319, 350, 353, 365
- искусственный 16, 17, 135
- канонический 236
- логический 16, 123
- мышления (I. of thought) 126, 127
- обыденный/повседневный (ordinary I.) 26, 27, 110, 112, 353
- разговорный 110
- семантических маркеров (Markere) 121, 122, 174, 177, 178
- — признаков 338
- формализованный 17, 110, 179
- формальный 110, 111, 123, 127, 135
- язык-объект 105, 108, 110, 112, 115, 119, 123
- языковая способность 162, 163, 221
- языковое чутье 107
- языковой тип, тип языка 167—170
- языковые игры см. *игра...*
- ясность (clarity) 166

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Петров. Язык и логическая теория	5
У. В. О. Куайн. Слово и объект (гл. I и V). <i>Перевод с английского М. А. Кронгауза</i>	24
Д. Дэвидсон. Истина и значение. <i>Перевод с английского Н. Н. Перцовой</i>	99
Э. Сааринен. О метатеории и методологии семантики. <i>Перевод с английского А. Л. Блинова</i>	121
Д. Фоллесдаль. Понимание и рациональность. <i>Перевод с английского М. А. Дмитровской</i>	139
П. Стросон. Грамматика и философия. <i>Перевод с английского Н. Н. Перцовой</i>	160
Э. ЛеПор. В каких отношениях неудовлетворительна теоретико-модельная семантика. <i>Перевод с английского Н. Н. Перцовой</i>	173
С. Крипке. Загадка контекстов мнения. <i>Перевод с английского Г. Е. Крейдлина</i>	194
Дж. Сёрль и Д. Вандервекен. Основные понятия исчисления речевых актов. <i>Перевод с английского А. Л. Блинова</i>	242
З. Вендлер. Причинные отношения. <i>Перевод с английского Н. Н. Перцовой</i>	264
Л. Карлсон. Соединительный союз ВУТ. <i>Перевод с английского М. А. Дмитровской</i>	277
Р. Хилпинен. Семантика императивов и деонтическая логика. <i>Перевод с английского А. Л. Блинова</i>	300
Ф. Дж. Пеллетье. Или. <i>Перевод с английского Г. Е. Крейдлина</i>	318
А. Вежбицка. Восприятие: семантика абстрактного словаря. <i>Перевод с английского А. Д. Шмелева</i>	336
Именной указатель. <i>Составитель Анна А. Зализняк</i>	371
Предметный указатель. <i>Составитель Анна А. Зализняк</i>	376